



**МАРИЯ
СЕМЁНОВА**

БРЯТЪЯ

**Книга 2
ЦАРСКИЙ ВИТЯЗЬ
Том 1**

Annotation

Беда наслала на землю вечную зиму и оставила много сирот, родства не помнящих. Киян-море вздыбилось и смело города Андархайны. Чертоги вождей спрятались в глубине, согретой теплом земных недр, беднота осталась мёрзнуть на поверхности. Настали тяжкие времена, обильные скорбью утрат... Минули годы после Беды. В чужой семье, в глухой деревушке вырос чудом спасённый царевич Светел, наследник некогда могущественной империи. И когда ему сравнялось пятнадцать, решил искать доли в воинской дружине, чтобы найти и спасти любимого старшего брата Сквару. Его насильно увели из семьи мораничи, и с тех пор родные ничего не слышали о нём. «Я обрёкся родительского сына в дом вернуть. За то, что вырастили, хоть так отдарить...» – думает Светел. Но что, если его долг совсем в другом? Да и узнает ли он брата? Ныне Сквара, что чёрный ворон, невидим в темноте...

- [Мария Семёнова](#)
 -
 -
 - [Начин](#)
 - [Разбойное корыто](#)
 - [Доля первая](#)
 - [Облыжный узел](#)
 - [Заступница](#)
 - [Второй день Беды](#)
 - [В Торожиху](#)
 - [За любушку](#)
 - [Новая подруга](#)
 - [Ристалище](#)
 - [Жало](#)
 - [Крыло](#)
 - [Чужая недоля](#)
 - [Божья огнивенка](#)
 - [Отъезд из Невдахи](#)
 - [Личник](#)
 - [Ветка рябины](#)
 - [Витязи](#)

- [Кугиклы](#)
- [На горке](#)
- [Отцовская честь](#)
- [Всё будет хорошо](#)
- [Доля вторая](#)
 - [Далёкое знамя](#)
 - [Стол доброго Аодха](#)
 - [Покаяние над волнами](#)
 - [Лист папоротника](#)
 - [Осрамитель нечестия](#)
 - [Это мой царь!](#)
 - [Письмо от Лигуя](#)
 - [Высший Круг](#)
 - [Тропа впереди](#)
 - [Воруй-городок](#)
 - [Помыслим и сотворим](#)
- [Доля третья](#)
 - [Чёрная Пятерь](#)
 - [В снежном городке](#)
 - [Беседа в опочивальне](#)
 - [Щит славнука](#)
 - [Чужая ступень](#)
 - [Шерлопский урман](#)
 - [Селезень-камень](#)
 - [Воронята](#)
 - [Книжница](#)
 - [Лягушачья шкурка](#)
 - [Разговор у Десибрата](#)
 - [Коробейка с потайкой](#)
 - [Серебряный гребень](#)
 - [Пальцы гусяра](#)
 - [Подвиг заступника](#)
 - [Лебединые стрелы](#)
 - [Песня о великом копье](#)
 - [Загадай желание](#)
 - [Вода мёртвая и живая](#)
 - [Возглашение участи](#)
 - [Коряжинское срамодействие](#)
- [Доля четвёртая](#)

- [Первородная битва](#)
 - [Дружина Сеггара](#)
 - [Сиротские гусли](#)
 - [Поклонение у моста](#)
 - [Властители судеб](#)
 - [Золотые струны](#)
 - [Пеньки](#)
 - [Воевода](#)
 - [Царский выход](#)
 - [Письмо Люторада](#)
 - [Прибытие дружины](#)
 - [В остатние, в последние...](#)
 - [Нож к горлу](#)
-

Мария Семёнова

Царский витязь. Том 1

© М. Семёнова, 2018

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

* * *

Автор сердечно благодарит:

Валентину Андрианову
Василия Семёнова
Виктора Краснова
Юрия Соколова
Павла Молитвина
Юлию Зачёсову
Саву и Ружицу Росич
Аллу Земцову
Ольгу Кадикину
Павла Калмыкова
Светлану Лаврову
Максима Герасимова
Фезулаха Велиханова
Хаджимурада Малаева
Александра Урбанского
Юрия «Барса»
Александра Прозорова
Татьяну Купреянову
Алексея Мехнецова
Александра Теплова
Игоря Крашенинникова
Елену Буданову
Евгения Голынского
Алексея Богомолова
Елизавету и Константина Кульчицких

Татьяну и Вячеслава Маркеловых
Феликса Разумовского
Дмитрия Кукушкина
Алексея Лыгина
Рустама Гасанова
Анатолия Кутузова
Дениса, Алёну, Наталью и Марию Васильевых
Павла и Ладу Шмырёвых
Елену, Николая и Вячеслава Темруков
Сергея Медведева
Максима Хорошковатого
Марину Махорину
Николая Барабанщикова
Алексея Бокатова
Галину и Максима Ващуков

Начин

Разбойное корыто

Всего на третий день пути Бакуня Дегтярь сломал лыжу.

Только что снялись со стоянки, только что впереди начала являть себя Огарок-скала, а за ней, сквозь морозную дымку, – каменные стремнины Кижной гряды... И на тебе пожалуй!

Вроде ведь ничего такого не делал. Не карабкался по торосам, испытывая крепость снегоступа опорой лишь на носок да на пятку. Не сползал с косогора, насилуя боковины и путца. Всего-навсего тропил, привычно прокладывая стезю упряжным оботурам. Даже морозная настыль была не самая жестокая. Не щерилась ледяными ножами, не грызла кожаную заплётку. Лишь тонко звякала, послушно уступая нажиму. И вдруг... Бакуня даже не услышал, как хрустнуло. Посреди очередного шага ремни под левым валенком просто обмякли, не давая опоры. Дегтярь остановился, выпростал ногу из россыпей скатного серебряного бисера. Так и есть! Деревянный обод переломился, как гнилью траченный, да по обе стороны разом. А ведь берёг, просушивал, маслил...

Делать нечего, охромевший и недовольный Бакуня сосступил в сторону. Пропустил сменщика, оботуров-дорожников, потом сани.

– Левая? – присмотрелся с козел молодой Коптелка. Одна нога у парня была деревянная по колено, вроде дома сидеть, но дорога не дорога была бы без его прибауток. Он и теперь проказливо улыбнулся, вспомнив примету: – Смотри, батюшка торгован, кабы у хозяйюшки в разлуке терпение не иссякло...

Слышавшие с готовностью засмеялись.

– Цыц, пустомели! – больше для виду рявкнул Бакуня. Сам не выдержал, заулыбался. С супругой Удесой он прожил в согласии двадцать два года. Кому верить, если не ей. Уж она дом рукавами не растрясёт, чести мужниной не уронит!

Только ребятам хоть кол на голове затеши. Которую весну выбирался с ними Бакуня на бойкие купилища Левобережья – а молодцы всё пошучивали о большаке и большухе. Иные сами успели жениться, над ними, вестимо, тоже трунили. Однако галухи по поводу хозяев были самыми старыми, памятными, любимыми.

Покидая свой зеленец, Бакуня неизменно ждал, когда начнутся потешки. Дождавшись – облегчённо переводил дух. Сменяются – значит отходят от домашней тоски, вработываются в походную жизнь.

Нынче лихословы отважились помянуть даже меньшую Бакуничну.

– А то кабы Аюшка не забыла святой воли родительской, мила дружка не приветила. Да вперегон старшей сестрице... – запустил ломким, почти мальчишеским голосом всё тот же Коптелка.

Работники постарше цыкнули на болтуна. Как люди говорят: шути, да оглядывайся.

Передние сани без натуги двигались проторённым путём. Тяга ли двум по-зимнему косматым быкам жилой оболочкой с одеялами и припасом! Бакуня шагнул в полозновицу, догнал, подсел сзади. Неторопливо отвязал поломанный снегоступ. Присмотрелся, досадливо качнул головой. Обод, похоже, отслужил. Так сломался, что в дороге толком и не поправишь. Разве от большого горя палками надвязать. Дома можно бы склеить, но веры ему, склеенному, как луку надломленному.

«Оттаает, поглядим. Заплётка ещё может в дело сгодиться...»

Сколько лет полной чашей был его дом, а бережливая привычка держалась.

Бакуня по пояс влез в оболочку, ощупью добыл лапку для смены, но сразу обуваться не стал. Задержался, покоясь на озадке саней, с удовольствием глядя, как покидают след кованые полозья, как дышит густым паром вторая упряжка. Задние сани были знатно нагружены. Под широкой полстиной опрятными рядами выпирали бочонки, маленькие и побольше. Все – туго заколоченные, но запах земляного дёгтя не ведал преград. Кому – смрад зловонный. Кому – сегодняшнее достояние, завтрашние прибитки.

И даже небывалая, всему Левобережью на удивление, долюшка для старшей дочери, Чаяны...

Смех вспомнить теперь, как померкли они с Удесой, обнаружив, что вода в доставшемся ключище оказалась мутная и вонючая. Где ж сразу догадаться, что кручина – вроде ореха: тверда скорлупа, да внутри – хмельная сладость удачи.

Когда это было! Вот уж двенадцать лет промелькнуло.

«А не тот я стал... Ох, не тот. Отяжелел», – вдруг понял Бакуня, схватившись, что слишком засиделся на санях. Раньше небось переобулся бы на ходу. Да не сидя, как теперь, даже не на корточки опустившись, – лихо, ухарски изломив гибкую поясницу.

«Ещё не хватало, чтоб люди заметили...»

Нахмурился, быстро затянул путца, спрыгнул, сяжисто побежал в голову поезда.

Чтоб саням добавить прыти,
Девок вывезем в корыте! –

задавала шаг нагáльная песня. Коптелка запевал, ребята подтягивали.

Сани белы лебедí,
На дорогу выводи,
Ползут, ползут,
Двинули!

Сменщик, уже начавший отдуваться, обрадованно свалился назад. Он, как и хозяин, успел шагнуть в пятый десяток.

– Пенькова дела снегоступы в Торожихе куплю, – сказал Бакуня. – Кстати, и сведаю, вправду ли так хороши, как бают про них.

Работник поправил меховую рожу, неуверенно отозвался:

– Так помер он вроде, Пенёк-то... Года три или четыре тому. Дикомыты же! В стеношном бою зашибли, и не очнулся.

«Куда еду...» – далеко не впервые ужаснулся про себя Дегтярь, но вслух сказал:

– А я слышал, сынишка Пеньков ремесло успел перенять. Сам ещё титьку мамкину не забыл, а лыжи истóчит шаговитей отцовских.

Обозник пожал плечами:

– Ты, хозяинушка, уж как хочешь, а только небывое это дело, чтобы мальчика источником называли.

Бакуня выпрямился, разгладил русую бороду, весело подмигнул:

– А бывое дело, чтобы простые острожане с праведной семьёй своились?

Возражать стало нечего. Молодцы опять взялись смеяться. Спорщик покаянно развёл руками:

– Истинно люди глаголют, миновалось прежнее царство. Новое настанёт.

Беда положила начало цепи Бакуниных горестей и удач. Он в то время только отстроился, только начал жить своим очагом. Плáнувший с неба огонь его не задел, хотя родительский двор в Истомище, многолюдный и крепкий, просто исчез. Потом всё начало замерзать. Люди неволей переселялись к горячим источникам. Бакуня разведал добрый кипун, но

дорожку перебил расторопный сосед. Андарх Лигуй по прозвищу Голец.

«Ступай себе, – сказал он Бакуне. Позади хозяина стояли ражие ухо-парни, удалыцы не выдавцы. – С этого ключища моей-то чади вполсыта жить. Поближе к холмам другой зеленец есть...»

Делать нечего, Бакуня утёрся. Хотя на ключах Порудницы два двора как раз поместились бы. С андархами в Левобережье спорить было не принято...

А обещанный Лигуем зеленец вправду теплился на полпути до холмов. Такой, что впору показалось заплакать. Несколько провалов с мутной водой, булькавшей масляными пузырями. Водича горчила, смердела, умаешься кипятить на питьё... Ладно, по крайней мере, здесь не морозило. Бакуня засучил рукава. Собрал к себе отцову дворню. Всех уцелевших. По бревну перетащил дом...

Теперь он не знал, которых Богов отдаривать за везение.

Земляной дёготь, точившийся в глубине ям, прекрасно горел. В умелых руках ещё и целил язвы, причинённые покусками стужи. Довольно скоро Бакуня заложил в Ямищах промысел. Начал выбираться к ближним соседям, менять горючую смолу на зелень и рыбу. Позже прослышал, сколько Лигуй дерёт на купилище за его дёготь. В сердцах метнул шапку оземь, стал ездить сам.

Когда старшенькую, Чаяну, ребятня с торжеством провезла кругом зеленца, а мать вплела ей в косу цветную ленту, Лигуй заслал сватов. У него, как и у Бакуни, мужал под рукой толковый наглядьш. Звался Порейкой.

«Сговорена уже Чаяна», – ответил Дегтярь.

«Да за кого успел?..»

Голец чуть зубами не скрипел от досады.

«Ступай себе, – сказал Бакуня. – Других девок полно...»

Беда оставила немало сирот. Иные, кого она застигла ещё в пелёнках, даже родства не помнили. Двоих таких мальчишек Бакуня вырастил у себя. Глядя, как поднимаются Угляр и Коптелка, временами жалел, что сразу не засыновил. Временами, наоборот, подумывал обоих приютить, окрутить с ними дочерей.

Хорошо, что не поторопился. Вмешалась судьба, всё расставила по местам...

– Куда едем-то, а, большак?.. – задорно окликнул с козел Коптелка. – Куда деток несмышлёных на погибель ведёшь?..

– Ори громче, – посоветовал вечно хмурый Угляр. – Накликаешь! Ты,

батюшка, не бери его другой раз.

Коптелка звонко расхохотался. Уж этой грозы ему не надо было бояться. Оботуры никого так не слушали, как его.

– Кишки простудишь, хохотун, – буркнул Угляр.

Левобережники редко высовывались за Светынь. Если на то пошло, Бакунины соотчики и на юг ездили нечасто. Хотя сами себя считали наполовину андархами и с гордостью, в знак давней принадлежности, звались гнездарями. В коренных землях на них всё равно посматривали свысока. Кому охота чувствовать себя правнуком покорённых, вторым разбором среди былых победителей?

– Навались, родимые! – весело отвечал хозяйским мыслям Коптелка. – Наддай, Сивушка!

Каково-то покажется за Светынью, где второй разбор превращался в третий... Дикие дикомыты некогда намылили холку завоевателям. Не пустили Ойдриговичей к себе на Коновой Вен, да и всё тут. И как Бакуне разговаривать с ними? Если они гордым андархам, вселявшим в него наследную робость, показали дорожку до самого Шегардая?..

Ну ничего. Знакомыми местами в сотый раз ездить, скучновато жить станет. Иные, как сегдинский Геррик, давно разведали путь за Светынь и теперь что ни весна спешат в Торожиху. Вернувшись, рассказывают про дива и чудеса. Вроде целебных чёрных камней, привозимых на торг из лесных захолустий. Как тут не разгореться глазам!

– Всё ты недоволен, Бакунюшка, – смеялась жена. – Прозвали уже Дегтярём, ещё и Снадобщиком вздумал прослыть на старости лет?

Бакуня в ответ подмигивал:

– Коли нового желаю, стало быть, не вовсе состарился.

Смех смехом, а жилка подрагивала. Остерегала. Тревожно это, когда всё удаётся. Вот ломишься сквозь череду мелких невстреч, и сама собой успокаивается душа: судьба взяла плату. А вот если всё время по ветру мчишься, рождается беспокой. Ну как с разбегу да об телегу?

С таким попечением только дома сидеть, за лавку держаться.

Бакуня подумал о сломанной лыже, улыбнулся.

– Отик... – ластилась к нему младшая дочь, Аюшка. – Привези ты мне, отик, с правого берега валеночки, как там делают: все целиком катаные...

– Не босая ходишь, – строго заметила мать. – Доброго пути отцу пожелай, и будет с тебя.

Аюшка расплакалась:

– Всё ей, Чаяне!.. И жених, какого больше не сыскать... и подарки...

В четырнадцать лет хочется разом всего, да прямо сейчас. Год

предстаёт вечностью, которой не пережить. Особенно когда родная сестра уже повязывает платочек внахмурочку, готовится укрыть лицо под фатой. Мать напомнила:

– Чаяна старшая. Настанет ещё твой черёд.

И верно. Меньшая дочь Дегтяря вряд ли лавку насквозь просидит, сватов дожидаясь. За Кижной грядой обжился давний друг Бакуни, Десибрат Головня. Он с сыном теперь уже складывает в лубяные короба новенькие горшки да тонкие мисы, заботливо ухичивает мхом – везти в Торожиху. Никто не помешает в дороге о детях поговорить. О чём-нибудь сговориться...

Притихшая Аюшка до самого леса шла за санями вместе с матерью и сестрой. Обняла отца напоследок. Долго махала вслед вышитым полотенцем, чтоб дорожка ровной была...

Кижная гряда звалась так испокон веку. Когда осень валилась в зиму и первые хлопья кружились над мокрым лесом, чтобы на завтра же стоять, – в холмах снег ложился сразу и прочно. Шеломянный Хозяин копил его до самой весны. Не просто копил. Баловался, скидывал в удолья лавины. Гремящие белые клубы крушили, пугали, сулили вовсе убить. Долина, пересекавшая кряж, гладкая и удобная летом, за такой зимний норов слыла Разбойным корытом. После Беды ездить здесь стало неважноту. Бакуня и Десибрат поначалу разведали окольную тропку. Год спустя посоветовались, дружно взялись – и выстроили бревенчатые стенки по верху склонов в коварных местах: удерживать снег. А двинется, потечёт – спускать в боковые распадки. Немалая работа была. Впору гордиться.

Шеломянному Хозяину, чтоб не серчал, подарили целого оботура. Однако Хозяин оказался жаден немерно. В плату за отнятую забаву понадобилась ему ещё Коптелкина нога, раздавленная валуном. Камень, покалечивший парня, до сих пор торчал из-под снега. Проезжая мимо, Коптелка неизменно грозил ему кулаком.

Зато Разбойное корыто ныне считалось самым простым и спокойным локтем дороги на север. К чему сам приложил руки – не подведёт.

У Огарок-скалы сделали недолгую остановку. Перепрягли оботуров. Тех, что пыхтели в гружёных санях, поменяли с дорожниками. Хоть и безопасными стали Кижы, всё лучше побыстрей миновать.

Пока работники развязывали и вновь завязывали ремни, Бакуня подошёл к подножью утёса. Задрал голову, посмотрел вверх.

Прежде Беды каменный лоб покрывало корявое цепкое мелколесье.

Теперь из расщелин торчали обугленные остатки корней. Бакуня сдвинул меховую личину. Снял шапку. Развернул добрые домашние лепёшки. Надкусил одну, положил в обледелую выбоину. Сверху добавил хорошего мороженого шокура.

– Угостись со мной, батюшко, Хозяинушко шеломянный... да уж и пропусти незаказно.

Отошёл, оглянулся. Впадина камня напоминала рот, распахнутый в неистовом крике. Навстречу поезжанам из Разбойного корыта вытягивались тучи, застрявшие на вершинах гряды.

Сменив левую лыжу, Бакуня помимо воли стерёг правую: вдруг тоже сломается.

«Вот доберусь в Торожиху – в самом деле Пенькова сына искать пойду. Гляну, что привёз...»

Купилице злых дикомытов временами лежало прямо за поворотом. Временами – отодвигалось на другой конец света: нипочём не достигнуть.

«Да что ж я за беспокойник такой?»

На первом своём торгу в Андархайне он тоже боялся. И неспроста. Еланым Ржавцем владел царевич Коршак. Восьмого наследника Огненного Трона величали за глаза Жестоканом. Стоя в смоляном ряду, Бакуня со всех сторон слушал жалобы. Торговый народ кряхтел и чесался. Больно тяжкие поборы изволил наложить государь!

Неволей испугаешься, когда подбегает запыхавшийся гонец. Царевич желал видеть Бакуню.

«По заслугам честь! – обрадовался весёлый Коптелка. – Во дворец праведного Аодха тоже не одни красные бояре входили! И ремесленники добрые, и купцы... Меня возмёшь с собой, батюшка?»

«Всё дурню пестюшки, – тревожно буркнул Угляр. – Вот останется Жестокан подарками недоволен...»

Ох тогда взметался Дегтярь. Ох себя корил! Седина в бороду, а не смекнул, что соглядатаи царевича мигом высмотрели на купилице нового торгована. Хоть кто бы предупредил! Чем же поклониться грозному волостелю?.. Впопыхах нагрузили вместительную ручную тележку. Бочонками вынесли жидкий дёготь для заправки светильников. Малюсенькими горшочками – чистый и плотный, многоценный, целебный.

Бакуня знал: Коршак был очень немолод.

«Столец ему небось подушками умягчают, пищи всё тонкие подают... Почечуем наверняка скорбит, – подсказывал опыт снадобщика. – Где ж ему теперь достать ревеню, тмина, рябины, хотя он и царевич? Как бы

изловчиться лекарю посоветовать старца на ведро с дегтярным дымом сажать... да чтобы государь не прогневался, чести своей проносу не усмотрел...»

С трепетом отправлялся он на Коршаков двор. Робея, складывал подношения... не чаял голову на плечах назад унести...

Знал ли, что входит просто Дегтярём из никому не ведомых Ямищ, а выйдет – молвить боязно, свояком Коршаковым... ну почти...

В самом сердце гряды раскинулось поместье – просторная поляна между холмов, удобная для стоянки. Там можно будет снова перепрячь оботуров, поменять сани упряжками. И без того дошли бы до Десибратова зеленца, но свежей силой вывезут побыстрей. Своя земля Разбойное корыто, своими руками огоенная... а всё охота выбраться без задержки. По старой памяти, верно.

Не оттого ли собаки, бегущие у полозьев, знай поглядывают на затянутые туманом вершины, знай нюхают воздух, дыбят на загривках щетину...

«Водворится призяченный, обживётся чуток, надо будет сюда его захватить, – подумал Бакуня. – Да особо не упреждать, что безопасна дорога. Сразу видно станет, каков удалец...»

От мысли о скорой дочкиной свадьбе голова начала легонько кружиться.

Удеса, помнится, тоже испугалась мужниной удачи. Расплакалась:

«Высоко загляделся, Бакунюшка! Мы люди простые, минуй нас гнев царский, а любовь – того пуще...»

«Не заглядывался я, – хмурил брови Дегтярь. – Мысли не держал. Сам позвал меня, сам золотую сваечку к нашему колечку примерять стал!»

Чаяна, доченька, тогда глупа ещё была. Ничего не понимая, на всякий случай цеплялась за мамкин подол, ревела ревмя.

С тех пор много снега на Кижии вывалилось. Подрос жених, наспела невеста. В самый год сговора ушёл к родителям престарелый царевич. Только сговор нерушимо стоял. В праведной семье от слова не пятили.

Удеса себе уж рубаху в две строки вышила, старушечью, после дочкиной свадьбы надеть...

– Слышишь, батюшка большак! – окликнул неугомонный Коптелка. – Не велишь костерок на поместье развести для обогрева? Нога холодом замлела, сил нет!

И гулко притопнул концом деревяшки.

Работники засмеялись.

– А вот бы из фляги глотнуть, из той кожаной...
– Потерпите, – строго молвил Бакуня. – Завтра у Десибрата согреемся.
– Батюшка! А что делать станешь, коли зятьёк от нашего дёгтю нос сморщит?

За минувшие годы вроде все жениховы косточки обглодали. Стоило приблизиться свадьбе, взялись заново.

Бакуня сам порой закатывал глаза, пытаясь представить, как начнёт приобщать юного Коршаковича промыслу. «А что? – утешала жена. – Мальчонка пригульной, а всё кровь царская. За что ни возьмётся, споро осилит!»

Дегтярь обмахнул с бороды иней, пряча улыбку:

– Сморщит, возьму тебя с Аюшкой окручу.

Коптелка упал навзничь на козлах, дрыгнул в воздухе обеими ногами, деревянной и в валенке, заголосил:

– Погубили добра молодца-а-а...

Парни дружно захохотали.

Оботуры вскинулись, взревели, все шесть разом поднялись в рысь. Заметались, залаяли, взвыли псы.

Бакуня ещё смеялся, ещё хотел попенять Коптелке за переполох... когда сверху, с мглистых вершин, неожиданно и сильно ударило ветром.

Так сильно, что у Бакуни слетел с головы треух и от внезапного ужаса заledenело нутро.

Мгновением позже начала дрожать земля под ногами.

Оботуры неслись уже не рысью, а метью, взрывая раздвоенными копытами снег. Они разевали пасти, только рёва больше не было слышно. Всё похоронил низкий гром, катившийся по долине.

Этого не могло случиться, но это случилось.

Сразу с обоих склонов Разбойного корыта к обозу тянулись широкие, белые, жадные, обманно-мягкие лапы.

«Стенки-то подпорные... как так, – успел подумать Бакуня. – Сколько лет... Хозяинушко, за что...»

Неодолимая сила снесла, растёрла, скомкала поезжан. В плотном вихре мелькнула бурая шерсть, обломки саней, плеснула чёрная струя из раздавленного бочонка. Бьющийся пёсий хвост, перекошенное в немом крике лицо...

На самом деле это была гибель, конец всем и всему, однако разум не постигал и не подпускал такой мысли. Бесконечные мгновения Бакуня нёсся кувырком, смятый, лишённый какой-либо воли, утративший верх и низ, даже ощущение тела... И всё продолжал жалеть разлившийся дёготь,

прикидывал, удастся ли переловить оботуров, починить сани... успел даже представить, как работники его засмеют, выкопав из сугроба...

Жена и дочери, машущие ему со старого поля...

Удар, отправивший в темноту, ему не запомнился.

Когда он снова пошевелился, было очень холодно. А ещё – тихо, тесно, больно, почти темно. Всё тело облекал и сдавливал снег. Густая влага текла по лицу, склеивала ресницы, дышать едва удавалось. Бакуня попробовал двинуться, вырваться, но снег держал крепко. Глаза мало-помалу начали привыкать. Прямо перед носом Дегтярь увидел бревно. Знакомые витки смолёной верёвки, выросшие в лёд. Чуть ниже верёвок – недавний след топора... щепки перьями...

Бакуня тупо раздумывал над этим простым открытием, когда ватную тишину нарушила близкая возня. Дегтярь вновь рванулся, хотел крикнуть, позвать. Не хватило дыхания. Лопата в сильных руках рубила и раскидывала снег. Лезвие ободрало ухо. Изнемогшие лёгкие наполнил живительный воздух. Серый свет, хлынувший в узкий повор, сперва ослепил. Смаргивая слёзы и кровь, беспомощный обозник увидел над собой рыжего парня. Совсем молодого, хмурого, незнакомого.

Долетел крик. Хриплый, страшный.

«Угляк...»

– Пори их, Порейка! – грянуло дурное веселье.

Бакуня всем телом дёрнулся из снежной ловушки, прокаркал:

– Спа... спа... си...

Скрипнули, приблизились шаги, протянулась рука в синем рукаве, хлопнула рыжака по плечу.

– Молодец, Лутошка. Уж что сказать, молодец. Бери силу, заслужил!

Рядом надсадно промычал оботур. Чуть дальше собирали, скатывали в одно место пощаждённые лавиной бочонки.

Рыжий просветлел от хвального слова. Снова нахмурился. Бросил лопату. Выдернул из снега копьё. Резко, коротко замахнулся...

Доля первая

Облыжный узел

Город, вросший в скалы высокого морского берега, назывался Выскирег. Коренные андархи толковали его имя как «первый» – конечно, после стольного Фойрега. Не царский, но царственноравный. Такое понимание отдавало пророчеством, ведь именно сюда перебрался верховный почёт Андархайны, уцелевший в Беду. Северные племена, совсем забывшие страх, толмачили название малой столицы со своих языков. Получалось – «место бурелома и пней». В общем, Коряжин.

И это прозвище города несло свою истину.

На самом деле люди здесь жили всегда. Кто-то первым нашёл в каменном обрыве пещеру, выгрызенную водой. Облюбовал для жилья. Под стук молотков, под звон калёных зубил понемногу родился город. Люди ровняли каменные теснины, изрезавшие берег, превращали их в улицы. Бережно направляли выющийся по скалам шиповник, пускали цветущие плети мимо окон, таивших девичьи улыбки. Искусные зодчие превратили величественные скалы в дворцы, мало уступавшие фойрегским. В глубине ущелий муравьиными гнёздами теснились обиталища простолюдыя. Здесь хлопало на верёвках бельё, ветер нёс крики торговков, очажный дым, запах жареной рыбы... Тёсаные стены грело щедрое солнце, каменные недра отдавали прохладе, а вечерами в притихших дворах многоголосыми шёпотами бродило эхо прибоя...

Потом солнце погасло за беспросветными тучами, море отступило на десятки вёрст и застыло, а город остался. Зябкий, сумрачный и сырой, ставший против прежнего совсем малолюдным, он всё ещё жил.

* * *

Царевич Эрелис, третий наследник Андархайны, задумчиво рассматривал резьбу на каменных стенах. Чертог, который торжественная речь именovala Правомерной Палатой, а непочтительное просторечье – судебней, воздвигли очень давно. При Гедахе Четвёртом. Хоромина была частью врезана в тело скалы, частью простиралась открытым небу раскатом. Здесь обитала правда царских законов, жившая в согласии с Правдой Богов. Каменный зев Палаты, обращённый к юго-востоку, венчала надпись: «Царю правда первый слуга». В прежние времена судилище

разрешалось творить лишь с рассвета и до полудня: пока внутрь глядело солнце. Теперь в Палате даже днём зажигали светильники. Конечно, заправленные самым тонким маслом, чтобы не портить копотью драгоценной резьбы.

Стены и потолок судебни сплошь покрывал хитроумный узор. Куда ни глянь, тянулись изваянные в камне верёвки. Толстые канаты и тонкие бичевы. Где свободные, где стянутые узлами. Одни перевой глядели тугими и неприступными, другие, наоборот, были распущены, разрешены, готовы распасться. Творцы Палаты имели в виду ловчую сеть законов: виновных повяжет, невинных – освободит. Поговаривали даже, будто здесь содержалась полная роспись заповедей исконной Правды, но как её прочесть – никто теперь в точности не ведал. Каменотёсы и кожемяки, глухие к величию старины, чаще сравнивали закон с липкими паутинами: муха увязнет, шмель вырвется.

Эрелис жил в Выскиреге уже скоро год. Он часто ходил наблюдать суд и расправу. Душа не лежала, но куда денешься? Царский венец Андархайны не зря зовут Справедливым. Вот и гляди, шегардайский наследник, как делят несколько пядей тёплой стены, оспаривают украденное бельё, ложатся под кнут из-за передвинутого колышка на береговой меже.

Сегодня тенёта законов сотрясали крыльями сразу два могучих шмеля. Народу на раскате собралось заметно больше обычного. И во главе суда сидел не какой-нибудь скромный сановник. Сегодня рядил и приговаривал сам владыка Хадуг, второй сын державы.

– Смотри внимательней, государь, – шепнул Невлин, по обыкновению стоявший за плечом у воспитанника. – Сегодня тебе надлежит многому научиться!

Эрелис вздохнул, давая тёмную тоску. Чему другому, а терпению он сегодня обучится наверняка. Пальцы двигались сами собой, перебирая облачно-серую шелковистую шёрстку. Любимица, безразличная к людским страстям, щурила сапфировые глаза. Иногда Эрелису хотелось поменяться с кошкой местами.

Невлин шепнул ещё:

– Скоро ты сам начнёшь творить суд, государь. Перенимай же искусство взывать к познаниям райцы, чтобы каждое слово решения шло об руку со словом закона!

Тёплый охабень владыки искрился старинной парчой, стекая с престола тысячей золотых складок. У Хадуга было сурово-красивое, худое лицо, исполненное царской породы. Вот он повёл бровью, кивнул

законознателю. Советник-ра́йца, скромно стоявший у ступеней престола, отдал разрешение дальше – правителю судебного обряда. И уж тот громыхнул увитым бубенцами жезлом:

– Кланяйтесь четвёртому сыну Андархайны! Поборнику доблести, осрамителю нечестия, Мечу Державы, царевичу Гайдияру!

Обрядоправитель Фирин, с его голосом, достойным полководца или жреца, был плюгавой спицей в колесе власти, но полагал, что без него это колесо лишилось бы вращения. Острые на язык горожане давно переиначили его имя, заглазно прозвав жезленика Пы́рином. Набатные отзвуки ещё гудели в Палате, когда по влажному камню прошлёпали толстые кожаные подошвы. Люди раздались улицей – во главе десятка порядчиков вошёл Гайдияр. Воевода городской расправы. Статный, широкоплечий, в красно-белом плаще. С пернатым шлемом на руке, при мече и кольчуге.

Он отдал Хадугу короткий воинский поклон:

– Яви правый суд, государь! К твоей заступе прибегаю! Взывает кровь неотмщённая!..

...Кто бы мог ждать, что самый первый ответ на это возглашение раздастся извне. Громкое, непристойное «Ау-у-у!..» кота, алчущего подруги. Прозвучало так кстати, что народ не удержался от смешков.

Томная красавица на хозяйских коленях встрепенулась, издала ответный призыв и... выставила огузье, обратив его прямо на Гайдияра. Смущённый Эрелис торопливо подхватил кошку.

Взгляд великого порядчика быстро стёр с лиц ухмылки. Вновь стало слышно, как с чела судебни падали капли. Речи Гайдияра нечасто раздавались в Палате, разве что брань, если недовольные начинали буяннить. А уж с места истца этот голос не звучал доселе ни разу.

– Кто посмел обидеть тебя, младший брат? – пытаюсь не шепелявить, спросил царевич Хадуг.

Прежде Беды он числился шестым в лестнице и всю жизнь праздновал, не помышляя о троне. Он сидел нахохлившись, расписным веером прикрывал рот, лишённый двух передних зубов.

Гайдияр зычно ответил:

– Вот злодей! На нём кровь твоего слуги, моего отрока!

Воины расступились. Бросили на гладкие плиты крепко связанного человека. Лохматого, ободранного, избитого – поди пойми, стар или молод. Он завозился, пытаюсь хоть повернуться. Его взяли за ворот тельницы, лоскут остался в руке. Ругнулись, подняли за верёвки, поставили, шаткого, на колени. Злодей приподнял лицо, сплошь в кровавой коросте, глянул

одним глазом: второй безнадежно заплыл. Вздохнул, облизнул разбитые губы, грустно уставился в пол.

Райца владыки подошёл к вязню, тяжело опёрся на палку:

– Чей будешь, шатун?

Русая голова шевельнулась.

– Утешкой... рекусь... сыном Скалиным.

На раскате, где моросил дождь, произошло движение. Всхлипнул женский голос, повелительно и недовольно буркнул мужской. И вновь стало тихо, лишь непочтительно, гнусаво перекликались коты. Кто-то шикнул, покатился пущенный камень.

Райца посмотрел на владыку, кивнул обрядоправителю. Тот напырился, приподнялся на носки, ударил жезлом:

– Левашника Кокуру Скало сюда!

Толпа опять раздалась. Ближе к свету придвинулся середович в хорошем суконнике. Гневный, красный лицом. Следом семенила заплаканная жена. То тянулась вперёд, то пряталась за спину супруга. Молодой пасынок держался позади, торопливо сворачивал большую рогожу.

Вся семья повалилась на колени, земно кланяясь правящему царевичу Выскирега.

Хадуг милостиво кивнул:

– Встань, добрый Кокура. Мы привыкли похваливать твои лакомства и никак не чаяли увидеть тебя в этой палате... Что скажешь?

Мужчина послушно встал. Поклонился уже малым обычаем. Дородство мешало коснуться пола рукой, но шапка по камню всё же мазнула.

– Не вели казнить, праведный государь. Так скажу: за подворника этого я не ответен. Не знаю и знать его не хочу!

Вязень всхлипнул, качнулся. Женщина скорчилась на полу, еле слышно завывала.

Хадуг склонил голову на сторону:

– Ответчик иное бает. Сыном твоим сказывается.

Кокура твёрдо ответил:

– Мало ли кто кем сказывается, государь!

Люди сдержанно зашумели. Беда разметала немало знатных семей. В первые годы наследники сыскивались что ни день: вместо одного пропавшего по десятку. Ныне бесстыдный промысел почти прекратился, но, похоже, не насовсем.

Кокуру-лакомщика, прозванного завистниками Кока-с-соком, знал весь

Выскирег. Какие постилы выходили из его печей! Толстые, взбитые, на яйцах, успевай пальцы облизывать! Третьего дня в сладную лавку явился чуженин, потребовал хозяина, объявился его сыном Утешкой.

– Счастье-то! – обрадовались жалостливые.

– Ещё один сынок самочинный, – усмехнулись неверчивые.

Кокура мнимого отпрыска не пустил дальше порога. Велел убираться, отколе пришёл. И теперь с твёрдостью повторил:

– Не прогневайся, твоя царская милость. Рожоное детище у меня Беда забрала. Приёмное, на радость воспитанное, за спиной стоит. Иных нету!

Эрелис приглядывался к лакомщице. Баба не поднималась с колен, не разгибала спины. Марала по полу расшитую кикю, тихо постукивала кулачком. Хотела перечить мужу и не решалась. Эрелис отвёл глаза. Телесные клейма велись только в праведной семье. И то – до седьмых наследников, не далее. Откуда взять родовые улики сыну ремесленника? Матежи – родинки приметные – показать?

Хадуг повернулся к воеводе порядчиков:

– А ты что скажешь нам, младший брат?

Гайдияру, прежде одиннадцатому в лестнице, не досталось царского имени. Лишь храбрость и стать, достойные величия предков. Некоторое время назад на него возложили было надежду, стали выбирать тронное рекло... Эрелиса, так некстати обрётённого, Гайдияр до сих пор считал самозванцем.

Он ответил по-воински немногословно:

– Что скажу, государь... Кровь невинная из земли вопиёт, жжёт руки злодейские!

Хадуг милостиво кивнул. Видоков было в достатке. Отвергнутый Утешка поплёлся заливать горе. На шум, сотрясавший кружало, примчались Гайдияровы молодцы. Бросились раскидывать свалку. Когда всё успокоилось, на полу остались лежать двое. Крепко ошеломлённый Утешка – и отрок в накидке порядчика. С Утешкиным поясным ножичком в горле.

– Мой щит носил, – сказал Гайдияр. – Моим чадом звался. Ради него справедливости доискаться хочу, родич и государь!

– Расправа на именитого хозяина поднялась, – тихо пересуживал народец.

– Порядчики против порядочного встают.

– Что-то будет!

Вдоль стены бочком пробрался седой, рассеянно улыбающийся человек.

– Утро доброе, Машка́ра, – приветствовали городского чудака выскирегцы. – Неужто до сих пор не нашёл?

Он развёл руками: пока не нашёл, но надежды не оставляю. Встал поближе к светильнику. Начал вглядываться в изваянные узлы, отслеживать пальцем ход сплетавшихся ужищ. Про него тут же забыли.

– А ничего не будет. Откупится Кокура.

– Бездельное молвишь. От чего ему откупаться?

– Так вроде сын напрокудил...

– Сказал же, не ведает его и ведать не хочет!

Машкара вытащил из поясного кармашка непочатую цёру. Принялся чертить по гладкому воску, срисовывать полюбившийся узел.

– К Утешке этому присмотреться бы. Вдруг правда сын.

– Ты, что ли, присматриваться собрался? Своих перечти!

– Мать спросили бы...

– Кокуре чужак без надобности. Помощника справного вы́холил, а это кто? Подворник и есть. Скита́ла бездельный. Только нажитое губить.

– Такого прими, а он лихой рукой...

Хадуг сел поудобнее. Взял кружку, окунул нос в завитки горячего пара...

В этот миг случилось непоправимое. С раската донёсся кошачий призыв, звеневший такой мощью и страстью, что наследница благородных кровей растеряла остатки достоинства. Вывернулась из-под хозяйской руки, только хвост мелькнул! Шастнула между сапогами порядчиков. Саданула когтями слишком проворную пятерню. Эрелис дёрнулся было с кресла, но жёсткие пальцы Невлина впились в плечо. Шегардайский царевич остался сидеть, красный, взмокший, пристыженный.

Ликующее многоголосое «Ау-у-у!» взорвалось драчливым бесчинием, укатилось за пределы раската...

Хадуг спрятал усмешку в ворота охабня. Кивнул райце. Советник подошёл, остановился против ответчика:

– Как очищаться будешь, безродный?

Вязень дёрнул спутанными руками, прошамкал:

– Не без роду я, добрый господин... в людях рекусь...

Царедворец, суровый, бесстрастный, покачал головой:

– Не о том спрашиваю. Как правиться будешь?

– Как берёста на огне, – зарычал Гайдияр.

Вязень, жалкий, втянул голову в плечи.

– Твой нож был?

– Мой, господин... а порезал не я! Не я!..

– Видали сиротку, – скривил губы четвёртый царевич. – Спяну бить – удалец, самого побили – младенец безвинный!

Пламя светильников начало казаться Эрелису слишком ярким. Он сощурился, нашёл взглядом седовласого чудака. Любитель узлов пропускал накалённые голоса мимо ушей. Вглядывался, подправлял рисунок, снятый на церу...

Поговаривали, будто сплетения древней сети таили облыжный узел. В камне вырезать можно, а из верёвки не совьёшь. Кто сыщёт его – поймёт великую тайну. Люди на годы увлекались поисками, отчаивались, сходили с ума. Машкара был из числа самых упорных.

Советник обернулся к судье, тяжело опёрся на палку.

– Государь, – начал он с поклоном. – Твой достойный брат уже взял на допрос всех бывших о ту пору в кружале. Я был бы рад огласить имя убийцы, но каждый из этих людей клялся именем Справедливо Казнящей, что видел очень немного. Скажи нам, следует ли привести их на пытку для подтверждения клятв?

Народ зашумел.

– При Аодхе своих на дыбу не поднимали, чтоб пришлого обелить...

– При добром Аодхе, если правды не дознавались, самого убитого виноватили. Всё лучше, чем распря.

– Убиенный ведь сирота был? Вот и дело с концом.

– Сирота, сирота, а кому служил!

– Гайдияр не смирится...

– Теперь, значит, доброму человеку в кружале не погулять?

– Опять кого спяну убьют, а притомных на пытку?

– Ответчика вздёрнуть да покрепче тряхнуть!

– Не убивал я, – потерянно бормотал вязень. – Не убивал...

Старик Невлин привстал со скамеечки, поставленной, ради уважения к его летам, за креслом Эрелиса.

– Если бы ответчик привёл родню, несущую честное имя, добрая слава семьи могла бы его защитить, – на ухо пояснил он царевичу. – Люди согласились бы, что от сына достойного отца стоит ждать правды. Увы, этому юноше нечем подтвердить ни своё родство, ни свою безвиновность.

Эрелис так же тихо отмолвил:

– Почему государь не прикажет расспросить мать? Думается, она лучше всех поняла, сын пришёл или нет.

Где-то за раскатом, уже далеко, снова взвыли коты. Дрались за царицу.

– Жена следует воле мужа, – сказал Невлин. – Если муж по своему разумению ограждает дом, выстроенный его трудом и упорством, добрая

жена может только смириться. Тут никому встревать не рука.

– Даже для спасения жизни?

– Мой государь... Былые наставники приучили тебя следовать чести и благородству. Ныне ты подошёл к науке правления, а она таит немало скорбей. Ты исполнился горечи, видя, как домохозяин отказывается укрыть незнакомца, ибо хранит свой дом от разлада. Представь же, чем иногда обрекается жертвовать правитель страны!

Эрелис упрямо пробормотал:

– Люди, знавшие моего отца, удостоверяют, как он боялся осудить на смерть без вины...

Царевич Хадуг поставил кружку. Разговоры немедленно стихли.

– Итак, – прошепелявил владыка. – Блюдя город, наш брат Гайдияр потерял смелого отрока, своего названного сына. Тяжкие улики указывают на шатущего человека, пойманного порядчиками, и, боюсь, другой истины нам уже не найти. Наш брат прав: кровь вызывает к отмщению. Закон, живущий в этом чертоге, строгой мерой отмеривает убийцам. Однако превыше законов сияет правда милостивого правления, завещанная отцами. Нам следует оберегать всякую жизнь... особенно во времена, без того обильные скорбью утрат. Я ещё раз обращаю к тебе слово, добрый Кокура. Хочешь ли ты выкупить этого человека, чтобы взять его в дом?

Все обернулись к лакомщику. Оторвала голову от пола жена. Загорелся надеждой уцелевший глаз вязня...

Но Кока-с-соком был из тех гордецов, что не меняют решений. Даже тех, о которых, быть может, сами жалеют. Он твёрдо повторил:

– Нет, государь. Не знал я его никогда и знать не хочу.

Царевич помрачнел, спрятал руки в уютные рукава.

– Ума Скало не нажил! – долетело с раската.

– Сперва выяснил бы dokonно, родной или нет. Вдруг всё-таки сын?

– А нет, после бы выставил потихоньку.

– Теперь вовек не узнает.

– Мать, бедная, глаза выплакала...

– Молодец, Кокура. Не захотел постилы во дворец до смерти таскать на выкуп бездельнику!

Эрелис разглядывал резную сеть, обьявшую стены и потолок. Шмель прорвётся, муха застрянет...

Невлин вновь подал голос у него за плечом:

– Внемли, государь. Сейчас наш владыка произнесёт приговор. Отметил ли ты, как он разъяснил дело? Благородному Цепиру осталось лишь заглянуть в свою память, хранящую всю премудрость судебныхников.

Ему нет нужды листать бессчётные книги, он и так помнит, как послужило истине то или иное уложение твоих праотцов. Скоро и у тебя будет свой райца, чтобы опираться на его знания, верша правый суд...

Хадуг выпростал руки. Потёр переносицу – и действительно обратился к советнику:

– Я хочу услышать твою правду, Цепир. Что советует нам закон?

Хромой царедворец ответил незамедлительно и бесстрастно:

– По вконанью Гедаха, четвёртого этого имени, обличённого злодея следует приговорить к покаянию над волнами.

– Быть по сему.

Напряжённо слушавший народ охнул, заволновался, заговорил. Лакомщица тоненько завизжала. Утешка, малосведущий в обычае Выскирега, начал оглядываться, криво, неуверенно улыбнулся...

Гайдияр ткнул его сапогом в спину, свалил.

– Успеешь наулыбаться, засудок! – Поднял голову, деловито спросил: – На ком судебную продажу велишь доправлять, старший брат? С безыменки этого взять нечего.

Хадуг снова спрятал руки в тепло.

– Рассудим так, – проговорил он. – Мы истратили время на ничтожного бродягу, поправшего закон Андархайны. В Выскиреге он пришлый, но не вовсе чужой. Он как-никак искал здесь отца. – Перст царевича указал на вздрогнувшего Кокуру, в голосе прозвенело отчётливое злорадство. – Вот человек, в чьи двери он постучал! Если бы лакомщик, услаждающий нас заедками, по-доброму принял мнимого сына, не выпил бы тот в кружале мёртвую чашу. В назидание обрекаем Кокуру Скало с чадами и домочадцами быть притомными на всё время казни!

Сластник аж пошатнулся. Куда подевалась упрямая гордость! Кокура начал оседать на колени:

– Государь... надёжа-государь, милостивец... любой побор наложи, только откупиться вели...

Раскат сдержанно загудел.

– Стало быть, всякий бродень стукнет в ворота, а ты его принимай?

– Правски судит царевич!

– К ним тоже домогателей сполна приходило.

– Мать жалко...

– Одних Аодхов без счёта, и ни одного путного.

– Эрелис вон явился из дикоземья, с долгих скитаний. Приняли же!

– Лучше накормить да наутро путь показать, чем с порога в тычки.

– Если Скалиха сына признала, почто молчит?

– Мужа трепещет. Грозен Кокура, на руку скор...

– Хороша мать! Себя жалеет паче сына родного!

Хадуг с усмешкой смотрел на бледного Кокуру:

– Ты не дал нам помиловать грешника, заплатив за его жизнь, но готов откупиться, чтобы его смерти не видеть? Что ж, мы это позволим. Правдивый Цепир назначит пошлину, надлежащую нам за нынешний суд. Я, Хадуг, второй сын Андархайны, так решил и так возглашаю.

Имя, произнесённое вслух, скрепило окончательность приговора. Два воина просунули Утешке под локти ратовище копья, подняли, поволокли. Он скользил ногами по камню, растерянно озирался...

Заступница

Когда разразилась Беда, обезумевший Киян превратился в чёрную стену. Взвился под облака, ударил на сушу. Там, где прошла чудовищная волна, земля утратила облик. Пустоши на месте холмов, сметённые города, заваленные озёра... Царственноравный Выскирег спасли острова. Закрыли собой, как воины полководца. Страшный приступ искалечил их, выпотрошил, разметал. Прежде они красовались, обрамляя судоходную бухту. Теперь за краем пустой каменной чаши угадывалась в тумане разрушенная гряда. Безжизненная, неузнаваемая, зловещая. Былое Зелёное Ожерелье. Имя горчило в устах, но от него не отказывались. Признать окончательную необратимость Беды Выскирег никак не желал.

Когда море ушло, с ближних гор протянулись щупальца снега. Будто в насмешку, первыми вымерзли орлиные гнёзда городского почёта. Жилища простонародья держались упорнее, но, казалось, тоже были обречены. И угаснуть бы Выскирегу среди множества городов Андархайны, обезлюдевших и забытых... однако Киян, уходя, оставил выскирегцам подарок. В каменных пропастях, где прежде дышали морские приливы, теперь отзывалась гулкая пустота, согретая теплом земных недр. Скоро деловито зазвенели зубила, и город как бы перевернулся. Чертоги вождей спрятались в глубине. Беднота, как и прежде, зябла у поверхности.

– Только Правомерную Палату не стали переносить, – рассказывал Невлин. – Андархайна зиждется Правдой. Той, что крепче разрушенных гор, долговечней испепелённых равнин...

У него на родовом щите красовались железные узы, даруемые воинам чести. «Это оттого, что нас на цепь приковал», – говорила Эльбиз.

Сход по витой лестнице был долог и крут. Ничего неодолимого для проворных молодых ног, но старого вельможу спускали в кресле-носилке.

– Люди говорят, нет худа без добра, – сказал Эрелис наставнику. – Суд вершат на морозе, поэтому разбирательство редко затягивается надолго.

Невлин поморщился:

– Подлый народ, по обыкновению, непочтителен...

– Дядя Сеггар повторял: пока мы смеёмся над тяготами, мы бессмертны.

Невлин покосился на невозмутимых носильщиков:

– Мой государь всё никак не забудет прежнюю жизнь. Да будет позволено...

Тут он был вынужден замолчать. Лестница расширилась площадкой. Уши заложило: плотный занавес пыли сотрясаясь лязгом и грохотом. Мелькали полуголые тела, срывал голос назиратель работ. Каменотёсы били отвесную дудку для подъёмника. Выскирег продолжал строиться.

Когда кругом стало потише, Невлин сердито отряхнул рукава:

– Да будет позволено мне отвлечь мысли государя от прошлого и обратить их к насущному!

Носилка раздражала его. Что за царедворец, сидящий в присутствии господина, вынужденного идти своими ногами!

– Сеггар Неуступ нам говорил и другое, – пробормотал Эрелис. – Ссечённую голову обратно не приживишь. От воина ждут защиты, тем более – от царя.

Невлин вновь покосился на широкие плечи, покоившие передок кресла. Прямой обычай наследника временами ввергал в отчаяние. И зачем носильщикам перестали залеплять уши воском?

– Никто не сомневается в правосудии нашего властелина Хадуга!

Эрелис в кои веки подобающе согласился:

– Никто. – Но тут же всё испортил: – Мне просто любопытно, наставник. Утешка был сыном родительским или без правды посягал на родство?

– Правителя, рождённого судить подданных, воистину украшает пытливость... Однако напомним тебе: ныне дознавалось не чьё-то родство, а истина гибели доброго отрока. Постиг ли это мой государь?

Эрелис гнул своё:

– Когда у наших воевод витязей ни за что убивают, они...

– Царевичей Андархайны ведёт закон, а не месть, присущая вожакам бродячих дружин!.. – перебил Невлин. – Что ещё усвоил мой государь?

Эрелис усмехнулся уголком рта:

– Что наш старший брат Кокурины постилы весьма уважает.

Невлин всплеснул руками, удивляясь, отчего не сбивается размеренная поступь слуг и носилка не катится по лестнице вниз. Что за речи в присутствии подлого люда!..

Эрелис понял: огорчил старика. Закрыв рот и молчал до самой двери, где нёс стражу рыжебородый Сибир.

В чертогах, образованных из естественного хода в скале, никто не жил прежде шегардайских царят. Невлин Трайгтрэн считал это справедливым знаком судьбы. С чего начинать возрождение порушенного царства, как не с нового дома!

По меркам тесного подземного города обиталище сиротам досталось очень завидное. Пещеру завесили коврами, выгородив уютные ложницы и большую переднюю, чтобы сестре рукодельничать с девушками, а брату учиться принимать знатных гостей. Шершавый камень потолка ещё не успел зарости копотью от светильников, залосниться, как ношенная одежда. Одного жаль: юная хозяйка мало заботилась о достойном украшении дома. Другая бы придирчиво выбирала меха, раскладывала вышитые подушки...

Царевна Эльбиз и теперь отлынивала от занятия, приличного её сану.

В палате звенели коклюшки, звучало тихое пение – девушки, избранные царевне в сенные, плели знаменитое выскирегское кружево. Кто наскатёрник, кто подзор, кто оплечье. Только один кутузик праздно покоился на своих козлах. Эльбиз, облачённая, по обыкновению, в домашние гачи и тельницу с безрукавкой, стояла коленями в большом кресле с отслоном. Раскрыв деревянный оклад, бережно поворачивала листы, хрустевшие кожей. Против царевны сидел отрок постарше, с гребнем просватанного в волосах. Мерил деревянной разножкой дороги, испещрившие чертежи земель. Хмурился, что-то высчитывал. Сверялся с книгами о завоевании Левобережья.

На самом большом листе, прямо на ознake Шегардая, сидела дымчатая беглянка. Тянула заднюю лапку, вылизывалась. Тщательно, умиротворённо, неспешно.

При виде вошедших парень вскочил, ударил поясным поклоном. Пожилой челядин оставил сметать невидимые пылинки, пал на колени. Кружевницы бросили рукоделье, примяли ковёр головами в бисерных лентах.

– Не сердись, почтенный сын Сиге, – сказал Эрелис. – Все заметили, как владыка к побору дело клонил. Я постилы тоже люблю. Только есть их больше не буду.

У дальней стены виднелся верстак с тесличками и резаками. Рядом высилась дуплина, чёрная от морской воды, кое-где тронутая железом. Невлин гневно оттолкнул:

– Добрый правитель – не прачка, у которой что на уме, то и на языке. Правитель знает золотую цену своему слову и не роняет его в случайные уши!

Эрелис болезненно щурился на свет, но в глазах дрожали искры веселья. Дескать, мне-то пеняешь... Невлин покосился на склонённые девичьи затылки. Ещё до вечера пойдут пересуды: старый вельможа распекал отпрыска царей, да перед молодым Коршаковичем и всей комнатной чадью! Невлин было собрался выгнать всех вон и тогда-то

должным образом наставить Эрелиса на ум, но тут подала голос Эльбиз:

– Дядюшка Невлин... не объяснишь ли, что в книге написано? А то я и Злата уж спрашивала, а он тоже не знает!

Старик тотчас подобрел, обернулся. Эрелис временами приводил в отчаяние, но на царевну сердиться было невозможно.

– Что тебе непонятно, дитя?

– Вот здесь! – Эльбиз прижала пальцем страницу. – «Он купался в озере, а жена его – под струями водопада. Когда же он вышел на берег, жене довелось обернуться, и увидела она наготу мужа своего, и немедленно умерла, ибо не могла снести того её гордость...» Почему?

Девки разом наострили уши. Невлин поперхнулся от ужаса:

– Где ты вычитала такое?

Злат всё ниже опускал голову, безуспешно пряча улыбку. Эльбиз невинно моргнула. Глаза у неё были серые, как у брата, льняные волосы убраны по-северному, в тугую толстую косу. Андархский обычай распускать пряди казался ей привычкой бездельниц.

– В «Додревних сказаниях о славе Андархайны», – жалобно, словно отмаливаясь от розги, зачастила она. – Это про полководца Тигерна, нашего предка, и жену его Тайю. Вот скажи, с чего умирать? Подумаешь, нагота! Когда дядю Гуляя ранили в ногу, я...

– Во имя Закатных скал!.. – спешно перебил Невлин. – Дитя, здесь говорится не о больном, которому нужна помощь! Речь о супружеском целомудрии!

– А в чём оно? – удивилась Эльбиз. – Разве супруги не вручают один другому свою душу и плоть?

Мысленно Невлин поклялся завтра же вернуться с заботливой и доброй боярыней, способной объяснить сироте тайны женства... пока девочка с Сибиром советоваться не начала. Он откашлялся:

– Моей царевне следовало бы занять свой ум чтением более сообразным её естеству и летам...

Эрелис у него за спиной тихо проскользнул в спальнку. Впустил подбежавшую кошку, со вздохом облегчения опустился на лавку. Ткнулся левым виском в тёплый, урчащий бок.

– Ты сам что ни день о замужестве мне толкуешь, – летел с той стороны плаксивый девичий голосок. – А о чём ни спрошу, ответить не хочешь. Братцу Аро дядька Серьга служит, а моя бабушка Орепья...

Ко времени, когда там всё затихло, боль почти отступила. Ощувив рядом сестру, Эрелис, не открывая глаз, повинился:

– Опять на тебя старик нашумел...

– Я смотреть должна была, как ты на светильник мизю́ришь? – хмуро удивилась Эльбиз. Никаких слёз больше не было в помине. – Сильно грызёт? Сейчас девок повытолкаю...

– Не надо, истерплю, – отрёкся брат и вздохнул. – Что я без тебя делать буду...

Сестра села рядом, погладила по голове:

– Помнишь, дядя Космохвост говорил? Всё то же самое, только быстрее и лучше.

Свет, вливавшийся снаружи, перекрыл рослый Злат.

– А я смекнул, почему той жене день в ночь показался. Такую наготу увидала, что на самом деле не на что посмотреть!

Царевна фыркнула. Все трое засмеялись, даже Эрелис. Возле больной головы мерцали непостижимые кошачьи глаза. Уж я бы, мол, вам такого порассказала... да лень!

Второй день Беды

- Жги его, не жалей!
- Подстрекни, подстрекни!
- Не умеешь, другим бодило отдай...

Багрово-чёрное небо рдело над головами. Удар, проломивший все тверди Божьего мира, рассёк землю до огненного нутра, породив сотрясения, пожары и вихри. С хребта было видно зарево по южному окоёму: там плавился камень. На северный склон густо облетал белый прах пополам с чёрной копотью ближних гарей.

Люди, увидевшие конец привычного света, нескучно доживали отпущенный срок.

От двух вкопанных в землю столбов тянулись прочные цепи. Одна – к поясу полуголого человека, другая – к ошейнику огромного пса. Точно подобранной длины хватало как раз, чтобы не запутались, но биться могли. Совсем недавно здесь карали рабов, нерасторопных и дерзких. Баловали сторожевых собак людской кровью. Учили яриться на один запах невольника.

Беда опрокинула всё природное устройство. Мир сошёл с ума. Обученный кобель искал взглядом псаря: зачем уськаешь на человека, прежде неприкосновенного? Надсмотрщик тоже мешкал драться. Слишком хорошо понимал, во что превратят пёсы зубы его кости и плоть. Сзади тыкали острыми копытами, норовили достать факелом. Наконец человек закричал, взмахнул палкой. Кобель молча бросился наперехват. Две железные змеи вытянулись в одну струну.

Косматая толпа шумела, волновалась, наблюдая за боем.

- Ишь метко приложил!
- Нас каравиши, наторел.
- Пятиться вздумал? Гони его! Гони!

Третья сшибка стала последней. Не имея привычки ходить босиком, человек оступился. Страшные челюсти сомкнулись на локте, стали перебирать, круша плечо, добираясь до горла. Надсмотрщик дёргался и кричал, но спасения уже не было.

Медная копь звалась Пропадихой.

Ступенчатую чашу, выгрызенную вековым трудом каторжан, разбило судорогами земли, из трещин быстро прибывала вода. Обезображенных мертвецов поглощала жижа, зелёная от яри.

Неудержимая человеческая волна, извергнутая горой, захлестнула поселение у реки.

Самые смекалистые беглецы устремились к причалу. Набойные лодки, на которых третьего дня приплыл со свитой царевич, стояли красивые, вместительные, богатые. Грязные руки расхватывали золочёные вёсла: хоть на царском насаде, хоть в свином корыте, лишь бы прочь, прочь отсюда скорей! Пока войско не подоспело. Оно, войско, всегда рядом, когда на каторге бунт.

Уносить ноги спешили не все. Толпа хлынула в развратные дома и кружала, где гуляли надсмотрщики да бурлаки, водившие баржи. Оттуда посейчас ещё долетал вой, едва членившийся на голоса. Предвидя скорую гибель, варнаки гуляли напропалую. Терзали непотребных девок, пластая распутниц на грудах яркого тряпья, выброшенного во двор. Забавлялись с пойманными надсмотрщиками. Этим женского тела было не надобно, лишь бы узреть корчи смертного врага. Услышать, как былой господин униженно молит, потом ревьёт страшно, невменяемо, по-звериному.

Старичка, единственного укротителя охранных собак, вначале хотели спалить вместе с псарней. Всё же решили повременить. Кто-то смекнул, что кровожадная стая будет хороша для забавы.

Царевича и свиту одолели не сразу. Знатных гостей принимал в доме боярин, царской милостью державший здесь путь. Приезжие и хозяева были воины не последней руки. Отбивались полсуток. Последние живые, обессиленные, уступили числу. Связанных и кровавых приволокли на площадку для травильной потехи.

– Ну-ка, что нам досталось...

– Гляди зорче, у кого тут кровь золотая?

Пожилую боярина отделили сразу. Ардара Харавона вся каторга знала в лицо. Остальные выглядели близнецами – грязные, оборванные, израненные. В тускло-багровом свете поди разбери белокрысы от тёмных, андархов от левобережников. Царского знака ни на ком не нашлось. И кровь у всех была одинаковая, красная.

– Эй, боярин! Расточилось твоё боярство!

– Сказывай, который тут праведный?

За плевков наземь старому воину досталось кулаком сперва под дых, потом в рёбра.

– Огня сюда! Живо разговорится.

– Поднять, что ли, да усадить наземь с размаха...

– На цепь!

Седой псарь со слезами обнимал рычащего кобеля. Гладил сплющенное

ухо, дрожащей рукой разбирал слипшуюся щетину. Каторжники смеялись горю старика, не подходя близко.

– Ишь жалеет, точно дитя родное.

– Нас бы кто пожалел!

Пёс, удерживаемый лишь прикосновением хозяйской ладони, горбился, рокотал близкой яростью, зрачки метали отблеск пожара. Одна́ хватанёт, семеро лекарей не зашьют!

Харавона поддёрнули за связанные руки, потащили вперёд, на ходу сдирая исподнее. Загрызенного надсмотрщика отволокли прочь, опустевшим поясом трясли перед глазами боярина:

– Нам царевича не указал, укажешь пёсьему зубу.

У Харавона вздулись жилы на лбу, он тщетно противился.

– Не тронь воеводу, рабы, – раздалось из скопища пленных.

Добровольные палачи приостановились. У молодого вельможи с рассечённого лба текла кровь, товарищи пытались его усадить, прикрывали собой, он упрямо поднимался.

– Хотели праведного, берите!

– А то не возьмём?

И подняли, раскидав других вязней.

– Праведный, говоришь!

Связанного крутили, щипали, тыкали пальцами, кололи чем попадя. Отзовётся ли царская плоть по-иному, чем у обычных людей? Никакой особенности не находили.

– Чем докажешь?

– А докажу. Кто познать хочет, кастёны?

Грозен голос человека, шагнувшего за предел страха. Только здесь некому было послушать его. Все таковы собрались.

– Хорош пугать, пуганые.

– Истый царевич не за столы поспешил бы, а нас по правде рассуживать.

– С безвинных цепи сбивать!

– Да толку с ним? Самого на цепь, чтобы знал!

Последнее усилие смертника бывает достойно памяти. Воин рванулся. Бешеным движением расшвырял всех державших. Обратился к вожасу палачей. Добела стиснул за спиной кулаки...

Перед ним стоял огромный детина, ещё не высушенный тяжёлым трудом и скудной кормёжкой. Узкий лоб, могучая шея, на левой щеке – клеймо бессрочного заточения. Что с таким сотворит израненный пленник?

Варнаки галдели, насмешничали. У клеймёного вдруг остекленели глаза, он замер на полуслове, будто услышав далёкий призыв. А потом рухнул оземь лицом, даже не выставив рук.

Все вдруг замолчали, каторжан мгновенным вихрем отмело прочь...

И в тишине с речного берега прокричали рога.

Передовой корабль взбежал носом на отмель, в пепельной метели маячили ещё два. Позже оказалось: налётная дружина едва дотягивала до сотни мечей, но ошалевшей от неожиданности каторге померещились тысячные отряды. Всё царское войско, подоспевшее отбивать праведного!

Застигнутые врасплох, пьяные кто от вина, кто от крови, бунтовщики мало чем смогли ответить карателям. Большинство просто разбежалось от сплочённого клина, ударившего снизу на склон. Железный строй сметал, крушил, затапывал всё, что попадалось навстречу. Дружина с переднего корабля продвигалась настолько споро, что толпа на травильной площадке так и не успела решить, добивать пленников или поставить щитом. Первые меткие стрелы обозначили конец хмельной безнаказанности, сходбище бросилось кто куда. Осталось несколько десятков самых отчаянных. Эти расхватили копья надсмотрщиков, решившись забрать с собой кого повезёт.

Оборона плохо далась им. В самом челе клина рубился воин довольно скромного роста, но сущий ширяй. Он нёс тяжёлую чешуйчатую броню, как простую рубашку. Отринув щит, в две руки орудовал огромным мечом. Длинный, широкий клинок, заточенный с одной стороны и увенчанный этаким зубом, разил как колун. Крошил щиты, разносил головы под неумело вздетыми шлемами. Следом плыло знамя: серые крылья, хищный клюв.

– Хар-р-га! Хар-р-га!..

Тут уж самые стойкие кинулись врассыпную. Натиск могучего воеводы не оставил времени как следует отыгаться на пленниках. Над ослабевшим царевичем мелькнуло копье, но в ноги убийце, извернувшись на земле, вкатился воин из свиты.

Предводитель опустил долу страшный косарь:

– Тут, что ли, одиннадцатый сын?

– Сам чей будешь?.. – прохрипел боярин Харавон. Знамя и клич отметали сомнения, но не просто же так царевича объявлять.

– Знать бы, что обрадуюсь тебе, Сеггар Неуступ, – разлепил губы праведный. – Кто на помощь привёл?

Воевода оглянулся. Вперёд вытолкнули надсмотрщика в кольчуге, с обвязанной головой:

– А вот он. Мешаем зовут.

Царевич устало смежил ресницы:

– Буду жив, отплачу.

– Мне б домой, твоё преподобство, – заторопился Мешай. – Сестричей малых по лавкам четыре...

Его сразу утянули назад, в глубину строя:

– Царственные от слова не пятают. Кабы до завтра дожить, тогда разговаривать станем.

– Мне что спятит, что позабудет, – ворчал недовольный Мешай. – Вона, глаза под лоб. А мне как раз бы подарочек...

У берега отзвучал боевой клич. Это завершила расправу младшая Сеггарова чадь, ведомая подвоеводами. Когда старшее знамя вернулось к причалу, там перекатывался хохот. Бунтовщики, взятые кто у винной бочки, кто без штанов, колыхались мычащей толпой. Лихие обидчики слабых, жалкие против истинной силы. Выжившие непутки прикрывались рваньём, размазывали румяна и слёзы. Обнимали сапоги витязей, молили не оставлять на погибель.

Подвоеводы собрались подле вождя.

– Все целы? – коротко спросил Неуступ.

– Отрок Лягай скулой дубину поймал. Выправится.

– А веселье с чего?

– Варнаки угомониться не могут. С головами на плахе девок всё делят.

Сеггар хмуро оглядел никому не нужный полон. Ухоботье каторги, канувшей в прошлое вместе с былой Андархайной. И что теперь с ним делать?

– Под топор, – прогудел один подвоевода. Тяжёлая секира бабочкой порхала в непомерно сильной руке.

– Была охота лезо марать, – возразил второй, весёлый и гибкий. У него на новеньком знамени трепетала скопа.

Подошли ещё трое ближников.

– О чём спор, друзья?

– Нету спора. Воевода взятых судит, мы советами помогаем. Молви, Оскреметушка!

Седящий воин быстро взял сторону:

– Я с Ялмаком. Эти хуже крапивы, выводить, так под корень.

– Я бы... – начал второй.

Ялмак перебил:

– Мирóвщик, ясно, за щадю. Ты как мыслишь, Крыло?

Красавец-витязь – синий взор, тёмные волосы убраны с высокого лба – отмахнулся, сел чистить потрудившиеся мечи-близнецы. Судьба взыскала его редким даром оберучья, но не истой ревностью к бою. Он холил клинки, а казалось – струны после игры протирал.

– Мне ли забота? Воевода приговорит, я песню сложу.

Сеггар заслонил рукавицей глаза от колющих пепельных хлопьев. Долго смотрел в кровавое небо. На вершины хребта, окаймлённые глухо громыхающим заревом. Потом снова на пленников. Наконец вышел вперёд:

– Слыхали, поймники?

Те как-то разом примолкли. Отрезвели. Кто был пьян, вернулись в себя. Уставились на обтекающий кровью косарь. Услышали посвист лезвия возле своих шей.

– Всех бы вас по делам вашим казнить смертью. За былые грехи, за раны праведного царевича... а вот не стану. Чести много, непотребные души вслед светлой государевой посылать. Отплывём – ступайте, говорю, кто куда хочет. На новом разбое возьму, не помилую.

В толпе немного особняком держались несколько человек. С десяток обросших дикими волосами мужчин, починщиков насмешившей воинов ссоры из-за блудниц. А за широкой спиной одного косматого душегубца, кто бы мог ждать, таилась бабёнка из вольных. Хозяюшку весёлой избы суровый Кудаш избрал для себя. Отстоял кулаками, а дружски ему помогли. Так, всех вместе, сеггаровичи вытащили их во двор. И наставница «ласковых девушек» не бросилась к витязям за спасением. Она тоже сделала выбор.

В Торожиху

Жогушка, младший Опёнок, страсть не любил, когда мама его ребячила птенчиком, звоночком, кубариком. Оттого не любил, что заранее знал, чем кончится дело. Мама вытрет намокшие глаза, примется обнимать, целовать и... снова не пустит с другими ребятами кататься по ледяным валам на морозках. «Дома посиди, чадунюшко». Он и рад бы кроить лоскутья с бабушкой Коренихой или помогать брату Светелу варить клей. Но на что мама так его нежила, словно за порогом он должен был себе тотчас шею свернуть?

– Любит тебя, затем и боится, – объяснял брат. – Что случись, сама сразу жить перестанет.

– А тебя будто не любит? Меня только?

Светел тщательно обтягивал плетень снегоступа, широкий, облый, красивый. Ноге опора, глазу отрада.

– Я взрослый. Я кулаком стукну – обидчик из валенок улетит.

Жогушка задумался, кивнул, продолжил:

– И ещё ты пойдёшь братика Сквару искать.

Светел неторопливо кивнул. Свою взрослость он изрядно преувеличивал, но усы пробивались. Ровесники тайно радовались, что атя так и не благословил его молодцевать на Кругу.

– Пойду, – сказал он Жогушке.

– А скоро пойдёшь?

– А лыжи краше моих делать станешь, сразу и соберусь.

Жогушка задумался крепче. Срок выглядел несбыточным, как возвращение солнца. Узлы у него покамест выходили кривыми и неуклюжими, а к станку для выгибания лыж брат его вовсе не подпускал. Стращал: пальцы отдавишь. А уж самому раскалывать кряжики, вытёсывать ровные длинные доски... ох, небываемо! Младший Опёнок вспомнил о том, что было гораздо ближе и у всех на устах:

– А в Торожиху?

– Что – в Торожиху?

Губы начали кривиться, но Жогушка справился.

– Мама говорит, не дойду...

Светел вдруг рассмеялся. Он хорошо помнил себя таким же мальчонкой. И как мама боялась, что в дороге он убредёт от становища, заблудится, застудит ручонки-ножонки, утонет в оттепельном болоте,

совсем пропадёт. А на торгу его укусят чужие собаки, отравит лежалое лакомство, обидит злой человек. Дома дитяtko оставить, оно бы как-то надёжней. Правда, в те времена бабам вольно было у печки посиживать. Теплился огонёк дедушки, в самой силе мужевал Жог Пенёк, быстро подрастал Сквара...

– А дойдёшь?

Жогушка опустил глаза.

– Походник нестомчив должен быть, – строго продолжал Светел. – Ногами крепок, духом долог, станом надёжен. Сядь-ка на корточки, вот так... а теперь вверх выпрыгни!

Свезло Жогушке! Мудра была Ерга Корениха.

Когда Светел подступил к бабке за благословением идти с ватагой на торг, в избе пахло ужином. Корениха опустила руку с иголкой. Задумчиво поглядела, как свет лучины рождает сияние в жарых кудрях внука, бежит по уверенной поросли над губой. Прищурилась:

– Невестушка!

Равдуша, державшая на ухвате горшок, подняла голову:

– Что велишь, матушка?

Корениха кивнула в сторону клетки:

– Шатёр поднови. Все вместе в Торожиху пойдём.

Горшок с печёными рогозными клубнями чуть на пол не опрокинулся.

– Как – вместе, государыня? А Жогушка?

Братёнок, притихший на полатах, забоялся дышать.

– А что Жогушка? – спокойно ответила Корениха. – Не Пеньков разве побег?

– Так мал совсем! Слабенеk!.. Занеможет, расхворается, не дойдёт...

Светел весомо подал голос:

– Со мной – дойдёт.

Равдуша оглянулась. Хотела привычно щунуть сына: не твоего ума дело, молчи, пока не спросили. Только слова почему-то с языка не пошли. Сын стоял у порога, загородив плечами всю дверь. Жогова старая стёганка была на тех плечах как влитая. А руки! Мозолей гвоздём не проймёшь!

И за столом по всей правде на отцовском месте сидит.

Пятнадцать лет парню.

Равдуша часто заморгала. Подошла к Светелу, глянула снизу вверх. Он обнял мать, буркнул грубым голосом, приласкался. Повторил:

– Со мной – дойдёт.

– Ну... – выговорила она растерянно. – Если с тобой...

«Неужто поверила наконец?» Корениха скупно улыбнулась. Опять взялась за шитьё.

Лес кругом Твёржи, где братья Опёнки сызмала знали каждую тропку, был Жогушке как свой двор. Всё внятно в родной круговеньке. Нечастые клики птиц, повадки зверей, витающих у оттепельных полей. Постижимы токи метелей: обычных, с закатной стороны, и необычных, с востока. Просты и ясны повести следов на снегу...

Граница своего и чужого в чаще незрима. Нет здесь ни стен, ни ворот, просто дальше вот этого холма мы ни разу не забирались, что за ним?.. Шаг, ещё шаг... и вот уже обступил неведомый лес, шепчущий страхами и чудесами. По виду – совсем такой же, как дома. На деле... Жогушке всё казалось – здесь даже снег под лапками по-иному скрипел...

Конечно, младший Опёнок не показывал виду. Размеренно упирался кайком. Деловито переставлял нарядные, нарочно для него выгнутые лапочки. Оглядывался на брата. Светел вёз большие новые сани, нагруженные припасами и шатром. Жогушка те сани сдвинуть не мог, брат шёл легко.

Иногда Светел начинал хмуриться, прямо на ходу смыкал веки. Благо лыжня, проложенная передовыми длинного поезда, сама вела ноги. Когда такое случалось, лицо брата становилось суровым, сосредоточенным, незнакомым. Жогушка знал: Светел отодвигал голоса поезжан, отдалял мысли об узлах на поклаже, о Зыкиной задней лапе, пораненной наракуем. Окутавшись тишиной, он шагал среди боевых побратимов. Следовал за воеводой. Да не в шумную весёлую Торожиху – на юг. За Светынь. В немилостивое Левобережье, в чужедальнюю Андархайну. Туда, где, если подумать, вовсе нечего делать доброму человеку. Туда, где...

Взрослые тяжёлые мысли долго на уме не держались. Жогушка тоже просил себе саночки. Ну хоть маленькие. «Сам сверстаешь, сам и потянешь, – обещал Светел. – Не захнычешь в пути, полозья гнуть выучу!»

Жогушка не хныкал. Хотя временами идти становилось правда невмоготу.

Сейчас мама заметит, что Светел вновь размечтался, оставил присматривать за братишкой. Будут слёзы. Светелу напрягай, Жогушке обида... Кто бы ей объяснил: сынище не глядя, по скрипу снега, по дыханию меньшого определяет, пора ли тому влезать на тюки!

– Слышь, братёнок... Проверь, каково шнуры держатся.

Светел никогда не посылал его отдохнуть, только за делом. Жогушка понимал игру и был благодарен. Он отбежал с пути, запрыгнул на санки.

Снял снегоступы, начал дёргать верёвки.

В санки поменьше, нагруженные лыжами и бабушкиными куклами на продажу, поставили непреклонного Зыку. На изволоках бабы ему помогали. Морда у кобеля была вся седая. Светел пробовал впрягать с ним собак помоложе, но Зыка посторонков гонял. Ни с кем не желал честью делиться.

– Иди сюда, братёнок. Лезь на плечи.

– Я ведь тебя погрею, братище?

– Вестимо, погреешь! А я тебе сказывал, почему у клеста клюв загнутый?

– Расскажи! Расскажи!

Раньше Светел был глуп. Или просто мал, что, по сути, одно. Ещё при отце побывал разок в Торожихе – и целый год думал потом, как легко и счастливо, должно быть, там люди живут. Могучий зеленец, где отваживалась вылезать из земли трава, приютил аж три длинные улицы. С одной на другую ходят в гости, ребяшня воует и мирится, взрослые присматривают невест...

Долго же Пеньки не приезжали сюда.

Твёржинский зеленец состоял как бы из двух, один посильней, другой послабей. Во втором не то что трава – даже мох расти не хотел. Под низким пологом тумана лежало чистое песчаное поле. Зато места хватало и для торгова, и для всяких забав.

Когда прибыл твёржинский поезд, на широкой площадке возле тёплых прудов уже стояли палатки, юрил народ. Люди сразу набежали встречать знакомых походников. Соседски помогать с обустройством, заодно спрашивать, какой товар привезли, а главное, что нового слышно. Приветствовали Пеньков.

Светел быстро воздвиг шесты для шатра. Он тоже высматривал друзей – левобережника Геррика с сыном Кайтаром, но тех пока не было видно. Зато, едва растеплили очажок и мать с бабушкой собрались сменить походные сряды на обычные бабы, – явилась большакова сестра, великая тётушка Шамша Розщепиха, прозванная Носыней.

– Не зашла я к тебе при отъезде, сестрица, – усаживаясь, повинилась она Коренихе. – Сердце изнылось дорогой: как они, мои бедные? Кто ж им собратся помог?

Бедные! Спасибо, сиротками не назвала.

Бабушка спокойно ответила:

– Милостью Светлых Богов, сами управились. А на приветном слове благодарим.

Светел по другую сторону очажка ладил большой, на всю семью, походный лежак. Равдуша молча принесла чистого снега, повесила над огнём котелок – греть привезённые с собой мороженые щи.

– Ты-то куда из дому снарядилась, Равдушенька? – приняхавшись к котелку, укорила Носыня. – У тебя ребя малое! Не умом ли тронулась, дитятко по морозу тащить?

Жига-Равдуша не знала, как отвечать. Поглядывала на свекровь.

Та прятала досаду. Розщепиха в дороге не слезала с саней, да и теперь дел у вдовы было кот наплакал. Без неё полно рук возвысить шатёр, сготовить еду, постели постлать. Только осталось пойти беспутных Пеньков уму-разуму поучить!

Сейчас ещё попеняет, что сестрица Ерга без дела расселась.

Светел поймал бабушкин взгляд, живо сбегал к саночкам, притащил короб. Корениха вынула куклу, начатую в последний день дома, нитки, иголки. Примерила на реднину чешуйку еловой шишки. Она обряжала в броню гордого воина, вышедшего защищать Коновой Вен. Цельных шишек в лесу теперь стало не сбить даже самой меткой стрелой. Братья Опёнки ползали под ёлками на привалах, собирали остатки беличьих трапез. Новую куклу Светел успел прозвать Воеводой.

Розщепихе бабушка ответила, как надлежало создательнице героя:

– Нешто усомнилась, Шамшица, что я внуков и невестку соблюсти возмогу?

– Так по нынешним временам беспокойным поди людей разбери. Вона, сама в портах сидишь, как мужик какой, и невестке не возбраняешь!

Лучина породила в глазах Ерги Коренихи грозные огоньки. Корениха с Равдушей из самой Твёржи пришли своими ногами. Ровесница Носыни только-только присела, но поди что объясни. Розщепиха ещё припомнила важное, схватилась за щёки:

– Охти мне! А двор на кого?

– Ишутка присмотрит.

Светелу, неизвестно почему, стало стыдно. Ишутке бы тоже людей повидать, забавам порадоваться. Вся жизнь между хлопотом и рыбным прудом! Соседи на веселье, а ей – чужой двор доглядать.

Может, следующий раз...

Розщепиха не унималась:

– А что за товары, сестрица милая, приготовила? За многими тревогами недосуг было расспросить...

– Кукол на рундук выставлю. А внук лапками плетёными, иртами беговыми добрых людей радовать станет.

Розщепиха с сомнением покачала головой в чистой, как всегда, белой вдовьей сороке:

– Будто польстится кто на те лыжи? Вот сын твой, помню, верстал... Моё дело сторона, а люди что скажут? Мальчонка настрогал для потехи, старая на торг привезла?

Светел ощутил, как начали гореть уши.

– Лыжи внука моего, – ровным голосом ответила Корениха, – вся Твёржа подвязывать не стыдится, да и соседи через одного.

– Так мы, сестрица любимая, гуси не гордые... вас жалеючи берём... А сюда с Левобережья приедут! Из самой Андархайны! Я же что, я же правду говорю, которой тебе другие не скажут.

«Вот именно. Из Андархайны...»

Бабушка оглянулась на Светела. Посмотрела на Равдушу. Трое подумали об одном.

О старшем родительском сыне, безвестно канувшем за Светынью.

Откинулась входная полсть, в шатёр спиной вперёд проник Жогушка. Согнувшись, упираясь, пыхтя, братёнок тащил Светелу последнюю теснину для лежака.

При виде усердного малыша Розщепихино остроносое личико сморщилось улыбкой, но тут же вновь омрачилось.

– Ты бы, Равдушенька, малюточку пристальней берегла... На торгу калека побирается, со спины – ну точь-в-точь старшенький твой, я увидела, аж прям сердце зашло!

Мама ахнула, заметалась.

– Светелко, – сказала Ерга Корениха.

– Что, бабушка?

– Ступайте-ка оба, погуляйте вокруг, пока щи греются.

За любушку

Чего бояться в Торожихе потомку храбрецов, у которого есть старший брат? Совсем нечего. Жогушка и не боялся. Он просто жался к ноге Светела всё плотней, потом вовсе обхватил её, уткнулся лицом. Братище остановился. Рассмеялся, подхватил Жогушку, крепко обнял.

Поднял высоко над собой, заставил вспомнить Рыжика. Тайные, опричь маминых глаз, полёты над лесом.

Усадил на плечи.

Вот теперь можно было вертеться вправо и влево, заглядывать через головы, насматривать самое занятное впереди.

– Видишь? – спросил Светел. – Во-он там!

Жогушка вытянулся, проследил, куда указывал брат. Седой дедушка, окружённый шумной ватагой парней, девок и ребятни, катил ручную тележку. Сквозь отверстия лубяной клетки мелькали серые перья, долетал воинственный гогот.

– Гуси! – обрадовался Жогушка. – Как наши!

Светел кивнул:

– Как наши, да не совсем. Дóма простые, эти боевые.

Жогушка с сомнением посмотрел на тележку. На его взгляд, домашние гуси тоже мирным нравом не отличались. По крайней мере, без хворостины к ним лучше было не подходить. У Жогушки разгорелись глаза.

– Боевые? У них дружина гусятная? Расскажи!

Светел легонько подкинул его на плечах:

– Что рассказывать, пойдём поглядим.

А сам, пробираясь вслед гусачнику, кланяясь знакомым, обшаривал людское скопище взглядом. Кого видела Розщепиха?

«А что, если...»

Сквара, вырвавшийся от мораничей. Покалеченный жестокими котлярами. Таящийся почему-то.

«Да ну. Нешто станет Сквара на чужом торгу побираться? Какая ему Торожиха, он домой прибежит...»

И принесёт всей деревне беду.

«Чтобы нас... как Подстёг...»

Захотелось скорей назад, в свой шатёр. Оборонять маму с бабушкой.

Среди русских макушек мелькнула темноволосая. Светел вздрогнул, забыл гусей и весь белый свет, шагнул... Человек повернулся, сказал что-то

спутнику, показал руками, засмеялся. Карие глаза, нос баклушей. И во́лос, если приглядеться, вовсе не Скварин.

– Светелко, ты куда? – удивлённо подал голос братёнок.

Светел очнулся. Вздохнул. Вернулся в шум купилища, почему-то не затканый песнями и гусельным звоном. Заново отыскал впереди лубяную клетку. Наддал шагу. Когда они с Жогушкой подошли, люди уже раздвинули круг. Седой гусачник весело препирался с другим таким же охотником. В клетках хлопали крылья.

– Маловат боец!

– Струсит сразу. Попятит. А голову ссечёшь – и ни тебе навару для щей.

– Уж твой-то велик! Жир да перья! К бою холил или к свадьбе откармливал?

Люди смеялись, вспоминали былые подвиги соперников, делали ставки.

– Это разве бой!.. Вот осенью оботуров пускали, грому было – рундуки по рядам тряслись!

– Так то осенью...

– Зарничек, – узнал Светел парня, помогавшего старику.

Дед и внук жили в сутках бега от Твёржи. В деревне Затресье, славной крепкими рогожами и боевыми гусями.

– Светелко! Погоди, недосуг...

Дедушка уже открывал клетку.

Для начала охотники выпустили гусынь. Опытные задорщицы чуть потоптались, оглядываясь на свободе. Увидели чужачек. Забили крыльями, стали шипеть. Хозяева тут же вынули из корзин самих поединщиков. Крупных, сильных, свирепых. Гусаки тотчас разъярились, встопорщили ожерелки. На моих любушек посягать? Не спущу!..

Бросились! Потеха пошла. Хлестали мощные крылья, цепкие клювы драли за папортки – только пух на стороны.

Гусыни хлопотали кругом, подзуживали, радели. Хозяева и позоряне оценивали каждый щипок, каждый удар:

– Смотри, смотри! В глаз метит!

– Оплошка это!

– Не оплошка, а голову прочь да с капустой в горшок!

До того расшумелись, что Светел не скоро слышал голос из-за спины:

– Опёнок!

Он внял наконец, оглянулся:

– Кайтар! Друже!

– Ты где был?

– Да вот шатёр только поставили.

Жогушка чинно поклонился с братниных плеч:

– Можешь ли гораздо, дядя Кайтар.

– И тебе на лёгки лыжи, племянничек, – улыбнулся левобережник. За год, что не виделись, он возмужал, оплечился, голосом и повадками стал суший отец. Так дело пойдёт, сам собой примется на торг выезжать.

Кайтар вдруг покраснел, помялся, спросил:

– А вы... ну... дединька, сосед ваш, приехал?

На самом деле, понятно, спрашивал он совсем не про деда. Светелу опять стало стыдно.

– Они с Ишуткой дома остались. Да вы после торга к нам небось?

Кайтар вспомнил о деле. Тотчас из робкого парнишки обратился в хваткого молодого купца:

– А как иначе! Без твоих лыж домой не рука! Вот не знал батюшка, что сам припожалуешь. Ты хоть не расторговался ещё?

Вернувшись с Кайтаром в шатёр, Светел даже подосадовал, не застав Розщепихи. Значит, его лыжам осмеяние предрекать – она тут как тут, а порадоваться, что Кайтар с отцом не глядя все забирают, – поминай как звали? Скучно зато заживёт Твёржа, когда Розщепиха со святыми родителями воссядет. «Есть старуха – убил бы её. Нет старухи – прикупил бы её...»

Котелок над очажком уже закипал. Мама сразу пригласила Кайтара к трапезе.

– Кайтарушко... – нерешительно проговорила она. – Вы, торгованы удалые, всюду побывали... всё видели, про всё слышали...

У Светела сердце стукнуло мимо. Будь у Кайтара новости, поди, не выложил бы прямо под гусиные крики? И ещё. Прежде мама всегда ждала ответа от Геррика. Теперь спрашивала сына. Бежит время.

Кайтар отведал щей, вздохнул, с поклоном отмолвил:

– Мы помним слово, данное твоему мужу, госпожа Жига. Не обессудь, но мне пока нечем тебя повеселить.

Равдуша померкла, отвернувшись, жалко изломив брови. Светел знал: мама шла в Торожиху ради вестей, которые могли доставить сегдинские. Пять лет!..

Для Коренихи, надобно думать, вкусная щаная капуста тоже обратилась опилками, но бабушка лишь негромко сказала:

– Мой внук объявится. Мы будем ждать.

Двое парней живо достали из санок рогожные кули с лыжами. Взвалили на крепкие плечи, понесли в другой конец рядов, где обосновался Геррик.

– Потом-то всё же завернёте к нам погостить? – спросил Светел.

Кайтар высунулся из-под ноши, кивнул:

– Батюшка собирался.

«А как иначе. С дедом Игоркой о внучке-славёнушке потолковать...»

Светел немного подумал, фыркнул, засмеялся:

– Получается, съездят мои лыжи туда и обратно! Зачем вёз?

Воздух торговых рядов слегка пьянит, обращает отчаянных неклюдов улыбками, самую простую шутку заставляет искриться. Кайтар тоже развеселился:

– Не ты на лыжах – лыжи на тебе! Людям смех!

– Я-то ладно, а сам? Опытный торгован! Вот скажи, на что сейчас тюки было развязывать? В Твёрге бы и передали, и сочлись...

На хохот парней весело обернулась невысокая женщина, ходившая по торгу в сопровождении дочек. Светел тоже повёл взглядом на девок. Скромницы показались ему на диво пригожими. Гибкие, тоненькие. У двух косы русые, у третьей смоляная. Под лукавыми взглядами Светел вдруг вспомнил, что по милости Розщепихи так и не принарядился. Ставя шатёр, лишь сбросил кожух, в коем шёл по морозу. А добрый кафтан, крашенный, на петлицах, вот бы, расправив плечи, мимо девок ходить, – остался в тюке. Экая досада!

Ещё через десяток шагов Кайтар оставил веселье, помялся, проговорил:

– Я при твоей матери сказывать убоился. Мало ли... незачем ей попусту плакать. Заезжий гость баял, зимой в Шегардае скоморох людей тешил. Владычице смеяться дерзал.

«Дядя Кербога!..» Вслух Светел удивился:

– С чего плакать?

– А с того, что бесчинника, люди бают, моранич пришлый отвадил.

«Ох. Дядя Кербога...»

– И что... Отвадил, говоришь? Он его... он...

Продолжать было страшно. Кайтар поспешил успокоить:

– Песнями перепёл. Хвалами Царице. Начисто посрамил.

– Скомороха?... Перепел? Да ну, не морозь.

– Я передаю, что от людей слышал. Молодой вроде парнишка. Волосом чёрен.

Туман зеленца разом набряк, пригасил оживлённый шум торго, мокрой шубой навалился на плечи. «Чтобы Сквара... хвалы моранские пел... И волосы у него вовсе другие. Чёрно-свинцовые...»

– ...И голосина – утки на лету падали. Твой брат петъ был вроде горазд?

«Голос крылатый...» Светел приговорил решительно и почему-то охрипло:

– А чтоб шиш на левой руке гнулся плохо, не примечали?

Кайтар покачал головой:

– Про такое речей не было.

Светел кивнул:

– Тебе, друже, спасибо, что матери промолчал. Правда твоя, незачем ей зря горевать.

В первые годы после Беды, когда в удобной Торожихе затеялся торг, люди меняли вещи и снедь. Такое и поныне велось, но матёрые купцы держали под руками весы. Рубили на колодах андархские сребреники, сводя счёт.

Светел возвращался от сегдинских, храня звонкий мешочек и чувствуя себя богачом.

Как радостно, оказывается, любоваться резными костяными ложками, поливными горшочками, пасмами крашенных ниток – и понимать: а вот возьму и куплю, чего ни пожелает душа! Светел улыбался, гордо нёс подбородок, отворачивался от соблазнов. Уж мама с бабушкой разберутся, будет ли утка с водяным горохом на тонком андархском блюде вкуснее, чем на простом деревянном! И какие штаны к телу мягче: домашние стёганные – или кожаные, привозные с левого берега. Может, с великих барышей даже в корчемный шатёр выберутся, чужих пирогов попробовать, сладкого пива испить...

Удивляло, что по-прежнему нигде не было слышно гуслей.

Зато гнездарей хватало по всему торгу. Светел знай поглядывал, желая и боясь узнать Звигуров. Что делать, если вправду появится дядька Берёга? Не узнать, гордо мимо пройти? Скрутить гордость, о новостях расспросить? Вдруг они про Лыкаша вызнали, а с ним и про Сквару?

Не он один чаял новостей, искал знакомые лица.

– Десибрат Головня что-то мешкает. А грозился соли доставить, сушёных грибов.

– Шабра своего дожидается, Дегтяря.

– Дегтяря?

– Летось за его смолу на торгу в кулаки шли. Ныне вроде сам хотел выехать.

– Забоялся, поди. Дорога не ближняя, лихие люди пошаливают.

– От лихих людей опасную дружину нанять можно. Барыша достанет небось.

Светел вновь размечтался. Увидел вешки в лесу и медленный поезд, ползущий сквозь снеговые завалы. Вот с гиканьем встают из-за выворотней разбойные люди, один другого страшней! Размахивают кистенями да копьями, тянут руки к поклаже!

Только походники непросты. Витязи распахивают плащи, оказывая кольчуги. Рвут из ножен мечи. А ну, кто храбрый на нас?..

В рядах было тесно. Светела толкали слева и справа, рассеивая мечту. Слышались громкие голоса. Двое покупателей стояли борода в бороду, мерили один другого грозными взглядами. Продавщик маялся растерянный, держал муравленый андархский горшок.

С дальнего лотка взгляду отозвался железный блеск, неодолимо манящий. Светел поддался. Не купить, так досыта насмотреться!

– Можешь ли гораздо, дядя Комар, – поклонился он кузнецу.

Кто не знает Синяву Комара, ножевщика, оружейника, славного на весь Коновой Вен!

Волосатые ручищи любовно холили ветошкой новенький клиночек. Испытывали заточку, сбывая по волоску. Синява неспешно поднял глаза. Увидел Светела. Кивнул, прищурился на твёржинский узор у ворота стёганки:

– Ты, что ли, сынишка Пеньков?

– Люди так зовут, дяденька.

– Ишь вымахал парнюга. Лыжи уставляешь?

– Как не уставлять, дядя Синява. С ними пришёл. А бабушка – с куклами.

– С куклами? – оживился кузнец. – Где встали, чтобы мне знать?

У него на лотке лежало много ножей, все острые, красивые. Обычные маленькие поясные. Длинные, в пядь, удобные для охоты и боя. А прямо над головой, на шесте навеса, красовался меч. Не продажный, вестимо. Ещё не хватало мечи кому ни попадя на купилище продавать! Висел зримым свидетельством: этому делателю и такое искусство знакомо. Приходи сговаривайся. Заберёшь через полгода.

Светел не мог оторвать взгляда от плетёного узора на гладком клинке. Пытался представить в руке грозную и благородную тяжесть. Не получалось. Лишь зубы сводило желанием купить что-нибудь для воинской

справы. Но вот что? Надёжный лук у Светела был. И копье было. В полратовья, с перекладиной и с ножами. Ну хоть что-нибудь. Хоть ремешок – придёт день, на таком же купилище завязать ножны. Смешно. Глупо. Но сил нет, как охота подвинуться на волос ближе к задуманному!

– Дядя Синява, – откашлялся Светел. – Ты, смотри, меч повесил. Не дружину ли ждут?

Кузнец усмехнулся:

– А то. Говорят, сам Ялмак припожалует.

– Лишень-Раз?.. – ахнул Светел. Глаза разгорелись. – Железная?!

Он знал наперечёт всех вождей, ходивших на Коновой Вен. Особенно тех, чьи дружины удостоились особых имён. Ялмака с его Железной и Сеггара Неуступа, водившего Царскую. Светел жадно слушал людские пересуды, раздумывал, выбирал... жарко волновался, словно кланяться воеводе предстояло прямо назавтра.

Глядя на парня, Синява покачал головой:

– Ты, вижу, дурости ребячьей не перерос. Мать небось потекает, а без отца хворостинной отбаловать некому.

Светел сразу померк. Спрятал глаза. Так-то. Люди всё про всех знают. Иногда это вроде хорошо. Иногда...

Он заводил разговор, думая упросить кузнеца дать к мечу руку примерить. Теперь не подступишься. «Меньше надо болтать, что из дому с воинами обрётся. Каждому теперь объясняй – атя благословить обещал?..» Ждать, какими ещё словами Комар придумает его на ум направлять, не хотелось. Он отдал простой поклон:

– Спасибо на заботном слове, дядя Синява. Пойду я.

«Дурость, значит. Ребячество. У тебя бы сына свели. Бабушке донесу, она кукол от тебя всех спрячет подальше!»

Светел сердился, хмурился. Думал про Ялмака. Даже не глянул на молодожавых супругов, остановившихся у соседнего шатра. Женщина пугливо держалась за руку мужа. На лотке, принадлежавшем троюродному брату Синявы, лежали очень хорошие долотца, ложкорезы, клюкарзы. Супруги не замечали. Молча смотрели то друг на дружку, то снова на Светела. Непонятно тоскливыми, больными глазами. Мужик был крепкий, светловолосый. Бабонька мела песок новой праздничной понёвой, зелёной с серым глазком.

Новая подруга

Горечь от слов Комара на вечный век не осталась. Слишком много занятого творилось вокруг. Услышав в стороне задорное пение, Светел свернул с прямой улицы. Может, там-то наконец сошлись гусяры, умение сравнивают?

На песчаной площадке сдвинулся плотный людской круг, однако Светел никому особо ростом не уступал. Вытянулся, приподнялся на цыпочки, всё как есть разглядел.

Внутри круга ревновали один другому корзинщики.

У справного хозяина ничто не пропадает зазря. Кто-то чистил рыбное озерко от сорной травы, негодной даже на сено для коз, – и смекнул, что тощие стебли как раз годились плести. Дурное вичьё – не лоза, но чем уж богаты!.. Кликнули потеху. Поставили корыта с водой. Низкие скамеечки для удобства.

«Так ведь щит сплести можно, – тотчас озарило Светела. – Кожей обтянуть. Берёстой оклеить...»

Под крики позорян плетельщики взялись за дело.

Любо-дорого следить, как споро мелькали сильные пальцы! Выхватывали из вороха самый гожий стебель, а то по два сразу. Свивали невзрачные плети в тугой прочный узор. Давали порядок, радость и красоту. Плотно сбивали колотушкой... И всё будто вприпляс. Легко, весело. Чего стоила подобная лёгкость, Светел очень хорошо знал.

«Вот бы объявиться пораньше. Сейчас бы с ними тягался!»

Из такой травы он никогда прежде не плёл, но, без сомнения, совладал бы. Только мама могла не благословить. «Вперёд людей лезть, пока упросом не упросят, – правды в том нет!»

А бабушка добавит:

«Леворучье остерегись являть. Недобрых глаз много...»

И будут обе правы. А ты, значит, ходи стреноженный мимо веселья. Мечтай, пока пора деяний приспее. А скоро ли ей приспеть, если Жогушка ещё мал? Соседи соседями, но вовсе без мужской руки дом покинуть?

...Кто-то уже сплотил донце, поставил стебли для боковин. Кто-то, наоборот, начал с обода, проворно гнал вниз...

Изначальный порыв успел отгореть. Позоряне подходили и уходили. Беседовали о своём. Самые упорные коротали время песнями. Отмечали хлопками ладоней каждый круг голосницы. Пестерь – дело долгое.

Однообразное. Не борьба с носка. Не стрельба лучная. Голоса поющих скучнели, делались жиже. Скоро кругом ристалища останется только родня. Да и та возьмётся зевать.

– Гусяра бы, – вздохнули неподалёку. – Без гусяра какое веселье.

Светел наострил уши.

– Гусяра? Дурных нету играть: Крыла ждут!

– Все гусельки попрятали, кто и привёз.

– Ещё третьего дня подвалить должен был. С ялмаковичами.

– Раньше вроде с Царской ходил?

– Ему кто указ! Такой всюду желанен.

– А пока ждут, скучать велишь?

Светел решился. Раскрыл рот. Оробел, смолчал. Снова решился. Кашлянул.

– Я сыграть могу. Я эти песни все знаю.

К нему обернулись.

– Тут каждый сыграет, да никому не охота.

– Молод больно. К мамке ступай!

– Ручищи у тебя, парень, не по струнам похаживать...

– Вправду можешь или без толку болтаешь?

Светел рассердился, насупился, робость вмиг отбежала.

– Дома, в Твёрже, кулачный Круг водить довольно хорош был...

– В Твёрже?

– А гусли привёз?

– Ну...

– Беги, парень, за гусельками живой ногой! Распотешь добрый народ!

Хотелось влететь в шатёр, чехолок в охапку – и немедля мчаться обратно, пока плетельщики не завершили трудов!

Мама с бабушкой сидели перед шатром, у лубяного рундука с куклами. За их спинами, на толстом войлоке, в обнимку с Зыкой спал Жогушка.

Светел поклонился матери, отдал кошель, тяжёлый от серебра:

– Геррик сегдинский приветное слово шлёт, в гости обещается. Мама... люди меня на гусях просят сыграть. Под ристалище... Благословишь?

Спросил замирая. Чего только не передумал, пока Равдуша поднимала глаза. «Откажет. Дел найдёт в шатре и вокруг, напомнит соседям помощь подать. Убоится: дитяtko на торгу пропадёт. И что́ тётушка Розщепиха говорить станет...»

Мама с каким-то беспомощным восторгом оглядела взрослого сына:

– Ступай уж, Светелко.

Он засиял. Пригрозил пальцем Зыке, чтобы не вскочил, не разбудил Жогушку. Перешагнул обоих, скрылся в шатре... Вынырнул уже в кафтане цвета тёмной ржавчины при жёлтых петлицах. Вынес в руках такой же колпак и берестяной чехол с гусями.

– Пуговку перестегни!

Светел ударил матери с бабушкой поясным поклоном, ринулся прочь. Сперва шагал, пытаясь быть степенным и взрослым. Не выдержал, сорвался на бег.

Корениха с Равдушей переглянулись.

«Славный вырос парнишечка», – хотела сказать Корениха. Не успела. Невестка вдруг всполошилась:

– Что за ристалище, не сказал! Вдруг из луков мишёнят?

Уже пожалела, что отпустила его, уже въяве услышала звон шальной стрелы, бьющей в тонкую полочку гуслей... и добро ещё, если в гусли... Сейчас на ноги вскочит – догонять сына, присматривать, чтоб худа с дитятком не случилась.

– А ну сиди! – свела брови строгая Корениха. – Серебро вон какими кошельми таскает, а тебе всё маленок, всё глупенек!.. Я за Жогом так-то не назирала. И тебе не велю!

– Да смирное у них ристалище, – прогудел густой голос. – Корзины взапуски плетут, а без гусяра скучно. Поздорову ли, государыни Опёнушки?

Женщины обернулись.

– Сам гораздо можешь ли, Синявище! Присаживайся, в ногах правды нету...

Шамша Розщепиха обходила ряды неторопливо, с достоинством. Как то подобало сестре твёржинского большака. Не лицо матёрой вдове входить в заботы купли-продажи. Для этого младшая родня есть, братучада, невестки. Ей, Шамшице, разведывать красный товар, гладить привозные шелка, ворошить белёную шерсть, оценивать смурые, чермные, зелёные нитки... пересуды вести о делах дальних и ближних.

– Старика у них в самый Корочун ударом ударило.

– Ой, беда! Нам-то помнится крепким, плечи – во, краснорожий... поглядеть – до ста лет изводу не будет!

– Так оно и бывает. Большое дерево разом падает. Скрипучее, хилое по два века скрипит.

– Что ж он теперь?

- Еле говорит, всё сынами повелевает.
- И как сыны? Слушают?
- Да ну...

Мимо рундуков, где выставляли изделия сродни домашним, Розщепиха проплывала с величавой надменностью. Вот уж радость была растрясать в дороге старые кости, чтобы глаза пялить на знакомое! А то её племянницы с невестками за гребнями не сидели, тонких ниток не пряли, кросна не уставляли на браный узор! Розщепиху влѣк чужедальний привоз. Смушки морских зверей с устья Светыни. Водяные орехи, пряные травы с левого берега. Затейливые пряжки, булавки... А в первую голову, конечно, посуда, добытая по разрушенным городам Андархайны. Где ж она?

– В Койге-хуторе что случилось, слышали? Дитя родилось о двух головах.

- Да ладно!
- Мѣрное, поди? Или подышало немножко?
- Кричит на два голоса и разом обе титьки сосѣт.
- Оттого небось, что Койдиха дом в перепутную избу обратила, что ни седмица, то гости опять.

– Если б святые родители гневались, умерло бы дитя. А раз кричит...

Мимо прошла баба-гнездариха. Следом семенили три послушные дочки. Носыня пригляделась к вышивкам на рукавах и подолах, не опознала узора. Наверно, глаза под старость стали не те. А вот девки – взору услада, отчему дому благословение, матери венец! Ай, скромницы, смиренницы, выступают тихохонько, ресниц зря не вскинут, ушки серебром завешены на случай непристойных речей...

В Твѣрже бы кое-кому подобное добронравие! Навстречу безо всякой степенности пробежал Светел. Шапка чуть с затылка не валится, кафтан полами разметался, коробок с гуселишками наперевес... Куда Равдуша с Коренихой глядят?

– Охти-тошненько, – долетел голос. – Не минуть, бабоньки, нам скорой войны!

- Это с чего бы?
- А с того, что в Шегардае Ойдриговичи объявились.
- Откуда взялись проклятые?
- Всѣ врут андархи, нам напужку дать норовят!
- Может, и врут, только люди вечем стояли и красный боярин по писаному объявлял.
- Где Шегардай, а где Торожиха!.. Кто на сорочьем хвосте принѣс?
- Геррик сегдинский.

– Ну... если Геррик...

– Что будет-то, бабоньки?

– А ничего! Деды Ойдриговичей отваживали – и внуки отвадят!

– Да кем сказано, что непременно война?

Век бы таких вестей не слышать! Никто не радуется войне, кроме иных дурней безусых, гадающих, на что удасть направить... Розщепиха тихо ахнула, закусила палец. Решилась бежать назад в свой шатёр. Решилась остаться и послушать ещё. Тут её тронули за рукав.

– Здравствуй, государыня большакова сестрица.

Шамша испуганно оглянулась. Слова о близкой войне заставляли отовсюду ждать скверного, страшного. Однако перед ней стояла всего лишь та пришедшая гнездариха. Глядела в глаза, ласково улыбалась.

– И ты здравствуй, добрая сестрица, – не сразу отыскав голос, пискнула Розщепиха. Заново взгляделась, прищурилась. – Прости уж, подслепа стала на старости, не умею звать-величать...

– Было б за что прощать, – рассмеялась чужачка. – Мы в Торожихе странные странницы, наши рукава тут никому не в догадку... Зато ты, почтенная Шамшица, погляжу, всё знаешь. Не подашь ли совета доброго?

Первый страх успел миновать. Польщённая Розщепиха забыла убежать с торгового, забыла слушать чужой разговор, лишь повторила:

– Молви всё же, сестрица, как похвалять тебя?

Та шире заулыбалась, притянула к себе дочек:

– А жалуй-похваляй ты меня Путиньей, по батюшке Дочилишной.

Рядом с женщиной, живущей такой достойной и радостной жизнью, тревожиться о тёмных кривотолках сделалось невозможно. Розщепиха совсем оставила бояться, приосанилась, улыбнулась в ответ:

– Что же я, несметливая вдовинушка домоседная, бывалой страннице посоветую?

Путинья придвинулась ближе – поделиться заветным:

– Ты, сестрица старшая, всё купилице как есть насквозь видишь, кто добрый человек, а от кого мне дочурок подальше водить...

Розщепиха поняла. Кивнула с привычной важностью:

– Вот это подскажу. В том правда наша, чтобы девок беречь, мимо лихого глаза проводить. А что прикупить думаешь?

– Да вот слышала я, ткнут у вас дивные одёжки на птичьем пуху. Старухам босовики, чтобы ноги по-молодому плясали. Мужам плащи, в снегу спать, как у жёнки под боком. Девкам-славницам – знатные душегреечки. Чтобы выступали мои негушки, точно лебёдушки белые...

– Ох, красно молвишь, Путиньюшка, – заслушалась Розщепиха. – Как

не ткать, ткут! Это тебе к кисельнинским, у других даже и не смотри. Злые обманщики перья дерут, мелкопушье негодное за чистый пух с рук людям спускают...

Путинья вдруг склонила голову набок, прищурила один глаз, вслушалась. За ней насторожилась Розщепиха. В той стороне, куда убежал Светел, зазвенели струны, взлетели дружные голоса.

– Славный паренёк, – улыбнулась Путинья. – Из ваших вроде? Из твёржинских?

Розщепиха досадливо отмахнулась:

– Из наших... горе материно.

– А я думала, на деревне первый жених, – удивилась захожница. – Лыжи скопом продаёт, в гусли вон как играет. Отчего горе?

Розщепиха пристукнула палкой:

– Добрые люди домом живут, а у этого один разговор – из дому уйти!

– Ишь каков, – покачала головой Путинья. – Твоя правда, горе. Вразуми уж до конца, сестрица старшая! Я и то смотрю, по одежке – сын Пеньков, а лицом...

Радость назидать, когда слушают.

– Где тебе пасынку на отчима похожему быть!

– Пасынку? Отколь же взялся такой?

Их беседа текла легко, гладко, приятно. Сестра сестру повстречала, не наговорятся никак. Уже шли об руку, Розщепиха неспешно вела гостью в ряд, где кисельнинские бабы торговали всякой пушиной. Дочки-скромницы безмолвно внимали, набирались ума.

– Отколь же взялся такой?

У Розщепихи вмиг сложился цветистый рассказ на удивление новой подруженьке. Про то, как молодой Жог, сам весь закопчённый, бегом прибежал в деревню с крылатой сукой, обвисшей в крови у него на руках. Будто мало ему было забот в день Беды, когда огненный ветер сдувал крыши с домов! А под ногами у Жога путались малец и щенок. Плачущие, напуганные. И на красном, опалённом теле мальчонки белело клеймо. Непонятное, затейливое, чужое...

Зубы, поредевшие к старости, всё же прикусили язык.

– Да сирота он без роду, – с безразличием отмахнулась Шамшица. – В Беду всех своих потерял, Пеньки и пригрели. Думали, второго сына себе в помощь растят. А он!..

Ристалище

Что страшней: в первый раз выйти и осрамиться перед своими? Или за всю Твёржу стыд принять перед чужими людьми?..

Начни думать про неудачу, пальцы корчей окостенеют, ноги сами собой назад повернут.

Светел взялся крутить можжевеловые шпенёчки ещё на бегу. Выскочив к ристалищу – сразу шагнул в круг. Перед ним расступились. Успокаивая дыхание, он привычно упёр в бедро пяточку гуслей, сунул левую руку в окошко, правой взялся за струны...

Испугался ещё больше. Лад звучал подозрительно верно.

«К добру ли...» Светел решительно свёл брови. Прощёлся между плетельщиками. «Что творю, куда вылез...»

Повёл наигрыш.

Гусли, наскучавшиеся в санях, загудели слышно и радостно. Люди оживились. Узнали песню. Стали притопывать, вразнобой выкликать слова. Светел воздел руку, лихо крутанулся на месте. Пошёл дальше вприпляс, точно весёлого ломая перед кулачным сражением. Громче ударил по струнам. Запел, приглашая, ведя за собой позорян.

Помолясь святым и правым,
Сущим в вечности Отцам,
Я прадедовским уставом
От начала до конца
Для живой воды колодец
Опущу в земную глубь
Да по солнечной погоде
На подклет поставлю сруб...

Эх, голос-корябка, обделённый плавностью и красотой!.. «А не нравится – ждите Крыла голосистого, или как его там!» К душевному облегчению Светела, у ристалища разом прибавилось таких же хрипатых. Степенные бородачи пополам с молодыми парнями тяжело, основательно выводили:

Будут дети, будет счастье,

Будет крепок новый дом.
Всё в моей мужицкой власти,
Коль Богами я ведом!
Домовой в своём подполе
Вьёт гнездо, мохнат и мал,
Чтоб избу любил и гоил,
А придётся – отстоял!
Света тьма не одолела:
Божий лик хранит свечу.
Если любишь, нету дела
Свыше сил, не по плечу!

Гусли – крылья летучие, песни – мысли сердечные... Светел
переменил лад, свистнул, топнул.

– Девоньки красёнушки, бабоньки статёнушки, пособляйте!

И опять запел, смешно истончив голос. Женство сыпануло весельем,
дружно грянуло, подхватило:

Помолясь святым и правым
Матерям, что нас хранят,
Я на радость и на славу
Шью любимому наряд.
Чтоб лелеял в теле душу,
Отгонял любое зло,
Чтобы грело в злую стужу
Вещих рук моих тепло.
Веретёнце я кружила,
Заговаривала ткань,
Лишь бы мужа защитила:
Скройся, рана, кровь, не кань!
Ты узором обережным
Свейся, крашенная нить,
Чтоб любовь моя и нежность
Жизнь сумели сохранить!

Самый проворный плетельщик, седой щупленький мужичок,
довершил стенки корзины. Напоказ перевёл дух... пальцы тут же заплясали

вдвое быстрее, свили травяные стебли в косицы, тугим венцом опрýтали край. Делатель заглянул внутрь, быстро ссёк торчащие комлики, выдернул колючий листок:

– Готово!

– Молодец, дядя Кружак! – похвалили его. Впрочем, состязатели не так уж сильно отстали.

– Готово... готово!

Корзины поплыли по рукам, их пытались мять, сдавливать. Светел приглушил гусли. Страх давно сменился задором, пальцы только размялись, он уже досадовал. Стоило принаряжаться, чтобы поспеть к шапочному разбору!

– Всё, что ли? – спросил он, нащупывая за спиной чехолок.

– погоди, загусельщик, – посмеялась разбитная толстуха в кручинном уборе. – Теперь-то самое главное будет! Корзинам провер!

Она звалась Репкой. Лицо – одни щёки, крепкие, румяные. За бабонькой плыл дух свежего пёчева. Репку числили первой на всё Правобережье калашницей. С калачами и на купилище выезжала. Грузила в сани морожеными, потом отогревала и...

– Ты бы пока гусельки на плясовую строил, – посоветовала другая баба, рослая, худая, морщинистая.

Светел обрадовался, взялся за шпенёчки, слаживая звучание струн. Корзины, все семь, выложили кверху донцами в круг, к ним уже подталкивали хохочущих и смущённых девчонок. Совсем молоденьких, только вздевших понёвы.

– Давай, гусяр! Гуди гораздо!

Светел кивнул. Пустил наигрыш вначале неторопливо, затем стал как бы раскачивать, храбрить, украшать.

Добрый молодец поспешает,
Трое саночек погоняет.
Ждут его девоньки, ожидают красные,
Эх да погоняет!
Сам собою он черноусый,
В первых саночках – светлы бусы,
Будут вам, девоньки, на потеху, красные,
Эх да светлы бусы!

Девки одна за другой вскакивали на корзины. Топтались,

приноравливались, водили руками. Гусли покрикивали, смеялись, ободряли, влекли. Светел снова вспомнил Ишутку. Тоже здесь радоваться могла бы. Плясать под гусельный перезвон, изведывая корзины. А Сквара взялся бы рядом похаживать, в кугиклы свистеть. И атя стоял бы с Жогушкой на плечах... старшими сыновьями гордился...

Он так тряхнул головой, что съехала шапка. Некогда было поправить её.

А вторые-то мчатся сани,
Всё на них заморские ткани!
Будут вам, девоньки, для нарядов, красные,
Эх да гладки ткани!

Какой вроде прочности ждать от корзин, сплетённых из прудовой травы? А вот выдерживали оставших робость девок, не рвались, не мялись. Только одно донце явило слабину, расселось под ногой. Золотая коса метнулась в воздухе, девка взвизгнула, плеснула руками... Весёлый парень не позволил упасть – прыгнул, подхватил, со смехом вынес из круга. Только мелькнул кожаный поршеньёк с болтающимся остатком плетёнки.

Третьи саночки ветра легче,
Милой любушке мчат колечко!
Будет вам, девоньки, на завидку, красные,
Эх да ей колечко!

Ристалище кипело весельем. Корзины, уцелевшие с первой испытки, вернули плетельщикам. Делатели их оглядели, немного подправили, снова перевернули. В круг, охорашиваясь, важничая, искоса поглядывая одна на другую, поплыли взрослые бабы.

– Эй, гуслар! Оживай, ночью спать будешь! – крикнула тощая тётка. – «Лихо в Торожихе» давай!

Светел подкинул гусельки, хлопнул в ладоши, поймал. Подтянул одну струночку, пробежался по остальным, затеял наигрыш степенней и весомей девичьего, но тоже нескучный.

Как у нас на торгу в Торожихе
В старину приключило лих.

Рундуки озирали андархи,
Большакам выбирали подарки,
Да чтобы мы сами везли каждый год.
Да только никто не отдаёт,
Уходите вброд!
За Светынью зол народ,
Охраняет свой живот,
Кулаки одни суёт!

Эта песня тоже начиналась неспешно, потом набирала задор и под конец каждого круга неслась уже вовсю. А слова в ней когда-то были, как и наигрыш, бабьими. Про несбывшуюся любовь, про муку сердечную. После Ойдригова нашествия стали петь по-другому. И кому дело, что во времена тех войн ещё Торожихи-то не было.

Совет насчёт песни оказался удивительно верен. Плясовая поступь дебелих баб в очередь сминала корзины. Есть кому обнимать храбрецов. Есть кому их рожать. Есть кому ратью встать над Светынью одним плечом с мужиками!

Светел то вспыхивал гордостью, увлекался, горланил в полную мочь, то внутренне холодел, всякий миг ожидая крика в толпе: «Не твоё дело, выпороток андархский, тут петь!» И что возразишь?

Передайте царю со царицей:
За рекою ничем не разжиться!
Здесь живут небогато, но дружно,
А врагов привечают оружно.
Возьмётесь примучивать нас, северян,
Вам тумачами отвесим дань
И добавим ран!
Много разных в свете стран,
Тут лишь ёлки да туман,
Не ходи к нам, кто не зван!

Светел топал в землю, по-боевому воздевал гусли над головой. Люди отвечали криками: хоть сейчас на врага!

Да узнают цари и царята:

Здесь, на севере, люди крылаты!
Кто решится попробовать крови,
Пусть себе домовину готовит.
Не строит ни башен, ни каменных стен,
Но нипочём не согнёт колен
Коновой наш Вен.
Бабы ткут простой наряд,
Тонких лакомств не едят,
А и трусов не родят!

С этой испытки из шести пестерей уцелело два. Один выплел щуплый Кружак, тот, что первым кончил работу. Светел сразу понял: плясовых больше не будет. В круг выдвинулась толстуха Репка, обширная и грозная, как торос на Светыни. Когда её спрашивали, не со своих ли калачей нагуляла бока, Репка отмахивалась: «Да разве ем я их? Только пробую...»

Кружак с соперником стояли тихие, приробевшие. Мяли шапки в руках. Глядя на них, народ стал смеяться, сперва негромко, потом от души.

Светел исполнился удалства, выбежал навстречу толстухе. Сам пустился вкруговую, гусельки вызванивали торжественно, весело и победно. От него не укрылось, как съёжился дедок-сороплёт. Люди тоже это заметили.

- С юности, значит?
- Его атя не благословил, её за другого выдали...
- Теперь вдовы оба.
- Держись, дядька Кружак!
- Он как в Торожиху, так к ней всё с подарочками, с обхожденьем...
- Толку-то, раз к себе не зовёт?
- Вот теперь и покается.
- Топчи, тётя Репка! Всем покажи!

Светел вынудил гусли испустить неслаженный зов, тревожный, дрожащий. Дородная Репка окинула бывшего жениха таким взглядом, что тот сник совсем безнадежно. Она же придирчиво оглядела корзины. Поддёрнув подол, величественно вступила на другой пестерь.

Тот сплюснулся едва не прежде, чем Репка в полной мере на него оперлась.

Гусли отозвались заунывным всхлипом и смолкли. Корзинщик досадливо махнул рукой, отошёл.

Репка направилась к последнему уцелевшему пестерю. Ещё грозней

установилась на скороплёта. Под общее веселье Кружак упал на колени, как строитель моста при проезде первых телег. Прижал шапку к груди. Репка засопела, неумолимо занесла ногу...

Корзина затрещала... зримо просела...
И выдержала!

Наши избы стоят не в пустыне –
На широкой и быстрой Светыни!
Мы встречаем друзей калачами,
А врагов провожаем мечами!
И нам чужеземцы в дому не указ,
Сами с усами – и наш лабаз
Не для жадных глаз!
Никому да не унести
Нашу гордость, нашу честь,
Лучше вовремя отлезть!

Репка, подбоченясь, стояла на невозможно хрупкой опоре.

– Женюсь!.. – завопил Кружак и бросился ей на шею.

Этого корзина уже не снесла, пожилая чета в обнимку завалилась наземь, люди со смехом бросились поднимать.

– Тётя Репка! Калачиком угостишь?

– Угощу, милые! Всяк заходи, всем хватит!

– Сами есть будем, Ойдриговичам не дадим!

– Андархи нашим калачом подавились!

Жогушка парил высоко над землёй, сидя на тёплой и надёжной спине, в ямке между мощными основаниями крыльев, крепко держась за длинную гриву... Рыжик летал уже совсем хорошо. Язва от стрелы, попавшей в живот, была очень скверная. Вначале Рыжик совсем почти умер, но бабушка вытащила наконечник, а гной извела припарками, которые Жогушка помогал ей готовить. И Светелко две седмицы не покидал крылатого брата, держал ладонями рану... гнал боль, кресил в Рыжике жизнь...

Теперь Рыжик летел. Стремительно и легко рассекал ледяной простор вышины. Лишь качались, мелькая внизу, заснеженные поляны.

И пахло от него совсем как от Зыки. Он говорил с Жогушкой, голос отдавался внутри головы, низкий, рокошующий, полный вернувшейся радости. Как здорово!

А вот то, что где-то рядом слышалась мамина речь, внушало тревогу. Если мама увидит его у Рыжика на спине...

Жогушка открыл глаза.

Он лежал рядом с Зыкой, запустив руки в мохнатую шерсть.

– Дома тебе не пироги? – укоризненно спрашивала мама. – В людях песнями добываешь?

Жогушка повернулся. Братище, почему-то взмыленный, в нарядном кафтане, держал большую корзину. Слегка надломленную, но выправленную – и полную лакомой снеди. Жогушка проглотил слюну. Чего там только не было! Калачи, пряженцы, сдобная перепеча...

Светел пожал плечами:

– К столу не придутся, Зыку порадую.

– Синява-кузнец приходил, – сказала бабушка Корениха.

Перед ней на доске стоял Воевода. Доделанный, но безоружный. Светел сразу спросил:

– А меч где? Сломался?

– Синява унёс. Железных хочет наделать. И на броню чешуек пообещал. Сказывал, все вдруг таких кукол хотят.

Светел кивнул, поставил корзину. Положил гусли, сел сам. Зыка шевельнул хвостом, поднял голову. С надеждой облизнулся.

Светел сжал кулаки и долго рассматривал их.

– Люди говорят, – произнёс он наконец, – в Шегардае Ойдриговичи объявились. Значит, скоро нового нашествия ждать.

Бабушка тихо отозвалась:

– Будет то, что будет... даже если будет наоборот.

Светел передёрнул плечами. Вышла судорога, как от озноба.

– Вот... мысля, пора уже мне пришла, – выговорил он так сипло и тяжело, что Жогушка уставился на брата во все глаза. Тот прежде никогда так не говорил. А Светел продолжал: – Идти... пора мне. Вельможам объявлюсь... – Сглотнул. – Чтобы война вправду... нельзя!

Далёкий славный поход, ещё вчера надлежавший нескорому будущему, обернулся бездной под ногами. Страшно шагнуть в неё, ведь обратного хода не будет. И не шагнуть нельзя. Потому что Ойдриговичи хотят идти на Торожиху и Твёржу. На Кисельню с Затресьем.

На его, Аодха Светела, родную страну.

– Дитяtko, – ахнула Равдуша. Бросилась к сыну, он её обнял. Маленькую, хрупкую на его широкой груди.

Корениха долго разглядывала хмурого внука, плачущую невестку.

Взяла из корзины лепёшку. Откусила, пожевала, кивнула: понравилось.

Спокойно сказала:

– Глупые вы. Жога вот нету по уму рассудить! Ишь взметались! Хоть Геррика дождитесь, послушайте, что донесёт. А я, старая, вам так скажу. Им, в Шегардае, дела нету другого, только нас воевать! У самих одёжа рогожа да куль праздничный!

Светел выпрямился. Выдохнул. Взгляд был всё ещё незнакомый. Равдуша всхлипывала безутешно. Жогушка подобрался к матери и брату, ухватился – не оторвёшь. Подошёл Зыка, влез лобастой головой Светелу под локоть.

– Ну вас, дурных, – буркнула Корениха. Отложила кукол, пересела, тоежь всех обняла.

Тут зашевелилась входная полсть. Внутрь посунулся знакомый длинный нос на маленьком личике.

– А я уже думаю – отчего пусто снаружи, не торгует никто?

Корениха с укоризной посмотрела на Зыку, оставившего порог. Впрочем, Розщепиха уже заметила корзину со сдобным заработком Светела.

– Я-то беспокоюсь, всего ли у вас, двух вдовинушек, в достатке...

– Вдовы, да не сирые, – ровным голосом отмолвила Корениха. – Заступник в доме есть, не позволит голодом изгибнуть. Ты угощайся, сестрица.

Вдругорядь потчевать не пришлось. Розщепиха нагнулась, высматривая пирожок порумяней. Вспомнила, повернулась:

– Ты, сестрица Ерга, в людях сведома... Подскажешь ли, Нетребкин острожок – где это?

Бабушка задумалась, покачала головой:

– Не слыхала ни разу.

– Так-то вот, – приосанилась довольная Розщепиха. – И никто не слыхал. А у иных там подруженьки есть!

– Я тебе про гусей-лебедей обещал, – сказал Светел братёнку.

– Про боевых гусей? Как они дружиной ходили?

– Ходили бы дружиной, кто бы их в хлевки запирал. Я тебе другое поведаю.

– Как они в светлый ирий летят? Гусярам гусли приносят?

Светел улыбнулся:

– А ещё детей в семьи, где по Правде живут.

– И меня? Меня лебеди принесли или гуси?

– Гусь на свадьбе весёлый жених, – начал объяснять Светел. – Лебедь – невеста в белой кручине. Гусь – драчун, лебедь – от Богов милость. Гуся мы печём и коптим. А лебеди, вона, в Кисельне с людьми в одном хлебе живут.

– Бабушка говорила... андархи...

На Коновом Вене лебедя считали царь-птицей, немыслимой для убийства. В стране, где правили предки Светела, лебедь был царской дичью. Птиц, священных для северян, били стрелами, подавали на богатых пирах.

– Андархов наши старики уму не учили... Вот вам сказ про век былой: жил добытчик удалой. На широкое болото выходил он на охоту, поразмяться, погулять, серых утиц пострелять. Раз вечернею порою, многотуманною весною мчался лебедь в небесах, нёс рожденья на крылах...

Жогушка смотрел в облака, где незримо взмахивали белые крылья.

– Злой охотник вскинул око, а за ним и лук жестокий. Он руки не удержал, чудо-птицу поражал. В небесах стрела мелькнула, в белых перьях утонула! Помутились небеса, плачут синие леса! Лишь стрелок не дует в ус: «Будет деткам мяса кус!» Гордым шагом...

– Так он для деток старался?

– Для деток. Только лучше не поесть, чем утратить стыд и честь. Не задумавшись о том, гордым шагом входит в дом: «Эй, жена, берись за дело!» Баба глядь... и обомлела! Вьётся вихорь по двору, в круг кладёт перо к перу! Тут ребятки прибежали, белым пухом обрастали, улетали выше, выше, мать с отцом, уже не слыша, уносились в небеса... Вот такие чудеса. С той поры лебяжье племя облетает злые земли, убоявшись отвернуть, к нам на север держит путь! Мы ребяточек рожаем, лебедей не обижаем!

– А тебя? – спросил Жогушка. – Тебя симураны принесли?..

Жало

Это были совсем маленькие мальчишки. Сироты Левобережья, привыкшие к нищете и побоям. Обсевки Беды, почему-то забытые на этом свете Владычицей, милостиво прибравшей семьян.

Люди стараются исправить упущение Правосудной. У каждого своих семеро с ложками. А тут ещё эти. Смотрят в глаза. На чужой кус рты разевают. А баба Опалёниха, что ловко умеет изгнать ненадобный плод и под рукой умиральными рубашечками торгует, – как раз когда нужна, не заглядывает.

Куда девать дармоедов?

Кого-то выводят в тёмный лес без следа.

Других сбывают переселенцам.

Третьих, случается, забирают мимохожие котляры.

Чёрная Пятерь с её суровыми науками тоже по головке не гладит. И подзатыльники сыплются, и холодница пуста не стоит. И ох как страшно бывает! Зато есть кому предаться с нерассуждающей ребячьей любовью. Есть старшие братья. Есть цель.

Четверо новых ложек со свистом раскручивали пращи. Каждый, наученный голодухой, умел в летящую пичугу попасть. Да не обожжённым круглым боем, как иные маменькины сметанники. Любым камешком, крепким снежком, обломком сосульки!

Всё без толку.

Старший ученик не прикрывался щитом, не убегал за снежную стенку, что разгораживала лесной городок. Его просто не оказывалось там, куда желваками влипали усердно пущенные снарядцы. Серая тень легко поворачивалась, скользила, угадывала намерения каждого из четверых... как будто приплясывала... Из боевого лука не уязвишь!

Возле длинной окраины городка, где жвакали тетивы, испытывалось бесконечное терпение Ветра.

– Господину Инберну скоро на шегардайское державство в путь собираться, а преемник, как выяснилось, толком стрелять не умеет. Ещё пробуй! Если глаз видит, стрела должна досягать!

Лыкаш пробовал, чуть не плача. Он, ясно, самострелом владел на зависть мирянам. Но не так, как хотелось учителю.

– Державец в замке третий по старшинству! – корил Ветер. – Подступит под стены враг, я в плен попаду, Лихарь, меня выручавши,

смертью погибнет. Тебе отпор возглавлять, а кто слушать захочет, если ты у мишени последним стоял! Ещё пробуй. Крепче старайся!

Лыкаш старался. Что было сил. Получалось – из рук вон. Глазок мишени двоился, плавал то ли из-за начавшихся сумерек, то ли от слёз. Покляпый самострел никуда не годился, стрелы были кривые. Источник в сотый раз показывал сам. Тем самым оружием, из того же колчана. Расшибал один болт другим.

– Ворон! – окликнул он наконец. – Наскучишь в жмурки баловаться, сюда подходи.

К тому времени каждый из новых ложек поклялся бы: молодой наставник впрямь похаживал перед ними зажмурясь. А ещё он по прихоти оборачивался струйками пара, снежными пеленами. Неминучие ядрышки так и пролетали насквозь. Шмякали в стенку, не рисуя на сером заплатнике никакого следа.

Зов учителя побудил Ворона припасть к самому снегу, неожиданно метнуться вперёд. Очередные комья свистнули роем на аршин выше потребного. Пока ребятня хваталась за новые, стелющийся лёт завершился широким волчком. Рукой, ногой, не пойми как, – сшибло всех. Четверо мышат, отплёвываясь от снега, трепыхались в одной охапке. Настолько вещественной, что было даже обидно.

Ворон стиснул мальчишек, принудив заверещать. Немного испуганно, но и весело.

– Дяденька! Ты от пращных снарядцев заговорённый?

– Ага, – засмеялся он. – Накрепко. И от болта самострельного, и от калёной стрелы.

– А нас заговору научишь?

– Будете прилежно стараться, научу.

Выпустил, вскочил, убежал.

– Видел ли, каково лукает? – встретил его Ветер.

– Видел, отец.

– Вот тебе орудье неисполнимей доселешних. Обучишь, чтоб с лучины на лучину огонь стрелой доставлял. Через две седмицы спрошу. Совладаешь?

– По твоему слову, отец, Владычице в прославление. Совладаю.

Лыкаш стоял пристыженный, несчастный. Таков воинский путь! Взяли в кузов – и не отмолишься, что не груздь. Одно добро, Ворона приставили наторять. Не из лихаревицей кого.

Ветер кивнул на новых ложек, сбившихся в пугливую стайку:

– Веди домой, гнездариче, чтобы не заплутали. Прочь с глаз!

Когда Лыкаш с младшими надёжно скрылись в лесу, Ветер вновь обратился к ученику:

– Я тебе доверился, сын.

Над боевым городком как будто враз потемнело. Стужа, добравшаяся до распаренных тел, сделалась ощутимей.

– Да, отец.

– Срок приблизился. Я в твоей власти.

Ворон сглотнул. Кивнул. Сунул руки под мышки.

– Я уже чувствую дыхание Владычицы, – продолжал Ветер. – Ноги норовят подогнуться, в мыслях ясности нет...

Ворон, конечно, это тоже заметил, но спросил иное:

– Зачем ты всё время доводишь себя до пределов, отец? Я мог выдернуть жало ещё вчера...

– Если пределов не искать, после нечем будет и хвастаться. Готов, сын?

– Да, отец. Я готов.

Учитель разомкнул пояс, мерцавший тусклым в сумерках серебром. Стянул, завернув на голову, выдавший виды кожух. И вдруг отчаянно-весело рванул ворот рубахи – только затрещало толстое портно.

– Давай, сын!

Ворон прикрыл глаза, добиваясь полного сосредоточения. Длинный палец почти неосознано коснулся межреберья... Коротко и резко ударил, вонзился, вошёл железным гвоздём, казалось, в самые черева, в сплетение беложилья! И отскочил, выдернув нечто злое и мёртвое. Способное взаправду убить.

То, что по приказу учителя сам же подсадил третьего дня.

Ветер покачнулся. Ученик подхватил его.

«Мальчик... Скоро ты будешь знать и уметь всё, что благоволением Правосудной отпущено мне. А там – превзойдёшь. Взмоешь в небо из-под крыла, полетишь дальше. Как предупредить тебя, сын, что спина впереди – слишком заманчивая мишень?..»

Вслух сказал:

– Пусти уже, лекарь! Теперь и без помощников не свалюсь.

Но Ворон отпускать не спешил:

– Ты сказал: лекарь. Значит, слушайся. Садись в чуночки, довезу.

Бросил на плечи алык, пошёл ровным сяжистым шагом, словно вовсе и не устал. Скорей, скорей учителя в тепло, к доброй еде!

Когда миновали выход из городка, Ворон всё-таки подал голос:

– Если позволено будет спросить...

– Спрашивай, сын.

– Отчего не разрешаешь приблизить меньшого ученика? Я Иршу с Гойчином сам привёл...

– Оттого, что ты их не тайными воинами возрастишь, а тайными скоморохами. Да не гони так! Не повитуху к роженице мчишь!

Санки выбрались с ухабистой тропы на дорогу. Ветер сел нога на ногу, закутался в шубу, пообещал:

– Расскажу кое-что, если оставишь по кочкам душу вытряхивать.

Ворон оглянулся через плечо. То правда святая: дорога не дорога без назиданий учителя. Он только не ждал, что Ветер и сегодня разговорится.

– Ты многого достиг, сын. Теперь, когда ты научился вселять и по произволу изгонять смерть, пора тебе причаститься такого, о чём в летописаниях не рассказано.

Ворон подумал, отозвался:

– Я видел родословные книги великих семей. Там страницы вынуты, чтобы от хуливших Владычицу не осталось имён. Ты о них?

– Не совсем, – усмехнулся Ветер. – Память наших книг тянется в тысячелетнюю древность, к Эрелису Первоцарю, основателю Андархайны. Что говорится о нём?

Это было легко.

– Нёсший орлиное имя приехал на огнегривом коне, возглавляя храброе войско. Взял под крыло племена, не ведавшие закона и правды. Дал им устройство, отбросил диких языков, рекомых ныне хасинами. От Эрелисова рода начали прозываться андархи.

– Не ведавшие закона и правды! – словно размышляя вместе с учеником, повторил Ветер. – Что ещё сказано о тех племенах?

– Ели в нечистоте. Мяса вонючего не гнушались.

– Как истолкуешь?

– Ну... Руками, зубами. Подбирали стерву лесную. Не умели сварить.

Ветер вздохнул:

– Варить они как раз умели очень хорошо. За что и поплатились.

– Это как?..

– А вот как. Эрелис приехал в кибитке из украин Вечной Степи. Оттуда, где ныне горы Беды. Андархи жили в сёдлах, стреляли дичь, жарили на углях. Если добывали зерно, опять жарили, чтобы съесть. А в избах лесного края клали печи, варили мясо в горшках. Хлеб пекли.

Ворон силился обозреть бездну времён. Между прочим, в его родном языке «вонью» звался любой запах, добрый или дурной. Андархи, стало быть, не поверили запаху варёного мяса. Доброму хлебному духу. Оробели, на всякий случай назвали нечистотой.

– Учитель, ты говоришь как самовидец, – пробормотал он затем. – Но ведь летописания... ты сказал...

– В летописаниях, сын, страницы выдёргивали не раз и не два, облакая деяния прошлого в удобные ризы. Если война, так правая и неравная. Если со свету сжили, так злодеев.

– Зачем? Ты нас остерегал собой любоваться...

– Затем, что всякий хочет быть чист. Я девку не сильничал, сама подошла! Я чужого не отбирал, они первые начали!.. За красивыми баснями правды дознаться – знаешь, сколько труда? По листку, по обрывочку...

Ворон представил сокровищницу вроде той, что хранила Мытная башня. Тусклый свет в заросшем грязью окошечке. Книги, книги повсюду. Стопками, полками, огромными сундуками! На страницах ржавые пятна...

– Ты же смог.

– Я знаю лишь чуть больше спесивых мирян, уверенных, что по праву владеют этой землёй... Пришельцам из степи не только пища Прежних показалась нечистой. В сосновых избах бок о бок с людьми обитали крылатые псы, и это возмутило андархов. Первые Эрелисы и Гедахи столь яро взялись охотиться на симуранов, что едва не истребили под корень... О чём думаешь, сын?

Он ждал взволнованного: «Отец, симураны дружны с праведной семьёй! С последышами тех самых Гедахов! Они же... Аодха-царевича...»

Не дождался.

«Владычица, дай терпенья...» Пришлось спросить:

– Вы на Коновом Вене как себя называете?

– Ну...

– Ведь не дикомытами?

– Дикомытами нас левобережники прозвали.

– Давно?

– После Ойдриговых нашествий, за то, что в полон не дались.

– А сами кем речётесь?

Ворон вновь надолго умолк. Наконец как-то стыдливо произнёс заветное:

– Славнуками.

– Славнуками!.. – безо всякого почтения развеселился котляр. – Матерь Царица, помилуй Левобережье!

Ворон ждал, неуверенно улыбаясь.

– Гнездари, – сказал Ветер, – так завидных женихов называют.

– И правильно, – буркнул Ворон. – Порно им Коновому Вену завидовать.

Его племя искони считалось беспортошным, зато упрямым и гордым.

– Меж собой как имя толкуете?

– Внуки славных. Славные внуки. А иные спорят, будто вовсе там не «слава», а «слово».

Впереди плотной глыбой обозначился крепостной зеленец.

– Скоро ли думать выучу? – вздохнул Ветер. – Чьи внуки?

– У нас старины передают. Некогда из-за Светыни вышел народ. Наши глядь с берега, а там старики да детные бабы. Мужики наперечёт, в ранах. Тогда мы подняли над героями щит...

– Не морозь, краснобай, – весело перебил Ветер. – Прямо так сразу хлеб преломили? Лучшую поляну показали в лесу?.. Не бывает, чтоб храбрецы с храбрецами сошлись, а мужеством не переведались!

– Ну... Наверно. Всё равно во внуках крови смешались.

Сквозь туман посвечивали огоньки. На последнем снегу Ветер легко спрыгнул с чунок.

– Что я должен был постичь, отец? – спросил Ворон. – О чём задуматься?

«О том, надо ли хранить тайну царевича Аодха, если тот был вправду спасён...»

– Я хочу, чтобы ты понял: нет лишнего знания. Были на этой земле цари и прежде Эрелиса. А ещё люди, вовсе не обделённые умом, ждут, что общая Беда опять врагов братьями сделает. Как мыслишь, сын? К душе вашим девкам жарые кудри?

Ворон сбросил алык, понёс чунки под мышкой.

– Я давно не был на Коновом Вене, отец. Не знаю, о чём там песни поют.

Как обычно, дорога из лесного городка кончилась слишком скоро...

Крыло

Рано поутру за Светелом прибежали мальчишки:

– Гусляр! Где гусляр?

Светел на всякий случай напустил строгость:

– Куда ещё? Опять корзины топтать?

Оказывается, вчерашняя потеха так удалась, что кто-то придумал пустить в дело оставшуюся траву. Сегодня из неё собирались взапуски плести лапти. И конечно, плясать в них. Пока не развалятся.

Рука сама потянулась за берестяным чехолком.

– Благословишь, мама?

Мать с бабушкой переглянулись. Вчера Светел едва не почувствовал себя взрослым, вольным решать. Правил людское веселье. Даже судьбу вздумал поторопить. Ночь минула – вновь он дитяtko неразумное, по своему хотению из шатра ни ногой!

– Ступай, сыночек, – сказала Равдуша.

Корениха вдруг улыбнулась:

– Жогушку возьми с собой. Пусть будет мальцу что дома вспомнить.

Лапти всякий умеет плести. Из берёсты, из лыка, даже из мочала. Из еловых корешков, из битых веточек, из старых, отслуживших верёвок.

– Миновалось ремесло. Люди валенки да поршни обули.

– Которое лето ни берёсты, ни лыка не нарастает.

– Я вот сына и не учу. Кому оно теперь надо?

– А я научил. Умение не в кузове за плечами носить.

– Вот правильно. Пока дедовских вер не утратим, земля стоять будет.

Девки смеялись, запускали пальчики в кармашки-лакомки, озорно блестели глазами. Им снова предстояло плясать, разбивать утлые травяные плетни. Ристателей, кстати, было куда больше против вчерашних семи. Светел считать даже не стал. Увидел в кругу Зарника, обрадовался.

– Я у тебя лыжи возьму, – сказал Зарник.

– Продал я уже все.

– Ну вот...

– Вернусь, сделаю. Тебе ирты или лапки?

С колодками, с кочедыками сидели всё молодые ребята. Плетуханы постарше, давно себя утвердившие, держались по сторонам.

И все, будто кулачные бойцы на Кругу, напряжённо ловили каждое

движение гусяра! Ждали, чтобы Светел дал радению порядок и смысл! Вплёл во вселенские круги. Определил на должное место.

Опёнку даже показалось, будто здесь собрались не умения сравнивать, а к сгинувшему солнцу взывать. «Когда явишься? Когда тучи разгонишь, живой лист позволишь увидеть? Чтобы не круглый год по снегу в валенках, а в лёгких босовиках да по шёлковой мураве...»

Согласились плести домашние лапотки-ступни.

– Ступни? – испугался незнакомого слова захожень с левого берега.

– Шептуны по-вашему, – объяснили ему. – Бахилки. Топыги. Босовики. Светел поймал кивок старика-коновода. Тронул струны.

Ах ты, пень еловый, твёржинский мужик,
На завалинке посиживать привык!

Плетуханы стали хватать стебли, торопливо заплетать на правом колене. Быстро погнались вниз строку за строкой.

А не стыдно, не зазорно ли тебе:
Молода жена босая во избе!
Нешто можно, чтоб ходила не в чести?
Ты садись, ленивый, лапотки плести!

Люди начали смеяться, показывать пальцами. Светел тоже присмотрелся, обученный кулачным Кругом всё замечать. Зарник счёл доставшуюся траву слишком ветхой. Вгорячах пустил в строку пучки потолка... и на полпути к носку обнаружил: завивает не босовичок для девичьей ножки, а бахилищу для кузнеца Комара. Бросить, новый лапоть затеять?..

– Ступай коверзни плети! – кричали ему.

– Гусю лапчатому только краснотал мил...

Злой и багровый Зарник сгорбился над работой.

Ты подай, сестра, булатный кочедык,
Надери да нацинуй мне ровных лык!

Всего веселей шла работа у паренька чуть взрослей Светела. Молодой

плетухан улыбался, дёргал из вороха стебель за стеблем, обратив к низкому туману корявое слепое лицо. Поспевал болтать с девкой, что вывела его на ристалище. Только руки летали, выплясывали. Плавно, ненатужно и зряче.

Светел загляделся, чуть наигрыш не испортил. Между прочим, волосы у парня были тёмные, почти Скварины. Широкие плечи, руки сильные, к праздности непривычные. Может, это его увидела Розщепиха, за попрошайку сочла? «Так, мол, с дурными сыновьями бывает. С отбоишами, с бездельными околотнями...»

Вот ведь лодырь не на радость нам возрос!
Баб да девок отправляет на мороз!

Кто-то вчерне заложил первый лапоть и уже закладывал второй, чтобы строк потом не считать. Кто-то уверенно подковыривал, пускал второй след.

Кочедык-то ветхий дедушка терял,
Закатился во глубокий он подвал,
Подхватили его мыши на лету,
Набежали, утащили в темноту!

Народ сдержанно гудел, приглядываясь к работе ещё одного плетухана. Этот выложил травяные пучки рядком. Завил верёвочкой, как донце корзины. Получалось нарядно, вот только урочным пятериком и близко не пахло. Каково-то старосты примут, каково-то будет в пляске хорош!

И берёсты не наколешь: до реки
Погорели, легли березняки...

Жогушка, уже завладевший обрывками травяных стеблей, выравнивал на колене заплётку. Дома брат его к плетению не пускал. Учил ровно резать берёсту. Ворчал, что не цины выходят, а сплошная растопка.

Светел вновь нашёл взглядом Зарника. Оказалось, тот придумал стянуть крайние пучки, согнуть плоский плетень корытцем. Осталось заложить головашку.

Светел не знал даже, чьей победы желать: верёвочника, Зарника или слепого. Ещё хотелось прихватить стеблей, вернуться в шатёр, самому засесть с кочедыком.

Ну тогда и лапти нудить не моги:
В Торожихе всем куплю я сапоги!

Он угадывал настроение позорян, смекал, в какую сторону качнуть их очередной песней. Видя, как головы, особенно которые с русыми косами, поворачиваются прочь от ристалища, Светел решил сперва, что плохо тешит народ. Однако расслышал:

– Ялмаковичи подвалили.

– Крыло с ними?

– Крыла видели?

– Видели! Сюда идёт!

– Ялмаковичи, – повторил один из мужиков у Светела за спиной. Ничего не прибавил, лишь крикнул. То ли досадливо, то ли смущённо. Опёнку недосуг было разбираться.

«Вот она, честь воинская!» Когда-нибудь и Светел войдёт на купилище в цветном налатнике, под истрёпанным, пробитым стрелами знаменем. И будут млеть девки, а парни – завистливо сжимать кулаки...

Работа у плетуханов была примерно на середине. Светел помимо воли начал коситься в ту сторону, куда стайками утекали лапотные испытчицы. Сперва там по-прежнему юрил и шумел торговый народ. Погодя за шатрами наметилось течение. Вот стал слышен звон чужих гуслей... В окружении влюблённой толпы подходил незнакомец в богатом синем плаще.

Теперь на него смотрели уже все. Замедлили пляску даже руки слепого, парень вслушивался. Светел заколебался: продолжать как ни в чём не бывало? Остановиться, почтить пришлого вместе с людьми?.. Пока он раздумывал, его окликнул староста:

– Эй, малый! Ступай, будет с тебя.

Струны неладно звякнули под рукой. Светел споткнулся на полуслове, забыв разом все песни, которые собирался ещё спеть. Просто молча глядел, как здоровствовали Крылу. В горле что-то застряло, он сглатывал, не мог толком сглотнуть.

Гусляр входил на ристалище по-хозяйски. Синеглазый красавец, разодетый, точно на свадьбу. И гусли у него даже с виду были Светеловым

не чета. Не дедушкиным топором тёсанные. Широкие, о пятнадцати струнах, искусного андархского дела, с резьбой по стенке корытца.

Как подружки собирались
Летней зорькой во лесочке,
Песни
Заводили до утра...

Крыло не пел по-настоящему, в полный голос. Так, припевал на ходу, чтоб не скучно было шагать. С каждой девкой успевал встретиться взглядом. Девки таяли свечками. Каждой мнилось, будто два клочка полузабытого неба сияли лишь для неё.

И на ристалище Крыло вышел уверенный: здесь только его ждали для настоящей потехи. Поклонился старостам и народу. Откинул за спину плащ. Поудобней устроил на ремне гусли...

Свисшую ладонь Светела принялись тянуть детские руки. Жогушка! Он один из толпы не пялился на Крыла, не таил дыхания, собираясь слушать его. Братёнок держал кривой, с сорока ошибками, но годный для ходьбы лапоток. Улыбался во всю рожицу. Протягивал братищу творение своих рук.

Светел подхватил малыша. Повернулся, не глядя пошёл прочь. «Другой раз в Твёрже гусли покину. Без вчерашних пирогов не голоден ходил...»

Жогушка обнял его за шею, прижался, шепнул:

– Я тебе семеры лапти неизносчивые сплету. Чтобы ноги сами шагали, пока брата найдёшь!

Тёплая волна умыла Светела, забирая обиду. Может, взять немного вичья, без откладки начать торить Жогушку?

На ристалище тем временем улеглись восторги. Состязатели, запнувшиеся в работе, подхватили кочедыки. Крыло ударил по струнам. Ему ли замечать, как выставили мальчишку!

...Только что же за веселье
Да без гусельного звона,
Если
Струны вещие молчат!
Как подружки посылали
Быстроногую плясунью

Кликать
Молодого гусяра...

Голос Крыла мощно и легко плыл над купилищем. Заставлял оглядываться людей в самых дальних рядах. Светел тотчас понял: ему никогда так не спеть, как он ни бейся. Вновь больно уколола обида. Ну вот почему?.. Почему этот Крыло в любой дружине желанен? – а иные и под лапотное ковыряние играть недостойны?.. Светел нахмурился, раздумал идти в шатёр. Вернулся в толпу. Начал пробираться туда, где смеялись, пели, славили сердечную встречу звонкие андархские гусли.

Совсем как те, что некогда рокотали во дворце над морским берегом, вторили голосам волн... направляли царские мысли... почему трёхлетний мальчонка не догадывался прислушаться, присмотреться?

Злая буря хлещет градом,
Рвёт черёмухи убранство,
Вянут
На морозе лепестки...

Для самых молодых «черёмуха» была не очень понятным словом из прошлого. Но раз Крыло поёт, значит так надо.

Гусли захлёбывались человеческим стоном.

По синему плащу струился богатый канительный узор, мягкий чёрный сапожок легонько притопывал. Парили над струнами белые, сильные, красивые руки. Люди охотно подпевали гусяру, но Светел, замерев, мог лишь смотреть, как взлетали длинные пальцы. Вылепляли в воздухе звуки, передавали сутугам. Дед Игорка был первый на всю Твёржу гудила. Однако подобное творить его старческие персты давно разучились. А скорее всего, никогда и не умели.

Ах вы, милые подружки!
Что мне делать, горемычной?
Только
В тёмный омут головой...

Светел боялся моргнуть, руки самовольно подёргивались. На чужое

умение паяться без толку. Не усвоишь, пока сам не изведает. Скорее бежать к себе... попытать подхваченное... примеривать на свой лад...

На верхней полочке гуслей, под разлётом струн, пернатым гнёздышком улеглись андархские письма.

Крылья лебединые, щёкот соловьиный, сердце соколье.

Игрец прозвался по гусям или гусли по игроку?

...А как, доканчивая песню, он отрешённо клонил голову на плечо! Как метал в сторону и вверх бряцающую руку, словно гуды отпуская на волю!..

Ещё Крыло успевал подмигивать девкам и молодым бабонькам, озорно кивать мужикам. Его взгляд не обошёл парня, державшего на руке братёнка, а под мышкой – затрёпанный чехолок. Крыло усмехнулся. Может, с превосходством, может, себя в отроках вспомнил.

Светел в лицо ему не смотрел. Не видел усмешки гусяря, не гадал, что она означала.

Чужая недоля

В свой шатёр Светел прибежал как настёганный. Скорее вновь вытряхнуть гусли: как-то им придется подсмотренные ухватки! Он даже не обратил внимания на недовольного Зыку, сторожившего Коренихин рундук... а зря. Мама с бабушкой были не одни. По другую сторону очажка на войлоках, держась за руки, тихо сидели двое. Крепкий светловолосый мужчина и маленькая заплаканная женщина. При виде Светела оба так и подпрыгнули. Уставились на него. Друг на друга...

Он поклонился им как подобало. Спустил наземь Жогушку. Тот юркнул к Равдуше – показывать лапоток. Гостья отчаянно, горестно и жадно уставилась на малыша. Карие глаза опять наливались слезами. Ни дать ни взять узрела родного сынка, воспитанного иной матерью и внезапно нашедшегося. Она даже потянулась к чужому дитяти, робко, пугливо. Равдуша вдруг всхлипнула вместе с нею... и почему-то позволила погладить Жогушку по голове. Женщина вскинула взгляд на Светела. Вздогнула, спряталась у мужа на плече.

Тот её обнял. Он глядел почти как сам Опёнок давесь – на слишком удалого и даровитого гусяра.

Светел косился то на своих, то на гостей, стоял столбом. Тицетно силился понять, что стряслось. Казалось, в шатре только что говорили о нём. Непонятно как, такое чувствуется всегда.

Корениха, по обыкновению, взялась за дело, с которым Равдуша не мыслила совладать.

– Пойдём, внук, – проворчала она, поднимаясь. Властно взяла Светела за руку, вышла с ним из шатра. Оказавшись снаружи, требовательно спросила: – Ты их о́знаки рода верно ли разобрал?

Он с облегчением кивнул. Скривился в ухмылке:

– Они эти... – Прижал одну руку, вторую оттопырил локтем по-птичьи. – Ан...

Хотел сказать «андархи», потому что во время давних войн род Облачной Птицы единственный попал под нашествие, отчего в злых устах по сей день звучали насмешки.

– Цыц! – перебила бабушка. – Я те позубоскалю! Недоля у них в роду приключилась.

– Хуже той прошлой?..

– Лебеди давно над избами не летают. Деток мало ведётся.

«А не надо было после плена скопом рожать, да в чужую породу...»

Корениха слышала его мысли:

– Молчи, дурень! Ума не нажил рот раскрывать! Это после Беды стало.

Бесстыжий внук всё же буркнул:

– После Беды каждый род оскудел...

– Мы кручинимся, что по семеро сынов ложками не стучат. А у них половина мужей с жёнами понимаются... совсем вотще. Приметил, как она к Жогушке потянулась?

Светела накрыла догадка. По спине морозом пробежал ужас, в глаза метнулась белая вспышка. Кулаки сомкнулись гирями.

– Они... Жогушку? Себе просят?... Я им... я их...

«Покалечу! Смертью убью! Ноги приделаю, что без пяток за Светынь убегут! Сам помру – не отдам!»

Едва не рванулся назад в шатёр.

«А если атя им обещал... за какую-то службу... нет... Сквара...»

Остановил его тихий смех Коренихи.

– Угомонись, внук. Рано полыхать. Не на Жогушку они глаз положили. – Вздохнула, пояснила: – На тебя, Светелко.

Он опять сначала не понял:

– На меня?..

«Ещё выдумали! Куда я им? Только жду, чтоб Жогушка подрос... мне в дружину...»

Корениха перестала улыбаться. У губ обозначились всегдашние суровые складочки.

– Ты молод и раж, Светелко. Вот что слушай. Подсивер со Свеюшкой обрачились в год Беды, но она не затяжелела. Молилась, добрые зелья пила... обрекалась хоть родами умереть... Отчаялась. – Бабушка вздохнула, помолчала, продолжила: – Сама мужа уговорила пойти ко вдовушке молодой, дётной. Пусть бы родила от него. Второй женой в дом вошла.

Что-то надвигалось. Светел молча слушал. До сих пор ни Равдуш, ни Корениха с ним таких речей не водили. Атя, верно, мужскую премудрость передать мог... да что теперь.

– И не понесла вдовица, – сказала бабушка. – Смекнули тогда: это мужу в родительской доле отказано. Они сюда приехали неместного товару искать, Светелко. И нашли. Глянулся ты им. Челом бьют, уважить молят. В лютой горести выручить. Ты, мой внученько, мужевал ли когда? Девочек в уста медовые целовал?

Вот это остолбуха была! Светел постиг наконец, чего промышлял в

Торожихе несчастный сын несчастного рода. Насупился. Взялся краснеть. Мучительно, тяжело, жарко. Так что на ресницах выступила роса.

– Я... – кое-как сумел выдавить. – Я... Крыло вон пригожий! Все девки срам оставили, женихов позабыли!

– Крыло? Этот щеголёк, верно, девок перебабил довольно. Да на что Свеюшке взгляд его синий?.. А вот твоей крови отливушек в Подсивера может потянуть. Глазом, волосом. Зря ли они два дня за тобой следом ходили. Ступай, Светелко.

Он аж охрип, шалея от невмерности происходившего:

– Куда?

– За шатром полог натянешь.

Светел заново озяб. Тут же взмок ещё жарче, решил заартачиться. «Не хочу так!..» Он, конечно, мечтал однажды обнять девичье тело, податливое в его сильных руках. Нежное, сладко пахнущее ответной приязнью, робостью, безоглядным доверием... Их любовь будет краденой и короткой, потому что Светелу никак не судьба водить жену, гоить дом... она будет... ох.

«Не хочу! Там тётка чужая! Маме ровесница! А я не белый оботур, которого всякий со своими турицами пустить мыслит...»

Ерга Корениха услышала отворот внука столь ясно, будто он вслух выкрикнул. Взяла за плечи, заставила поглядеть. Почти по-мужски крепко встряхнула.

– Дитятко, – ласково сказала она. – Неволить я тебя не хочу, но вот что послушай. Я сына к святым родителям проводила. Внук старший в нетчинах, младшенький дитя малое. И ты, чадо сердечное, за порог глядишь. Будет хоть через Свеюшку Пенькову роду продление... нам память. Их росточек поднимется, да с твоим взглядом сокольным!

А он думал, будто знает бабушку, строгую, немногословную, скупую на ласку и похвалу.

«С моим взглядом?.. так я... кровей пришлых... ох... андархи...»

– Дитятко, – повторила Корениха. – Ты мне внук, Равдуше сын, родней не бывает. Семени множиться, людям жить. Иначе лихолетья не переждем. – Вздохнула, добавила: – Страшно с белого света бездетными уходить. Так скажу: будь притча иная... на Жога бы засмотрелись... я бы первая велела ему к ней пойти. Равдуша после в мыльне отпарила бы... веничком можжевеловым...

Пока Светел натягивал за шатром лёгкую завесу из двух санных полстей, внутри жалко всхлипывала Свеюшка, утратившая решимость:

– Как обниму его? Я мужа люблю...

Она страшилась, готовая в последний миг отступить от «невместного товара», который сама же облюбовала. Подсивер не говорил ничего. Однако его молчание столь же внятно сочилось сквозь суровую стену, кипело застарелым отчаянием, бессильной надеждой.

Равдуша ответила сразу обоим, проговорив неожиданно рассудительно и спокойно:

– Так ты, племяненька, мужа обнимать будешь. Фату свадебную принесла?

– Принесла... фату, рубаху посадскую...

– Вот и покройся любовью мужниной. А ещё... – Равдуша склонилась к самому уху Свеюшки, но Светел всё равно услышал. – А ещё веди его, несведомого, если вдруг заробеет.

«Заробею? – возмутился он. – Да я!...»

И тут же подкатила боязнь.

Спустя малое время из-под свеса шатра ползком вылез Подсивер. Вытащил за собой конец длинного полотенца. Всё же его родовичей дразнили не зря. Подсивер встал, оказавшись со Светелом сходного сложения, одного роста. Только «андарх» уже вошёл в лета зрелого мужества, а Светел к ним близко не подобрался.

Они едва взглядами обменялись. Оба враз отвернулись, точно шарахнулись. «Не хочу я... Не так!» – мелькнуло последний раз, пропало снежинкой в огненном вихре. Корениха поставила их спиной к спине. Велела раздеться, расплести волосы, приказала зажмуриться. Взяла обоих, стала быстро крутить противосолонь.

За Киян-морем Остров Жизни лежит.
Вкруг зелёных луговин кручи каменные.
Кручи каменные, неприступные.
На том Острове Перводреву стоит.
Алабор-камень корешки оплели,
Голомень долгая сквозь миры прошла,
Божье Небо зиждут ветви могучие.
Как с них сыплются семена всех трав и деревьев,
Людей и зверей души наземь быстро бегут,
Лишь одна душенька всё никак пути не найдёт...

Они стукались лопатками, прикосновение чужой кожи было

непривычно, срамно, враждебно...

Всякий пёс холит-гоит малых щенят,
Всякий лебедь холит-гоит малых птенцов,
Только я, молодой Подсивер, дитя на руках не качал.
Ты за тучами проснись, ясно Солнышко!
Ты ударь огнём небесным, святая Гроза!
Ты волнами всколыхнись, предвечный Киян!
Вы потряните Перводрево да от самых корней,
Вы потряните Перводрево до зелёных ветвей.
Вы родительский листочек наземь сбрасывайте,
Душу малую да попускайте в крови жены,
Облекайте плотью сильною, крепкою,
Тельцем толстым, ручками хваткими, ножками резвыми!

Светел неуклюже переступал вслепую, боялся запнуться. Знакомый бабушкин голос стал незнакомым, обрёл могущество, вселенскую власть. По лицу, по телу прошла ветошка, намоченная снеговой стылой водицей. Кто и как успел выставить под полог непочатое ведёрко, Светел не знал. Он сейчас падающего дерева не заметил бы. Только чувствовал, как вокруг переворачивался мир. Всё своё облетало, словно отболевший волдырь. Чужой оберег раскалённым железом прилип на голую грудь.

А пойду я, удалой Подсивер, к молодой жене!
Встану смело, встану крепко на великую рать!
Прямоезжий путь расчищу от Небес до Земли,
Раскидаю буреломы, растворю родники,
Тёплым пухом выстелю гнездо для новой души!
Чтоб гуляла по Земле да Небо славил,
Отчий дом светлила, длила рождение.
Как не ведает берегов предвечный Киян,
Так не будет слову моему ни края, ни скончания.
Слышат мою правду кручи каменные,
Вторит ей вершина Древа живущего,
Замыкает мою правду Алабор-камень святой!

В руки уже-не-Светелу сунули мягкий ком. Он едва не упал, натягивая

штаны, отчаянно запутался в тельнице, хранившей Подсиверово тепло. На затылок легла рука, пригнула к земле. Не открывая глаз, он нащупал перед собой край шатёрного свеса. Торопливо приподнял. Схватил шершавое полотенце, стал перебирать, пополз внутрь, проникая из своей вселенной в чужую...

...И было судорожное дыхание где-то впереди, за красной темнотой сожмуренных век. Пугливое тепло незнакомого тела. Горячие руки, ищущие спасения в его силе... сама эта сила, неожиданно грозная, солнечная, животворная... шёпот сквозь расшитую свадебную фату, неверный, косноязычный:

– Подсиверко... любимый... желанный... ладушко мой...

Мужа, отженённого от жены, вон из полога не пустили. И надо бы, да угодит под недобрый глаз, долго ли святое дело испортить! Бабушка лишь принесла ему два полена, вручила тяжёлый косарь, назвала по имени – Светелом. Благословила делать то, что всегда делал внук: щепать лучину. Он чуть пальцы не перекалечил, слушая, как в иномирье шатра глухо звала, охала, всхлипывала Свеюшка... Тот, кто был с нею, долго не подавал голоса, потом сдавленно зарычал. У коловшего лучину упал из руки нож, он поспешно схватил его.

Наконец зашевелилось полотенце, из шатра ужом выполз кто-то мокрый, встрёпанный, беспамятный. Корениха вновь поставила мужчин спиной к спине, сказала раздеться. Закрутила уже посолонь, возвращая каждому свою самость... имя, родные обереги, одежду...

Подсивер схватился за полотенце, Свеюшка потянула с той стороны, втягивая мужа из заговорных кругов в привычную каждодневность. Светел обнаружил, что сидит под пологом на песке. Он плохо помнил, как там оказался. Рука скребла левое плечо, где рассасывались, исчезали проступившие синяки. Он хотел встать, передумал, но и сидя не удержался. Земля тянула к себе, была мягче тюфяка на полатах. Откуда-то взялась войлочная полстина, он благодарно заполз на неё, свернулся клубком. Бок накрыло уютное меховое тепло, бабушкина рука погладила по мокрым кудрям.

«А ну тебя, Крыло. Без нужды им глаза твои синие...»

Светел заснул и беспробудно проспал остаток дня.

Прежде чем идти на купилище, твёржинские всем обществом навестили Родительский Дуб. Великая тётушка Розцепиха несла печальное полотенце с узорочными краями, браными драгоценным льном.

Которое по счёту за время вдовства? – она одна счёт им вела. Велеська, младший внук, быстро пробежал по нагим ветвям. Срезал прежнюю, истрёпанную ширинку, завязал новую. Полотнище развилось на ветру. Хлестнуло старую, но всё ещё глубокую и видную впадину на древнем стволе. Розщепиха придирчиво оглядывала Дуб: все ли стойно кручину блюдут? Покачала головой, заметив полотенце Жиги-Равдуши. Одна ветхая середка да узел! Так пойдёт, вовсе наземь слетит. И сама Равдуша, глядишь, пояс справа завяжет, оставит печаль. А ведь не вчера бесчиние началось! Едва родив, к погребальному костру выбежала. А красные рукава во время истой кручины? А в Торожиху из дому снарядилась?

Вот и Жогов рубец на коре будто заплывать стал... Лёд натёк? Само дерево выправлялось?

*Не умеет Корениха домом владеть, в строгости невестку держать.
Не будет добра.*

Божья огнивенка

– Полежай в избу, гость желанный!

Захожень, кряжистый мужик в полуторной шубе, повозился в сенях, обметая с меховых сапог остатки талого снега. Сняв шапку, поклонился Божьим ликам в красном углу. Утвердил на пороге выдавший виды берестяной короб.

– Здорово в дом! А я тебя, брат Лигуй, еле нашёл. К Порудному Мху сперва прибежал. Ты никак насовсем сюда перебрался?

Шевельнулась занавеска бабьего кута. Мелькнул вдовий убор. Выглянула хозяйка, за ней дочери. Поклонились гостю, начали торопливо собирать на стол.

– С твоей упряжкой, брат Хобот, дюжина вёрст не крюк. Хороши собачки... Другим маякам на завидку!

Гость улыбнулся хвальным словам, но всё-таки обтёр лицо заскорузлой пятернёй, стряхнул пальцы, спасаясь от невольного сглаза.

– В добрый час молвить, в худой промолчать... Я, что ли, мешаю таких же купить?

Снаружи поднялся шум. Рык, визг, лай! Упряжку Хобота водворяли в собачник.

– Серая задирается, – прислушался маяк. – Давно бы дрянь кусливую пришить... кабы за троих не тянула.

– Шубу скидывай, брат Хобот. Натоплено.

Бродячий торговец перенёс короб к столу, поднял крышку.

– Слышал я, старшенькая Бакунична скоро своим очагом заживёт...

– Удеса! – окликнул Лигуй. – Поди сюда, сударыня, сделай милость, дочек веди! Подарочки выбирайте.

Хобот уже выкладывал на стол диковины, невиданные в восточном заглушье.

– Вот ступка старого дела, толоч в ней чеснок, а запах не лёг, теперь таких не найдёшь. Вот скалочка доброго камня, тяга земная сама тесто рассучивает, катай, веселись, рукой не трудись. Вот нитки андархские, настоящие царские, до веку не полиняют, жениху рубашку вышивать, чтобы не разлюбил...

По плечам и спине перекатывались хвосты воротника. Шубу Хобот так и не снял. Слишком привык. Боялся почувствовать себя голым, уязвимым.

– Беру, – щедро обвёл товары Лигуй. – Даже торговаться не стану. Всё

для радости вашей, разлюбезные чада!

Удеса приобняла девок, велела ровным голосом:

– Поклонимся батюшке, дочурки.

Старшенькая, в платочке внахмурочку, покорно склонилась.

– Благодетелю нашему...

Младшая собралась губы надуть, мать щипнула. Лигуй сделал вид, будто не заметил.

Когда Удеса с дочерьми скрылись в малой избе, всё же вырвалось:

– Примучить бы дур...

Маяк усмехнулся:

– Что же не вразумишь?

– А терпелив я, – нахмурился Лигуй. – Жду, чтоб сами приластились.

И так за добро моё от злых людей наговоры! Учить начну, вовсе лихая слава пойдёт.

За едой он больше молчал. Слушал гостя. Язык у Хобота приделан был от рождения туговато, однако ремесло за годы расшевелило. Люди ждут маяка не только ради товаров. Им новости подавай. О жизни за тридевять земель, о шегардайских Эдарговичах, о поисках утвари, расхищенной из дворца... и прочей чепухе, даже краем не касавшейся Порудницы с Ямищами.

Когда Хобот опустил ложку, хозяин понизил голос:

– Мне-то мелочишку привёз, о коей сговаривались?

Торговец ответил степенно:

– Как не привёз! Ночей не спал, сберегал.

Подтянул короб, вынул оплетённый горшочек. Вытащил свёрток. Не спеша размотал. Лигуй увидел тонкую бронзовую клетку и камень в ней. Красный, прозрачный, огранённый ступенчатым остряком.

Мигом забылась дедовская наука: хочется товарец купить – не хвали! Виду не показывай, что полюбился!.. Рука сама сотворила святой знак Огня.

– Охранителю, от злого мрака заступнику...

– Из храма разваленного, – степенно пояснил Хобот. – Из старого Лапоша. Ялмакович мечом клялся, будто с алтаря взято. Чехолок золотой пожаром распавило, а может, украли, уж не взыщи.

Лигуй помолчал. Сглотнул.

– Ну а... святость сбереглась ли?

– Это испытать можно. Неси четыре светильничка.

...Маяк возился нескончаемо. Искал верный север. Нацеливал известную сторону клеточки на божницу, противную – на устье печное.

– Видишь четыре лика чеканные? Надо расположить, как над воротами шегардайскими. Спутаешь – победушек не оберёшься!

Покупщик аж взопрел, стараясь запомнить. Славно жить при Огне, но стоит прогневить, напугать... Да что! Беда памятна.

– Долго мешкаешь, брат Хобот, – вылетел судорожный смешок. – При этом огне семь деревень помёрзло! Сила неключимая подступит, уговорю ли обождать?

Бывалого торгована смутить было трудно.

– А кто велит Божью огнивенку в лес таскать, как обычное кресиво? Ты её в святой угол поставишь, замкнёшь в сосудце узорочном. Всяк день живой огонь возжигай! Да не саморучно вытертый, а с пречистого алтаря! Окуришься дымом – какая нелёгкая подступиться дерзнёт?

Зажёг светочи, стал искать им места. Хозяин пристально наблюдал. Руки у Хобота были могучие, но не особенно ловкие. К узорам бисерным непривычные. Двигаться по волоску не учёные. Каждая оплошка заставляла Лигуя вздрагивать.

Наконец камень ожил. Засиял, как рдеющий уголь. В алой глубине пробудилось сердечко, начало посылать кверху выплески прозрачного света. Медленно, потом чаще, чаще...

Хобот спохватился, бросил клок растопки на бронзовую решётчку. Берёста выгнулась, испустила коптящие язычки. Лигуй смотрел замерев, таращил глаза. Беззвучная молитва шевелила усы. Нужно было приветствовать, восхвалять, вот только голос позабыл дорогу наружу.

Огненное сердечко трепетало, вспыхивало, метало золотой жар...

Лигуй смотрел, не мог оторваться, нутро всё туже скручивал страх.

Хобот вдруг вскочил, сцапал с полницы порожний горшок, проворно накрыл разошедшуюся огнивенку. В горшке обиженно зашипело. Помалу шипение улеглось.

Только тут Лигуй почуял запах горелой пеньки. Вскинул глаза к потолку.

Сеть, висевшая во владениях печной копоти, тлела посередине. Грозила полыхнуть.

Двое мужчин заметались в избе. Ухватами, чапельниками сшибли злосчастную сеть. Затоптали, измарав чистый пол.

Хобот перевёл дух:

– Потому, брат Лигуй, я в сосудце замыкать и велю... Огонь не вода, пожитки не выплывут!

В малой избе всё было как при батюшке, при государе Бакуне. Удеса

со старшей дочерью заправляли кросна, основывали основу. Ловко вязали нитченки, готовились выбирать узор, завещанный от прабабок. Только рубашки кручинились белыми рукавами, утратившими цветение вышивки. Чаяна с матерью не смеялись, не вспоминали предсвадебных плачей. Просто работали.

Аюшка взяла было прялку, устроилась у светца. Дело не пошло. Веретено замирало в руке, взгляд возвращался к подаркам на полавочнике.

Скоро брызнули слёзы.

– Мамонька! На что кланяться приказала? Не батюшка он нам! Самочинно влез, благодетелем назвался, защитником! Не звала ты его!

Чаяна упустила нитку. Удеса выпрямилась, вздохнула. Скорбные глаза, морщины, как прожилки на безвременно увядшем листе.

– А ты, дитятко, не ему кланялась. Плачено за подарочки от честных трудов сокола нашего сгнувшего. Это его рученька тебе диковины многоценные протянула. Ему и почесть была.

– Чуешь? – спросил Хобот.

Он был доволен. Мысленно уже подсчитывал барыш.

Лигуй потянул носом:

– Ну...

Запах витал, шевелил в памяти что-то крепко забытое.

– Как после грозы, – подсказал маяк. – В груди радостно. Это оттого, что Божьей огнивенки всякая нечисть бежит.

Лигуй на пробу вдохнул. Выдохнул.

– Ещё дело к тебе есть, брат Хобот. Ты все земли прошёл, всех людей видел. Поди, грамоте разумеешь? Писа́ньице нарочитое сладить поможешь?

Отъезд из Невдахи

Когда ветер дул с моря, да ещё и подгадывал нужное направление, высоко над головами принималась выть Наклонная башня. Раньше её называли Глядной. Если в северной стороне задымятся костры, с неё должен был прокричать рог. Дикомытское войско так и не появилось. Маковка надломленной башни давно стала недоступна самому ловкому ползуну. Никуда не делся только вековой страх. Когда он подавал голос, сквозь стены опочивальных покоев сочились неподобные сны. А стоило буре как следует разгуляться – из Чёрной Пятери хотелось утекать со всех ног. Куда угодно, лишь бы подальше.

Ознобиша снова шёл сквозь туман. Сжимал в руках снегоступы. Сердце трепыхалось в ожидании жуткого и неотвратимого, ждавшего впереди. Он бы всё отдал, чтобы убежать или хоть свернуть, но не мог. И он был один. Начисто, беспросветно один. Никто не ободрит... не заслонит...

Туман стал редеть. Ознобиша всхлипнул, ускоряя шаги, чтобы неведомое скорей явило себя. Ещё сажень...

Перед ним выросла знакомая стена. Та самая, где сорвался Дрозд. Заплывший ров. Дорога, ныряющая в ворота. У границы снега стояло дерево. Корявая, кряжистая сосна, ни живая, ни мёртвая, как все нынешние деревья... обломанная макушка, длинный сук, простёртый через дорогу...

Сердце прыгнуло вон из груди. Под сосной плясали, корчились, извивались нечистые тени, облепившие гордого человека.

«Ивень!..»

Ознобиша кинулся со всех ног, оскальзываясь, увязая в снегу.

«Ивень, брат! Я не знал!»

Тени облапили Ознобишу. Стали всовывать ему в руки заряженный самострел. А вот не на такого напали! Ознобиша больше не был напуганным, беспомощным малышом. Тени шарахнулись его гнева, как солнечного огня. Он наконец-то дотянулся до Ивеня. Ощутит тепло и боль его тела. Торопливо стал растягивать, срывать впившиеся верёвки...

Ивень чуть приподнял голову. Улыбнулся братишке – грустно, уже с той стороны. Ознобиша близко увидел его глаза.

Почему-то впрозелень голубые... Скварины...

Он содрогнулся, сел в темноте. Явь с трудом пробивалась сквозь сонное видение, слишком яркое, яростное, живое. Было холодно, рука не находила рядом братейки. Наверно, это Шагала снова заплакал. Гнездарёнок часто плакал, когда выла Наклонная. Сквара его утешал...

Ознобиша зябко передёрнул плечами. Снова лёг, закутался в одеяло... наконец понял, что вблизи никто не всхлипывал, не шептался. Сон постепенно редел. Чёрная Пятерь уплывала за снега и леса, за тридевятую овидь. Кругом всё основательней смыкалась каменная насущность Невдахи.

Здесь Ознобиша пока не оставил никаких теней по углам. Он понемногу согрелся и крепко уснул.

Ещё вечером на Ворошок нанесло косматую тучу. Правда, не с моря, а совсем с другой стороны. Во дворах и переходах Невдахи замечались призраки. Заголосили так, что расхотелось даже пугать друг дружку рассказами о неупокоенных Нарагонах, всюду ищущих родовое кольцо. Под утро стало тихо. Буря откочевала в сторону Кияна, покинув гряду в долгих саванах возвращённой зимы. Оттепель изорвёт морозные ризы, но сегодня мирская учельня прыгала через сугробы, умывалась белым холодом, кидалась снежками.

Вышел хмурый, озябший державец, служивший в крепости ещё при боярине Сварде.

– Шевелись, дармоеды! Ваши учителя снег должны разгрести?..

Ознобиша с готовностью схватил лопату. Удивился, поняв, насколько, оказывается, тосковал по привычной работе, по северной зиме. Стужи в замке не бывало никогда. То ли от близости горячего водопада, то ли потому что героя вправду показали доброе место... Вот только зимы год от года делались всё суровей. Едва успели порадоваться весенним дарам, по обычаю присланным из Подхолмянки, – как задуло, как нанесло!

– С дикомытской стороны веяло, – пропыхтел Ардван. – Чего хорошего ждать!

Ознобиша хихикнул:

– Мы с братейкой-дикомытом снега перекидали, сколько ты за всю жизнь не увидишь...

Тадга широкой лопатой открыл от пухлого белого пласта. Упираясь, подгрёб на край площадки.

– Так дело пойдёт, в долине зелёные пруды вымерзнут.

Ознобиша принялся помогать. Ростом он был по ухо рыбацкому сыну,

но сноровка любой дюжести сто́ит. Сугроб пошёл расти на глазах.

– Выстоят пруды, – успокоил Ознобиша приятеля. – Они знаешь сколько добра в них сбрасывают? Всем городком. Тёплого...

Ардван засмеялся, оттопырил гузно, хлопнул кожаной рукавицей.

– Всё равно туча дикомытская не к добру, – пробурчал Тадга. – Говорят же, воевать их скоро пойдём.

– Кто говорит?

– Да все. Вот пошлют меня войско считать, Ардвана – указы начисто переписывать, тебя... – Он запнулся, соображая, мог ли быть прок ратным людям от Ознобиши. Сразу не придумал, безнадёжно махнул рукой. – А там всех в плен возьмут.

Ознобиша прищурился, упёр руки в боки:

– Это когда же? Когда ваши Ойдриговичи снова Позорными воротами побегут?

– Тихо ты, – испугался Тадга.

Ардван тоже покосился через плечо, кивнул в сторону:

– И станем неволей маяться за Светынью. Вот как Орик...

В сторонке уныло шуровал их ровесник. Держал лопатище, словно одолевал всю тягу земную. Цеплял снег по горстке, бросал тут же рядом. А уж лицо было!

– Хоть образ в храме рисуй, – пискнул Ардван. – Первые мораничи на каторге изнемогают!

– Люди добрые, – одновременно заскулил Тадга. – По злomu велению чяхну, вместо того чтобы у боярского престола стоять...

Ознобиша засмеялся с друзьями. Потом нахмурился. «Я сюда не просился, – говорил Сквара. – Но коли попал, надо все умения превзойти...» Сквара теперь, наверно, лучшим учеником стал. Вместо Лихаря стеном. А с уныльника Орика и в красных палатах толку будет как здесь. «Вот ужо сошлют тебя, бедолагу, на кру́жечном дворе долгишки писать...»

– Всё равно, – снова помрачнел Тадга. – Поймают, пытать возьмутся. Сколько войска да которым путём воевода сторожевой полк выслал... как язык за зубами сдержать?

– А никак, – сказал Ознобиша.

– Да ладно, – не поверил Ардван.

Тадга зябко переступил с ноги на ногу:

– Сам баял, на воинском пути знáтые живодёры. Я-то думал, вас му́кам противиться обучали! Боль от тела отмещать...

– Нужен ты кому, – засмеялся Ардван. – Кто слышал, чтобы при

воеводах счислители состояли?

Тадга подкинул ногой снег.

– Я, может, зодчему помогать буду. А враги о защитной стене узнать захотят!

Ознобиша пожал плечами:

– И узнают, если тебя господин твой не сбережёт.

– Огнём жечь будут? – с болезненным вождением спросил Тадга. – Руки ломать?

Посмотрел на свои рукавицы, вздрогнул. Сжал кулаки, зябко втянул в рукава.

– Огнём хлопотно. Дым виден и смрад повалит, – рассудил Ардван. – Они проще сделают! Валенки слупят, самого ногами в сугроб. Всё сразу расскажешь.

Тадга опустил глаза. Войлочные сапожки начинали расползаться по швам. Совсем погибнут, если скоро не починить.

– Ну уж не сразу... потерплю...

Ему было страшно. Ардван засмеялся, тонко заверещал:

– Всё скажу-у-у! Сколько два да один будет... и сколько из трёх два вычешь...

– Ха-ха, – скривился Тадга. – А ну выкладывай, краснописец, что господин в стольный Выскирег доносил?

– Трусишка ты, рыбачок.

– От зайца горного слышали!

– Ну вас, – потрянул головой Ознобиша.

– погоди, – вдруг вспомнил Ардван. – Ты все книги прочёл! Йелегеновы советники, Игай да Койран... выдержали, когда хашины...

– Не выдержали.

Мирские недоучки переглянулись. Выкормыш Чёрной Пятери явно что-то знал. От этого становилось неуютно.

– А в летописях...

– Летописцы славили царя Йелегена и придумывали победы, если их не было.

– Это тоже учитель ваш говорил?

Ознобиша кивнул.

Тадга смотрел так, будто собираться с духом для мук предстояло прямо сейчас. Архван ещё хорохорился, но ухмылка получалась кривая.

– Значит, совсем-совсем способа никакого?

– А учителя вашего в плен взяли бы? – спросил Тадга.

«Ветра! Взяли!..» Ознобише стало смешно. Потом он оставил

улыбаться, медленно проговорил:

– Способ-то есть... Помянул однажды учитель...

Друзья встrepенулись.

– Ну?! – подался вперёд Ардван.

Тадга сразу потерял надежду:

– Тайный небось...

Ознобиша вздохнул:

– Тайна невелика. Исполнить духу не хватит.

– Это почему?

– Надо внутренним усилием рот на замок запереть и ключ выбросить.

– Тебе хорошо! – обиженно протянул Тадга.

Теперь смешок вырвался у Ознобиши.

– Мне?..

– Ты везучий!

– Царские наручни отвергаешь, вместо плётки за наглость ещё имя новое дарят.

– Тебя к важному господину пошлют. Уж он в обиду не даст.

– Тебя на воинском пути всему научили! А мы хоть отравой впрок запасайся!

Друзьям не дал поссориться один из младших мальчишек. Он до того торопился, спускаясь по каменной лестнице, что поскользнулся. Взмахнул руками, больно сел на ступеньку.

– Ознобиша... то есть Мартхе! В передний двор беги! Дыр зовёт!

Наставник Дирумгартимдех, смуглолицый южанин, не любил холода. И в том, что талая жижа вновь чавкала под ногами, более прочих был виноват Ознобиша. Оттого ему для начала досталось палкой поперёк склонённой спины.

– Праведные владыки радеют о восстановлении державы, но подданные, должны облекать плотью царскую волю, не желают слышать слов мудрости... Чьё скудоумие указало на этого никчёмного, когда есть действительно достойные ученики?

Не поднимая головы, Ознобиша видел друзей, опасливо глядевших из-за угла. До гнездая постепенно доходило, что Дыр позвал его не просто для очередной руганицы.

– Будь моя власть, – продолжал наставник, – я бы послал наделённого благородной рукой, годной составлять хозяйские письма... Этот же пишет, как ворона, склевавшая пьяные ягоды! А его бесчинная привычка читать молча, убегая на десять страниц вперёд, пока прилежные отроки за

учителем повторяют!..

«Не на десять! Неправда это! Всего на пять...»

Против Дыра стоял доверенный писарь одного из купцов. Ознобиша мельком видел его в Подхолмянке. Слуги держали под уздцы лошадь.

Неужто жизнь снова готовилась круто лечь на крыло?..

«Чем ругать напоследок, позволил бы котомку собрать... Матери Странице помолиться, кусочек хлеба дорожным оберегом припасти...»

– Я, – продолжал Дыр, – несомненно предпочёл бы юношу благоразумного, возвращённого в кротости, в послушании! Мой разум отказывается постигать, как возвеличит своего благодетеля этот сын лесной тьмы, только и превосходящий других в хождении по забору!

Тадга и Ардван во все глаза смотрели на Ознобишу. Тот клонил голову к мокрым и скользким камням, словно туда, как горошина в щель, закатилась отгадка его странной судьбы. И что дёрнуло предрекать Орику скорое прощание с Невдахой? Забыл – мысли своей жизнью живут? Даже невысказанные?

По кое-как счищенной жиже прошлёпали торопливые шаги. Мальчишка-посыльный принёс Ознобишин старенький заплочный мешок. Хотел отдать, Дыр выдернул, придиричиво заглянул. Вдруг что лишнее завалилось? Ознобиша встал наконец. Ещё раз поклонился учителю. Торопливо натянул лямки. Штаны, пропитанные талой влагой, липли к ногам.

Дыр указал ему на писаря:

– Ты будешь во всём слушаться этого господина. Я предупредил его, что нрав у тебя дерзкий. Посоветовал не жалеть палки!

Писарь хмыкнул, взял у слуг повод, забрался в седло. Лошадь вздохнула, неохотно поворачивая в обратный путь. Седок толкнул её пятками.

– А ты что встал? – рявкнул Дыр.

Ознобиша сорвался с места, побежал догонять всадника. В воротах оглянулся. Ни Ардвана, ни Тадги.

Писарь недовольно повернулся в седле. Придержал лошадь.

– Ты там, пендёра! За стремя берись!

Ознобиша всадника-то лишь в Подхолмянке близко увидел, а за стремя не держался вовсе ни разу. Он нерешительно потянулся к железной дужке в полосах ржавчины. Как прищемит пальцы грубый сапог, тёмный от сырости...

Нога в стремях дёрнулась для пинка.

– Башка осетровая!.. За путлице хватайся! Повыше!

Ознобиша догадался, стиснул в ладони ремень. Из воинского пути его, по крайней мере, провожали друзья. Воробыш коробком съестного снабдил. И возчики зазря не теснили, потому что Ветер насчёт палки им не советовал, а Сквара вовсе перепугал...

Здесь друзьям даже подойти не дали. И писарь этот, кажется, борзой рысью до Подхолмянки гнать собирался. А ещё тайное воинство за жестокость ругают!

С крепостной стены донеслось пение:

Город каменный над озером стоит,
А живёт в нём всё порядочный народ.
А кругом стена из вытесанных плит,
В той стене – широких четверо ворот.
Протянулись до повинных деревень
Прямоезжие четыре большака:
Как на полночь, на восход, на красный день...
И последняя дорога – на закат.

Ознобиша очень хорошо знал эту песню, потому что сам доставил её в мирскую учельню. То была чуть не первая настоящая хвала, сочинённая Скварой. Учителя Невдахи кривились. Они привыкли иначе толковать рождение котла и отступлений не признавали. Впрочем, вовсе запрещать не отваживались.

Той дорогой, как говаривали встарь,
По обычаю прадедовских времён
В славный город заезжал пресветлый царь,
И плясал под ним ретивый рыжий конь...

Ардван и Тадга стояли высоко на стене, обнявшись за плечи. Вдохновенно орали в два горла:

Хлебом-солью все подвластные края
Привечали воспринявшего венец.
А кругом качались копий острия,
И для пира приготовлен был дворец.
Но владыка наш коня остановил

На дороге у широкого моста.
Там на подвыси, в колодках, весь в крови,
Обречённый ждал последнего кнута.
Он держался, как воды набравши в рот,
Только кудри слиплись потом у лица.
И ударов не считал уже народ,
Опечаленный злосчастьем удалца...

Рядом с двумя друзьями выросла тощая чёрная загогулина. Дыр гневно замахнулся палкой. Ребята шатнулись, стукнулись один в другого, замолчали.

Путлице в руке увлекало Ознобишу вперёд. Смотреть вверх было некогда. Зазевайся, как раз шлёпнешься под копыта.

Со стены долетел ещё голос. Скварину далеко не верста, но чистый и верный.

«Погоди! – сказал владыка палачу,
Исполнявшему жестокий приговор. –
Я спросить у вас, желанные, хочу,
Как расправы доискался этот вор?»

Ознобиша не утерпел, вскинул голову. «Орик! Я-то смеялся...»

Отвечали городские большаки:
«А за то злодей-разбойник брошен ниц,
Что сиротам раздавал он пирожки,
Платьем крашеным одаривал вдовиц.
С кистенёчком обходил ростовщиков,
Выставлял котёл похлёбки для детей...»
Царь отмолвил: «А парнишечка бедов!
И ему уже достаточно плетей.
Это вас бы, волостелей, на правёж!
Вы-то сыты и одеты хоть куда!
Тот людей казнить и миловать не гож,
Кто убогим не опора, а беда!..
Я велю разбить колодки, спрятать кнут,
Смыть бесчестье полновесным серебром!

Пусть отныне и вовек его зовут
Самым первым, изначальным котляром!
Да разгладится Владычицы чело!
Да узрит Она достойные дела!...»
...Так рассказывать, ребята, повелось
О святом начале нашего котла.

Понемногу Ознобиша приспособился к лошадиной побежке.
Выровнял дыхание. Ходко затрусил по дороге, унося из мирской учельни
не намного больше, чем когда-то принёс. Ношеную одежду... старую книгу
о развлечениях для ума... верёвочный плетёжок на руке.

Личник

Маленький Аодх сидел среди густой муравы. Солнце играло в шелестящей листве, пятна света бродили по нежному узорочью лесных трав. Ягоды земляники были крупными, красными в бисере крохотных буроватых семян. Сперва они чуть горчили во рту, потом растекались диким летним мёдом, а пахли!.. Аодх уже выучился искать их, запрятанные под листьями. Только с черешка снимать, не раздавив, выходило через раз. Он смеялся, облизывал пальцы. Рядом пели и разговаривали женские голоса, им отвечала мама Аэксинэй. Солнце брызгало золотыми искрами, касаясь её головы.

В последнее лето отец, по царскому долгу, объезжал земли. Останавливался в деревнях, слушал старейшин, творил суд. Мама стирала, пряла, готовила среди женщин. Показывала сынишке, как растёт земляника. Он тянул ягоды в рот и не знал, что живёт в счастье. Преходящем, неворотимом, точно солнечные пятна в траве. Не знал, как быстро всё кончится, чтобы воскресать лишь во снах, отдающих горечью и лесным мёдом.

В женские голоса встрял знакомый мужской:

– Поспеши, государыня. Праведный супруг тебя и сына зовёт.

– Что такое, добрый Невлин? – забеспокоилась Аэксинэй. – Никак вести дурные?

Маленький Аодх уловил тревогу матери, быстрее пополз на четвереньках вперёд. Ещё ягодку! Ещё, ещё! Взрослый непонятный разговор почти миновал его, бросив в память лишь несколько слов:

– Гонец... измена... Эдарг.

Мамины руки подхватили измазанного красным соком Аодха. Свет и тени быстро замелькали внизу. Ему хотелось назад, на ягодную поляну, но их звал отец, значит надо было бежать...

Светел проснулся оттого, что лицо вылизывал Зыка. Открыл глаза. Сразу всё вспомнил. Заулыбался. Согнал улыбку.

Зелёное, солнечное кружево сновидения быстро тускнело, гасло золотое шитьё на головном уборе царицы... Некоторое время Светел просто лежал, глядя на серую полоску между полстинами. За пологом вовсю шумела Торожиха. В шатре смеялся Жогушка, звучал голос мамы Равдуши.

Надо было подниматься. Поднимать дневные дела. Учить братёнка, как сулился, ладить плетень. А ещё где-то там, за рядами, на краю зеленца, стояла дружина. Взаправдашня. Воевода Ялмак чаёт найма. Опасать большой поезд, идущий в Левобережье и Андархайну. Можно сбегать на развед. Вблизи узреть витязей. Присмотреться к повадкам. Разговоры послушать... Примерить себя к первому шагу по дороге на юг...

Что ж не вскакивается, не бежится?

Светел полежал ещё, хмурясь, раздумывая. Душа со вчерашнего как будто откипела, остыла. Привычная мечта сникла. Позволила рассмотреть совсем иную судьбу. В этой судьбе красовался новенький двор, где Светел владыка. И ровнюшка, что суженым его назовёт. А ещё – дети. Полная изба. С глазами как старый мёд. С непокорными лохмотками жарых волос...

Жизнь, какую мечтали себе все добрые люди.

Кроме него, от рук отбоиша.

«Я обрёкся родительского сына в дом вернуть. За то, что вырастили, хоть так отдарить. И атя благословение обещал. А если я по-глупому своё должное понял?..»

Племиться. Язык продолжать. Даровать всё, чего ждали от Сквары, да не дождались.

Как узнать, где истинная судьба, где ложная? Двух жизней не проживёшь, вправо и влево разом не поворишь. Какое намеренье принять? У кого совета спросить?..

«Да что я раскапустился, будто прямо сейчас решаю!»

Светел потянулся, откинул одеяло. Вылез из-под кожного крова.

«Будет то, что будет. Даже если будет наоборот...»

Всё утро он никуда не шёл со «двора» – так во временном селенье звался клочок земли, огороженный поваленными санками и шатром. Бабушка сидела у рундука. Люди подходили смотреть кукол, забирали кто лошадку, кто волка. Не торгуясь, унесли целую свадебную дружину. Жогушка возился у ног, складывал на колене пять длинных ремешков. Учился верно перегибать их, надбирая ровный плетень. Выходили кривулины. Кто бы сразу ждал от детских пальцев сноровки! Малыш чуть не плакал, но Светел был беспощаден:

– Заново плети. Не годится.

Корениха оглядывалась на сопящего внука, утрачивала привычную суровость. Косилась на Светела.

«Пожалел бы дитё, – говорил взгляд. – Стараётся ведь. И плетёт

верно... почти...»

«А я, ровесником ему, не старался? – так же молча отвечал старший внук. – Сколько у ати под началом ремни на лапках переплетал! Зато не стало переводу лыжам Пеньковым. И не станется!»

Сам он держал на коленях гусли. Не так держал, как обычно.

Пальцы всё ныряли в игровое окошко, он их вынимал. На андархской снасти Крыла окна не было. Гуслиар выбирал струны прямо сверху, там, где ходила бряцающая рука. И как умудрялся?!

«Злая буря... Врёшь! Сызнова!»

Голосница отказывалась получаться. А ведь Крыло попевал не только струны глушить. Он той же рукой ещё и подцеплял нужные, раскрашивая звучание!

Светел отчаивался, тряс непривычной кистью, разминал персты. Добро бы хоть песня была толковая. «Девки, слёзы, вздохи тайные... в прорубь головой... тьфу!» Наигрыш казался слащавым до тошноты. Но – прилип, так и отдаётся в ушах. Светел одну эту песню видел исходившей из гуслей Крыла. Одну её уложил в память. Уча пальцы подсмотренной пляске, неволей бормотал пустые слова. «Другие бы сложить, да люди заключают: стихотворец нашёлся!»

Переборы... подъезды... А как это Крыло прижимал ногтем струну, меняя звучание?..

Гусли тренькали, жалобно дребезжали, не слушались.

«У Крыла руки вона какие. Долгие, узкие. Небось ободей на снегоступы не выгибают. А у меня...»

Жогушка наконец расплакался, метнул ремешки наземь:

– Не могу я!..

Хорошо хоть к бабке за утешением не притёк. Светел нахмурился, накрыл струны ладонью. Въяве увидел улыбку славного скомороха, дяди Кербоги.

– Нет такого слова «не могу», – сказал он братёнку. – Есть «я плохо старался». И «я не больно хотел».

Сам удобнее повернул гусли, поспешил для верности ноготь. Как это Крыло струны петь заставлял, точно гудошные под смычком?

Жогушка поупрямился, похлопал носом. Собрал зловредные ремешки. Выложил на коленку...

Больше всего Светел боялся, что сейчас из шатра выглянет мать. «Не идёт дело, сынок? Так сходи, показать попроси...»

Или сам Крыло остановится за саями, привлечённый звяканьем

струн. Усмехнётся, скривится: втуне бьёшься, малец.

А то подойдут давешние позоряне. Это его, молвят, выдворили вчера? Поделом! Не способен!

«Что я, в самом деле? Боюсь, никак?»

Левое плечо, где сквозь кожу легко вылезали синие пятна, ощутило пожатие невидимой пятерни.

«Кто сказал?!»

Звигуров тын возникал за спиной всякий раз, когда он боялся.

«Сейчас-то чего?.. Не Крыла же?»

А вот чего. Выйти со двора и в рядах натолкнуться на Подсивера со Свеюшкой. Увидеть глаза, в которые вчера даже как следует не заглянул. Остаться стоять столбом, когда муж с женой отвернутся, заспешат прочь.

«Был бы Сквара здесь! Кто при нём на меня посмотрел бы. Андарх, не андарх...»

Светел сыграл песню ещё несколько раз. Сперва – по-простому, бряцаньем. Затем переборами. И наконец – как Крыло. Лихой полёт снова удался хромыми подскоками.

Спрятал гусли в чехолок, понёс в шатёр. Равдуша теплила очажок, топила снег.

– Далеко собрался, сыночек?

– В ряды пойду. На кожи взгляну. Благословишь ли?

«А ещё – за протоку, где дружина стоит...» Он боялся, что мама угадает и запечалится, но она лишь спросила:

– Жогушку поведёшь?

Светел вздел нарядный кафтан, улыбнулся:

– Занят Жогушка. Плетня ровного добивается.

Братёнок в самом деле поуспокоился, перестал ждать немедленной хвалы. Обтягивал ремешки, присматривался, расплетал. Верил: когда-нибудь начнёт получаться. Доходить своим умом и руками вдруг показалось забавней всякой игры. Даже веселей, чем гулять с братом по торгу.

У бабушкиного рундука взволнованно переминался Кайтар. Держал в одной руке Воеводу, в другой – Невесту, самую красивую на прилавке. Размахивал обеими куклами, сводил, разлучал.

– Поздорову ли, братейко! – обрадовался он Светелу. – Слыхал?

– Что слыхал?

– Ли́чник с куклами вышел! С маньяками самодвижными! Про Владычицу рассказывает!

– Про Владычицу?

– А ещё про царей и Беду!

Ерга Корениха пронзительно взглянула на внука:

– Сходи, Светелко. Только... плащик с колпачком накинь, ветер больно холодный.

Он запнулся, вздрогнул. Слова про холодный ветер она велела ему запомнить ещё по дороге сюда.

– Строго тебя бабушка водит, – посмеялся Кайтар, пока шли. – Женить скоро, а она бережёт! Кутает, ровно Жогушку.

– Я ей Жогушка и есть, – буркнул Светел. – А женить не женят, не дамся.

– Брата искать пойдёшь?

Кругом шумели ряды. Высоко взлетали качели, раздавался девичий визг. Две немолодые бабы плыли об руку, несли горшочек пива, латку с жареным коропом – выбирать косточки за долгой беседой.

Сомнения, громоздившиеся в сумраке полога, при свете дня поблёкли, рассеялись.

– И пойду.

– Скоро ли?

– А как братёнка наторю лапки гнуть. – Подумал, сам спросил: – Личник, значит?

В Левобережье людям не велено было жаловать скоморохов, лицедеев, гудцов. Всех, кто потешает народ, отрицает Беду.

– Личник, да не из тех, – загордился Кайтар. – Послушаешь, как Владычицу славят.

Светел жадно спросил:

– Неужто в гусли играет?

Сипловатый, прихотливо подвывающий голос шувыры был слышен издалека. В самой середине рядов, где искусные ткахи хвалились одна перед другой красным товаром, стояла высокая палатка, открытая с одной стороны. Входные завесы были сшиты из лоскутков, зелёных и жёлтых. Яркие полотнища светились под угрюмыми небесами. Их широко раздвинули в стороны, подвязали толстыми шнурами, такими же яркими, разноцветными.

Внутри палатки свисала расписная полстина, которую можно было вывешивать саму по себе и брать по грошику за погляд. Каменная стена с огромным окном, за ним – безбрежный простор, солнце в синеве, белые

гребни Кияна. Светел поначалу только эту занавесь и увидел. В лицо потянуло ласковым ветром, долетевшим из солнечного полдня на морском берегу. Двое малышей вновь бежали вприпрыжку широкой каменной лестницей. Навстречу плескали волны, шепчущая пена впитывалась в песок...

Едва не споткнувшись, Светел вернулся к дневным сумеркам Торожихи. Личник, одетый в тёмный балахон, держался в тени. Прижимал локтем кожаный пузырь шувьеры и то надувал его через длинную трубку, то принимался говорить – громко, нараспев:

Встань
У окна со мной, моя подруга!
Глянь
На красу и свет земного круга!
Грань
Меж сном и явью в час предутренний сотри,
Когда в тумане вспыхнет первый луч зари...

Перед палаткой стояли позоряне. Тоже смотрели на расписную завесу, любовались красками давно сгоревшего дня. Светел подошёл, вытянулся, заглянул поверх чьих-то плеч.

От ноги личника тянулась прочная жилка. Она проходила сквозь тела двух больших кукол – раза в полтора крупней тех, что шила бабушка Корениха. Личник ловко двигал коленом, маньяки переминались, взмахивали руками, согласно приплясывали под гудение шувьеры. Одна кукла была в длинном кружевном платье, расшитом плетеницами синих цветов. У второй приминал белые кудри тонкий серебряный ободок.

Царь Аодх с царицей Аэксинэй беспечно радовались друг другу и чудесному дню, уверенные, что счастье пребудет.

Смотри, как солнце разгорается во мгле!
Наш сын растёт на этой утренней земле.
Стран
От гор до моря наречённый властелин,
И людных весей, и одетых мглой вершин,
Отрада матери, бессмертие отца,
Прямой наследник Справедливого Венца...

Светелу мешали лица, которыми зачем-то снабдил маньяков неведомый делатель. Красивые, но непохожие и неживые, с преувеличенными чертами: глаза, рты, носы... Он содрогнулся, как следует рассмотрев жилку, пронзавшую оба тряпичных тела. В груди стало тяжело и больно, словно острая спица прошла его самого.

«Мама... Отец...»

Светел затравленно метнул глазами из-под глубокого куколя. Сейчас хозяин палатки заметит его. Ткнёт пальцем: «Да вот же он!» Все станут оглядываться...

– Изрядно нарисовано, – погладил бороду седовласый гусачник. У него в левом глазу зрачок был белый, но правый глаз смотрел зорко. – Ишь солнышко горит-улыбается! Вот кончит бормотать, приценюсь. Вдруг продаст после купилища? Дома повешу, пускай внуки глядят!

Светел с облегчением понял: в кукольное действо торжане особо не вникали. И правда, на что им? Чужая, издавна враждебная страна, чужие цари... Да и сказывал личник на языке Левобережья, не вполне тожественном правильной речи.

– А внизу что? Киян-море, никак?

– Лучше бы зелёный лес врисовал.

– Мшары ягодные! Морошку!

– Эх! Морошка... Горстку бы, малым детям попробовать!

Кто-то присмотрелся:

– А вон там что обозначено? Дворня царская?

На разрисованном заднике вправду виднелись нарядные боярыни, строгие жрецы... воины в кольчугах и шлемах... Они опирались на копья, выглядывали в окно, любовались Кияном...

– Ну, скоморошечек, уморил! Что это они у тебя окольчуженные стоят?

– Коновой Вен воевать собрались! – крикнули сзади.

– А не! – перебил задорный бабий голосок. – Только прибежали оттуда!

Кругом захохотали.

– Задорого красоту купить хочешь, друже? – спросили гусачника.

– Всё бы вам, торгованам, покупать-продавать, – прогудел кузнец Синява. – Краску разотри, да малюй себе! Не хуже получится.

Гусачник недовольно ответил:

– Ты, Синявушка, всех на свой аршин мерить горазд. Ты-то у нас ко всякому художеству привычный.

– А ты взял бы да испробовал, – усмехнулся кузнец. – Может, тоже привыкнешь.

Рисованный клочок солнечного дня так завладел вниманием позорян, что перемену в палатке сопровождал разочарованный вздох. Притом что слажено на самом деле было изрядно. По ту сторону «каменного» окошка медленно поднялась новая завеса, сперва реденькая, потом всё гуще сплетённая и окрашенная. Ясную морскую даль затянула дымная пелена, подсвеченная пламенем. Царская челядь заметалась, померкла, пропала во мгле. Меховой пузырь под локтем личника задёргался, закричал, словно отнятый от мамы ягнёнок.

Гром
Божье небо в клочья разрывает.
Дом
Вместе с твердью рушится и тает.
В нём
Жила любовь, и был незыблем наш союз,
И рос наш сын, дитя священных брачных уз...

Позоряне недоверчиво качали головами, мужики пощипывали усы. Многие здесь отчётливо помнили, как внезапно, ударом сметающего вихря обрушилась наземь Беда. Она никому не дала времени проститься с любимыми, порассуждать о былом, приготовиться к будущему.

Иные торжане вконец заскучили, начали разговаривать о своём. Кто-то даже махнул рукой, досадливо пошёл прочь, но тут же оглянулся, потому что зрители ахнули.

По незаметной жилке скользнула третья кукла. Крылатое существо взвилось между царской четой и пламенеющим задником, пропало наверху за полстиной. Отец и мать как будто взлетели следом, воздели руки...

Пускай на крыльях он несётся в вышину!
За окоём, в чужую зимнюю страну!
Льдом
И горьким пеплом всё покроется вокруг,
Но сын умчится от гибели и мук,
Отрада матери, бессмертие отца,
Прямой наследник Справедливого Венца...

– Эй, добрый человек! – нерешительно окликнул дед Кружак. – Это

кто там у тебя полетел?

Рядом прозвучал женский всхлип. Светел выдохнул, разжал кулаки. Бабий всхлип повторился. Светел повернул голову. За плечом скороплёта-корзинщика утирала глаза дородная Репка.

– Правда, кто там вспорхнул? – спросил сосед Светела. – Ещё покажи!

– Гусиное крыло увидал, – засмеялись кругом.

Личник ответил надменным взглядом. Сделал движение, отпустил что-то свободной рукой... Окно, небесный пожар, морская даль – всё сыпалось вниз, облетело жухлой листвой. Явилось новое художество. Багровые тучи с застывшими изломами молний, по овиди – чёрные зубцы леса, гнущегося под небывалым порывом. Пока люди разглядывали что-то вроде надпогребницы, видневшееся впереди, личник, не переставая играть, сбросил с ноги обмякшую жилку, подцепил другую – и на ней снова послушно заплясали дергунчики. Место царя и царицы заняли другие мужчина и женщина.

Эти маньяки были очень странные. Даже смешные. Дремучие, всклокоченные, одичалые. Баба – стыдно простоволосая, с руками, протянутыми словно за подаянием, а одежда! меховые шкурки шерстью вон, как люди не носят. Мочальные опояски, ноги голые по колено... Царскую чету люди узнали сразу, но эти-то кто?..

Ввысь

Уходи скорей, гонец крылатый!

Рвись

От земли, смятением объятый!

Мчись!

Видать, царевичу судьбой предreshено

Стать утешением для матери иной...

Вновь дёрнулась жилка, проложенная отвесно. В этот раз летучее существо дало себя рассмотреть. Оно спускалось медленно, ни дать ни взять побаиваясь одетых в шкуры дикарей. Маленький серый волк взмахивал утиными крыльями. Держал в зубах свёрток – спелёнатого младенца. Коснувшись земли, небесный зверь ловко вложил свою ношу в подставленные руки женщины – и тотчас вновь пропал в вышине.

На нищем севере, где вечно темнота,

Войдёт наш мальчик в совершенные лета...

Личник запрокинул голову, в крике шувьеры смешались мука и счастье. Он не первый раз показывал своё представление, он знал, чего ждать. В Андархайне и Левобережье на этих строках бабы ревели ревмя, мужики стыдливо прятали лица. Беда, сгинувшие родители и сын, обречённый расти неведомо где! Камень и тот слезами проточится!

Дикомыты оказались напрочь лишены сострадания.

Они пялились на его кукол и... хохотали:

– Селезнёвы крылышки...

– Ой, держите меня семеро, лопну!

– С зеркальцами – уткам глядеться!

– Ты, почтенный, симуранов видел когда?

– Волк с дитятей бежал – не добежал, селезень налетел, подхватил...

– Куда понёс, вот бы знать?

– За тридевять земель, к нагим сыроядцам.

– Да где такие живут?

– Во царь вырастет!.. – захохотал дед Кружак.

Светел вздрогнул, спрятался в куколке, уши налились малиновым жаром. Это его-то новых родителей, Равдуш и Жога, представили неуклюжими мохрыками? Коновой Вен – землёй косматых уродцев?

– Может, шегардайские Ойдриговичи нынче в шкуры оделись и нам велят...

– Если так, куда им на нас ратью идти!

– Верно! С дубинками да камнем!

Личник смотрел на позорян уже не надменно, а с чёрной ненавистью. Всё же представление следовало довести до конца. Снова появились царь и царица. Возникли над облаками, благословили сына с Небес.

Снись

Своей стране, что ждёт законного царя.

Ты возвратишься, чтоб ждала она не зря,

Отрада матери, бессмертие отца,

Прямой наследник Справедливого Венца!

Бессердечные дикомыты совсем перестали слушать.

– А посерёдке что нагорожено?

– Мурья какая-то. Земляная лачужка.

- На север, сказано вроде? А тутоньки в землянках живут ли?
 - И правда сыродцы нагие.
 - Эй, детина приезжая! Ты что нам ералашину кажешь?
 - Давай снова про царя и царицу!
 - Пойти, что ли, к Репке за калачами?
- Кукольный водитель продолжал петь, силясь перекрыть шум:

Дитя легенды, покажись нам во плоти!
На трон завещанный взойди в конце пути!
Царь!
Ты поведёшь страну сквозь пламя, лёд и мрак,
Ты будешь знать, кто верный друг, кто лютый враг,
Отрада матери, бессмертие отца,
Прямой наследник Справедливого Венца!

Шувыра смолкла. Позади личника упала плотная завеса. Скрыла кукол, землянку, задник с горящими небесами. Полстина, сшитая из разных кусков сермяги, хмурилась непроглядными тучами. Лишь посередке угадывалась дуга разбрызганных красок. Дети помладше могли и не смекнуть, что это было такое.

Светел очнулся и обнаружил, что стоит у самой палатки личника. Он безотчётно следовал за Кайтаром сквозь редющую толпу, люто жалея, что кошель с серебром, вырученным за лыжи, больше не оттягивал пояс. Сейчас он всё как есть вывалил бы за тех начальных двух кукол. Одну в серебряном венце, другую в платье, вышитом незабудками. Вывалил без торга, не ведая ни скупости, ни сомнений. Чтобы перво-наперво выдернуть жилку, пропущенную из груди в грудь... Загладить, залечить раны на тряпичных телах...

Личник уже вышел наружу, хмурый, немолодой. Волосы прилипли ко лбу, тёмный балахон взялся пятнами у шеи и под руками. Мужчина держал перевёрнутую шапку для денег. Весёлую, ярко-зелёную в жёлтый горох.

Только щедрых наград за труды ему не досталось. Кто-то просто ушёл. Иные бросали в шапку мелкие обрубки монет. Чаще – надкусанные пряники, да этак с улыбочкой: славно посмешил, скоморошек!

Личник постепенно багровел. Видно было, как его распирало желанием по достоинству ответить глумцам, но что-то мешало.

«И правда, начни с миром ругаться, вовсе ничего не дадут, а брюхо есть просит...» У Светела было с собой немного мелких монет. Пока он

соображал, как ими распорядиться: пойти купить лакомство братёнку, обидевшись за Жога с Равдушей? Наградить личника, ведь он первых родителей хоть как-то да показал? Оставить в залог, если позже согласится кукол продать? – к захоженцу бойко обратился Кайтар.

– Что же ты, почтенный Богумил, вовсе не явил нашу Владычицу? Я вот дружка нарочно привёл. Обещал показать, как мы Её славим!

Личник полыхнул прорвавшимся раздражением:

– С вами, правобережниками, поди разбери! Доро́гой вот начал Ей петь за правое вразумление, прогнать посулились! Нынче, вашей простоте на потребу, мирское действие затеял, а вы опять недовольны – Владычицу представляй! Дикомыты...

– Дикомыт рядом стоит, а мы сегдинские, – нахмурился Кайтар. – Нешто не помнишь? Вместе пришли.

Богумил надменно выпятил губу:

– Думы у меня другой нет ум занять, только всех обозных мальчишек в память укладывать.

Светел потихоньку убрал пальцы от кошелья.

«Жогушке сладких орехов куплю. А кукол бабушка вдвое краше сошьёт. Почему до сих пор не попросил?»

Кайтар в свои неполные шестнадцать уже был справным молодым торгованом, наученным с кем угодно разведаться без обид. Он и тут ответил скорее удивлённо:

– С поклажей пособлять небось по имени звал...

Пока Богумил набирал в грудь воздуху для отповеди, Светел решился подать голос:

– Симураны...

Личник так обернулся к нему, что Светел чуть не попятился.

– Ты, значит, только и постиг, что симуран не белого пера был? Разве я о том действо показывал?

– А о чём?..

Кайтар решил всё свести к шутке, прикинулся несоображёхой:

– О том, что на Коновом Вене шубы носят мехом наружу...

– Грубые люди! – окончательно прорвало Богумила. – Не дано вам узреть в представлении душу, страсть, красоту! Вас не трогает истина высокого и печального, вы только и заметили, что шлемы не там да шубы не те!

«Не буду я его ни о чём спрашивать. Злой он...»

– Ты, личник, сам грубиян, – сказал подошедший Синява. – Почто на мальцов разорался?

– Вы тут... Да они же...

– Мы, что надо, увидели. Ты кривые гвозди куёшь. С чего мы твоему топору верить должны?

– Ты кузнец, а я личник Владычицы! Мне твой суд...

– Тут соврал – не поперхнулся, там соврал – не спотыкнулся. А мы правду великую из твоего вранья извлекай?

И никто не обратил внимания на женщину с дочками-скромницами, остановившуюся послушать, чем кончится перепалка.

Ветка рябины

Неволя вселенской зимы ещё не скрутила могучую Светынь в покорную пленницу. По слухам, верховья по-прежнему грохотали порогами, неодолимыми ни кораблю, ни маленькой лодке. В среднем течении лёд дыбился торосами: яростные воды то и дело взламывали его, нагромождая всё выше. Когда с гор Беды задували напоённые смертью ветра, из непокорных стремнин туманом восставали рати давно погибших героев. Восставали, чтобы снова рассеяться, расточиться в безнадёжном бою, но не пропустить гибель на Коновой Вен.

Достигая Кияна, Светынь падала в морскую бездну. Изливалась до того неистовым током, что челюсти льдов здесь так и не сумели захлопнуться. Светынь и Киян столь крепко сомкнули объятия, что даже море отступило гораздо меньше, чем в Андархайне. В устье по-прежнему причаливали большие корабли. Только вместо оживлённого купилища с шумными рядами и всякими забавами на здешнем исаде вёлся всего один промысел, взошедший на слезах, горе и нищете. Здесь переселенцы, приведённые опасными дружинами из коренных земель Андархайны, выплачивали остаток сухопутной охране и покупали места на кораблях – плыть в далёкую, наполовину баснословную Аррантиаду.

На самом деле правый берег гораздо удобнее подходил корабельщикам. Его не достигали гремящие штормовые накаты, бухту прикрывали россыпи островов. Первоначально исад обосновался именно там, но дикомыты вскоре разогнали торговцев: «Безлепие творите». Их не послушали. Следующий отряд кораблей едва не погиб. Стрелы, обмотанные куделью, летели метко, пробивали бортовые доски насквозь – и липкая смола текла ручейками, нещадно пылая.

Купцы на чём свет кляли Коновой Вен и его обитателей. Но, делать нечего, перебрались на левый берег устья. Низменный, подболоченный. К тому же временами с Кияна приходили громадные волны и катились вперёд, заливая сушу на вёрсты. Поэтому ни один воевода не сел здесь на землю, не выстроил крепость. Крепость ведь не стоит сама по себе. Ей нужны деревни вокруг. А кто захочет в таком месте жить?

В беспокойную воду тянулись два длинных причала. Боевые корабли стояли рядом с торговыми – кормлёные, ухоженные скакуны, вынужденные терпеть грубую коновязь. Море, точно примериваясь, облизывало кособокие ряжи из ободранных брёвен и валунов, уродливые

временные сооружения, которым никогда не стать постоянными. Следующая же большая волна размечет, искрошит в щепу срубы, камень частью закинет на сушу, частью утащит в пучину. Человеку, привыкшему всё делать тщательно и надолго, от вида подобных построек становится не по себе. Ясно же – там, где ставят такие причалы, ничего правильного и хорошего взойти просто не может...

На берегу впрямь вершили свой день горе, страх, смертные муки.

Поодаль от воды утробно мычали, захлёбывались спутанные оботуры. С одних, выпустив кровь, уже стягивали толстые косматые шкуры. Другие, обоняя смерть, истошно ревели, бились, рвались. Всё тщетно. Те самые руки, от которых быки привычно ждали корма и ободрения, в очередь пригибали им головы, заносили безжалостные ножи...

Оборотистые купцы меняли свежее мясо на вяленое и копчёное. Втридорога, кто б сомневался.

Жадные чайки кружились орущей тучей, дрались за клочки и обрезки. В них швыряли камнем, но отогнать не могли.

Шалея от запаха крови, выли, визжали, лаяли упряжные псы. В награду за верную службу хозяева отдавали их другим людям. Жестоким, непонятым, чужим. Выносливых трудяг охотно брали маяки – бродячие торгованы. Кряжистый мужик в полуторной шубе выбирал самых пушистых, особенно примеривался к хвостам:

– Изработаются в постромках, оплечью будет прикраса!

Только до страдающих пёсых глаз никому особо не было дела. Ещё чуть поодаль творился самый страшный и мучительный торг.

Там люди продавали людей.

Гул большой толпы, хлопки рукобитья, безнадежные оклики...

А вот причал был частицей совсем иного мира. Слышался смех. Звучали радостные голоса странников, сошедшихся после долгой разлуки. Стоя на измочаленных брёвнах наката, обнимались, гулко хлопали по спинам и никак не могли оторваться один от другого двое мужчин. Два ширяя, примечательно схожие лицами и сложением. Сёнхан и Сеггар, сыновья Сенхана. Два брата.

Старший – ватаг мореходов, измеряющих своевольный Киян. Младший – воевода дружины, доставившей поезд переселенцев. Судьба распорядилась так, что этот причал, то рушимый волнами, то вновь воздвигаемый усилиями людей, был единственным местом, где братья могли встретиться и обняться.

Из палубной проруби, за которой в чреве корабля таились жилые покойчики, кладовки и даже маленький очажок, появились люди. Двое

сеггаровичей, мореходы, четвёрка подростков. Отрочата с почти одинаково льяными головами, родня родней. Только одна из сестрёнок обещала подняться надменной красавицей, другая выглядела попроще. Первый братец был полнотел, медлителен, вдумчив. Второй – насторожен, резок в движениях. Дружная четвёрка облазила боевой корабль от носового пня до кормового, от полоза до палубы. Наслушалась морских баек, одна другой заманчивей и страшнее. Без малого уплыла на разведку земель ещё дальше Аррантиады...

И конечно, выбралась на причал в самое неподходящее время.

Ветер доносил с берега многоголосый плач. Детским слезам вторили крики женщин. Проклятья мужчин.

– Это что там? – разом встревожились круглолицый мальчик и востроносая девочка. – Дядя Летень?..

Первый витязь досадливо нахмурил брови. Он-то надеялся отвлечь дружинных приёмшей, да и себя избавить от неизбежных расспросов. Не получилось.

– Выходцы должны поверстаться с двумя нашими дружинами, купить места на кораблях Сенхана, припасы в дорогу, – пояснил он неохотно. – Похоже, босомыки исторговали всё, что только могли, но этого не хватило. Теперь семьи продают детей, чтобы остальные могли поискать удачи за морем.

– Кощеи, – как ругательство, бросил мореход, приземистый подле рослого Летеня. – Не жаль мне их. Сами дети трусов и таких же плодят!

– А что вон там? – вытянул руку Эрелис.

На голом берегу виднелось подобие одиноких ворот, наспех связанных из жердей. К ним тянулась шаткая людская вереница. Перепуганные малыши, цепляющиеся друг за дружку. Старшие дети, матери, отцы...

– Это иго, – сказал синеглазый Крыло. Он всем на радость играл под корабельные побасенки, теперь прятал гусли от морской сырости в короб. – Цари Андархайны придумали ставить его для унижения врагов, взятых в битве. Прошедший под игом – не просто пленник, он раб.

По ту сторону врат неволи суетились покупщики. Оглядывали плачущий товар. Спорили, деловито назначали заторжную цену. Кто бы сомневался, ничтожную. Торговались, били по рукам. Детей серенькими гурьбами вели прочь. Немногих беглецов ловили, с колотушками возвращали. Приученные к покорности, малыши сопротивлялись недолго. Семьяне, получив скудную плату, плелись обратно к палаткам.

– Дядя Потыка идёт, – сказала Нерыжень.

– Это нашу плату сейчас выкупают? – тихо спросила царица Эльбиз.

Летень покачал головой:

– Нет ещё. Там присматривать надо, а Сеггар хочет с братом наговориться.

Потыка Коготок широким шагом вошёл с берега на причал. Весёлый, сильный, красивый. Молодой орёл, расправляющий крылья покинуть Сеггарово гнездо. Готовый лететь опричным путём, во главе стайки таких же юных, лёгких, бесстрашных.

За Потыкой, будто собачонка на привязи, бежала девчушка лет десяти. Худенькая, неухоженная, чумазая, как все кощейские дети. Спешила, путалась в безобразной рубашонке на вырост.

Царевич и царевна переглянулись. По обыкновению, поняли друг дружку без слов. Эльбиз запустила пальцы в ворот меховой безрукавки, начала вытягивать тонкий ремешок. Взявшись за руки, брат с сестрой пошли к троим вождям. Заменки сразу двинулись следом. Летень поверх голов посмотрел на Крыла. Гусляр недоумённо передёрнул плечами.

– Служку надумали задёшево взять... – вполголоса предположил корабельщик.

– Вот! Из-под ига принял, в часть платы, – хвастался покупкой Коготок. Его глаза искрились цветным бисером, карим да синим. – Баяли, нетронутая, хотя кто их знает, кощеев! Пусть пока порты зашивает и рыбу на привалах стружит, а коли выживет с нами да хороша вырастет... поглядим. Может, суложью своей сделаю. Слыхала, дурёха?

И протянул руку по голове потрепать.

У неё торчали во все стороны тусклые спутанные вихры. Отмыть, вычесать – лягут тёмно-бронзовыми густыми волнами. Под тяжёлой пятернёй маленькая невольница съёжилась, как птаха в руке ловца. Сломалась тростинкой, шлёпнулась на колени, от страха не поняв ни слова из сказанного.

– Добрый господин...

– В тех санях вроде ещё младшие были, – медленно проговорил Летень.

Потыка отмахнулся:

– На что мне малышня? Их другой покупатель увёл.

Девочка оглядывалась, не знала, на кого смотреть, всхлипывала, зубы стучали.

– Как звать тебя, дитяtko? – спросил Сеггар. В грубом голосе звучала неумелая жалость.

– Добрый господин... эту рабыню... эту рабыню...

– Юла её зовут, – сказал Летень. – Жаворонок по-нашему.

– Дядя Сеггар, – подала голос Эльбиз.

Все повернулись. Брат и сестра стояли, тесно сплотившись. Одно существо о двух головах. Царевна протягивала на ладони кожаный потёртый мешочек, вынутый из-под одежды.

– Ещё что придумала? – помолчав, подозрительно спросил Неуступ.

Эльбиз сглотнула.

– Когда дядя Космохвост понял, что могут напасть, он велел нам из родительского ларца... выбрать по нещечку, носить подле тела... мало ли что...

Она распутала ремешок. В пасмурном свете замерцала серебряной чернью веточка рябины. Зелёная финифть листков, ягоды – жаркие самограннички солнечно-алого камня. Таких прикрас уже не делали после Беды.

– Ого, – присвистнул Сенхан.

Старинная запонка годилась в праздничную сряду царицы. А стояла явно побольше его знаменосного корабля.

– Братец Аро носит перстень отца, но лучше ведь булавку потратить, правда? – заглядывала в глаза царевна. – Дядя Сеггар, вот, ты возьми... В плату...

– И перстень, если не хватит, – разжал губы молчаливый царевич.

Двое сирот стояли перед могучими воеводами, протягивая последнее, что им осталось от матери и отца.

В лице Сеггара, малоподвижном от шрамов, ни дать ни взять что-то сломалось. Он отвернулся. Хрипло, через плечо, бросил Летеню:

– Ступай. Свергни иго.

Повторять не занудилось. Первый витязь устремился с причала таким шагом, что взвился плащ за спиной. Едва сойдя на берег – воздел руку, крикнул. Людская вереница сразу остановилась. Обезнадёженные торговцы взялись было возражать, но куда с витязем спорить. Рабские врата качнулись. Рухнули, знаменуя окончание торга. Летеня обступили ничего не понимающие кощеи.

– Гадают небось, как им столько детворы прокормить, – предположил корабельщик.

– Сам на что жить собираешься? – спросил Сенхан.

Неуступ буркнул так же хрипло:

– Задаток лежит. Не весь ещё пропили.

– Люди станут смеяться. Храбрецы один другого краше, а парчового плаща даже у тебя нет.

– Моя дружина не парчовыми плащами славна. А чтобы за кулачество

хвалить, у людей Ялмак есть.

Эрелис переглянулся с Эльбиз. Оба, неведомо почему, чувствовали себя виновными.

– Дядя Сеггар...

– Вы, там! – зарычал воевода. – Живо всё спрятали, пока чайки не унесли! Ещё увижу, подзатыльников надаю!

Вечером, в сумерках, железный корабельный очажок вынесли на причал. Сеггаровичи с мореходами уселись вокруг, а Крыло взялся за гусли.

То не горные скалы в движенье пришли,
Вековечные корни подняв из земли!
Не созвездья полночные строятся в ряд,
Золочёные брони как пламя горят!
А не сизая туча с грозой и дождём –
То дружина шагает за гордым вождём!
«Кто ты, витязь, куда своё знамя несёшь?
За какую награду сражаться идёшь?»
«Нам стезю указывает о помощи зов.
Наша правда – рубцами на ликах щитов.
За бесскверное имя – всей силой вперёд,
А мирская добыча – уж как повезёт.
Что добуду мечом – не себе одному,
Побратимам отдам и вождю своему.
Да прославится знамя, ведущее рать!
Нам под ним побеждать. За него умирать.
Щит к щиту – неприступная встала стена!
Да украсятся братьев моих имена!
Пусть на равных звучат и на равных слывут,
Потому что воители в братстве живут!»

Витязи

– Значит, говоришь, воины подвалили, – проворчал Светел.

Кайтар улыбнулся:

– А то! Ялмаковичи! Наши, кто девок привёз, уже по шатрам всех попрятали.

– Почему?

– Так плятятся, дурёхи. А те и рады. Один Крыло...

Вот гусяра не надо было даром поминать. Светел сразу помрачнел, плотнее натянул куколь, вспомнил, что, вообще-то, ему к дружинным пока идти незначем. Ну разве издали посмотреть.

Ага, на Крыла напороться. Чтобы тот опять показал, кто на купилище гусяр.

Светелу хотелось и не хотелось идти туда, где под низким туманом виднелись недавно поставленные палатки. Ноги сами замедляли шаг, глаза метались по сторонам, искали повода зацепиться.

– А что тебе витязи? – любопытно спросил Кайтар. – Ты же не уходишь пока?

Светел ответил прямым словом:

– Так просто. Поглядеть.

Между тем на краю зеленца хватало своих развлечений. Может, не таких ярких и шумных, как посередке, но чем уж богаты. Калашники бойко торговали с рундуков и вразнос, ревновали, чьи калачи лучше. Витые, плетёные? Кармашками, как у Репки?

– Налетай, народ!

– Ойдриговичи ели, животы заболели, а нам как раз, покупай у нас!

Ещё кто-то удосужился наморозить ледяных глыб, сплотить их в этакую лохань пяти шагов в поперечнике. Наполнили до края водой, пустили плавать толстых скользких линей.

– Торопись, люд мимохожий! Кто рыбку выхватит, подарок любушке унесёт!

Светел придержал шаг. У ледяного пруда было не протолкнуться. Ребята красовались перед девчонками, ревновали друг дружку. Лини, позабывшие облик тихих прудов, метались, прыгали, припадали ко дну. Вот упустил слизистую рыбину Зарник. Девки с визгом отворачивались от брызг, парни тешились, смеясь чужой неудаче. Вот явился взрослый дядька, опрокинувший лишний жбан пива. Роба красней красного, взгляд

бестолковый. Этот не мелочился. Перелез высокую окраину, пошёл туда-сюда вброд. Оскальзывался, загребал расставленными руками. Грянуло веселье.

Светел тоже решил испытать ловкость. Вгляделся в плещущий холод. Даже рукав начал закатывать – левый. Спohватился, взялся за правый.

...Крики за спиной, стук и гром! Светел с Кайтаром вмиг забыли рыбную ловлю, бросились смотреть за шатры. Следом подоспел Зарник.

Там, оказывается, творилась всем забавам забава. Светел увидел широкую площадку, огороженную подтаявшим снеговым валом. На перекладине раскачивался бочонок, внутри голосил живой селезень. Охотники в очередь становились к черте. Принимали на глаза глухую повязку. Брaли в руку топор. И – на слух, по наитию метали в бочонок!

Кто разобьёт, кто выпустит селезня, тому будет награда.

Прилюдный поцелуй души-девицы.

Светел сразу нашёл взглядом славёнушку, усаженную на престол из запасных бочонков. Ох, хороша! Нарядная, щёки от волнения то вспыхивают, то гаснут. Вороная коса, повитая синей лентой. Своевольная прядь, выбившаяся пружинкой на лоб... Светел вроде уже видел девчонку. Мельком, на палаточной улице. Только тогда она не показалась ему даже вполовину такой красивой, как ныне.

Всё прочь! Корзины, лапти, сравнения гусяров, пруд со скользкими линиями! Вот истинный дар, достойный борьбы!

Это не с чужой бабой под личиной мужское дело вершить...

Светел увидел Гарку, внука твёржинского большака. Гарко вышел к охотникам, сунулся в череду.

– Молоко утри, – погна́ли его взрослые парни.

– За ухoжами целуйся, пока мамка не видит!

Кайтар, Светел и Зарник молча подступили, расправили плечи. Злословы примолкли, отвернули головы смотреть, как прокидывались топорами другие. Бочонок прыгал, вращался. Посечённый, но не нарушенный.

Впереди друзей у черты оставался всего один человек. Всякий на Коновом Вене метко бросит топор. Светел лучше многих, пожалуй. Вот сейчас он примет повязку. Отведёт руку... прислушается...

Из-за шатров неспешно вышли трое мужчин.

Светел мельком глянул на них... Вмиг забыл состязание и душу-девицу. Забыл руку опустить, протянутую к топору. Смех и голоса отделились, умолкли. На свете существовали только три чужака. Явно не

торгованы, не гости.

Ялмаковичи!..

Один шёл чуть впереди. Пышная борода на две стороны. Волчья безрукавка, распахнутая в посрамление холоду... Как так получается? Человек ничего особенного не творит, а ты нутром чувствуешь в нём страшную силу. Лютую, хищную, стремительную. Неужто сам Ялмак? Лишень-Раз?..

У второго левая скула выглядела словно бы вмятой и выправленной, но не очень добротной.

Третий был Крыло.

Железная дружина пришла гулять на купилище.

Ялмак с одного взгляда понял суть забавы. Усмехнулся, шагнул к черте. Для него не существовало вереницы охотников, Светела с друзьями. У таких людей своё высшее право, им ли всякую мелюзгу замечать. Коновод протянул повязку. Ялмак отрёкся презрительно:

– Тех повивай, кто без чести подглядывает.

Голос был низкий, размеренный, глуховатый. Воевода закрыл глаза, взял топор:

– Ярн-яр!

И метнул.

Если Светел ещё не всё понял про этого человека, бросок ему досказал. Рука Ялмака словно простёрлась вперёд на все двадцать шагов. Рубанула бочонок. Так люди растинают на колоде полено.

Брызнули окровавленные дощечки. Пущенное лезвие даже не ощутило помехи. Спорхнули наземь утиные крылышки. Блеснули синими зеркальцами, упали врозь: левое с шеей, правое с гузкой. К ногам души-девки подкатился уцелевший обруч. Покрутился. Упал.

Ещё несколько мгновений прошло в тишине. Люди с усилием постигали увиденное. То, в чём состязались природные лесомыки, захожий воин проделал, как верёвочку завязал. Да не прихотью рокового везения. Не удачей слепой.

Потом все как-то разом вдохнули.

Уши заложило от крика, свиста, хлопков.

Ялмаку дела не было до рвавших глотки торжан. Не такое, поди, слышал. Он поглядывал на престол, застланный меховыми плащами. Там как будто ждало его лакомство, неожиданное, мимолётное... но не упускать же?

Девка меж тем струсила. Чаяла ровнюшке пригожему губы подставить, а тут – суровый чужак! Заметалась, жалко поджала ножки в

вырезных башмачках, словно от внезапной стужи спасаясь. Поискала в толпе готовых вступиться семьян, не нашла. Беспомощно зацепилась взглядом за Светела.

Опёнок чуть не ринулся к черте. Завладеть топором! Всем напомнить, что состязание не окончено!..

Заробел, остался на месте. Кто послушает юнца, кто поверит, будто возможно перебить бросок Ялмака? «А вдруг впрямь осрамлюсь...»

Воевода кивнул Мятой Роже. Верный кметь сходил и вернулся, ведя чернокосую. Вестимо, не силком приволок. Сама шла. От уговора пятить ну никак не рука.

Ещё шаг – под общий хохот девка исчезла в распахнутом плаще Ялмака, в его гнедой бородище. Вот как берут своё вольные воеводы, не обязанные ни царям, ни вечу общинному! Тут тебе, дурёха, не увалень деревенский, сам робеющий до дрожи в коленках. Другим шалуньям урок!

Позоряне помалу оставили хохотать. Переминались, роптали...

Ялмак меру знал. Выпрямился, отпустил. Зарёванная девка бросилась прочь. Покинула синюю ленту у Мятой Рожи в руке. Полетела растрёпанной птахой, не чуя ног.

Туда полетела, где заступники померещились.

Светел подхватил её, убрал за себя, передал с рук на руки Гарке.

Пожалел, что не добрался до топора.

Представил, насколько смешон бы стоял.

Ну а Ялмак со своими без спешки двинулся гулять по купилищу дальше. Себя в людях похвалять, товары смотреть... забав новых приискивать...

На широкой площадке витязям понадобилось пройти именно там, где стояли ребята.

Не заметили со своей высоты, как прежде череду состязателей? Вздумали почтению научить? Светелу было равно. За спиной встал забор Житой Росточи. Навстречу шёл Лихарь, по-прежнему огромный, страшный, уверенный. Не ждущий, что серый от ужаса десятилетка распрямится нынешним Светелом. «Других пугай, не меня!»

А ведь собьёт, шептало что-то внутри. Перешагнёт и пойдёт. «А плевать! Сам рядом не ляг!» Светел чувствовал дыхание Кайтара, Зарника, Гарки. Всё ближе видел прищур Ялмака. Воевода дёрнул волосок из меховой безрукавки. Сдул с пальца...

Крыло вдруг прянул вперёд. Подоспел к Светелу.

– погоди! Это ты, что ли? – удивился он чуть громче потребного. – Ты, говорю, у плетуханов в гусли брэнчал?

Опёнок выдохнул, на плечи словно мокрый войлок свалился.

– Ну я...

– А я второй день тебя повсюду ищу, – продолжал Крыло. – Показать хочу наконец, как гусли на колено кладут.

Ялмак остановился. Что-то сказал Мятой Роже. Отвернул мимо.

Крыло сгрёб Светела за руку, потащил за собой. Прочь от ристалища, от кровавых щепок и своих братьев по дружине.

– Ты на кого, олух, попёр?

Крыло и Светел стояли за торговым шатром. Внутри бойко продавали рогожи, далеко славившие Затресье. Простые и натянутые на обечайки, чтобы сеять муку. Сшитые в накидки от снега. Стачанные в опрятные кули для хозяйства.

«Ну... на Ялмака», – хотел буркнуть Опёнок, но счёл за лучшее промолчать. Он вправду чувствовал себя дурнем, только не знал отчего.

– Тебе, смотрю, жить вовсе наскучило, – как-то устало продолжал гусляр. – В заглушьё своём страха не ведал?

Светел ошетинился:

– Твой Ялмак, зная, всех в свете страхов страшнее!

Крыло даже глаза закатил. Синие-синие, глупым девкам на бессонные ночные заботы.

– Ты, гвоздь ершёный, по которой весне?

Светел на всякий случай грозно свёл брови:

– По шестнадцатой...

– Вот это и видно. – Гусляр вновь глянул прямо, вздохнул, задумался. – Может, и не надо тебе знать, какие на свете люди бывают.

– Какие?

– Ялмак тебя, сопляка, жить оставил. И других оставлял, я сам видел. Сколько раз ждал: шею свернёт! А он – отпускал. Посмеётся, рукой махнёт да забудет. А назавтра ему точно шилом в гузно, и не угадаешь. На ровном месте, ни за что. Я вот сколько с ним хожу...

Светел и так уже понял, какая лавина мимо прошла. Но не то было главное, что жив увернулся. Он сам себя чувствовал дурой-девкой, чаявшей поцелуя. Тошно вспомнить, как захлёбывался тревожным восторгом: подвиг ратный, братство геройское! Дружину себе выбирал. Воевод сравнивал.

Он скривил губы:

– Ой, напугал.

Крыло безнадежно посмотрел на него. Отвернулся.

– Ты, дикомыт, ещё глупей, чем я думал. Беги к мамке, о чём с тобой рассуждать.

– Сам чего ради с Ялмаком держишься? Не боишься?

Крыло пожал плечами. В расписном чехле тихо отозвались струны.

– Я-то загусельщик. Меня всякий воевода приветить рад.

– А другие с ним почему?

– Люди сильного вожака любят.

Сердце дрогнуло. В словах Крыла звучала страшная правда. «Атя говорил... в силу войти, чтобы послушали...» Светел надменно кивнул:

– Сильный, значит. Однажды посильнее найдёт.

– Вот как? Слышали вы, дикомыты, про андархский котёл?

Светел поперхнулся, успел вообразить Лишень-Раза то ли кровным братом, то ли клятым врагом Ветра.

– Что?..

– Котёл, говорю. Заберут иного мальчика, а года через три свою же семью карать посылают.

«Это тут при чём?..»

– Ну... слышали...

– И малец охотой идёт. И карает. А ведь тоже семьян любил. Не задумывался ты почему?

Светел успел напрочь забыть, с чего пошёл разговор. Перед глазами встал Сквара, крадущийся в ночи через спускные пруды Твёржи. Блеск ножа... Вспышка разметала злое видение.

– Врут всё!

– Не врут. Каждый в рот глядит тому, кто сильнее. Вот Ялмак...

Светел зарычал:

– Брат не станет!

– Какой брат?.. – опешил Крыло. – Чего не станет?

– У меня котляры брата свели. Старшего. Не станет он, говорю! А я витязем поднимусь! Я твоего Ялмака!..

И расправил плечи, разом ощутив в них сотни выгнутых лыж. Расколотые бревешки. Перекладину, тяжёлую пешню и даже мешок для кулачного битья, хранимый в дальнем амбаре. «А не забоюсь вот!»

Крыло смотрел чуть не с жалостью:

– Ты знаешь хоть, за что его так зовут?

– Кого?..

– Лишень-Раза.

– Не знаю и...

– За то, ребятище, что ему второй удар не потребен.

Повернулся, шагнул прочь. Светел тотчас вновь стал мальчишкой. Своевольником, отвергающим терпеливое увещание взрослых. Негодным отбоишем. Пришлось делать усилие, прижимать спесь.

– Погоди... Гусли-то поучишь на колено брать?

Крыло оглянулся через плечо:

– Поучить можно, ан времени жаль. Всё равно толку не будет.

– Это почему?..

Светел ждал нового поношения своей ершеватости, но услышал:

– У тебя, малец, руки-сковородники, ухо деревянное, голосом и вовсе телега. А туда же, на люди лезешь песни играть.

Светела обдало жаром.

– Я...

– Вернёшься в деревню, ступай девкам на посиделках бренчать. И на большее не посягай, не твоя это забота. Рукодельному промыслу учён?

– Ну...

– Вот и ступай займись, а гусли другим оставь, тебе же меньше обиды. С этим родиться надо, отроча. Чего под шкурой нет, к шкуре не пришьёшь.

– Я ремесло тоже не с колыбели постиг, – упрямо пробормотал Светел. – Не на торгу прикупил. Выучусь!

Крыло смотрел на взъерошенного паренька с жалостью. Как на увечного, страдающего от собственной дури.

– Одним Боги дают, другим только показывают... а те и рады обманываться. Беги, дитяtko, недосуг мне с тобой.

Кугиклы

Когда Светел вернулся к Кайтару, чернокошой нигде не было видно. Зато с молодым сегдинцем стоял и разговаривал человек, которого Светел сразу узнал. Хотя не видел очень давно. С Житой Росточи.

– Здравствуй, дядя Поливан.

Тот не поспешил отвечать. Нахмурился, пригляделся. Взрослому пять лет – что вчера; разве седины в бороде прибудет да морщин по щекам. Те же пять годков маленького мальчонку так вытянут и перекроют, что узнать невозможно. Гнездарь сощурился на поясок Светела, на строчённые цветными нитками валенки... Вдруг утратил всю важность, как будто даже стал ниже ростом, всплеснул руками, захлопотал:

– Пеньков сын никак?.. Ишь вырос! – Пригнулся, показал: – Во-от таков был! Под стол пешком! А теперь! Небось на девок заглядываешься?

Светела будто строгий бабкин перст в спину тыкал. Улыбнись, поклонись, за память поблагодари!.. Он стоял молча, прямо. Смотрел, как бежали у Поливана глаза.

Гнездарь кашлянул, потёр спинку носа.

– Что кобель твой... Зыка вроде? Гоит ещё?

– Спасибо, дядя Поливан, – ровным голосом проговорил Светел. – Живой Зыка. Сюда санки доставил.

«Только атю на костёр снесли. Год спустя...»

Поливан кивнул, потоптался:

– А моего Бурого волки съели.

«Ты его им бросил, поди, как нас тогда котлярам...»

Гнездарь мельком глянул на Светела, снова отвёл глаза:

– Дочка вот наспела. Женихи в ворота стучатся.

«Мне ты зачем про это рассказываешь, дядя Поливан? Я под твоими воротами ничего не забыл. Мне брата искать. А нет, всё равно бы в Ишуткином дворе вечеровал. Ну... или у той чёрненькой. Не у тебя...»

Его забирала тоска, он знай думал, как бы отделаться от Поливана да ноги прочь унести. Даже не сообразил сперва, что пустило мороз по плечам и спине. Потом ветер снова дохнул с нужной стороны. В отдалении, за блестящими от мороси кожаными горбами рядов, ворковали кугиклы.

...Лишь миг спустя, уже прыгая через растяжки шатров, Опёнок начал смекать, куда, за какой морокой бежит. Не верил же взабиль, будто Сквара, вырвавшись от мучителей, одолел всё Левобережье, Светынь пересёк... и

вместо Твёржи притёк зачем-то сюда? Вот уж глупость!

А ноги знай всё проворнее сягали по утоптанному песку. Что, если...

Душа чуда не дозволась. Кугиклы пели бабьим уставом. Совсем не по-Сквариному. Сердце сникло, придавленное ледяной глыбой.

Светел всё-таки сделал шаг и ещё, совсем медленно.

От влажной стенки шатра исходил лёгкий парок. Внутри рдела жаровня. Там двигались люди. Говорили, пели, смеялись, пахло съестным. Замужняя дочь пришла к отцу-матери. Вспоминали старые времена, родительскую деревню. Женщины играли вдвоём, словно беседовали. Гукали в цевки, ладно подхватывали голосами, как велось прежде Беды.

Слушать чужую радость показалось сродни воровству. Светел повернулся, понурил голову, хотел идти прочь.

Сзади зашуршало. Из шатра выскочил проворный серенький мальчик. Скрылся в сумерках, вернулся со свёртком, юркнул в шатёр. Почти сразу песня разладилась.

– Вот взяла на горе себе! – сорвался женский голос.

Внятно долетел шлепок подзатыльника. Мальчик выскочил снова. Унёс растрёпанный свёрток, бегом доставил другой. Светел опустил на корточки. Постепенно в шатре вновь затеплились весёлые разговоры, раздался смех. Задорно пискнула мизютка, степенным шмелём ответил подгудень...

Светел не уходил.

Спустя время мальчонка незаметно выполз наружу. Встал у входа, поднял голову к низкому туману, моросившему оттепельной сыростью. Шмыгнул носом...

– Ты чей? – тихо спросил Светел.

Мальчонка вздрогнул, обернулся, попятился:

– Дяденька, я ничего... я не буду...

Светелу захотелось смести шатёр, употчевать мокрым песком всех сидевших внутри. Кугиклы выводили знакомую голосницу. Ещё утром рука дёрнулась бы подхватить струнным согласием. Ныне пальцы слиплись в кулак, еле расплёл.

– Поди сюда.

Малыш несмело приблизился. Твёржинские дети тоже взрослых робели, но ведь не так, чтоб сразу каяться в неведомых проступках, заслонять локтями лицо! Драненькая стёганка, босовики вроде тех, что плели вчера на ристалище... Светел со двора в ремесленную тоже в чём ни попадя шастал. Здесь, в людях, разгуливал принаряженный. Он спросил:

– Бьют?

Мальчонка выглянул из-под рук, опять шмыгнул:

– Добрые они... я им до веку...

– Я сам сиротой был, – сказал Опёнок сквозь зубы. – После Беды.

Мальчонка вздохнул тряско, протяжно.

– А у нас зеленец познобило. – Оглядел добротный кафтан твержанина, решился спросить: – Дядя, ты... правда, что ли, пасынок?

Светел чуть не начал долгий рассказ об ате и маме, о бабушке Ерге и дедушке Корне. О счастье, в котором, если подумать, он прожил почти всю свою жизнь.

– Пасынками забор подпирают, – буркнул он в полумглу. – А мне новые семьяне нашлись. Брат...

– У государыни мачехи тоже сын есть, – обрадовался сиротка. – Я ему за добро великое до веку служить буду, не отслужу!..

«А я, дурень, медяки чуть личнику не метнул... за глупых кукол вывалить рвался...»

Вынул из-за пазухи пряник, купленный Жогушке.

– Чьих они?

– Да вагашата. Мы-то веретейские были.

Светел с некоторым усилием припомнил: Веретье и Вагаша стояли в Левобережье. Вот, значит, куда окрутили замуж бабёнку, игравшую песни в шатре. Вот где премудрости набралась. Стала вместо новой матери государыней мачехой.

– У нас на Коновом Вене такой веры нету, чтобы сирот... – начал было Опёнок, но в шатре как услышали.

– Котёха! Где опять заснул, бездельяй?..

Тот бросился со всех ног. Светел поднялся, пошёл в другую сторону. «Серебро, что за лыжи... мальчика выкупить... Бабушке с мамой в доме подручником, Жогушке братом весёлым... Я бы выучил всему... за мужика в доме оставил...»

Кайтар терпеливо ждал у ледяного пруда.

– Куда убежал? – спросил он Опёнка. – Как есть всё пропустил!

– Что пропустил?..

– Девка с матерью возвращалась. Большим поклоном кланялась. Меня в щёки целовала, тебе подарочек отдавала. Держи вот.

Светел недоумённо пожал плечами, вертя в пальцах булавку для мужского плаща. Сүтемки догорали, но хвойная ветка с усевшейся птахой была ещё различима.

Кайтар поддразнил:

– Мне небось что получше досталось. Все щёки огнём сладким горят! Светел только и придумал ответить:
– Изрядного дела вещица... Не по заслуге награда.
– Им лучше знать, – засмеялся Кайтар. – Видел бы ты себя, друже, когда против Ялмака стоял! Ты ж... светился, не вру! Даром баба всё спрашивала, где такие родятся? Ну, я сказал ей, что в Твёрге... Пусть знает!

– А сама откуда пришла?
Кайтар отмахнулся:
– Из какого-то Нетребкина острожка. Мы с отцом, почитай, всех знаем, а про таких слыхом не слыхивали. Наверно, вовсе край свету.

Они снова шли мимо ледяного прудочка. Молодые торжане отчаялись вынуть неуловимую рыбу. Парни выжимали мокрые рукава, неловко смеялись, покидали безнадёжную забаву. На Светела совсем напала тоска.

«Всё у меня криво. Струнами что ни день пальцы тружу, а Крыло как пришёл, со стыда хоть в землю заройся. К воинству побуждался... а они вона, только вслед плюнуть. Мечтал девку обнять...»

В колышущемся свинце помстилась быстрая тень. Светел не думая бросил руку. По ладони мазнуло тугое тело, облитое чеканной латунью. Пальцы сжались...

...И вынули из воды раздавленный ком. По костяшкам текла кровавая жижа. Косо валилась голова рыбины, пузырился разинутый рот. Никнул сломанный плеск, увенчанный обмякшим пером. Зелёная латунь на глазах меркла, линяла.

Утиные крылышки, врозь падающие наземь...

Светел шархнулся, выронил добычу. Затряс рукой, сбрасывая липкие ключья. Хотел отмыться в воде, не решился поганить пруд, стал оттирать ладонь о песок...

Личник, чьи труды не снискали у бессовестных дикомытов ни одобрения, ни щедрой награды, ужинал в своей палатке на коробе, хранившем все его животы. Кукол, раскрашенные задники, пёстрые балахоны для представлений. Одежду, походную утварь, гудебные, будь они неладны, орудия. Путешествуя, Богумил ставил короб на сани, как кузов. Останавливаясь – спал на нём, искал слова новых действий, поновлял и чинил платья дергунчиков...

Лишь одна кукла никогда не пребывала под крышкой, служившей хозяину то сидалищем, то ложем, то трапезным столом. Большая, сумрачная, в палатке она всегда хранилась стоймя. Покоилась в углу,

глядевшем на Фойрег. Эту куклу дикие дикомыты сперва вынудили Богумила вовсе убрать. А сегодня явились двое отрёпшей и давай пенять, отчего не кажет Её!

Как представлять перед такими людьми?

Пиво лилось в горло, не принося забвения неудачи. Из чего они тут варят его? Из водорослей пополам с гусиным помётом? Рыбью чешую добавляют для густоты?

Вот пряники у них вкусные. Ещё и узорные. Хотя тоже поди разбери, чем соложённые...

За рогожной стеной давно притихло купилище. Личник потянулся взять кусок коврижки, но до рта не донёс. Где-то скрипнул песок, долетели отзвуки голосов.

У Богумила ком в горле встал.

«О чём думаю, Справедливая! Прости винного... смилуйся...»

На людной площади он мог вытерпеть что угодно. Даже чёрствый смех на слова, должны вознести душу. Даже наглые пальцы, тычущие в ничтожные огрешенья. Он был искусен и искушён, он умел обойти и увлечь любых позорян. Когда всё же не удавалось – стойко выносил поношения.

Но крадущиеся шаги... тревожные тени... шёпоты в темноте...

Вот сейчас вновь раздастся голос из ниоткуда. Позовёт скомороха, дерзнувшего обижать Правосудную. Окликнет по имени...

Пиво тотчас запросилось наружу.

Богумил покосился на дверную полсть, едва не заплакал.

«Лучше б я озёрную капусту холил сейчас. В Шегардае с водоносами жбаны таскал. Не послали бы за тридевять земель жестокий грех избывать...»

Снова прошелестели шаги. Богумил стёк с короба, на коленях пополз в угол, где вот-вот должно было шевельнуться покрывало.

– Смилуйся... не казни... Завтра людям явлю... сам смертью умру, Тебя заслоняя...

Кукла, трепетно сшитая в первые дни покаяния, ему не ответила.

На другом конце временного селенья тяжким сном маялся Светел.

Он бесконечно бежал куда-то во тьму, прыгая по каменным щербатым ступеням. Скорей, скорей, лишь бы успеть! Лестница вилась сквозь недра земли, скатываясь до самого Исподнего мира. Навстречу восставали страшные тени, но Светелу недосуг было бояться. Он дрался вперёд, размётывал кого ударом меча, кого кулаком. На лица вовсе не смотрел: чего

ради? Ветра с Лихарем выискивать? Поважней дела есть...

Самый страх ждал внизу. Дверь под низкой каменной перемышкой, запертая на ключ. А за ней...

Светел грянул в створку со всего разлёта, всей силой, даже не примерившись, в какую сторону открывается.

Чем она могла встать против него, хиленькая!

И полетели в разные стороны щепки дубовые, оковки железные, навески скрипучие...

«Сквара!...»

А из темноты – ни ответа.

«Сквара...»

Светел вздрогнул, заметался, проснулся.

Полежал, слушая, как бухает в ушах кровь.

«Всё хорошо. Ничего не случилось!» Уютно посапывает пригревшийся под боком братёнок. В глубине шатра тихо дышат мама с бабушкой, у порога бдит Зыка...

Только Сквара не отозвался из-за двери, снесённой с петель.

Сна больше не было ни в едином глазу. Светел очень осторожно подтянул к себе чехолок, сберегавший гусли дедушки Корня. Зыка лизнул его сперва в ладонь, потом в щёку. Мудрый пёс что-то чувствовал, утешал...

Снаружи тьма была заметно реже. Северное небо всегда хранит толику света, особенно по весне. Опёнок поднял лицо навстречу неторопливому ситничку и долго стоял так, раздумывая, куда бы пойти. Ничего не придумал, вздохнул, сел на опрокинутые санки, под завесу для торгового рундука. Вытащил гусли.

Еле слышно, в тысячный раз повёл наигрыш, с которым на лапотное ристалище явился Крыло.

Как подружки собирались...

Прилипчивая погудка упрашивать себя не заставила.

«Эх, Крыло!.. Истинно: Боги на заре времён обогрели дыханием Перводрево, упросили дать толику плоти на самые первые гусли... А те гулами да звонами своими вызвали к бытию весь остальной мир, чтобы он жил и о жизни ликовал.

Как это у тебя, Крыло, пальцы по струнам летают проворней ног скоморошских? Так, что дерево голосистыми бубенцами поёт? А уж голову-

то к плечу! А ладонью серебряные раскаты птицами в небеса...

...А у меня руки-сковородники, значит. Голос уши дерёт. Если по-соловьиному, как ты, не умею, мне песком рот набить?.. Жди, пожалуй! – Светел мотнул головой, сморщился. – Сам ступай девкам уши мёдом намазывать. Я что покрепче играть буду...»

Подкрутил шпеньки, проверил. Вдел пальцы в игровое окошечко. Явились созвучия, скатной зернью рассыпались переборы. Светел пел шёпотом, легонько прикасаясь к сутугам:

Как уж первую струну
Я от Твёржи натяну!
Просто, братцы, потому –
Там тепло в моём дому.
А вторую, через ельник,
По холмам да от Кисельни,
Где витают вплоть людей
Стаи пышных лебедей.
Шёлком ляжет струнка третья
От весёлых ткач Затресья,
Чьи узорные рогожи
И царям носить пригоже!
Где ж четвёртая струна?
За Светынь летит она.
Далеко ли, угадай?
Прямо в стольный Шегардай.
Там мостов не перечесть,
Там хранят былую честь,
Там над вóргами стена
Из камней сложена...

Всего струн было девять, но махом довершить песню не удалось. Как ни таился Светел, кое-кого разбудил. Из шатра, зевая во весь рот, выполз Жогушка. Вытянул за собой старый смушковый плащ – братское походное одеяло.

– Ты что? – спросил Светел.

– Какой спень без тебя, – сипло буркнул братёнок. Примостился за спиной, зевнул, спросил: – Честь хранят?.. Мы им нагуляли бока...

Светел усмехнулся:

– Сказано же, бывую. Когда хотели нас победить.

А сам вспомнил андархский бисер на твёржинских свадебных поясах. Мерцающую братину у домашней божницы. Склоку в рядах из-за шегардайских товаров...

Гусли еле слышно вздыхали. Переговаривались с тёмным ветром, цеплявшим натянутые тетивы шатров. Над Торожихой плыла долгая ночь, полная шёпотов, вещей снов, ожиданий.

На горке

Писарь Окул, не иначе, доводился забытым родичем Лихарю.

У самой Подхолмянки Ознобиша решился спросить его:

– Добрый господин... Куда поведёшь?

Лыжи мотались за спиной. В Чёрной Пятери учили разговаривать на бегу, но лошадь шла быстрой рысью. Писарь надменно глянул с седла:

– А в клетке на позор выставим. Смотрите, добрые люди: вот они, дикомыты!

– Я на левом берегу... – отрёкся Ознобиша.

Дыхание тут же сбилось. Через полсотни шагов на ум явились прощальные поношения Дыра. Стали бы в Невдахе ученика холить, чтобы на расправу отдать? Ученика, которого третий наследник именем наградил?..

Ох. Что угодно могло стать по нынешним временам. Сами царевичи порой умирали внезапно, странно и страшно.

Ноги тотчас отяжелели. Ремень путлища в ладони подмок, заскользил.

«Будет то, что будет. Даже если будет наоборот...»

Это бабушка Сквары так говорила. Мудрая у него была бабушка. Много наперёд видела. Вместо позорной клетки и кровожадной толпы у ворот городка расположился поезд, гружённый в дальнюю дорогу. Три возка, недовольные оботуры, дюжие работники с копьями и кинжалами.

«А вот возьму и сбегу. Кого за меня казнить? Не Сквару же? Не Тадгу с Ардваном?.. Ладно... поглядим...»

– Мальчишку привёл? – спросил писаря купец. Зачем спросил, непонятно. Ознобиша стоял на виду.

– Привёл, батюшка Калита.

– Ну и ладно. Пусть помогает.

Меньшой Зяблик решил про себя больше не дознаваться у них, куда путь-дорожка. Сами смекнём! Он бегло оглядел вооружённых детинушек: домашнее войско. Ехали бы на север, в «дикое и страшное» Левобережье, опасная дружина рядом бы шла.

Тронувшись из Подхолмянки, тележный поезд остаток дня тянулся извилистыми дорогами через Ворошок. Ближе к вечеру, под грохот заоблачного кипуна, гружёные повозки миновали последние росстани, двинулись на восток. Дорога почти сразу отлого поползла вверх.

Здесь ощутимо слабело веяние Кияна. Ещё до середины изволока под

ногами захрустел лёд. В сумерках походники вышли к перепутному двору, где кузова телег снимали с колёс, ставили на полозья. Оботуры начали принюхиваться и реветь. Дальше, безмерная и грозная в синеватых потёмках, дышала холодом белизна. Впереди лежал великий Бердоватый бедовник.

Ознобиша, сын зимней страны, ударил поясным поклоном снежному полю. Коснулся грязи и камней под ногами, радостно вдохнул полной грудью. Наконец-то отвязать со спины лыжи! Ощутить ожоги холода на щеках!..

Когда вынесли дымящуюся мису, оказалось, что посыльный Дыра плохо собрал Ознобишин мешок. А может, подшутить вздумал. Зяблик трижды перетряхнул свой заплечник, но так и не нашёл самого нужного за столом.

– В мешок ложка не уместилась! – поддел писарь. – У дикомытов ложка узка, цепляет по три куска!

– Надо развести, чтобы цепляла по шести, – принимаясь за кашу, подхватили возчики знакомую шутку.

Мысленно Ознобиша уже портил им лапки. Да не как попало, а чтобы разъехались в самое неподобное время. Это было настолько легко, что, пожалуй, и удовольствия не доставит. А ложку он завтра новую сделает. Это тоже нетрудно.

– Лови, малой! – окликнул работник, ведавший бытованием на привалах. – Руки не протянешь, сама небось не придёт.

Ознобиша благодарно поймал запасную ложку, в очередь потянулся к горячему.

– Чужой ложкой есть, обжорство нападёт, – хмыкнул Окул. – То-то господин обрадуется.

Он был белобрысый, почти как Лихарь. Только у стенья волосы вились длинной волной, у писаря – крутым мелким барашком. А морда! Две Лихаревы выкроить. И нос со смешно раздвоенным кончиком. Прямо как иные скоблёные подбородки.

– Они там, за Светынью, глотили безотъедные, – степенно поддержал старшина возчиков. – Все это знают.

«Господина поминают, значит служить еду, – отлегло от сердца у Ознобиши. – Не в клетку...» Стало совсем радостно и легко. Он пристально уставился на дешёвую скатерть, на руку писаря. Вздохнул, скорбно изломил брови:

– Уж лучше глотилой жить, чем к родителям уйти, глаза распахнув и рот разинув от ужаса.

Затрапезники тоже посмотрели на стол. Оказывается, Окул увлёкся подначками и, в очередь почерпнув каши, забыл положить ложку. Так и держал её. Притом чашечкой вверх.

От такой повадки известно, какое лихо бывает. Именно то, которое предрекал Ознобиша.

Писарь разжал пальцы, отдёргнул руку. Резная кость брякнула по столу.

– Не стучал бы ты ложкой, добрый господин, – горестно попросил Ознобиша. – Помилуй Владычица, перессоримся... оговоры заглазные поползут, до места не доберёмся...

– Хорош друг друга пугать! – вмешался Калита, сидевший во главе трапезы. – У меня работники спорые, едоки скорые или бабы-визгухи?

– Да мы-то что... – тихонько вздохнул меньшей Зяблик.

К его удовольствию, все взгляды обратились на крепыша-писаря. Тут снова настал Ознобишин черёд опускать ложку в мису. Каша показалась ему необычайно вкусной.

Ночью он спал скверно. Будущий хозяин, чьё лицо он никак не мог рассмотреть, матерно орал, замахивался, даже не объяснив, в чём провинность. Ознобиша проснулся, стиснутый среди других походников. Успокоил дыхание, поморгал в темноте. «Вот она, первая ночь из дому. Был бы девкой – хоть суженого показать зови!»

Вновь заснул, очутился в клетке, беспомощный, одинокий. Светили факелы, натужно стонал ворот. Уплывали вверх равнодушные лица. Ардван, Тадга, Лихарь, Ветер и...

«Сквара! Брат!...»

Ознобиша что было сил рванул прутья...

Вскинулся уже наяву, мало не разбудив соседей по опочиву. В ушах гулко и часто бухало. Пальцы привычно нашарили плетёжок на запястье. Тот, который Зяблик соглашался отдать только вместе с рукой.

«Сквара. Брат. Всё будет хорошо. Не дамся я им!»

Утром Окул вышел умываться, точно с левой ноги вставши. Тусклый, пасмурный.

– Не сон ли дурной привиделся доброму господину? – дождавшись, чтобы слышало побольше народу, услужливо спросил Ознобиша.

Писарь отвечать не захотел. Новых перекуров от него Ознобиша вряд ли дождётся. Однако в Чёрной Пятери учили не просто повергать супостата. Свалил – добивай, чтобы не встал!

– Может, подсказать доброму господину, как дурное око от себя

отвратить?

Работники наострили уши.

– Ну? Говори, малой!

Ознобиша поковырял ногой талую грязь.

– В ветхой книге додревней сказано...

– Не томи! Говори уж!

– Способ есть, да не про всякого...

– Мы все тут люди отважные!

Ознобиша метнул глазами по сторонам. Собрался с духом.

– Чтобы дурное око не вглядывалось, надо тошней тошного для него стать. Навести по одежде святые знаки Владычицы... иных каких Богов... руку омочить самотворно – и навести. – Вдохнул, обречённо добавил: – Можно и большими отходами...

– Точно, – подхватил возчик. – Батюшка, помню, говаривал: вихорь в поле заметишь – тотчас крикни ему: замаран весь и обмочен, мимо ступай! Он и минует.

Окул бросил свой край полотенца, плюнул, ушёл.

– На руку побрызгать спешит, – смеялись работники. – Другой раз, как за трапезу позовут, нюхать станем, чтоб стола не бесчестил!

«А ведь это я собственный страх на нём вымещаю. Нехорошо...»

Выбравшись на снежное раздолье, дорога стала заворачивать к югу. К исходу нескольких дней рожа Окула была уже не две Лихаревы, всего полторы. Обидчик поскущел, погрустнел, даже белёсые кудри как будто начали сечься. Писарь тревожно озирался через плечо. Что ему снилось беспокойными ночами, не хотелось даже гадать.

«В крюк гну, как он меня собирался...»

Завтрашний переход обещал быть коротким и быстрым. Переставить санные кузова опять на колёса – и вниз по склону, только следя, чтоб телеги не разгонялись сверх меры. Как не вспомнить конское стремя на спуске в Подхолмянку! Окул тогда хоть и выбранил Ознобишу, но держаться позволил. А мог вперёд ускакать, всю дорогу честить мешком, гузыней, валандой...

Перепутный двор у края морозных пустошей звался без затей: «Ближним». Народ здесь был совсем иной, чем на севере. И не в том дело, что преобладали андархи. В Левобережье мороз откусывал у кого ухо, у кого палец; здесь жили меченные Бедой. В «Ближнем» снадное выносил застольный прислужник с как будто оплавленным, стёкшим на сторону лицом. Он был шутник, балагур, поезжане с ним здоровались. Двое

лохматых бородачей, ждавших в дальнем углу, прятали глаза всякий раз, когда он проходил. «Захожни, – сообразил Ознобиша. – Чем ожогов гнушаться, на себя гляньте! Тот в бородавках, у этого нос на троих рос...»

Тут же сидела придорожная непутка, каких в любом кружале полно. Две косы, непокрытая голова. Разбитная деваха льнула то к одному, то к другому, играла, смеялась. Мужики поглядывали на дверь, мельком – на весёлых походников. Ознобиша тоскливо отвернулся.

«Для какого же ремесла я законы в память уталкивал, как капусту в бочонок? Вот бы выездному судье служить...»

С горя хотелось подойти к тем пришлым да этак ненароком обмолвиться: ужина не ждите, в поварне котёнок в кашу свалился!

Было тепло. В печку только что подбросили дров, из устья пышело светом и жаром. Калита уважительно, с поклоном, на длинной кочерге внёс в горнило масленую лепёшку:

– Прими, надёжа-заступник, батюшка святой Огонь...

Радуюсь безбедному прибытию, он расщедрился напоследок. Походникам выставили рыбу с ситовником и грибами. Такую вкусную, что даже писаря никто не стал задирать, не сунулся обнюхивать нарядный кафтан.

– Вот бы жира глупышей прикупить.

– И прикупим. Если за год птицы не вывелись.

– Типун тебе! Велик Киян, не скоро льдом схватится.

– Брать жир, так лучше птенцовый.

– Отъедаются, говорят, толще взрослых, из сала одни клювы торчат.

– Гибель по скалам их собирать. Больно дорого жир встанет.

– Зато светит чисто, без копоты. И не горкнет вытопленный, не смердит.

– Хуже земляного дёгтя всяко не провоняет!

Посмеялись.

– И ещё рыбы морской. Нашей прудовой не чета.

– За мороженой опять наверх, до зимних лабазов...

– А свежей там наедемся.

Ознобиша напряжённо ждал, когда назовут место завтрашнего привоза, но не дождался. Все, точно сговорившись, говорили попросту «город».

– Медных окуней прежде Беды свежими довозили. В меду.

– Сам едал?

– Дядька на поварне служил, пером укололся. Рука чернеть начала, еле отстоял лекарь.

Ещё посмеялись.

– Рабы, говорят, дешёвы бывают, когда переселенцы поездом собираются. Иные вновь под игом проходят, чтобы своим дорогу купить.

– Рабы нигде не в диковинку. А вот по добычному ряду вправду походить бы. Там, говорят, только царского венца не увидишь.

– Да и то, если хорошенько поспрашивать, уж малых венцов-то парочку вынесут...

«Книги старинные, – тотчас размечтался Ознобиша. – В Невдаху. Ардван жаловался, дописьменным уставом скудна книжница...»

Он благоразумно приберёт своё мнение. Спор в углу ненадолго сделался громче.

– Коли так, и ступай себе, дешевень! Тоже дочка боярская!

– За такую цену семеры девки сбегутся, каждая красивей тебя.

– А сумеете каждой честь оказать? С вас, беспóртья, ни прибытку честной красавице, ни веселья.

Ознобиша оглянулся. Непутка уже покинула пришлых, надутая, недовольная. Зяблик успел насмотреться на её придорожных сестёр. Соболи наведённые брови, ресницы, склеенные жиром и сажей... Самодельные белила расплылись на густом затёке у глаза. Ознобиша моргнуть не успел, как деваха по-хозяйски водворилась к писарю на колени. Заёрзала, потянулась к лицу.

– Вот настоящий гость! Богатый, красивый! Поди, стосковался, душа, по ласке в дальнем пути?

Бородачи выбрались из-за стола, пошли к двери. Они вплотную миновали Ознобишу, сидевшего, по обыкновению, в самом низу стола. Угрюмые люди, тревожные, как натянутые тетiвы. С чего бы?

Окул едва не согнал «честную красавицу», потом заулыбался, приобнял. Пухлое, жаркое тело наполнило его руку. Ознобиша исполнился омерзения, зависти, жгучего любопытства, вспомнил мирскую учельню, девок-плясуний. «А ведь писарь моими кормовыми расплатится...»

Окул засопел, оставил еду, полез прочь со скамьи. Удачника провожали советами, насмешками, пожеланиями. Ознобиша уткнулся, не стал смотреть, как уходит.

«А вот не глянусь хозяину... Возьмёт на сторону отошлёт... Богатому переселенцу в Аррантиаду продаст...»

Гадать, жалеть себя, бояться – зряшное дело. Одних болячек доищешься. Ознобиша нахмурился. Обвёл пальцем заплатку на скатерти. В душе сидела заноза. Зяблик сосредоточился, начал правильно дышать, как учил воинский путь. Застольный гомон отдалился, начал рассеиваться. Ещё

немного... заноза наконец явила себя. В памяти всплыли пришлые мужики.

Две тетивы, готовые бросить каждая по стреле. Две лески, подсёкшие в тёмной глубине рыбину. Добыча поймёт, что наживка таила крючок, но будет поздно.

Окул, ушедший с продувной девкой.

Ознобиша торопливо облизал ложку, побежал кругом стола к хозяину поезда:

– Добрый господин... Писаря поискать бы.

Обвалился громовой хохот. Поезжане, без того шумные и радостные от пива, очажного тепла, доброй еды, показывали пальцами:

– Ну, малец!..

– Тебя только им не хватало!

Утирали глаза, чуть не кулаками по столу бухали.

– Экой обморок-парень! Соскучимся без него обратной дорогой.

Сам купец уступил людскому веселью. Спрятал усмешку в бороде. Даже не отмахнулся – взял Ознобишу за плечо, развернул от себя, толкнул в спину. Беги, детище, к игрушкам своим, а во взрослые разговоры не лезь.

Двор был почти тёмен и вдобавок затоптан десятками ног. Братейкиного умения разбирать следы Ознобиша так и не нашёл. Просиживал в книжнице, пока другие кабального в чаще ловили. Ознобиша быстро огляделся. Возчики уже задали корм упряжным оботурам и сидели на облучке, чинно опуская ложки в общую мису.

– Здорово хлебать, – подошёл к ним Ознобиша. – Вы, почтенные, писаря Окула не видели?

Один мотнул головой. Второй чуть усмехнулся, скосил глаза в сторону собачника. Дощатая дверь стояла прикрытая, однако запоров в собачниках не бывает. Лучше псов иметь по двору и кругом, чем лить слёзы после пожара.

– Боюсь, Окул наш в беде, – сказал Ознобиша. – Не пора бы вступить...

Возчики засмеялись. Начали шутить про писаря и гулёнушку.

«Плевать. Совсем не убьют!»

Ознобиша ударил ногой. Миса взлетела, расплёскивая горячее.

– Ты что творишь?

Вскочили, накиннулись. Ознобиша молча бросился к собачнику. Дверь оказалась всё-таки подпёрта изнутри. Ознобиша с размаху врезался в серые доски. Лопнуло, хрустнуло – створка отлетела, грохнула в стену. Собаки взорвались бешеным лаем.

В дальнем конце, возле щенячьего кута, бросал тусклое пятно светильник с прикрученным фитильком. Поперёк пятна распластался Окул – в одном исподнем, недвижимый. По сторонам, пригвождённые внезапностью, замерли на коленях бородачи. Левый с писаревым кафтаном в руках, правый с его сапогами. Между ними – непутка. Озарённая снизу вверх... ну ни чуточки не красивая.

Ознобиша с разгону пробежал ещё три шага.

– Возом тебя задави, – слышалось сзади.

Это подоспели работники. Ознобишу схватили за шиворот, выкинули наружу. Он закричал во всё горло и понёсся обратно в кружало, звать остальных.

Отцовская честь

– Отик! Вставай!..

Весна в Шегардае – время вечернего света. Серые денницы словно протаивают сквозь тьму, неохотно, медленно, ненадёжно... И почти сразу вновь смыкает челюсти холодная ночь.

Верешко, сын спившегося суконщика Малюты, такими ночами вспоминал камышничков. Иногда – с дрожью: те выросли и умирали, не зная на свете собственного угла. Иногда Верешко почти завидовал нищebroдам. Им не нужно было отчаянно тянуть дом, знавший добрые времена. Делать вид, будто эти времена ещё не прошли.

– Отик, вставай!..

– Ммм...

Тяжёлое тело под руками едва колыхнулось. Боги благие, как же от него смердело! Вчерашним пивом, застарелым безобразием, отравленной плотью... начатками тлена. А ведь когда-то ходил счастливый и гордый, и мама льнула к нему, и кланялся на улице старейшина Яголь, одетый в баскую, голубую с зелёным суконную свиту...

Кафтан на груди отца распахнулся. Верешко с отчаянием увидел, что узорчатая поддёвка, в которой Малюта уходил накануне, исчезла.

Домашние сундуки помалу скудели. Бывало, пропив с себя кафтан или сапоги, Малюта наутро плакал, каялся, ужасался. Даже трезвел на день или два. Ласкал сына. Затебал приборку в ремесленной. Полагал начало новому и радостному житию.

Первые раз или два Верешко даже казалось: всё сбудется.

– Отик! Добрые люди уже все встали давно!

За купцом Угрюмом только затворились ворота. Вчера он мало соответствовал своему имени, смеялся, шутил, показывал услужливому хозяйскому сыну диковины, хранимые в подголовном ларце. Сребреники с полустёртыми ликами Гедахов и Йелегенов. Бисерное плетение, дело Правобережья. Баснословную скань из-за Кияна, из страны темнокожих... Сегодня – хмуро перетряхивал подголовник, явно жалея, что открывал его накануне. Кажется, хотел с Малютой потолковать, когда тот отрезвеет...

Вот только торг ждать не будет. Угрюм с помощниками погрузили кладь на тележки, выехали со двора. Купец повздыхал, но честь честью отдал плату за постой сыну-подростку вместо родителя. Малюта храпел на полу возле печи: ворона глаз клуй – не дрогнет.

– Отик...

Осталось только испытать способ, подсказанный тем парнем. Верешко крепко взял отца за уши, всхлипнул, принялся драть.

Малюта начал пускать пожильцов с полгода назад, когда на стенах уже не осталось ковров. Сперва у него останавливались старые знакомые. Те, что некогда развозили Малютины полсти и суконники по всему Левобережью. Уважаемых купцов как-то быстро сменили случайные торгованы, вроде Угрюма.

«Счастливо, парнишка, – сказал он Верешко. – Хорошо бы ты покрепче запомнил: богатства нечестием доискаться можно, а доброго имени не доищешься...»

...Способ помог. Малюта замычал, мотнул головой... Не размыкая глаз, вlepил сыну затрещину:

– На кого... посягаешь, курицыно... отродье!

Верешко опоздал увернуться. Рука валяльщика былой силы ещё не утратила. В голове зазвенело.

– Ты где был вчера, отик?

– Пшёл... вон.

Малюта тяжело повернулся на другой бок. Вновь послышался храп.

Верешко сдёрнул с гвоздя латаный зипунок, выскочил во двор. У калитки помедлил.

Ему до сих пор казалось – если *правильно* оглянуться, всё станет как прежде. Завьётся над трубой дым, из ремесленной повеет кипятком, мылом, пареной шерстью. Долетит смех работников. Выглянет мама.

Он снова оглянулся *неправильно*...

Верешко нахлобучил колпак, выбежал со двора. На знакомый угол Полуденной и Третьих Кнутов.

Сегодня Шегардай праздновал начало андархского лета, святки Огня. Быть большому торговому дню. Наполнятся голосами ряды: сытный, зелейный... и воровской. Это вселяло некоторую надежду.

Если чаешь заработка – быстрее переставляй ноги. Верешко торопился мало не на другой конец города. То широкими улицами, то напрямки задами, проулками, скользкими мосточками через заросшие ворги... тихонько молясь про себя, чтобы не нарваться в глухом углу на камышничков. Скорую дорогу в каждое из четырёх городских кружал Верешко натоптал очень давно.

По Царской и Полуденной вереницами катились тележки. Ручные и запряжённые одним-двумя сильными псами. Подавали голоса первые

разносчики съестного. На Торжном острове ряды, верно, едва начали оживать. Продавщики застилали рундуки, раскладывали товары...

Верешко запнулся, мотнул головой. Свернул с короткого пути. Побежал длинным – через торг.

Он не посмел много взять из платы, оставленной пожильцами. Проснётся Малюта, пересчитает... не взбрело бы пойти нехватку на купце доправлять!

Торговки воровского ряда занимали свой бережок чуть не до света. Все похожие, как сестрицы родные. У каждой тёмный товаришко под ветхими рогожами. Мол, заглядывай, кому надо, а сами не выхваляемся.

– Поздорову ли, тётяшка Секачиха... – стягивая шапку, приблизился к одной Верешко.

Бабища была толстая, неопрятная и горластая. Привычная чуть что голосить о горькой доле вдовы, вынужденной ради пропитания детушкам сбывать воровскую добычу, оставленную под дверью. Глаза, маленькие и бесцветные на оплывшем лице, подозрительно обежали парнишку.

– Ты, что ли, хабалыгин сын? Малюты-валяльщика?

«Какой он тебе хабалыга?! Он выправится... отрезвится...»

– Верно, тётяшка.

– Надо-то что?

Верешко сглотнул, решился:

– Тебе, тётяшка, случаем, не приносили плетеницы налобной... вся такая бисерная, с рясами... с берегами ненашенскими...

– А-а, – довольно громко обрадовалась торговка. – Вот оно что! А я думаю, с чего колпак перед тёткой Секачихой взялся ломать? Да никак батяня твой у пожильцов по котомкам ввадился шарить?

Соседки уже поворачивали головы, наостряли уши. Так и рождается дурная огласка. Полетит из уст в уста... к вечеру будет передаваема за сущую правду. Прилипнет что смола, поди отрекись. Верешко представил и ужаснулся.

– Что ты, тётяшка! Ты такого даже не говори! Отик... честный он! Это я калитку оплошал запереть! Спал, не слышал, как тать лихой в ночи промышлял...

Бабища усмехнулась. Широко, со злым превосходством. Сейчас заорёт, всему торгу объявит, каков бессовестник стал Малюта!..

Однако в выцветших глазках что-то стало меняться.

– Не видала я, желанный, бисерника твоего, – словно устыдившись, пробурчала торговка. – Не приносили мне. И у других такого не знаю.

Верешко сглотнул, шапка задрожала в руках.

– Тётенька Секачиха... Ты уж пригляди для меня... если вдруг... я бы выкупил... лишь бы не к чужим... Я пирожка тебе принесу!

Торговка отвернулась:

– Ладно... беги себе, не маячь.

Верешко побежал. Только отметил, что воровской ряд сидел гораздо тише обычного. Не драла глотку, не затевала ссор Моклочиха. Куда делась? По нужде отошла?..

Он огляделся. Подклет разрушенного дворца Ойдриговичей стоял вычищенный и свежий, входы, привычные торжанам, закрыты деревянными створками. Сейчас туда стягивался рабочий люд. Слышались песни, громкие голоса. Сегодня, в добрый день праздника, начнут рубить первый венец. Разговоры о строительстве велись в городе уже не один месяц. Вот как вправду застучат топоры, тогда сделается этим разговорам настоящая вера.

– Пирожок не забудь! – прокричала вслед Секачиха.

Над воротами кружала обтекала сыростью вывеска: круторогий баран, вскочивший передними ногами на бочку. За пределами зеленца, похоже, люто морозило. Кругом Торжного острова до самой воды свисали хвосты тумана, здесь пеленой вился дождик. Мешался с клочьями пара, поднимавшегося с ерика.

Верешко отворил калитку, вошёл. На скрип обернулись грязноватые мальчишеские рожицы. Уличники в обносках, с жадными воробьиными взглядами. Небось здесь же рядом и ночевали, где-нибудь под мостом. Верешко принял гордый вид, прошёл мимо. Нырнул в заднюю дверь. Ребята снова стали смотреть, как приспешники ставят на тележки корзины, кутают войлоками горшки. Сейчас выйдет Озарка, скажет, куда что везти...

В поварне стоял дивный сухой жар, приправленный благоуханием теста. Печь только что skutали, погода на длинных лопатах начнут сажать внутрь загибеники, а немного остынет – ухватами на каточках подденут горшки и...

– Спорынью в корыто вам, тётеньки!.. А где Озарку найти?

– Ступай, желанный, в кладовую. Там она.

Озарка была кудрявая, добрая, полнотелая. Раньше она подавала пиво гостям, ныне принимала на руки всё больше хозяйских хлопот. Так пойдёт – долю выкупит, если не всё заведение. Верешко услышал из кладовой плач, раздумал входить, но поздно, рука дёрнула дверь. Озарка сидела на мучном ларе, обнимала зарёванную девочку.

– Здравствуй, тётя Озарка, – устался в пол Верешко. – И ты

здравствуй... Тёмушка.

Девочка походила на хозяйскую помощницу, как младшая сестра или дочь. Только Озарка была красивая, а Тёмушка – довольно противная. Чернявая, толстая. А сейчас – ещё и опухшая от слёз, вся красная, растрёпанная. Ребяшня на улице её временами дразнила, хоть и трюсила грозного Тёмушкиного отца. Девочка мельком скосилась через плечо, потянула носом, уткнулась в мокрое пятно на Озаркином запонце.

– Я... пойду, – вконец смутился Верешко. – Я просто... ну... объявиться...

Немного позже он катил тележку Лапотной улицей. Все выбоины в мостовой он очень хорошо знал, давно привык обходить их колёсами. Здоровался с уличанами, понемногу выходившими в красных одеждах, – люди стягивались на торг. Слушать молитвенное пение, любоваться закладкой венца. Верешко тоже рад был бы пойти, но не мог. Вёз раннюю снедь водоносам на большой кипун, звавшийся по улице: Лапотный.

Водоносы в Шегардае ходят круглые сутки. Раздают людям грево. Забирают остывшие, опорожненные жбаны. Вновь несут на кипун...

Это промысел бесконечный. Он будет нужен завтра и послезавтра. Поэтому с горожан взимается особая подать – мирским трудникам на прокорм.

Ещё не вывернув с тележкой из-за угла, Верешко услышал голос дудочки. Впереди негромко пела пыжатка. Не самая голосистая снасть, но Верешко нравилась. На площадке возле берега, словно стайка закутанных ребятишек, стояли порожние жбаны. Толстые чехлы блестели кружевными разводами соли. Рядом отдыхали черпальщики и водоносы. Разговаривали, смеялись, ждали утреннюю перехватку.

На спуске были устроены ступени. В двух десятках саженей плевался паром кипун, ветер разносил едкую сырость. Из-за неё доски быстро сгнивали, их только поспевали менять. На Торжном острове уже доканчивали каменный всход, но то сердце города. Сюда, пожалуй, мостники доберутся не скоро.

Поверх ступеней тянулись два пласта с боковинами – для колёс. Верешко проворно скатил вниз тележку.

– Угощайтесь, желанные!

Крепкие артельщики окружили его, сняли корзину с лепёшками, составили наземь горшок, усаженный в стёганое гнездо. Верешко миновал затрапезников, примерился ладонью к жбану.

«Я тоже скоро в силу войду. Начну воду носить...»

Клёпаная посуда едва покачнулась.

– Куда руки тянешь? – строго раздалось за спиной.

Голос прозвучал взросло. Его обладатель был меньше Верешко на полладони. Мальчишка, если смотреть со спины.

Сын валяльщика пожал плечами:

– Спереть хотел. В воровской ряд отнести.

Зря сболтнул. А так и бывает, если что воткнулось занозой. Цепляет, куда ни повернись.

Водоносы засмеялись. Они то и дело решали, кормить ли коротышку. Тот сам в жбан помещался, зато слепой Некша с ним успевал за двоих. Иногда ссорились взабыль, иногда – просто языки почесать. Сегодня поводов для забавы хватало и без него.

– Хорош крадун! Пустого лагуна не унесёт!

– Нынче в воровском ряду ни прибыли, ни добрым людям веселья.

Кто первый придумал, будто слухи разлетаются с бабьих языков, тот просто не слышал, как сплетничают землекопы, плотники, перевозчики. Ну и водоносы, конечно.

– Что ещё? Опять Кармана словили?

– Какой Карман... Темней дело маячится.

– Моклочиху стражники увели. И Карасихи не видно, затаилась, поди.

– Таись не таись... Если кто за кровью идёт, под лавкой не отлежишься!

Верешко опять стало страшно. «За кровью?! Нет... нет...» Завёрнутый на голову подол, свист кнута, бабий визг: «Он это! Малю-у-у-ута принёс...» Кипун, осклизлые мостки, брошенные черпаки – всё поплыло перед глазами. Вот сейчас трудники повернутся к нему: «А мы про тебя знаем!»

– У восхода пласт прогнил. Каждый раз со жбаном иду, святой Огонь поминаю.

– Сказать надо, чтоб заменили!

– Им теперь твердить без толку. У большаков одна думка – дворец.

Некша заиграл снова. Голосница была негромкой, прозрачной, как безветренное утро над Воркуном. Верешко выдохнул, разжал кулаки, начал слушать. Хотелось закрыть глаза, расправить большие мягкие крылья. Стать совсем лёгким, сделать шаг...

– Опять девичьи безделки завёл? – скривился поводырь. – Такое нам давай, чтобы кровь ходила, плечи зудели!

Верешко встречать не хотел, но язык снова выскочил без спросу:

– А мне полюбилось...

Коротышка обернулся. Верешко даже попятился, но морянин, чьё имя он никак запомнить не мог, лишь махнул рукой – устало, с перегоревшей обидой:

– Полюбилось ему! Под такую плачу плачевую все брёвна раскатятся, сам камень трещинами пойдёт! Небось Клыпа с Бугорком плотников веселят, одни мы грево разносим...

Тут по ступеням простучала деревянная пятка. Вприпрыжку спустился колченогий кувыка, следом горбатый.

– Хлеб-соль, труднички!
– Едим, да свой. Вы откуда здесь? Что у дворца не играете?
– Рады бы... выставили нас.
– Кто выставил?
– Люторада. Не дело, сказал, каженикам зачин великого дела сквернить.
– От каженика слышали.
– Это он тебя, Клыпа, не за костыль прогнал, а за гусли.
– Ему поперёк, нам как раз!
– Садитесь, Божьи кувыки, хлеба преломить. После мы за дело, вы за игру!

Верешко еле дождался, пока водоносы разделяются с едой. Забрал порожний горшок, взял корзину, бегом покатил тележку на склон, хотя куда было торопиться? «Не в убытке дело, в обиде, – обходя взглядом Малютиного сына, сокрушался на рассвете Угрюм. – Рядом дорогие узоры лежали, не тронули их. Кому снизка понадобилась? – И добавил, обращаясь к необличённому вору: – Решил, раз не золото, не серебро, хватиться забуду? А мне от друга подарок. Дочери вёз...»

Мимо целыми семьями двигались уличане. Отцы, матери, почтенные старики, нарядные дети. Все праздновали. Все тянулись в сторону больших улиц: людей посмотреть, себя показать.

У одного забора людской ручеек менял течение, отклоняясь к другой стороне улицы. Верешко, одержимый тёмными мыслями, забылся, побежал прямо. Рокоту деревянных колёс тотчас отозвался глухой, нарастающий рык. Над забором взметнулась ощеренная голова чуть поменьше медвежьей, лязгнула зубищами, рывкнула так, что по мостикам запрыгало эхо. Хозяин двора, седенький старичок, племил сторожевых псов, приведённых, по слухам, с каторжного рудника. Верешко шарахнулся, уронил шапку, под смех прохожих побежал дальше.

На углу Лапотной и Кованых Платов стоял храм Огня. Как говорили,

Возжигание здесь праздновалось с самого основания города, но года через три после Беды храм перестроили. Искусные шегардайские зодчие придали новым сводам вид человеческих ладоней, сложенных в защитном движении. Благодарные люди оберегали Огонь.

Как раз когда Верешко подкатил по Лапотной пустую тележку, из дверей храма выплыла в полном составе семья Твердилы, кузнечного старшины. Сам большак, невысокий, сухопарый, был уже сед, но рыжую бороду нёс по-прежнему гордо. Сзади ратью двигались могучие сыновья. Вот кого в полной мере догадало статью и красотой! Может, не зря люди посмеивались, будто Твердилиха когда-то пришла к мужу в кузню молотобойцем. Теперь старший сын сам вёл за руку молодую жену, а румяной Твердилишне была вверена многоценная ноша: скляночка с живой толикой храмового Огня.

Верешко так засмотрелся на них, что едва ногу не подвернул.

«Вот бы мама не умерла. Вот бы мне братика родила. Я бы его миловал... и маму любил...»

Пестовать такие мысли негоже. Хулительно для Владычицы, не нуждающейся в подсказках смертных, кого и как забирать.

Её земной тенью по ту сторону маленькой площади стоял молодой жрец Люторад. Он не попрекал Твердилу и других верных Огня, но взгляд был хуже попреков. Кузнечный большак перестал улыбаться, ещё надменной задрал бороду, прошёл мимо.

Навстречу столь же кичливо, не глядя, не кланяясь, проплыл купец Радибор. Поговаривали, его богатство скопилось в Беду, когда люди по весу выменивали золотишко на хлеб.

С того конца запруженной улицы будто прокатилась волна. Люди стали оглядываться, подаваться в стороны, жаться ближе к заборам. Верешко с его тележкой затолкали обратно на Лапотную, притиснули к чьей-то калитке.

– Везут! Везут!..

Издалека наплывал тяжкий медленный скрип, хлопанье бичей, насадное мычание оботуров. Телеги с лесинами, отобранными в северных чащах, миновали городские ворота и помалу одолевали горбы мостов, продвигаясь к Торжному острову. Слышалось многоголосое пение. Впереди телег, освящая каждый шаг пути, выступали жрецы.

Дворец Ойдриговичей, утраченная и несбыточная мечта города, в самом деле готовился обрести плоть.

– Ещё подклет гол стоит, а уже державство пожаловано.

– Из наших кому-то?

– Есть квас, да не про нас. Слышно, едет в Шегардай знатный господин Инберн Гелха. Из самой Чёрной Пятери, из котляров.

– Как-то, желанные, новая метла пометёт...

– Державец что! Вот царевича дождёмся, нарадуемся порядку.

Верешко, отгороженный сплошной стеной спин, ничего не мог рассмотреть. Хотел даже откинуть упор, вскочить на тележку, но постыдился. Грех топтаться ногами там, куда будет положена людская еда.

– Ещё бы торжественной казнью святое дело украсить, как при дедах велось, – рядили в толпе.

– Оно бы хорошо, да кого казнить?

– Не Кармана же.

Люди стали смеяться.

– Кармана и так сегодня секут. Хоть малая, а всё казнь.

– Царевич, желанные, не завтра приедет. Авось нагрешит кто и на великую.

Когда прямо за забором раздался бабий рёв, неменяемый и страшноватый, все обернулись, кто раздражённо, кто с любопытством.

Кричали во дворе вдовы Опалёнихи, голос принадлежал хозяйке... если это можно было назвать голосом.

– Я тебя кормила! Поила!.. Не дочь ты мне!.. Зенки повыцарапаю, косищу повыдергаю!..

И много чего вдобавок, только Верешко не запомнил. Стало жутко и смешно, ведь то же самое он выслушивал от Малюты каждую ночь, когда тащил отца, беспамятного, домой.

Тележку толкнули, Верешко не устоял, шатнулся на калитку спиной. Створка неожиданно уступила... он окончательно потерял равновесие, завалился головой и руками в чужой двор. Прямо через него неловко, боком, двумя руками схватив у плеча собственную косу, рвалась на улицу девушка. Он едва успел заслониться, подол мазнул по лицу, мелькнули круглые от отчаяния глаза, не разберёшь, карие или серые. Растрёпанный русый хвост мотала на кулак сама Опалёниха:

– Куда собралась, дрянища с пылицей? Я тебя...

Рукава задраны, шитая кика самым срамным образом съехала с волос надо лбом... У крыльца виднелся Хвалько, вдовый сын, он держал что-то в руках и за сестру не вступался. Верешко с горем пополам выкатился из-под ног, подобрал свалившийся колпачишко. Опалёниха не сразу управилась затащить дочку обратно, чтоб уж дома, без людских глаз, оттемяшить как подобало. Мимо хозяйки наружу протиснулась обтёрханная баба. Верешко узнал Карасиху, торговку из воровского ряда.

– Ну, я уж пойду себе... пойду я...

Мелькнула, пропала. Девка оставила у матери в руках клок волос, бросилась, безумная и слепая, напрямик через улицу Кованых Платов.

– Стой!.. – тотчас закричали в толпе.

– Стой, корова, куда!..

Киец, младший Твердилич, кричать не стал, просто шагнул наперерез. Девка забилась у него в руках, но с кузнецом поди совладай. Подхватил, унёс обратно в толпу.

Жреческое пение зазвучало громче. На улице показалось шествие. Впереди – Божьи люди в праздничных ризах. За ними – упряжные оботуры со свежими хвойными веточками, вплетёнными в косматые гривы. Струйки пара из ноздрей, налитые кровью глаза. Телеги, стонущие под весом громадных, воистину царских лесин...

Двое крепких мужчин, взяв руки накрест, несли благочестного старца. Горожане часто менялись, каждый хотел порадовать, пройти десяток шагов со святой ношей. Кому было совсем уж не протолкаться, помогали быкам, подталкивали телеги. Хватались за брёвна, зная, что до смертного часа будут вспоминать этот день. Дедушка благословлял народ раскрытой ладонью. Даже улыбался, но было видно, что голову-то прямо держал с великим трудом.

Отцы подхватывали детей, ставили себе на плечи. Глядите, несмышлёные! Однажды внукам расскажете!

Медлительные телеги тянулись одна за другой. Наконец отделились, смолкли величественные хвалы. Люди стали возвращаться мыслями с гордых небес.

– Молодчина Киец. Успел! Если б не он...

– Страх подумать! Дорогу так-то перерубить!

– Всему поезду сквернение!

– Строительству неуспех, городу срам...

– А верно бают, что перед Ойдриговым войском вот так кто-то пробежал? Отчего и не стало ему против дикомытов удачи?

– Небось дикомыты и пробежали. Злой народ, чего от них ждать.

– Сами хороши, желанные. Могли бы путь побережь!

– Спас Киец девку.

– Тотчас бы в колодки да под кнут без пощады, с обходом ворот.

– И девку?

– И девку.

– Да на них, дурищ, береженья не напасёшься!

Верешко вытянулся в струнку. Виновница, успевшая немного ожить,

всхлипывала у Кийца в руках:

– Прости, добрый молодец... И ты, дяденька Твердила, прости за безлепие...

– А у матери прощения помолить? – рявкнула Опалёниха. – Живо иди сюда, неключимая! Я тебе патлы-то...

Девка вздрогнула, крепче ухватила за молодого кузнеца.

«Как есть дурища, – плюнул про себя Верешко. – Волос долог, а ум... Вот я, я бы через путь нипочём! Даже от камышничков удирая!»

– Погодь, соседushка, – неспешно воздел руку Твердила. – Почто славницу теснишь?

Вдова подбоченилась, крупная, красная от гнева. Изготовилась горлом отстаивать материнскую власть.

– Славницу?... Я в своей дочке вольна, а ты мимо ступай!

– Погодь, соседushка, – с усмешкой повторил большак. – Дочку, говоришь? А кто сейчас отрекался? Люди всё слышали... Слышали ведь, желанные?

Обступившие зеваки зашевелились. Дочь от матери отчуждать! Так пойдёт, могут и на роту позвать, а рота дело нелёгкое.

Верешко вдруг обдало жестокой обидой. Он бы тоже девку обнял крепко-крепко! Увёл... в обиду не дал... и тоже придумал бы сказать Опалёнихе: сама отрекалась...

Людское скопище постепенно редело. Колёса тележки дробно переговаривались, измеряя мостовую. До вечера «хабалыгин сын» пробежит здесь ещё не раз и не два. Может, даже выведает, чем кончилось дело. Хотя на что бы ему?..

Около полудня, возвращаясь с Гремячего кипуна, Верешко снова закинул крюка на торг. С бьющимся сердцем сунулся в воровской ряд... Он очень боялся того, что могла рассказать ему Секачиха, но увиденное напугало ещё больше. Воровской ряд обезлюдел. Совсем! Ни Секачихи, ни товарок её, только утром сидевших над своими рогожками!

Верешко хотел спросить, куда подевались торговки, но не посмел. Так и стоял, бестолково крутил головой.

– Темрююшка, значит, опять его спрашивает: под кнутом был ли когда?

– А он: нет-нет, ни разу, исклеветали меня смирного.

– Исклеветали?

– Пришлось палачу его суконкой тереть. Рубцы сразу и вылезли.

– И он что?

– Один раз, говорит, не в счёт.
– На раз ума не станет – до веку дураком прослывёшь. Раз укради, навек вор, а он-то! Покражам счёт потерял!
– Уже кобылу целует, а всё правится.
– А потом ну кричать: жги сильнее! Пори крепче! За былые поклёпы, за будущие напраслины!

«Карман», – сообразил Верешко. В начале весны знáтого городского ворюгу, пойманного в очередной клетке, вытащили на вечевой суд. Изгнать? Покалечить, чтобы красть больше не мог?.. Плюнули, отвесили очередной десяток горячих, выпустили. Не захотели насовсем лишаться потехи.

– Заплата тоже слёзы лил, как впервые. Спрашивал, убогий, за что батюшку порют.

– Карман очугунился уже. Скоро добавки требовать будет.

– А Моклочиха что?

Верешко насторожился. В животе стало холодно. Моклочиха! «А бисерник тот мне дурнопьян Малюта принёс...»

– Её-то пороли саму? Или попугать вывели?

– Такую пороть – срам один.

– Без срама рожи не износишь...

– Э, желанный! У ней рожа, что новому сраму и места нет.

– Так что́ она?

– Тоже правилась поначалу: я то-сё, вдовинушка бедная... А Темрюй Карману как вмахнул напоследок! Прямо в лоб ей кровушка брызнула. Тут Моклочиха вся белая стала и раскапустилась: у Хобота прикупила!

– Во дела чудовые!

– Даже прикупила? Не в мешке на пороге нашла, как все они покражу находят?

– И что Хобот? Сознался, у кого взял?

– Привели его на расспрос?

– Хобота приведёшь! Он себя в обиду не даст. Ещё на Привозе-острове расторговался – и снег хвостом.

– А что продавал?

– Говорят, земляного дёгтя бочонок...

Ослабевший от ужаса Верешко только понял: отец нашёл бисерной понизи самого скверного покупателя. Хобот нередко являлся с тёмным товаром. Уверял, будто перепродаёт честную добычу дружинных, но кто поручится?.. Верешко представил воочию, как похмельный Малюта бредёт улицей. Жалуеться, бормочет ругательства, спотыкаясь впотьмах. Несёт в кулаке венчик, случайно прилипший к руке в Угрюмовом подголовнике.

Утыкается в пахнущую псиной шубу. «Продаёшь что, желанный? О-о... а много ли просишь?»

Верешко кое-как пришёл в себя на полпути к «Барану и бочке». Увидел впереди синие суконные свиты, красные околыши городской стражи. Ахнул, торопливо свернул в переулок. Чуть не плача, поволок тележку заросшей тропкой вдоль ерика...

С пустой тележкой на таких тропинках было почти не страшно. Камышничкам порожняя посуда без надобности.

Всё будет хорошо

К наступлению ранних сумерек Верешко не чуял ног. Он успел раза по три сбегать на каждый кипун, где «Баран и бочка» сегодня кормил мирских трудников. Опять завернул к торгу – ужасаясь, предчувствуя самое скверное. Воровской ряд так и не ожил. И никто не смеялся сыну валяльщика ни в лицо, ни за спиной.

– Опалёниха-то... Слыхали?

– Да что она?

– Дочку вон выставила, во как.

– Батюшки-светы! Догадушку? За что бы?

– Девка умница вроде, скромница, труженка...

– А за то, что материны жемчужные колты стащила и Карасихе на продажу подкинула. Вот за что!

Верешко, успевшему немного перевести дух, взгадило снова. «Лучше бы я вовсе сиротой жил! – мелькнула кромешная мысль. – С камышничками в Диком Куту! От доброты людской пищи себе искал...»

– Охти-тошенько! Не стало в человеках стыда! Правду Люторад говорит: последние времена близко.

– Как уж те рубашечки не припомнить...

– Ну тебя! Своих грехов мало, ещё чужие считать?

Вот это была правда святая. Беда многих вынудила замараться. Кто-то страшным воплем вопил над скудельницами семьян, взятых поветриями заморного времени. Кто-то добывал умиральные рубашечки чужих деток, зазывал смерётушку к своим, слишком многочисленным и большеротым... Путь смерётушке тропила вдова Опалёниха. Сама с того неплохо жила. Держала собственный двор. В жемчужных колтах ходила.

– Ну а Карасиха колтушки узнала. Не стала под рогожу выкладывать, назад принесла.

– Добрая она, Карасиха.

– Все добрые. А своя рубаха каждому ближе к телу.

– Девка-то что теперь?

– Да что. Кузнецы увели пока, там видно будет.

Снаружи царствовала уже суцая тьма, прорезанная лишь огоньками уличных светильников. Верешко сидел в кладовой «Барана и бочки», голова то запрокидывалась, то падала на грудь. Отдав тележку, ненадолго

сел, вытянул ноги, пригрелся... Когда в кладовую заходили, он вздрагивал, виновато бормотал, садился прямо... голова тут же начинала снова клониться. Витала смутная мысль об отце, в это самое время всё крепче напивавшемся в «Зелёном пыже». Никак не получалось додумать её до конца...

Прикосновение заставило вскинуться. Верешко распахнул глаза. Над ним стояла Тёмушка со старой шубой в руках.

– Ты что?..

Голос прозвучал хрипло. Ключья сна расползались медленно, как талый снег, потревоженный в проруби.

Дочка палача смутилась, отвернулась, хотела ответить, но в кладовую заглянула Озарка. Принесла хороший узелок съестного и несколько медяков – его сегодняшний заработок. Верешко беспамятно взял то и другое. Тряхнул головой, нахмурился, протянул деньги обратно.

– Лучше... у себя поддержи, тётя Озарка. – «Отик найдёт, снова загуляет без удержу...» – А то домой понесу, не нарваться бы впотьмах на кого.

– Конечно, маленький.

Попробовал бы кто другой так назвать Верешко! Озарке почему-то было можно. Она обняла его на прощание. Верешко ткнулся носом в запонец девушки, пахнувший сдобным домашним теплом... Между прочим, в «Баране и бочке» с некоторых пор начисто перестали красть, и почему бы?.. Снаружи по-прежнему колыхались на ветру полотнища ледяной влаги. При мысли о том, чтобы туда выходить, по телу прошла корча.

– Ты, может, тележку возьмёшь? – негромко, участливо спросила Озарка.

Верешко аж бросило в пот. Жаркий стыд смёл последние остатки сонливости. На тачках увозили домой уже самых пропастных пьянюг, растливших последнюю честь. Горожане даже не порицали безнадёжных «мочеморд», они были назиданием и посмешищем. Верешко уставился в пол:

– Отик не такой...

– Завтра придёшь? – подала голос Тёмушка.

«Не твоего ума дело, обрютка!» Вслух он буркнул:

– А то...

«Зелёный пыж» был самым дешёвым кружалом, поскольку стоял на краю Дикого Кута. Сегодня моросило по всему Шегардаю, но в остальном

городе случались и вёдрые, краснопогодные дни без дождя, а здесь – никогда. Работники кружала только поспевали крышу чинить.

На подходах к «Пыжу» город постепенно превращался в деревню, даром что спрятанную за Ойдриговой стеной. Уличная мостовая сменялась узенькими мостками. Сплошные заборы – плетнями из жердей и толстых стеблей, нарезанных в ближайшей кувовине. Постепенно пропали уличные светильники...

На крылечке Верешко помедлил. Несколько раз, как перед последним прыжком, вдохнул зябкую сырость, долетавшую с Воркуна. Поднял голову к мреющим облакам... Что ждало внутри? Новая оплеуха с пьяным рёвом: «Так-то ты отца чтить вздумал, щенок?» Вовсе бесчувственное и недвижимое, сокрушительно тяжёлое тело – поневоле задумаешься, отчего тележку не взял?..

Корень страха в безвестности. Когда доходит до дела, всякая боязнь отбегает. Верешко потянул дверь.

Наружу ринулся густой кислый смрад несвежего пива, перегорелого жира, похмельного дыхания... В уши ворвались шум, хохот, пение, ругань, стук игральные костей. Сквозь мерцающий угар в сторону Верешко обратились бледные, размытые пятна.

– Затворяй дверь, сучий выкормок, тепло упускаешь!

– Молочишко дальше улицей продают!

Верешко попятился, чуть не выскочил вон, но из-за ближнего стола уже полезло большое, лохматое и свирепое.

– Кто Малютино детище бесценное лаять осмелился? Сын к отцу пришёл, совету вашего не спросил!

У Верешко толкнулся в груди горячий комок. Парнишка бросился вперёд, обхватил валяльщика поперёк тела:

– Отик! Отик...

Больше ничего выговорить не смог. Убоялся расплакаться. Малюта сгрёб его, вмял щекой в засаленный, некогда нарядный кафтан:

– Пойдём, сын! Пойдём скорее домой! Недобрые они тут... – И опрокинул в рот остаток из кружки. – Сторонись, душа! Оболью!..

За столами начали смеяться. Верешко ничего кругом не видел, не слышал и замечать не хотел. Отец обнимал его. Они шли домой.

Малюта величественным движением высыпал на стол горсть медяков. По мнению Верешко – слишком щедрую, но это тоже не имело значения. Отец держал его за плечо, на лбу отпечаталась петлица с пуговкой от родного кафтана. Ничто во всём свете больше не имело значения.

Дверь бухнула за спиной. Отсекла хмельной гомон кружала, оставив

отца с сыном в объятиях очищающего дождя. Даже ветер, грозивший выдуть из-под заплатника остатки тепла, казался Верешко ласковым, полным уверенных обещаний.

– Завтра встанем пораньше, – рассуждал Малюта. Язык лишь чуть заплетался. – Ремесленную отмоем... Всё, сын, надоело мне по чужим застольям усы в пиве мочить. Хватит! За дело браться пора. Жёлудя с Рощинкой назад позовём... не бросят они Малюту... не бросят...

Впереди, в непогожей мгле, всё ярче разгорались светильники. Скоро угол Клешебойки и Вторых Кнутов. Там и домой прямая дорога... ну, почти...

– А вработаемся, – продолжал Малюта мечтательно, – серебра настяжаем... раба прикупим, слышь, сынище? Раба! Чтобы веселей дело шло... чтобы не сбежал, как вольные, при первой невзгоде...

Против света вдруг выросла невысокая серая тень. Потом ещё одна и ещё... потянулись цепочкой.

Камышнички!..

Да не взрослые босомыки – ребяшня. Безжалостные волчата. Раздеть пьяницу, плетущегося из кружала. Обобрать сверстника, сумевшего раздобыть грошик и немного еды... Верешко, уже мысленно выкладывавший на домашний стол честной Озаркин хабарик, споткнулся, застыл. Кругом вновь сгустилась холодная тьма, дом стал далёким, как недостижимые тучи. Малюта наткнулся на сына, тоже остановился. Невнятно, безразлично спросил:

– Что... что?

Верешко мельком покосился. Отец ещё как-то стоял, но глаза уже слиплись. Верешко вылез из-под его руки, сделал шаг, заслонил. Он был готов принять бой, только не спешил бросать узелок с ужином. Не хотел пачкать без толку.

Он не поверил глазам, когда тени, возникшие впереди, безмолвно растворились в потёмках. Владычица явила чудо. Алчная стайка убралась, не тронув беззащитных прохожих. Верешко оглянулся. Отец сидел под стеной. Похрапывал, свесив мокрую голову.

– Отик, вставай! Пойдём!..

Возиться пришлось долго, Верешко хотел уже снова отодрать его за уши, но Малюта замычал, перевалился на четвереньки. Поднялся.

С горем пополам одолел десяток шагов... Снова свалился...

Уже недалеко было до перекрёстка, где брала начало улица Третьих Кнутов, когда по лужам прошлёпали близящиеся шаги. Решительные такие,

уверенные. Уж точно не воровская походка. Верешко даже обрадоваться успел. Оглянулся...

К нему подходили двое в одинаковых синих свитах, унизированных бисеринками влаги. Красные околыши колпаков едва угадывались в темноте.

– Попался наконец! – сказал один.

«Угрюм... венчик бисерный... весь день, значит, искали?!»

Второй засмеялся.

Верешко узнал обходчиков. Первым топал Жёлудь, бывший работник Малюты. За ним – тот самый Киец, младший сын кузнечного старшины. Оба ходили черёдными в городской страже, когда ремесло позволяло.

– Дяденьки... – начал Верешко. Хотел подняться с колен, раздумал. Голос пропал, почему-то стало очень трудно глотать. – Дяденьки... отика не троньте...

Парни в синих свитах подошли ближе, склонились.

– Эх, Малюта, – с горечью выговорил Жёлудь. Взял несчастного валяльщика за плечо, тряхнул.

Киец безнадежно покачал головой:

– Совсем лыка не вяжет. Как поведём? Нести, что ли?

– А и принесём, толку, – сказал Жёлудь.

Вот и сбылось самое горькое и страшное, что мог вообразить Верешко. Не отмывать им с отцом назавтра ремесленную. Не выбирать шерсть на торгу. Будет свист кнута... чёрная кровь струями... Смерть, болезнь, сором неизбежны...

Желудок стиснула холодная горсть.

– Отика не троньте, дяденьки! – вскрикнул Верешко. Прозвучало тонко, жалобно до отвращения. Он ахнул, задохнулся. – Меня... меня глупого имайте... не побегу...

Молодые стражники переглянулись.

– Думаешь, справится? – спросил Киец. – Не больно соплив?

«Уже толкуют, как я... как я на кобылу... выдюжу ли...»

Малолетних бесчинников, не чувявших над собой родительской власти, в Шегардае вразумляли уличанские старейшины. Спускали штаны, секли вицей гузно. Верешко считал себя взрослым.

Жёлудь кивнул:

– Справится. Парнишка толковый. – И взял бывшего хозяйского сына за рукав. – Вставай, что ли, шабрёнок. С нами пойдёшь.

Верешко вцепился в Малютин кафтан:

– А... отик как же один?

– Не сделается ему ничего. Посидит, скорей отрезвеет. Вставай, пошли, говорю.

Верешко всё оглядывался на отца, пока не свернули за угол.

Кузня большака Твердилы, обычно жаркая и звонкая, сегодня молчала. Грех работать в праздник, отведённый для совместных пиров и радостных бесед со Старшими Братьями рода людского! Тем не менее за почестный стол Твердила ещё не сажился. Бывают дела, которые даже и праздного дня блюсти не велят.

– Не торопятся твои сыновья, – сказал Люторада.

Он тоже был здесь. Стоял прямой, неподвижный, убрав руки в длинные рукава облачения. Всем видом отказывался принадлежать этой кузне. Блёстки огня бежали по белым прядям на висках. У ног молодого жреца сидел маленький прислужник, Другонюшка. Держал наготове гладкую церу, отточенное писало. Любознательно рассматривал кузнечные орудия: наковальню, большие и малые молоты, горн, клещи...

– Подождём, – ответил Твердила.

– Ты, святой человек, уж как хочешь, а я отсюда никуда не пойду, – решительно проговорил купец Замша. – Я ради такой притчи о торге даже забыл! Будто не знаю, как дела решаются! До утра только отложи, а там из памяти вон!

У самой двери, на низенькой скамеечке, съёжившись, поскуливала Моклочиха. Блажить, аркаться не смела. На стёганом коснике, на передке зипуна каплями застыла чужая кровь, по щекам тянулись разводы. Щипцы и подпилки виделись напуганной бабе снастями для истязаний. Жила себе, не знала беды, понадобилось же у Хобота взять!.. Сейчас позовут Темрюя, где-то здесь ждущего. Надвинется огромная тень...

Когда закрипела наружная дверь, Моклочиха взывала в голос. Беспомощно расплылась на полу. Потом лишь стала смотреть, кто вошёл.

– Наконец-то, – качнул рукавами Люторада.

– Кого привели? – спросил Замша.

Верешко комкал шапчонку, серый от страха и уличной сырости. На него обратились все взгляды. Почти гневный, обличающий – жреца. Устало-понимающий – Твердилы. Раздосадованный – купца.

– Малюта где? – спросил старый кузнец.

Большак обращался к Жёлудю и Кийцу. Верешко торопливо ответил:

– Он... батюшка ногу подвернул, на улице отдохнуть присел... Я за него, дяденька! Я отвечу!

– Ну так отвечай!

Купец держал в руках что-то зелёное с чёрным. Сделал шаг, сунул прямо в нос Верешко:

– Живо говори, чьих рук дело!

Верешко увидел мятый суконник. Богатый, очень красивый, смутно знакомый. От ворота справа на грудь тянулся бурый потёк, заскорузлый, страшный. Верешко, было потянувшийся взять, отдёргнул руки, спрятал за спину. Отчаянно замотал головой:

– Отик не станет! Он и во хмелю добрый!..

Другонюшка встrepенулcя, открыл рот. Получил от Люторада подзатыльник, выронил писало, нагнулся поднять.

– Как – не он?! – взъярился Замша. – Мой брат названый носил! Удачным хвалил!..

– Отик добрый!..

– погоди орать, гость желанный, – остановил торговца большак. – А ты, малый, тоже впустую не полошисъ. добрый господин тебя не о крови пытает. Работу родительскую узнаёшь ли? Суконник?

Верешко услышал не сразу. Всё-таки понял, вновь упёрся взглядом в чёрное и зелёное. Перевёл дух:

– Узнаю, дяденька.

– А кто у родителя покупал, сказать можешь?

– Я... как звать, не упомянул... – Верешко сглотнул. – Только... у того человека телега пахла... Вот! Земляным дёгтем. Лампы горели весело...

Снаружи вновь послышались громкие голоса, молодые стражники подались в стороны. Через порог, пригибаясь, шагнул красильник Гиря. За ним шерстобит Миран. Приотстав – санник Вязила.

– У тебя, старейшина, других дел нету, что мальчонку затерзать норовишь? – мрачно прогудел Гиря.

Когда здоровяк брал черёд в страже, на улицах сами собой воцарялись кротость и гожество.

– Я парнишке ручатель, – решительно стянул шапку Миран. – Всякому бы такого сына!

Вязила был самым богатым, важным и толстым. На Полуденной его слушали. Он веско поклонился:

– Поздорову ли, батюшка старейшина и ты, святой моранич! Почто нашего уличанина куда-то ведут, а нам даже не сказывают?

Твердила, державшийся сурово и строго, вдруг усмехнулся.

– Ишь поднялись за правое дело, уличанина от своей же стражи спасать, – ответил он всем троим сразу. – Так ли прибежите, желанные, когда вечевоe било вправду сполох ударит?

Уже глухой ночью Верешко сидел возле нетопленной печи. Слушал, как похрапывает разметавшийся на лавке Малюта. Улыбался, шмыгал, вытирал нос кулаком.

Стыдился, вспоминая кромешные мысли, приходившие днём. Вот что получается, когда начинаешь веру терять!

Он привык побаиваться бездомных ровесников, думал, те обобрать хотят подвыпившего отца... а камышничкам, оказывается, посулили каши горячей, если разыщут Малюту и приведут к нему кутовых обходчиков. И Твердила с Люторадам и купцом Замшей вовсе не казнить собирались валяльщика за мнимое злодеяние. Всего-то хотели удостовериться, его ли работы был кровавый суконник. Зачем, что там случилось – гадать ещё и об этом у Верешко не было сил.

Уличане потом пошли проводить, помочь свести Малюту домой. Только отца уже не было там, откуда Верешко забрала стража. Сонного валяльщика унёс на плече слепой Некша. Когда прибежал Верешко, отца складывали наземь у домашней калитки. Сын чуть не заплакал от облегчения...

...И увидел купца Угрюма, стоявшего здесь же. Сердце опять стукнуло мимо, но вид у давешнего пожилца был совсем не такой грозный, как утром. Угрюм прошёл за шабрами в дом. Когда Малюту благополучно уложили на лавку – кашлянул, подозвал Верешко.

Тот заново испугался: ещё пропажа открылась?.. Угрюм что-то вытащил из-за пазухи, светлым взглядом обвёл уличан.

«Ты, парень... Я тяжких слов было наговорил... Бисерины, гладкие они, сам знаешь... в щёлку ускользнут долой с глаз – и нету их, а я сдуру злое подумал. Вот, возьми, не хочу совестью маяться. Подрастёшь, девке подаришь, вспомнишь меня!»

И ушёл, а в руке Верешко осталось прилюдное подтверждение чести отца. Дивный плетенец, каких в Шегардае не делали.

Вот тогда он как следует понял: всё будет хорошо.

Завтра Малюта проснётся здоровым и трезвым. Они засучат рукава, вымоют ремесленную. Сходят к Мирану за шерстью. Уговорят Жёлудя вернуться. Рощинка, узнав, сам назад прибежит. Скоро поплывут запахи мыла и кипятка... зазвучат во дворе песни... Отяготит кошель серебро, придёт с торго пугливый молодой раб... Обвыкнется, помощником будет...

Настанет радостная и добрая жизнь...

Доля вторая

Далёкое знамя

Эльбиз и Эрелис уже хорошо развели Выскирег, но со Златом равняться не посягали. Он знал в обжитых пропастях каждую щёлку, каждый крутой и редко посещаемый ход. Когда брат с сестрой затевали тайную вылазку, без него дело не обходилось.

Никто не обратил внимания на троих мальчишек-лохмóтников, выникших из узкой расселины. У самого шустрого и востроглазого падала на глаза великоватая шапчонка. Другой, круглолицый, берёт повязанную ладонь. Эрелис накануне полдня воевал упрямую дуплину. Морёное дерево было железной твёрдости, вот и соскользнула рука.

– А мгла если? – спросил Злат. – Нешто различите?

– Различим, – пообещала Эльбиз. – Дядя Сеггар на глядном месте знамя поставит, чтоб нам заметить.

Эрелис вздохнул:

– Нету там никого. Не порно ещё.

– Не порно, – согласилась сестра. – А мы всё равно поглядим. Наше дело ждать да примериваться!

Злат вёл их наверх окольными путями, по возможности минуя бойкие пробеги, где хаживали Гайдияровы порядчики, а народ то и дело жался к стенам, давая проезд гружёным тележкам. Временами дорога выводила на обледенелые плечи скал, с каждым разом всё шире распахивая мгlistую овидь Зелёного Ожерелья.

– Я скоро уеду, – тихо повторял Злат. – Запоминай путь, государь.

Он не смел называть Эрелиса братом, хотя их связывало родство. Злат был боковым побегом на древе царевича Коршака. Восьмой наследник, прозванный Жестоканом, не озаботился ввести пригульного в род. Зато подобрал ему невесту: дочь богатого промышленника из Левобережья. По Коршаку уже скоро пять лет как справили тризну, однако Злат носил гребень просватанного. Собирался нынешним летом отбыть к наречённой. Праведная семья от данного слова не пятила.

Тропка снова нырнула в каменную глубину, в душноватое, влажное тепло обитаемых выработок. Серенькие оборвыши пробирались по стеночке, неприметные в отсветах сальников.

Умы и языки выскирегцев занимала самая свежая новость.

– Уж тот рыжий котище мял её, мял...

– Чей он хоть? Сапожника вроде?

– Не, сапожников ласковый, а этот – как есть варнак! Когти что гвозди!
– Из-за островов прибежал, от кощеев.
– Медников чёрный без уха приплёлся, усмарёв серый полхвоста до дому донёс... Всех побил!

– А тискал-то, тискал, за шиворот зубами хватал... Клыки – во!
– Она ж вроде царевны кошачьей. Небось с женихом под стать думали поблюсти. Что за котят метнёт, вот бы одним глазком глянуть?

– Ясно, рыжавушек.
– Да ну! Так тебе кровь царская и уступила.
– А будто не уступит? Ты доброго Аодха видал ли? С нынешними равнял?

– Да хоть на сына шегардайского посмотреть. Срамота!
– Нашёл по ком судить. Яблочко от яблоньки! Его отец...
– Язык-то попридержи.
– Его отец, слышали, речные берега путал!
Один из оборвышей оглянулся. Двое других тотчас ухватили приятеля, повлекли дальше. Подземная улица жила обычной жизнью. Ссорилась, смеялась, выносила свой суд. До мальчишек никому не было дела. Таких, как они, мезонек по Выскирегу шаталось – впору котляров кликать.

– Хорош царевич. Кошки не удержал, где ему державу удерживать!
– И глаза серые. Поистёрлось царское золото! Вот Гайдияр...
– Сестру бы поглядеть. Собой дурна, говорят.
– Небось родословы над книгами слепнут, жениха ей подыскивают.
– Тихо, болтуны!
– Если уж такой род миновался...
– Тихо, говорю! Дошуткуетесь до кобылы!

Другие ещё помнили позавчерашнее, остывшее. Приговор мнимому родичу, побор, наложенный на Кокуру. Когда из пекарни левашника везли вниз обшитые короба, на сладкий дух не оборачивался только насморочный.

– Лаком владыка наш... – доносились приглушённые пересуды.
– Попробовать бы те постилы!
– Попробуешь... кнута с узлами за болтовню.
– А обречённый что? Ещё мается?
– Да что. Вцепился как клещ.
– Батюшке отпирчивому досаждают. Не принял, теперь платит пусть.
Братец Аро споткнулся на ровном месте. Зажмурился, замотал головой. Прошептал:

– Я вконаю в закон... чтоб судья праведный... хоть и царь... сам при

казни сидел!

Сестра крепко стиснула его руку:

– Идём, братик. Идём.

Окно, прежде увитое ползучим шиповником и плющом, ныне порывалось насовсем зарости ледяной пробкой. Его время от времени прорубали. Пускали свежий воздух течь отвесной дудкой до самых нижних жилищ.

Царевна первая подбежала, выглянула наружу.

Высота далеко отодвинула закрыл. Целиком виднелась пустошь прежней бухты, округлая, впалая, словно перевёрнутый щит. Частью каменная, частью покрытая снегом. Когда-то здесь искрились под солнцем тёплые бирюзовые волны. Сворачивали паруса корабли, спешившие к причалам Выскирега. За пустошью росли из тумана гнилые обломки зубов. Что делалось по ту сторону Зелёного Ожерелья, рассмотреть уже было нельзя. Только угадывались дымы, вплетавшиеся в низкие тучи. Здесь собирались поезда переселенцев. Отсюда начинался их долгий путь к северу. Если везло – под защитой дружины, нанятой мирским складом. Если не везло...

– Знамя! – вскрикнула царевна.

Эрелис прикусил губу, мигом вместе со Златом оказался подле сестры.

На голом костяке острова трепетало, билось по ветру крохотное летучее пятнышко. Оттуда, где стояли ребята, трудно было различить даже цвет.

– Дяди Потыки знамя, – почти сразу померкшим голосом выговорила Эльбиз. Нагнулась поднять свалившийся нарукавник. Отвернулась, потянула носом.

– Господина Коготка? – осторожно спросил Злат. – Того, что с господином Неуступом в союзе?

Царевич кивнул.

– Выйдете к нему? На Дальний исад? Я покажу...

– Нет. Не ровен час, попадёмся, потом к дяде Сеггару будет не выйти. Пошли в «Сорочье гнездо», вдруг там кто объявится!

На спуске все трое долго молчали.

– Тебе, государь, может, выучиться иглой вязать? – глядя на грустного Эрелиса, спросил наконец Злат.

Царевич поднял глаза:

– Я умею. А на что?

– С собой возьмёшь другой раз. А то в книге забавные сказания кончатся – чем наставника отвлекать будете?

Эрелис вздохнул. Жестокие головные боли, отвращаемые лишь рукодельем, приходилось скрывать даже от Невлина.

– Резец брат не велят, – пожаловался царевич. – Дымка и та срам оказала. Иглу в руки будто позволяют.

– Мы в Еланном Ржавце знаешь как привыкли? Нас в дверь, мы в окно. Вязать не велят, кружева плести запросись. Поди, тоже умеешь?

Он пытался развеселить друга, но Эрелис не улыбнулся. Злат зашёл с другой стороны:

– А ещё ты сказывал, в дружине песни пели про Тигерна и Тайю... животы надрывали?

– Как сговорят меня завтра, – угрюмо вымолвила Эльбиз, – вправду семь рубашек натяну, прежде чем с немилым-постылым идти опочив держать.

Царевич даже остановился. Скулы вспыхнули пятнами.

– Вот этого не бойся, сестра.

«Да что ты сделаешь? Высший Круг... великого жениха... владыка прикажет, тебя слушать не станут...» Эльбиз обняла брата:

– Я с тобой ничего не боюсь.

...А не знаясь взглянуть – мальчик чуть повзрослей утешал младшего, постигнутого бессильной обидой...

Стол доброго Аодха

Кружало «Сорочье гнездо» добрые горожане считали сомнительным местом, вечно полным отчаянного народа. Оно и стояло-то на отшибе от жилого откоса, на длинном мысу с южной стороны бывшей губы, где прежде кишели жизнью причалы. Сюда приходили вожди и первые витязи из дружин, которые Гайдияр не пускал в город. Степенные купцы, посещавшие Выскирег, предпочитали иные кружала, тихие, порядочные, укрытые в отнорках пещер.

Переступая порог, трое подростышей стянули шапки, явив одинаково нечёсанные русые кудлы. Самый маленький чуточку осторожничал, стаскивая великоватый колпак. Надо было очень пристально смотреть, чтобы это заметить.

Плечистый парень, стоявший у двери, вытянул руку.

– Стол доброго Аодха вон там, – сказал он оборвышам, гуськом пробиравшимся внутрь. На широком поясе покачивалась дубинка. – Только не врать мне, будто забежали погреться!

Самый длинный поклонился в ответ:

– Спасибо, добрый господин. Мы сегодня имущие.

Показал на чумазой ладони несколько медяков. Двое младших робели, жались друг к дружке у него за спиной.

При виде монеток вышибала строго нахмурил брови:

– Где стянул?

Юнец потупился, неохотно протянул руку, чтобы привратник мог отделить мзду, но вмешался хозяин, Харлан Пакша:

– Пусть заходят. Этих я знаю.

Он сам выглядел воином, порубленным в битве. Рослый, уверенный, правая рука в косынке на груди.

В кружале было темновато, шумно, пахло пивом, кислой капустой, жареной рыбой и человеческим телом. Большую часть светильников составили на пол в середине, откуда столы были убраны к стенам. Что там происходило, мешало рассмотреть сплошное кольцо спин. Только слышались возгласы: «масло», «горе», «телица», «бычок». То и дело воцарялась напряжённая тишина, её сменял хохот, прорезаемый сокрушёнными стонами. Скудный свет не давал расчленить скопище на отдельных людей, – казалось, там переступало одно слитное, многоногое, многоголосое существо. Одержимые погоней за дармовым счастьем катали

лодыжки. Игра как раз завершила круг.

– Пожалейте, добрые люди! Отыгаться дозвольте!

– Да сколько ж верить тебе?

Поднялась возня, слышалось рычание, общий смех. Прокидавшегося понудили на колени. Слупили поставленные в кон зипун да рубашку, приговаривая по-разбойничьи:

– Волей не отдаёшь, неволей возьмём!

Самого сцапали за уши, за волосы, принялись «красить лоб» – потчевать щелбанами, от души, чтоб крепче запомнил. Винный не терпел унижения, рвался из рук, его умирляли.

– И то пожалели, штаны оставили!

– Говори: виноват, да лоб подставляй!

Снаружи, комкая шапку, смиренно вошёл босомыка. Дождался позволения, с поклонами приблизился к дармовому столу, куда блюдницы складывали обрезки, остатки. Согласно общему разумению, там потчевал скудных святой царь Аодх. Тот, что одевал сына в простенькую рубашку, пускал играть с уличными детьми: устрашишь, чужестранец, пинать маленького оборванца!

Нищий поклонился образу над столом. Прилично взял, сколько убралось в горсть. Поклонился ещё, направился вон.

Людское кольцо раздалось. По полу на четвереньках пробежал полуголый человек, вскочил, бросился с кулаками назад. На пути возник Харлан. Единственной ладонью встретил занесённую руку, что-то сделал, быстро и незаметно... проигравшийся, взыв, кувырком вылетел в дверь.

– Памятуй впредь: игра предатель, – проводили раздетого. Кто-то додумался продолжить:

– Зато кистень друг.

– Ну тебя, на свин голос будь сказано!..

– А то что? Кого от игры силой гнать надо, чтобы последние штаны на теле унёс, тот и в шайке корысти не доищется.

– Оно верно, только сперва дубинкой по головам намахаться успеет. А в лодыжки проехал, одного себя обидел.

– А у кого жена? Дети малые?

– Бабе поделом. Умей мужа придержать, коли соблюсти себя не способен.

– Вон Кокурина баба уж как к мужу ни плакала, чтоб сына признал...

– И богато выплакала?

– Люди бают, побил.

– Неладно...

– Неладно. А и мужа с женой разбирать не рука.

Двое мужчин за неприметным угловым столом окликнули жавшихся в сторонке подростков:

– Идите-ка сюда, малыши.

Ребята немного смущённо двинулись в ту сторону.

– Ты за мной, – придержал старшенького харчевник. – Пошли, снедного дам.

Младшие приблизились к столу, поклонились.

– Право тебе ходить, господин великий законознатель... И тебе на все четыре ветра, дядя Машкара.

У того под рукой челом вниз лежал неотлучный снаряд: вощёная цера с костяной палочкой для письма. Отрок, державшийся впереди, вежливо спросил:

– Открыл ли что нового в судебне, дядя Машкара?

Мужчина улыбнулся. Седые волосы, ничем не примечательное лицо... если не всматриваться в глаза, мерцавшие пламенем жирника. Они помнили солнце и удержали его свет, не померкнув с годами, следя, как ручейки судеб звонко плещут на перекатах и глохнут, исчезая в трясине. Между Машкарой и Цепиром на столе была рассыпана зернь. Прямоугольные костяные пластинки, одна сторона чистая, другая узорная. Странно, костяшки были явно разложены не для игры.

– Я видел, – ответил отроку Машкара, – как сытый кот поломал крылья залётному воробью и даже сам есть не стал, слишком торопился к сметане. Теперь уже никто не услышит песенку, которую воробьишко мог бы нам прочирикать. И ведь мы даже не знаем доподлинно, он ли склевал хлебные зёрна.

Паренёк долго молчал, глядя в пол. Думал. Поглядывал на Цепира.

Машкара заговорил снова:

– Я видел, как молодые коты храбро кидаются на злых крыс, дают им отряха. Однако после зарастают жирком.

– Дяденька...

Машкара вскинул руку. В крытом дворе, где шёл торг, затеялся шум, поднялась громкая ругань. Любитель узлов склонил голову, с предвкушением взялся за церу. Писать, правда, так и не начал.

– Сколь мало изобретательны эти люди, – разочарованно вздохнул он погодя. – Кто поверит в их торговую и воинскую смекалку, если они даром губят красное слово... Говори, дитя. Что ты хотел?

Мальчик подумал ещё, собрался с духом, начал заново:

– Дяденька Машкара... Подсказки прошу. Сытый кот и воробушек...

Мог ли что-то сделать видевший всё это котёнок?

«У которого пока не то что когтей – даже вслух мяукнуть не позволяют...»

Взгляд Машкары потеплел.

– Котёнок, – сказал он, – мог дать паутинке случая пролететь мимо. Но, вижу, он изловил её и намотал на усы.

Хромой царедворец смешал зернь на столе. Посмотрел на притихших подростков, спросил о другом:

– Чей стяг ходили смотреть?

Ребята встрепенулись, начали переглядываться. Если Невлин сведает об их вылазке, то не от Цепира. Это они давно поняли. К тому, что законознатель, в точности как Космохвост, обоих видел насквозь, – привыкнуть не удавалось никак.

– Потыки Коготка, – ответил голосок из-под вороха кудрей, падавших на остренький нос.

– Мы умеем ждать, – весомо добавил братишка. – Дождёмся.

Машкара улыбнулся отроческой решимости.

– Один человек, – начал он, по обыкновению, загадочно, – пришёл к нашему доброму Харлану и давай спрашивать: «В который день к тебе заглянуть, чтобы калача поест с ореховой травкой?» Как по-вашему, что ответил Харлан?

Крепкий паренёк напряжённо хмурился.

– В ухо дал? – пискнул тощенький.

Машкара рассмеялся:

– Он сказал: «Сегодня у меня в печи капустный пирог. Завтра будет жареная камбала с горлодёром, а послезавтра – печёный гусь и грибы. Всё вкусно, всё стоит отведки!»

– А тот человек что?

– А тот человек сказал: «Нет! Лучше голодом захирую, калача дожидаясь!»

– И Харлан...

– И тогда Харлан в самом деле дал ему в ухо.

Посередине комнаты возобновилась игра. Стучали по полу козны, то и дело вспыхивал спор, какой стороной легла очередная лодыжка, есть ли «ладня», кто оказался «постным» и какой рукой следовало «стрекать».

Из занавешенного хода в стряпную вынырнул Злат. Он нёс угощение. Чёрствые лепёшки, освежённые у огня, мисочку с подливой.

– Вот бы в уши кому... – проворчал Цепир.

– В оба сразу, дяденька? – хихикнул остроносый мальчишка.

Царедворец наметил по кудлатой голове подзатыльник:

– Ты мне к словам не цепляйся. Ты смысл постигай.

У порога поднялся шум. Верзилу с дубинкой отмело прочь, мелькнуло полосами красное, белое – внутрь кружала скорым шагом вломились порядчики. Короткие копья глядели ничуть не добрей из-за кожаных нагалищ на железках. Игроки бросились врассыпную. Многоценные лодыжки покатались по полу.

– А ну! – прозвучал громкий голос. – Это кто посмел белым днём в моём городе добрых людей раздевать?

Посреди кружала, где только что срамили прокидавшегося, стоял сам Меч Державы. Рослый, резкий в движениях, кольчужная рубашка из-под налатника, светлые волосы волной по широким плечам. Грозная рука закона, готовая безвинного защитить, винного покарать! Порядчики у него за спиной уже обступили стол доброго Аодха. Прятали под мышки латные рукавицы, торопливо расхватывали дармовую снедь. Гайдияр не оглядывался. Не царское это дело, щунять молодцов за каждый пустяк.

Злат, сбитый с ног в толкотне, ползал по полу. Собирал разлетевшиеся куски. Зипун на груди лоснился подливой.

К воеводе, угодливо семеня, подбежал человек. Полосатый плащ съехал с голого плеча. Вытянутая рука указывала на Харлана, голос звучал злорадством:

– А вот он! Всё он, государь! Грабителям мирволит, отымщикам потакает!

– Потакаешь, значит, разбою? – зловеще осведомился Гайдияр.

На самом деле его речи в три слова никоим образом не вместились. Он предпочитал изъяснять свои мысли красочно и подробно, да ещё положив руку на меч. Однако Харлана вогнать в трепет оказалось непросто. Хозяин «Сорочьего гнезда» лишь невозмутимо дёрнул плечом:

– Рубашку с тела проставлять его отымщики понудили? Козны в белые руки сильно влагали?

Мирный вроде харчевник пуще прежнего глядел воином. Ты мне не владыка Хадуг, говорила выставленная борода. А я тебе не левашник Кокура. Не заставишь на ровном месте неведомо от чего откупаться. Стол доброго Аодха твои ребятки очистили, а сверх того ни крошки не унесут!

Гайдияр сурово свёл брови:

– Что-то не припомню, чтобы в моём городе роковые игры за обычай велись...

Такова, по крайней мере, была тесная суть его речи.

Харлан держался как врытый.

– Я другой матери не знал, кроме Владычицы, – остерёг он Гайдияра. – Её ли снарядили бесчестить?.. А роковые игры мне отданы, чтобы с них в казну засылать, и тому безотводные свидетели есть!

Мимо жующих порядчиков, мимо отмещённых столов, по обыкновению бочком пробрался Машкара:

– Милостивый господин мой... – Седая голова клонилась низко, почтительно, глаза искрились безбожным весельем. – Яви щедрость, добрый государь воевода! Косорукий холоп не всё успел для памяти записать. Кривым мечом, говоришь... а что там было про ножны?..

...Двое оборвышей тоже не отказались бы послушать про ножны, растрёпанные чужими мечами, только ребятишек в кружале давно след простыл. Едва началась суматоха, десница законознателя пригнула братца Аро под стол. Следом, придерживая чужие волосы, нырнула сестрёнка. Дружеские руки незаметно отодвигали скамьи, направляя бегство детей. Полы чужих плащей, кафтаны, валенки, сапоги, тряпичные опорки... На четвереньках за стойку, завешенным проходом в стряпную, оттуда – сквозь заднюю дверь. В тёмные, потаённые кишки Выскирега – ищи-свищи!

Покаяние над волнами

– Говорят, из глубокого колодца днём звёзды видны, – сказала сестрица.

Она сидела у края моста, свесив ноги наружу.

Братец Аро, стоявший рядом, ответил не сразу. Ему доводилось читать, будто звёзды, видимые сквозь отвесные дудки, суть выдумки простецов. Он посмотрел вниз, вздохнул:

– Из этого, может, в самом деле видны.

Горожане шутя называли Прощальный мост самой надёжной из переправ Выскирега. Когда творилась казнь, народу от устоя до устоя набивалось – не протолкнёшься, но мост по сию пору выдерживал любую толпу. Летучий переход соседствовал с самой погибельной и бездонной из городских пропастей. Пролегал в ста шагах от узкого и зыбкого мостика, с той же мрачноватой весёлостью прозванного Звёздным. Осуждённый вправду ступал на последнюю переправу, где за грехи поджидала разверстая западня. Падение милосердно отсрочивал длинный шест, окованный медным листом. Скользящий, позеленевший от сырости. Здесь, на узенькой поперечине, грозившей сбросить при малейшем движении, смертник мог принести последнее покаяние.

Кто-то так и поступал. Прощался, бывал прощён сам.

Другие, к неодобрению горожан, плакали, выкрикивали оскорбления, просили о милости. Силились лезть наверх по шесту.

Третьи сразу и молча уходили вниз. В страшную глубину, где прежде ворочались алчные жернова морских волн.

– Какие теперь звёзды, – сказала Эльбиз.

Эрелис ниже сдвинул нарукавники, зябко спрятал в них руки. Передумал, нахмурился, вновь выпростал. Утёсы затягивала вечерняя мгла, ветер гудел в канатах мостов... раскачивал шест. Человек, больше непричастный к миру живых, сидел на поперечине сжавшись, голый, измученный холодом и неподвижностью. Жутко одинокий в сердце людного города. Сумерки постепенно сглаживали черты, превращали белое тело в неясный комок на тоненьком черешке.

Рано или поздно Утешка ослабеет, свалится, но когда?..

– Потолковать бы с этим Утешкой, – сказала Эльбиз. – Где скитался, что видел... Может, человек дельный.

– А может, разбойник бессовестный, – пробормотал брат.

– Может, – согласилась сестра. – Только мы уже не узнаем.

Ожидание, тянувшееся не первые сутки, притупило изначальное любопытство горожан. Ротозеев на Прощальном почти не осталось, редкие мимоходы возникали торопливыми тенями и пропадали во мгле.

– Идём, братец, – поёжилась Эльбиз. – Не обрекайся его за руку держать. Это ведь не твой суд был.

Человек на шесте временами поднимал голову. Страшно было представить, что он вновь посмотрит на мост и совсем никого не увидит.

Эрелис с надеждой спросил:

– А вдруг внизу тайный ход есть? Все думают, он на смерть падает, а он...

– И опять к отцу на порог, – кивнула Эльбиз. – Постучится, спросит: думал, отделался?..

Мост слегка дрогнул. Брат с сестрой обернулись. С дальнего конца подходили двое взрослых, оба в добротных тёплых охабнях. Постоять, побеседовать, вольным воздухом раздышаться после спёртых палат. Возвеселить душу зрелищем справедливой расплаты. Если он там ещё, покаянник.

Глаз мозолили двое ребят, одетых в драные гуньки.

– Брысь, босота!

Сестра схватилась за брата, вскочила, подростки побежали с моста.

– Не гонял бы, друже, сирот, – долетело сзади. – Почём знать, кем такие мезоньки могут подняться? Зря ли добрый Аодх...

– Котла нету на них, – ответил сердитый голос. – При Аодхе давно бы учились камень рубить, глину квасить! А эти!.. Туда-сюда зыркают, мощну ссечь нороят!

Первый опасливо огляделся:

– Потихе волостелей сравнивай. Владыке Хадугу дымовище с пепелищем достались. Ему за великими думами о каждом пустяке радеть недосуг.

– За великими думами? – пуще прежнего разошёлся сердитый. – Видел я в судебне его великие думы. Как есть корыстник! Хоть меди горстку продажей, хоть постилы шматок, а урвёт.

Его товарища явно не радовал такой разговор.

– Обожди чуть, – сказал он примирительно. – Вот нового царя изберут...

– Из кого избирать-то? – плеснул желчный рукавами охабня. – Правский почёт в Фойреге сгорел, одни обсевки остались. Эдаргович! Срам на троне! Если они вправду ворёнка хотят венчать...

Брат с сестрой почти достигли пробега, врубленного в скалу. При последних словах круглое, настёганное холодным ветром лицо Эрелиса утратило краску. Застыло, как на морозе. Царевич повернулся, пошёл назад. Шаг тоже был, как на лютном холоду. Ровный, деревянный. Эльбиз ухватила брата:

– Не надо! Ну их совсем!

Эрелис, обычно доверявший её разумению, с силой дёрнул плечом, высвободился.

Что дальше случилось бы у перил, осталось не ведомо никому. Один из мужчин вытянул руку:

– Гляди!

При входе на мостик, прозванный Звёздным, оживились порядчики. Скрестили копыя. Кому-то заступили дорогу. Над обрывом металась женщина, одетая по-домашнему. Простоволосая, ощипанная, словно от злых зипунников вырывалась.

– Сыночек!.. – достигнул Прощального моста безудержный крик. – Дитятко!..

Брат с сестрой всё сразу забыли, остановились, стали смотреть. Лакомщица, слишком поздно вышедшая из мужниной воли, налетала на стражу, дёргала копыя. Дралась к обречённику. То ли спасти, то ли с ним самой умереть. Дюжие парни ловили Скалиху, не пускали на огороженный край. Она вырывалась, била пухлыми кулачками по железным рубашкам:

– Сыночек!..

Голос надсаживался, хрипел, срывался слезами.

Казнимый, сросшийся с ненадёжным насестом, вздрогнул, пошевелился, начал поднимать голову... Никто и никогда не возвращался оттуда, где плыла в пустоте его тонкая жёрдочка. Створку в двух саженях над головой перекрыла железная полоса, запертая тяжёлым замком.

Утешка вдруг запел. Ясно, слышно на удивление.

Во дворе намело.

Нам у печки тепло.

Спи, мой маленький сын...

Это была андархская колыбельная, простая и незапамятно древняя, даже старше первых Гедахов.

Она звучала недолго.

Пальцы, закосневшие от холода и неподвижности, устали цепляться.

Сорвались, дёрнулись, промахнулись. Время покаяния вышло. Тело отделилось от пуповины, беззвучно кануло вниз. Сквозь мглу густеющей сутеми, сквозь туман.

Туда, где ждали незакатные звёзды.

Пробираться, ползком проникать тесными закоулками Выскирега без всегдашнего водительства оказалось трудно и непривычно. Ходы, куда Злат сворачивал не задумываясь, представляли как в первый раз. Брат с сестрой то и дело останавливались. Побеждали искушение выйти в людный прогон, начать спрашивать.

– Утешка к родителям прибежал, не пустили его, разобиделся, – одолев очередной извилистый лаз, сказала царица. – Злат вон сколько у отца непризнанный жил!

На самом деле Эльбиз хотела растормошить брата, крепко умолкшего на Прощальном мосту. Эрелис отозвался не сразу:

– Злата причудливый батюшка вдруг приближал – завтра узаконю, наследником назову! – а наутро новая прихоть: вон из хором, мало что рабичищ, вовсе не моего семени всход.

– Так и продал в зятя богатею, – сказала Эльбиз. – Как звать промышленника?

– Бакуня Дегтярь.

Оба умолкли. Рукобительство случилось примерно за полгода перед тем, как шегардайским царятам пришлось спастись в дружине. Они не допытывались у Злата, на что Коршак употребил полученные подарки. Космохвост не верил в совпадения. Не верили и они.

– Дядя Машкара говорит, – вновь подал голос Эрелис, – старик никак решить не мог, кому возвышения добиваться, себе или сыну.

Эльбиз кивнула шапчонкой:

– Злат сердцем крепок. Небось по кружалам обиды размыкивать не идёт.

Эрелис повернулся к сестре, глаза блестели в потёмках. Брату было страшно, как когда-то в тайном погребе под горящей избой. Голос прозвучал сдавленно:

– Вот скажи, я так же буду судить? Сначала – по правде, по вконаньям Аодховым и благородных царей? А после салом зарасту, лихоимничать стану? Дядя Машкара не зря наветку давал...

Сестра крепко обняла его, шепнула:

– Тебе помнить, как за тебя умирали.

Эрелис почти всхлипнул:

– Разве так Утешку этого надо было рассуживать?.. Разве так?..
– А ты слышал, что дядя Машкара про паутинки сказал? Умный всякой печалью умудряется. Люди смертью гибли, чтобы ты жил. Утешка, может, того ради умер, чтобы ты от правды не отступился.

Эрелис поперхнулся, глотнул воздуха:

– Горлопял тот, с моста... опять отца вором лаял!
– Крыло сказывал, в Шегардае песни важные поют. Храбрецом славят.
– До Шегардая пятеры лыжи сотрёшь. А здесь... всякий базлан...
– Всякому базлану на роток платок не накинешь. Надоумки надо искать, братец милый. А кто скажет, что дыму без огня не бывает, тот с нами на лесном грельнике...

Она хотела сказать: «...костра не раскладывал», но смолкла на полуслове. За нею насторожился Эрелис. Мгновением позже сумерки впереди ожили. Из трещин и щелей выползали клочья серого пара, сгущались, обретали человеческий облик. Тряпье с чужого плеча, хищные грязноватые лица... Та самая ребятня, на которую, по мнению горожан, не хватало рук котлярам. Брата с сестрой брали в кольцо выскирегские мезоньки. Отчаянная и беспросветная голь, не чуравшаяся ни побираться, ни скрадывать в переходах беспечных и подгулявших.

Сегодня им повезло с добычей. К стене прижимались двое мальчишек, приبلудные в городе, стало быть беззащитные. Маленький уже струсил. Спрятался за спину старшего, да ещё влез ему под правую руку. Тот, медлительный тюфяк, только придумал выставить повитую тряпкой ладонь:

– Ступайте миром, добрые люди... Не видали мы вас.
– Зато мы вас видали, – усмехнулся главарь. У него вовсю пробивались усы, зубы были гнилые. – Место, значит, разведали, а братии голянской не рассказываете, Ведиге не засылаете? Нехорошо...

– Какое место? – удивился тюфяк.

– А где боярские обноски нищете раздают, да чтоб каждому впору.

Старший мальчик растерянно понёс руку к вороту. Открыл рот, собрался оправдываться. Мямля, только что плакавший брату о каких-то обидах.

– Добрые люди... отпустите, ребята.

Тощенький глубже натянул растрёпанную шапчонку.

Ведига прынул вперёд. Лево́й цепко за грудки, правая разгоняет дубинку. Мелькнул в согласном движении дружок-посторонок. Сгрёб младшего...

Что-то сбило выверенный приём. Чуть сузились серые глаза на пухлом

лице. Ведига не увидел ножа. Ощутил у лица холодное дуновение... и в рот потекло густое, горячее, солёное. Вожак отпрянул, схватился. Губу обожгло.

Рядом в голос заорал посторонок. Ветхий обиванец на нём был вспорот от пояса до плеча. Парень выронил дубинку, с ужасом обхватил себя, ощупал. Не нашёл не то что кишок, даже крови. Закрыв рот.

Приблудные стояли у стенки. Насчёт богатых обносков Ведига, пожалуй, преувеличивал, а вот ножи у братишек вправду были боярские. Тяжёлые, струистого уклада. Кости рубить, влёт сечь сухожилия на запястьях. И держали оружие ребятаки умеючи. Даром что тот и другой – в левой руке.

Ведига всё трогал губу, прижимал. Тонко срезанный лепесток с волосками никак не садился на место.

– Первый кус – собакой в ус, – ровным голосом проговорила бывшая жертва. – Подкормиться захочется, ступайте в «Сорочье гнездо». Мы Харлана Пакшу слушаем. А с дороги-то отошли бы. Недосуг нам.

Ход, коим тайно сбегали и возвращались царята, оканчивался в каморе для слуг. Первые строители обращали покои вельмож в сущие лисьи норы. Если в красные двери постучатся вражьи топоры – укрывай хозяев, неприметный лазок!

Опасные времена, когда праведной семье каждый день грозили убийцы, давно минули. Так говорил Невлин. Брат с сестрой слушали, согласно кивали.

Космохвост в Выскиреге никогда не бывал. Он лишь много лет учил подкрылышей быть самим себе сторожами. Узенькую дверцу под верстачком брат с сестрой нашли тотчас, как только вселились. Эрелис два дня пролежал на полу, сталкиваясь с замком. Загубил тонкое долотцо, но ключ выгнул.

Этот ключ и теперь не подвёл. Мягко щёлкнул... Сперва брат, за ним сестра вылезли в небогато обставленную камору.

...Обоим тотчас показалось, будто дверь в самом деле крушили лютые недруги. В каморе метался взволнованный Серьга. Даже пламена светильников тревожно вздувались, мерцали, коптели...

– Открывай! – летело снаружи. – С дороги, ослопина!

– Почивают оне, – глухо рычал в ответ Сибир. – Будить не велели!

Царевна сморщилась, как от зубной боли.

– Пырин налетел. Что надо ему?

– Приехали до твоей царской милости, – шёпотом, низко кланяясь,

взялся объяснять Эрелису испуганный дядька. – Как снег свалились! Ломиться уж начали, а тебя, зёночка моего, всё нету...

– Кто приехал? – насторожился Эрелис.

«Котляры... дядя Сеггар... послы шегардайские!»

– Бабушку привезли, – обрадовалась Эльбиз.

Братец Аро торопливо скидывал гуньку, метал на пол чужие вихры. Сестрица сгребла всё в охапку, юркнула к себе в спальенку прятать. Серьга уже подавал Эрелису домашние гачи и вышиванку, приличную великому сану. Хотел завязать «зёночку» тесёмки у шеи, но царевич отвёл руку заботника. Вышел в передний покой нарочно босиком, распоясанный, с силой потёр ладонью лицо. И заспанный вид напустить, и случайную полосу грязи, принятую под столами в кружале, снять со щеки...

Гостей встречать полагалось сидя в знатном кресле, слишком просторном, с неудобным прямым отслоном. На правом поручне знаком власти висела плетёная Тугая, золочёного старинного шёлка. Дымка любила играть с ней, трепать змеящийся хвост, но сейчас кошка дыбила спину, шипела на дверь. Эрелис снял любимицу с кресла, торопливо уселся:

– Отворяй!

Серьга подбежал к двери, вытянул засов.

Сначала видна была только спина Сибира, закрывавшая вход. Рыжебородый покосился через плечо. На лбу кровоточила ссадина. Против Сибира пыжился, подскакивал, стучал посохом великий обрядчик – ростом непреклонному великану по грудь. Пырин, по обыкновению разодетый в шитый кафтан, был бы смешон в гневе, если бы не кровь на резном пере набалдашника. Важное кресло сразу стало вдвое неуютней. Затянувшаяся отлучка царят вылилась Сибиру настоящим сражением.

Огорчённый, виноватый Эрелис даже не сразу заметил хрупкого юнца, приведённого Пырином. Тот боязливо жался у дальней стены: не выйти бы ответным за переполох! Дорожный простенький кожушок, светлые глаза, растрёпанные волосы, отливающие пепельным серебром... Эрелис угадал паренька за мгновение перед тем, как великий обрядчик гулко стукнул жезлом:

– Не вели казнить, государь, вели слово молвить!

Братец Аро предпочёл бы подольше не слышать ни о каких казнях. Однако проще вернуть море под выскирегские скалы, чем заставить Пырина отойти от словесного устава, единственно верного и приличного каждому случаю! Эрелис просто наклонил голову:

– Молви, любезный... Фирин. – Он очень боялся оговориться. – Что тебя привело?

Праздный вопрос, а поди обойдись, потом не возрадуешься. Токи стылого воздуха щекотали босые ступни. Сквозняки струились из каморы для слуг, из-под неприметной дверки... с воли. Оттуда, где вился дым коромыслом в кружале Харлана, где подпоясывалась ветром неутеснённая выскирегская босота. Возвращаясь с очередной вылазки, третий наследник задумывался: а вдруг в последний раз! Когда-нибудь тайная дверка закроется накрепко, но не сегодня же? Не сегодня?..

Пырин согнулся в низком поклоне, больно ткнул зазевавшегося юнца:

– Мирской путь котла твоему преподобству челом бьёт! Не побрезгуй принять выученного райцу, чтобы стоял у тебя за плечом и в пиру, и в миру, и на великом дворе... Пади перед государем, бестолочь, пришибу!.. Чтобы правил делами, указы крепил, запечатные тайны твои хранил... А ты бы его по верной службе – хоть миловал, хоть казил!

Нет уж, казней Эрелису на сегодня определённо было довольно. Он слез со стольца:

– Не держи сердца, почтенный... Фирин, что дожидаться пришлось.

Жезленик только ниже склонился, про себя негодуя на недостаточно грозное обращение. Из спаленки тихо высунулась царица, указала брату глазами. Эрелис вспомнил, дёрнул с поручня плетень, поднёс её, свёрнутую, к плечу отрока. Тот приподнял голову. Неуверенно улыбнулся.

– Друг мой Мартхе, – на языке Левобережья обратился к нему царевич. – Повеселу ли добрался?

Лист папоротника

Новое имя толком ещё не прилипло к нему, не уселось привычной стираной подоплёки... Мартхе, «гусиная кожа». Звучало по-андархски красиво, раскатисто, знаменито. И пожаловано было не абы кем, самым третьим наследником. Носи и гордись, как плащом с царственного плеча!

Всё правильно, только прежнее имя Ознобише дали родители. Деждик и Дузя, прозванные Подстёгами. Старший брат Ивень так его звал. Отрешиться от них? Отторгнуться? Последнюю ниточку оборвать?..

Дарёный плащ царским золотом вышит, а всё родной тельницы не заменит...

Меньшой Зяблик не торопясь шагал тесной улицей, прорубленной в камне. Братейка Сквара, бывало, всё звал на разведы крепостных погребов. Подтюрьмок смотреть, сокровищницу искать... Ознобиша, не любя подземелий, так и промешкал с ним выбраться. А Эрелис приказал осмотреться в котлинах и свищах Выскирега, склонился:

«По слову твоему, государь...»

Спросил у Сибира, где бы взять начертание жилого пещерника. Телохранитель, гордившийся опрятным шовчиком над бровью – не всякому царевны рожу латают! – лишь пожал плечами: не знаю, не ведаю. Он здесь родился и город держал в памяти без подсказок.

Ознобиша сунулся к Пырину. Еле ноги унёс.

Потребное наверняка знал Цепир, но Зяблик тревожить великого законознателя не посмел. Отложил на потом. Решил, насколько сумеет, сам постигать конуры и мурьи Выскирега.

Зря, наверное.

«Будет, что будет, даже если будет наоборот...»

Мысленно Ознобиша утвердил перед собой стопку берестяных листов. Просторных, ровно обрезанных, развёрнутых, как подобало, кверху гладким жёлтым исподом. Воображаемое писа́ло знай выводило извилистые дуги ходов, проскакивало с листа на лист – пока что всё вверх. Получалось неплохо. По крайней мере, обратный путь отыскивался без труда.

– Древоделы-то знатно царевичу новому насмеялись... – долетело с левой руки.

Юный райца успел пожалеть, что пустился гулять в новом шитом

кафтанчике. Нет бы выйти в чём приехал, в неприметных обносках. Ну, теперь не возвращаться стать. Он смотрел мимо, вроде выбирая дорогу, сам наострил уши.

- А туда же – с поклонами поднесли. Молодцы!
- Режет он, вишь ты. Камбала косая! Резчик выискался.
- Дубьё проморённое, уколупнёт ли?
- Себя покамест уколупнул. Видели с повитой ладонью.
- Чему ликуете, злорадцы? Святой Аодх, говорят, так в гусли поигрывал. Баловался помалу. А что за царь был!
- Царь как царь... Это просто время повеселей нынешнего стояло.
- Да бывал ли правитель, чтобы к сердцу всем до единого?
- Лучше похвалили бы паренька. Какое ни есть, дело правит. Не только ест да спит, как иные.

Ознобиша двинулся дальше. Всех разговоров не переслушаешь. Ход впереди опять разветвился, Зяблик свернул вправо, выбрав путь пошире, помноголюдней. Тот, где катились тележки, звучали голоса, с полными корзинками двигались важные бабы. Ознобиша хотел достигнуть исада. Забраться в наменитую книжницу ему тоже хотелось, но она подождёт.

Когда свет жирников стал смешиваться с размытым дневным, Зяблик понял, что направлением не ошибся. Мысленное писало отметило ещё десяток шагов. В лицо заморосил реденький дождик. Вольный ветер показался живительным. После копоты и несвежих воздушных масс подземелий Ознобиша вобрал его, как напился. Задрал голову. Клок серого неба с трёх сторон стискивали испещрённые утёсы. В одном месте из скалы выпирал рукотворный желвак подвесной печи. Над ней дрожал воздух. Четвёртая, открытая сторона площади уступами обрывалась в бывшую гавань, отчего площадь и называлась исадом, прибрежным купилищем. По летучим переправам чуть ниже медленных туч как ни в чём не бывало шли люди... Внизу шумел торг.

Исад казался необозримым. Непостижимым. Певчим, крикливым, тысячеруким. Ознобиша провалился в него, как в маину. Спасся только тем, что удержал невидимое писало. Сразу начал всё зарисовывать на бесконечной берёсте. Вот птичий ряд, жир и тушки морских птиц...

Где-то рядом загудело, заплакало, повело голосницу, грустную и знакомую. Возле края торга играла глиняная дудка. Та самая, из которой Ознобиша, сколько ни старался, извлекал лишь хрип да шипение.

Жили просто и честно цари в старину.
Самолично водили полки на войну,

А с победой вернувшись – не медля ни дня,
В мирный плуг боевого впрягали коня.

Чудесное писало трудилось вовсю, наносило черты, кружки,
закорючки...

И царицы додревних времён, говорят,
Сами шили мужьям подкольчужный наряд,
Сами чистили печь, сами кутали жар,
А детей посылали на птичий базар,
Чтобы с шапкой яиц, не боясь крутизны,
Возвращался наследник великой страны...

...А со стороны посмотреть – раззява-паренёк замер среди толпы,
вовсе забыв, чего ради пришёл. Грех не позабавиться! Сверху, с мостика, в
Ознобишу кинули рыбьим обглоданным костяком. Не попали. Занятый
мысленным рисованием, юный райца отшагнул – по наитию, не заметив, не
посвятив осознанной мысли.

«Где ж добычный?..»

В добычном ряду перекупщики сбывали добро, взятое у дружин. Туда
каждый день посылала сенных девок Эльбиз. Вдруг, мол, да мелькнут на
лотке вереницы финифтевых незабудок, потемневшие от огня. Перетечёт из
рук в руки кольчуга – сама серебрёная, нарамки вызолочены...

Девки послушливо кланялись. Даже выходили на рынок. Но, как по
взглядам, по обрывкам слов уловил Ознобиша, в добычный ряд носов не
совали.

Робели. Чего?

Лишь один из царят от других отставал.
Он бледнел и хватался за выступы скал,
Над грохочущей бездной без воли, без сил...
Он чужую добычу домой приносил.

Ознобиша немного походил по торгу. Нигде не узрел ни прорубленных
шлемов, ни богатых портов, снятых с окровавленных тел. Ничего бо́язного,
чтобы трепетать девкам. Подумал ещё, прикинул, вышел на мостик, под

которым прежде стоял. Начал сверху смотреть...

Исад, когда-то ревновавший столичному, нынче жил против прежнего совсем не так обильно и весело. Ряды занимали едва четверть низины, выглаженной в площадь при строительстве города. Под скалами громоздились обломки, сброшенные судорогами земли. Их разгребли на стороны, но как будто вполсили. Каменные груды утопали в серой грязи, обрастали паршой, оттуда воняло. Гадкие лужи стекали к оставленному морем причалу. К набережной, где прежде теснились рыбацкие лодки и величавые корабли, приходившие из-за Зелёного Ожерелья...

Город медленно умирал и не позволял себе догадываться об этом.

Сверху, с нависающих круч, рухнула тяжёлая сосулька. Грянула, разлетелась белым пятном, прозрачными глыбками. Люди запоздало шарахнулись. Послышалась ругань. Некоторое время под ногами катались ледяные обломки, но скоро толпа сомкнулась как ни в чём не бывало.

Линялые, обтёрханные выскирегцы делали вид, что жизнь продолжалась. Ругались, спорили из-за гроша. Желали один другому обвала потолочных камней. Отчаянно выторговывали связочку водорослей. Горсть грибов. Тощую утку.

Веселились, на дудках играли...

Царь, узнав, натянул боевой самострел:
«Если чаешь венца, будь по-воински смел!
У меня на глазах одолеешь скалу –
Выйдешь чист. А иначе – получишь стрелу!»
Сын полез на утёс, то ли мёртв, то ли жив,
И на самом верху поскользнулся в обрыв...

Ознобиша опять вспомнил братейку. Вот кто сейчас бросил бы все дела! Дутый глиняный пузырь грустил, рассказывал, вздыхал под пальцами парня, сидевшего на перевёрнутой корзине. Рядом зябко переминался мальчонка. Голова совсем потемнела от мороси. Он пел слова, не всегда попадая в голосницу, протягивал мимоходам шапку. Брюхо к спине липнет, подайте, добрые люди!

Он бы сгинул в волнах или умер от ран,
Но над морем летел в облаках симуран.
Благородное сердце главнее подчас,
Чем отцовская воля и царский приказ!

Он пронёсся и взмыл, над прибором паря,
А меж крыльев смеялся сынишка царя,
Исцелённый от страха до смертного дня,
А в глазах – только солнце да искры огня!
С той поры и ведётся рождённое встарь:
Симуранам сыновствует праведный царь.
Как узнать, что случится на сломе времён?
Может, будет вторично царевич спасён...

Иные останавливались, потому что старший играл действительно хорошо. Мимо без задержки проплыл войлочный столбун. Ознобиша пригляделся... Точно! Рядами пробирался Серьга.

Сперва Зяблик равнодушно повёл за ним взглядом. Тут же ощутил укол любопытства. Что слуге Эрелиса понадобилось на исаде? Хозяину тонкие лакомства надоели, захотел сушёной трески, припаса походников? А может, разумная царевна догадалась о вранье девок, упросила брата послать кого понадежней?

Обрадованный гнездарь сбежал с мостика вниз. Спрашивать он по-прежнему не хотел. Однако Серьга мог держать путь к добычному ряду. Даже, скорее всего, туда-то и шёл.

На торговой площади пришлось переступать через костыли и покрытые язвами ноги, вытянутые в проход. Увернувшись от цепких пятерней, чаявших подаяния, Ознобиша вновь отыскал глазами слугу... и резко остановился. Увидел, как к Серьге подошла женщина.

Подошла вроде и подошла. На то рынок: мало ли с кем мог столкнуться старый дядька. Разговориться, об руку дальше пойти. Что-то в этой встрече невнятно беспокоило, царапало... Что же?

«Не моё дело».

Знакомая, доверенная торговка? Друженка из городских?

«Совет да любовь... А я стороной!»

Всё-таки привычка подмечать малости брала своё. Зря ли Ознобиша учился толмачить осанку, походку, любое движение! Женщина держалась прямо, спокойно. Слушала. Дядька лебезил. Угодничал, взглядывал снизу вверх.

«Да он всё время такой!»

Только в палатах царевича Серьга больше помалкивал. А тут – говорил, удержу не ведал. Ознобиша пожалел, что видит двоих со спины, притом издали. В Чёрной Пятери он не успел в полной мере постичь

сокровенную науку толкования по губам, но уж что-то да разобрал бы.

В углу торга заволновался народ. Заплакала баба. Долетели злорадные голоса. Ознобиша забыл про Серьгу, побежал смотреть. На бывший причал вереницей выходили понурые люди. Босые мужики с непокрытыми головами, шепчущие молитвы. Штаны у всех закатаны по колено, вместо белого тела сплошь чёрные кровавые затёки. Единственная среди мужчин молодая бабёнка держалась едва не твёрже других, вела под руку старика в одежде слуги. Ознобиша разобрал слово «правёж».

Должники, виноватые царскому кружалу или заимодавцу, медлительно выстраивались в длинный ряд. По сторонам жались друг к дружке, молились, плакали беспомощные семьяне. Хмурые недельщики за спинами бедолаг разбирали гибкое батожье. Служба дрянь, а куда без неё? Одно спасение, меняться через неделю.

Пока Ознобиша вспоминал раны Лихаря и наказание Недобоева сына, батожники зашагали вдоль ряда. Замах, свист. Удары то шлепком, то деревянным стуком, если в близкую кость... Кто-то подвывал, вскрикивал. Кто-то молча терзал у груди шапку. Жёны с детьми заплакали в голос.

Ознобиша въяве вообразил, как сейчас кривился бы Сквара. Свободных мужей охаживать, словно дурную скотину?.. На Коновом Вене долги были делом неслыханным. Левый берег посмеивался. Это, мол, оттого, что в нищем племени соседу у соседа в долг нечего взять!

Молодая баба и старец стояли в дальнем конце, куда подошёл Ознобиша. Дед выглядел родным братом Оपुरе. Дрожащая борода, лодыжки в потёках золы кругом старческих язвин... «На сто первом году долгов нажил? В кружало повадился?..»

Недельщики приближались, размеренно стегая страдальцев.

– Эй, слышь, Бесцёнка! – глумливо крикнули из толпы. – Подол пора задирать!

– Тьфу, бесстыдники! – перекрыл звучный голос.

Ознобишу легко подвинуло в сторону. Мелькнул истёртый кафтан, седые крупные завитки... Ознобиша уже видел этого человека в подземных улицах Выскирега. Машкара веселил народ забавными бреднями, чудил, балмошил. Люди его любили. Поговаривали, он без боязни спускался в пропастные норы, где обитали головорезы и крадуны. Туда в одиночку не совались даже порядчики, но чья рука поднимется на городского особенника? Благому путь Боги указуют, не людям встречать.

– Поздорову, статёнушка, – сказал он женщине. – Ступай, что ли. Я за тебя повеселюсь, с людьми посмеюсь.

Бесцена благодарно склонила перед ним голову:

– Добрый господин... Я сама задолжала, моим ногам и терпеть, а дедушкой хозяин отстаивается... вовсе тяжело ему...

Старик ждал ударов, крепко зажмурясь. Слёзы бежали по щекам, прятались в бороде.

– И ты здесь, друг, – сказал Машкара. – А я думал, Пырин тебя давно освободил за верную службу!

– Мне господин... оказывает милость и честь, поставив вместо себя...

«Вона как у них закон замены родича исполняют, – прислушался Ознобиша. – Холопа за себя на правёж! Кабы мне от Эрелиса подобной милости не дожидаться...»

Машкара засмеялся. Сильной рукой вытолкнул ветхого слугу из ряда вон. Разулся, с шуточками закатал порты. Обнял Бесцену, притянул к себе, ограждая от батогов.

«Вправду с ума сбрёл? Праздной удалью покрасоваться решил?»

Палка с треском обрушилась Машкаре на берце. Ознобиша сморщился, вздрогнул. Ему ли было не помнить учительской трости, пробивавшей от щиколотки до затылка!..

Зато на Машкару как будто солнечный луч упал. Он столкнулся взглядами с юным райцей... неожиданно подмигнул...

– Я в том году девять дней отстоял! – хвастался зевака в толпе.

– Батожье – дерево Божье, отчего не стерпеть...

Неуплатчик, стоявший следом за Машкарой, будто распрямился. Задержал дыхание, упрямо свёл брови.

– А на десятый день что?

– Жена денег перезаняла. Выверстались потихоньку.

– Молодому с гуся вода. Вот старинушку хозяину жалеть незачем: своё отработал.

– А верно говорят, будто ныне безнадёжную доправку владыке можно отдать?

– Верно. Он уж не спустит. Только и себя не забудет, в продажу половину возьмёт.

– Лучше уж в долги не влезать.

– Неволей влезешь, если мышь из ларя в слезах убегает.

– Пырин сам издержался или Мадан, племянничек, опять всё на девок спустил?

Ознобиша насторожил уши. Великий жезленник несколько раз поминал при нём юного сестрича: вот бы, мол, кого райцей к Эрелису! Вместо всяких ничтожеств!

Любопытный разговор, однако, не возобновился, и Ознобиша побрёл прочь. В Чёрной Пятери они бежали на лыжах весьма немаленькие концы. Кто мог знать, как разгудятся ноги от хождения по чуждому городу! Хватит на сегодня, пожалуй. Послушать ещё немного песню дудочки – и назад. В покои нового господина.

Пока тот не разгневался...

Пока у богатея какого без меры денег не взял...

– Ожгу безделья! – заорали над ухом.

Плеть взрезала воздух одновременно со словом, но недоучки воинского пути в том месте уже не было. Ознобиша отлетел, запнулся, устоял. Посмотрел назад.

– Прочь, рвань!

– Вовсе разбаловались. Повёртываются, как исподние жернова!

Двое порядчиков сопровождали ручную тележку. Деревянные колёса, лубяной кузов. Её толкал угрюмого вида мужик, босой, в драном заплатнике. Нёс на шее верёвочную тяжёлку, другим концом привязанную к тележке. Так в Выскиреге отправляли повинное мелкие воры, пьяницы и буяны.

– Намахался кулаком, – раздалось около Ознобиши. – Трудись теперь, бесхмелинушка.

– Милосердную благодари, что на правёж не попал.

– И спьяну прямого злодейства не учинил... Знаешь ведь, как у нас со злодеями поступают?

К тележке слева и справа подбегали торговцы, совали свёрточки, коробки.

– Заступникам на довольствие...

– Хлеб да соль царевичу Гайдияру!

– Ты попомни, добрый господин, ты уж попомни: мой пирог тот, что с молоками!

Плетёный кузов был почти доверху полон. Гайдияровы отроки вовсю понукали возилку, скорым шагом доканчивали обход. Торопились, голодные, в свою бутылку – метать съестной оброк на столы.

Кто мешкал убраться с дороги, доискивался пинков. Спешно отступавшие люди опрокинули корзину играца. Дудка покатилась, парнишка пополз на четвереньках, обшаривая мостовую. Ознобиша увидел его глаза: сплошные зрачки с еле заметными ободками голубизны. Парня оттащили за одежду, злополучная вагуда хрустнула под колесом.

Тут, затягивая гашник, подоспел отлучившийся младшенький. Всё

сразу понял. Зло схватил что-то с земли, пустил в удаляющийся полосатый накидыш:

– Брата не тронь!..

Тухлая рыба башка прилетела метко да сильно. Хоботному порядчику чуть ниже спины. Мокро шлёпнула. Расползлась, влипла. Пошёл смрад.

...Всё разом остановилось. Шаркнули по камню, застыли колёса. Канули в тишину ближние, дальние голоса... весь шум исада. Осталось греметь одно слово.

Брат!

Последний, сквозь кровь, взгляд Ивеня... едва заметный кивок...

Скварины руки, рвущие с Ознобиши готовую стянуть петлю...

Брат!..

Порядчики оставили торопиться к столу, забыли тележку с жареным и копчёным. Ударенный завернул плащ. Оба понурили зачехлённые копья. Зловеще двинулись на обидчика.

– Беги, Кобчик! – закричали нищие. – Утекай, дурень!

Младший метнул глазами по сторонам. Старший сидел на земле, беспомощный в одиночку. Гайдияровичи шли вперёд.

– Во имя Эрелиса Шегардайского, третьего сына Андархайны, я беру под защиту этих детей!

Дорогу статным ребятищам заступил невзрачный юнец. Бледный, худенький, как почти все подлётки Беды. Выделял его лишь строчёный чистый кафтанишко, а так – соплёй перешибить. Вытянув из ворота за гайтан, парнишка держал перед собой серебряный знак. Лист папоротника, исполненный древним кружевом андархских письмён. Руки дрожали.

Все уставились на Ознобишу. Обернулся даже возилка, закосневший в безразличной тоске.

Порядчики продолжали идти.

Гайдияровой расправе в городе не было обуздания. Тем, кто окорачивает смутьянов, а главное, не допускает в Выскирег перекатные дружины и вороватых кощеев, позволено почти всё. Слова укорного не прозвучит, вздумай кто из отроков щипнуть пригожую девку. Или, пробуя на рынке сметану, выхлебать полчерпака.

– Во имя Эрелиса Шегардайского! – сорвавшимся голосом повторил Ознобиша. – Ради третьего сына Андархайны я беру под защиту этих детей!

Пятки копий наконец-то стукнули в мостовую. Один порядчик похлопывал о сапог свёрнутой плетью. Не шёлковой, как у Эрелиса. Эта была кожаная, выдававшая всякие виды. Со злым узлом на конце. Она только

что свистела у Ознобиши над ухом, а могла бы огнём пройти по спине. От одной мысли на лопатках ёжилась кожа.

– Сам чей будешь? – спросил тот, у кого расплылось тухлое пятно на плаще.

Второй прищурился:

– Кто тебе царский знак из жести выбил, негодник?

Ознобиша закашлялся:

– Государь возвеличил меня достоинством райцы. Он зовёт меня Мартхе.

Голос всё равно прозвучал не так взросло и грозно, как хотелось. Клятва царедворца с обрядным сжиганием пучка волос была произнесена лишь вчера.

Детинушки переглянулись. Великими именами не шутят. Дело явно не подлежало их разумению и суду, но уйти просто так они не могли. Стерпеть наглый отпор, проглотить насмешки исада!..

– Мартхе, значит, – повторил один. Повернулся к товарищу. – Ты про такого слыхал?

Провонявший помотал головой:

– Не-а. Не слыхал.

– Райца, значит, – кивнул первый.

Плеть вдруг громко щёлкнула о сапог. Нищие, сузившие было круг, отскочили подальше. Ознобиша вобрал голову в плечи, но остался на месте. Выпрямился.

– Ты сказал.

Гайдияр повелевал городской расправой. У Эрелиса не было даже подобия власти. Старый Невлин его самого что ни день спутывал новым запретом. Однако величество Эрелиса вправду стояло третьим в лестнице. Шегардайского сына вслух прочили на Огненный Трон. А Гайдияр довольствовался лишь четвёртой ступенью. Бывши прежде вовсе одиннадцатым.

Убогие перешёптывались. Ждали, что будет.

Воин в перепачканном плаще смотрел на Зяблика сверху вниз.

– Пойдём-ка с нами, маленький райца, – приговорил он наконец. – Пусть наш воевода решает, лист у тебя купородный или цвет его небывалый.

Ознобише вновь стало жутко. Он спрятал драгоценное знамя под кафтан, постаравшись, чтобы руки тряслись не слишком заметно. Вот чем кончилась его самая первая вылазка в город. Завтра же, распоясанный, он будет мести грязные переходы, скалывать лёд... побежит, опалённый, за

санями, едущими обратно в Невдаху...

На правёж встанет за чужие долги.

Так и не узнает, сбереглись знаменитые выскирегские книжницы или в печках сгорели после Беды.

Возилка налёг, с усилием сдвинул гружёную колымажку. Один стражник пошёл чуть впереди Ознобиши, другой – на шаг позади. Своё дело они хорошо знали. Спасибо, взашей не поволокли.

Торопясь хоть за что-то зацепиться умом, отчуждить навалившуюся тоску, Зяблик вновь заскрёб мысленным писалом по незримой берёсте...

Так и чертил, отмечая все повороты, лестницы и прогоны, пока шли до бутырки.

Осрамитель нечестия

Молодечная, где в готовности ринуться на защиту Выскирега коротали дни и ночи Гайдияровы удалцы, располагалась на полпути к Зелёному Ожерелью. На бывшем островке, опричь жилого пещерника. Почему, собственно, бутыркой и называлась.

Здесь «бесхмелинушка» остановил тележку. Порядчики сняли плетёный кузов, взяли за перевясла, потащили в дверь, как корзину. Безропотный осуждённый остался ждать нового урока.

Сборщиков податей встретил нетерпеливый гул. Съестное без промедления понесли в трапезную, на столы. Во вторую очередь заметили Ознобишу. Гайдияровичи обступили его и двоих пришедших с исада.

– Кого ещё взяли?

– Таких пусть мамки стегают. Нашими плетьюми детинушкам повзрослей напужку давать.

– И так вона побелел весь, рта не раскроет... Будет с него!

– Это пусть государь царевич рассудит.

– Воеводу тревожить?

– Да что малец набедил?

– Поучил нас толковать с голью буянной.

– Во как!

– Ну добро. А то Божьим чудом живы и в сапогах возвращались.

– Друже Нёвко, что накидка обмарана? Больно строго учил?

– Уронили во что али до поганого угла не домчался?

Уязвлённый ругался в ответ, рычал, обещал по уши в землю вбить кулаком, но взыбыль не гневался. Ознобише даже вспомнилась Чёрная Пятерь, подначки в опочивальне и назидание учителя: «Вы побратимы. Вам одним щитом прикрываться...»

Подошёл воин поосновательней, при поясе в серебряных бляхах. Свёл седые брови:

– Что недоросль противу Правды содеял?

– Райцей шегардайским сказался, а мы такого не знаем.

– Знак царский воздевал. Из жести гнутый.

– Мартхе рёкса по имени...

Старшина горестно покачал головой. Наставил палец на Ознобишу:

– Дуралей! За подобное в старые времена на дыбу скорым шагом вели да вздёргивали повыше. Вознёсся не по чину, больнёхонько падать

придётся! Слыхивал о таком?

«Сквара бы им сейчас...» В памяти развернулась книга дееписаний. Зяблик впервые разлепил губы:

– Слыхивал. Доброму царю Хадугу, пятому этого имени, донесли, будто наугольщик Очуня в пиру свою жёнку величал государыней, кланялся, ручку белую целовал. За то был Очуня с домочадцами трижды пытан в застенке дыбой, кнутом, огнём: закладывал угол башни на царскую голову? Посягал сам взять венец, а жёнку сделать царицей?

Обступившие порядчики заметно смутились. Вместо того чтобы в слезах молить о пощаде, маленький поганец как горохом сыпал речью учёности. А Ознобиша, глядя в глаза старшине, невинно добавил:

– Слыхивали мы также, что самым первым пытан был уличитель, оговоривший Очуню, и с троекратной дыбы вскрылась неправда его доводных речей.

Тут уже все посмотрели на отроков, захвативших мнимого райцу.

– Впрямь дело для государева рассуждения, – заново обрёл язык старшина. – Пошли, малый. Тебя как зовут, говоришь?

В одном углу двора был выстроен добротный лодочный сарай. Море давно ушло, расшивы и соймы исправили хозяевам последнюю службу. Пустились в плавание по огненным волнам, сгорели в топках печей. Сперва старые и гнилые, потом самые добрые. Уж как, верно, плакали мореходы, корчуя носовые и кормовые пни, пилой терзая опруги!

Широкие ворота стояли давным-давно заколоченные, обитые валяными полстинами для тепла. По полу всё равно несло сквозняком.

Давно, когда Гайдияра только придумали называть Площадником, опасную кличку старались пореже оглашать вслух. Спустя время царевичу, конечно же, донесли. Прозвище означало грубого ругателя, но Гайдияр посмеялся. «А то! Я на площади, я на улице – день-деньской для старших братьев город блюду!»

Ещё не войдя, Ознобиша расслышал деревянный стук, глухие удары, сдавленные матюги... временами – писк дудки.

– Не деревья рубишь! – донеслось изнутри.

Мигом всплыл в памяти исад, мучения выставленных на правёж. Ноги заболели сами собой.

«Худшая пытка – страх!»

Ознобиша вскинул подбородок, задержал дыхание. Вспомнил Чёрную Пятерь. Тот же перестук летел со двора, когда Ветер шёл с учениками побаловаться на дубовых мечях. Старшина тронул дверь, заглянул,

дождался разрешения, первым шагнул через высокий порог.

Зяблик вошёл следом... мысль о Чёрной Пятери была определённо не праздной. В лодочном сарае стоял густой запах пота. Десятка полтора отроков, взмыленных, оружных тяжёлыми палками, вели бой по двое. Ознобиша узнал приёмы нападения и защиты. Почувствовал себя дома.

Вот один поверг на пол другого, но нехорошо и нечисто: взял силой. В крепости ему бы сейчас...

– Когда слушать начнёшь? – рявкнул голос. – Не в деревне у себя за девушку дерёшься!

К отрокам шёл Лихарь.

Босой, по пояс голый, как все. Мать Владычица!.. Поджарая мощь... бледное золото прядей, сколотых на затылке... жёсткие усы, бритые скулы... взгляд...

Колени обратились в кисель. Чудесным заступничеством Ознобиша не упал, но и только. «Вот оно, – скорбно зазвенело внутри. – Вот и всё...»

– Так я... – пробормотал верзила виновато. – Государь...

Наставник кивнул, отвернулся, поднял руку погладить усы... и с разворота достал парня ногой. Движение вышло стремительным, очень красивым и очень страшным. Для тех, кто мог рассмотреть. Ознобиша непроизвольно дёрнулся. Молодого порядчика смело.

– Ну? Теперь уяснил?

– У... яснил... государь...

«А я успел бы! Я бы точно успел!» Жизнь медленными толчками возвращалась в руки и ноги. С учениками тешился, конечно, не Лихарь. Меч Державы был старше, в светлых волосах седина клочьями, на лбу тонкая зашивина давней раны. Лихарь таким станет лет через двадцать. Если Сквара его до тех пор не убьёт.

– Кое-кто из вас, – продолжал царевич, – ещё полагает, будто на улице боевая наука ни к чему, были бы кулаки! По глазам вижу!.. А ну, тех новых сюда.

Вновь запела дудка в углу. Порядчики бегом извлекли откуда-то косматых оборванцев, бросили на пол перед наставником. Ознобиша присмотрелся к двум рожам, опухшим от битья. Длинный нос, свёрнутый набок. Бородавки...

– Ножи им, – прозвучал приказ. – Настоящие.

Обидчики писаря не хотели брать оружие, не спешили вставать. Стукались лбами в пол, гнусаво молили. Они не впервые бились против царевича. Успели ужаса натерпеться.

– К палачам торопитесь?

В углу застонала отлетающая в муках душа.

– Кто достанет меня, на волю уйдёт! – подстегнул Гайдияр.

За ножом потянулась одна рука и другая. Разбойнички выпрямились, на глазах обретая хищную, напряжённую стать. Отроки подались в стороны.

– Ну?

На дыбу и под кнут повольникам не хотелось. Ознобиша смотрел во все глаза. Ему показалось, бледные волосы царевича ярче вспыхнули золотом, но в отсветах жирников привидится ещё не такое. Мелькнувшая рука с ножом сама легла в ладонь воеводы. Острый клинок свистнул перед носом второго, сбив натиск... Удар! По виду не сильный, но лохматая борода задралась к потолку, нож, вертясь, улетел отрокам под ноги. Лишь тогда в уши вполз бессловесный, подвывающий крик. Первый разбойник оседал в хватке царевича, размахивая свободной рукой. Гайдияр швырнул его поперёк распластанного товарища:

– Убрать. Ещё пригодятся.

Ему что-то шепнули, указали на старшину и мальчишку. Царевич нахмурился, посмотрел. Вскинул руку. Из угла пронзительно отозвалась дудка.

Ознобишу толкнули в спину:

– Пади!

Он поспешно бухнулся на колени.

– Жестянку свою показывай государю.

Ознобиша неверными руками потянул наружу гайтан. Блеснуло тяжёлое сквозистое серебро. Брови Гайдияра едва заметно дрогнули. Уж ему-то второго взгляда не требовалось.

Старшина зашептал на ухо воеводе. Гайдияр выслушал. Усмехнулся:

– Ты, козявка, долго ли думал, прежде чем на моих порядчиков восставать?

Голос четвёртого наследника выдавал привычку к власти. Да не Лихаревой, над мальчишеским слабосильным народцем, а истинной. Вековой, кровной, взятой и подтверждённой мечом.

Ознобиша сглотнул.

– Чтобы не в обиду твоей царственности... Этот холопишко в мыслях не держал восставать.

– Значит, ты так почтение проявлял?

– Холопишко лишь увидел, как двое неуклюжих радетелей губят любовь к тебе Выскирега... пытался помочь.

Гайдияр, не дослушав, расхохотался, за ним отроки. Ознобише снова

пережал горло страх. Пламена жирников обратились шарами тусклого света, бессильными разогнать темноту. С плеча царевича на грудь, где у высших белело клеймо, тянулась наковка – редкой красоты плетёный узор с окончанием-стрелкой. Стоя на коленях, Зяблик поклонился. Ударил челом, как преподали в Невдахе.

– Будет ли позволено скудоумному холопу спросить, что так веселит хранителей города? Смеются ли они добрым горожанам, чье мужество животворит эти пещеры? Или, может, третьему праведному сыну, почтившему ничтожного достоинством райцы? Скажите, чтобы я тоже мог посмеяться.

Гайдияр оборвал смех. Взгляд стал страшноватым.

– Язык у тебя подвешен неплохо, этого не отнять. Только больше в тебе, евнушонок, ничего достойного нет. Думаешь, я северной помолвки не распознал? Как погляжу, измелывали вы, дикомыты.

«Евнушонок?..» Тело прошла ледяная игла, растеклась болезненным холодом в самом низу. Ознобиша по крохам собрал последнее мужество.

– Государю было угодно обмолвиться. Этот холоп родился в Левобережье. Его научили молиться Матери Правосудной... заступнице бездомных сирот. Холоп не мог не вмешаться...

Он сам не очень слышал, что говорил. До судорог хотелось стиснуть колени. Заслониться горстями.

– Правый берег, левый – нет разницы, – отмахнулся великий порядчик. – Всех вас скоро под одну руку сведём, по замыслению Ойдригову. И нашему братцу Эрелису никто здесь не смеялся. Какие ещё шутки потребны: по волостелю и райца... А ты, козявка, что поскущел? Это я тебя евнушонком назвал?

– Господин... волен называть раба своего...

В молодежной снова залетали смешки. Вся расправа знала что-то стыдное, тёмное, что начало приоткрываться Ознобише только теперь.

Вбежал ещё отрок в полосатой накидке. Запыхавшийся, очень встревоженный. С порога объявлять не стал, поспешил прямо к царевичу.

Гайдияр подался навстречу, склонил ухо. Выслушал вести.

– Машкара... – только и разобрал Ознобиша, отчаянно обратившийся в слух.

Кажется, впору было начать немедленно распоряжаться, но осрамитель нечестия вновь обратил на Ознобишу взгляд, полный глумливого сочувствия. Даже кивнул, продолжая прерванную беседу:

– Стало быть, тебе ещё не сказали?.. Не вешай нос, дикомыт. Дворцовый лекарь в своём деле опытен, зря боли не причинит. У него и

нож каменный, чтоб заживало быстрее... Зато обратишь все страсти свои на хозяйскую службу. Думаешь, ты один такой во дворце? Кто-нибудь! Дайте ему пряничка да выставите отсюда!

Как он на плохо гнущихся ногах ушёл из бутылки, кто проводил его за порог – Ознобиша не мог позже припомнить. В первом безлюдном отнорке он влип в стену... и какое там выцедил – неудержимой струёй вылил переполнивший страх!

Легче не стало.

Он-то, дурень, в Чёрной Пятери ночами не спал. Боялся, Лихарь со свету сживёт. Вздёрнет, как Ивеня.

Лучше бы уж вздёрнул, пожалуй...

Когда наконец Ознобиша выбрался в широкий оживлённый ход, сделалось ещё хуже. На него лупили глаза, хихикали за спиной, каждый тыкал пальцем:

– Евнушонок!

– А ведь книги предупреждали.

– Торжество Йелегена скопцы-советники пестовали, забыл?

– Игай с Койраном.

– С чего взял, будто миновали те времена?

– Думаешь, ты один такой во дворце?

«Кто ещё? Неужто... Цепир?»

Тонкое, худое лицо без бороды и усов... неизменный костыль... болезненная хромота... Что над ним сотворили?

Воображение нарисовало картины настолько жуткие и жестокие, что Ознобиша прислонился к стене, выжидая, пока перед глазами рассеется темнота.

Об оскотлении, предварявшем царскую службу, не шептались даже всезнающие уноты Невдахи. Уж эти не преминули бы знатно пострадать новичка. Может, истина слишком тщательно сберегалась? Ибо кто же знаючи на такое пойдёт?..

Зяблик помнил лестничники с выдранными страницами. А сколько всего творилось негласно?..

«Нож каменный, чтобы заживало быстрее...»

Ознобиша тщетно хватал ртом воздух. Нужно было как-то спастись. Пока добрые люди не подобрали бессильного да в самом деле к дворцовым лекарям не снесли. Утопающий разум подгрёб ворох берестяных листов, схватился за них, как за край плота. Вот исад, вот бутылка. Вот длинный пробег, где Ознобиша находился теперь.

Прежде ещё мелькнул восход, вроде уводивший наверх...

Юный райца вернулся, побежал по ступеням, как от смерти спасаясь.
Скоро стало холодней, по стенам замерцал иней. Ознобиша продолжал
подниматься.

Это мой царь!

Со свесного крыльца, высунутого из скалы верстах в пяти от исада, открывался дивный простор. Виднелись погибшие острова, заснеженные поля под низкими тучами... даже стоянка кощеев, чьи сборы в дорогу давали горожанам столько пищи для пересудов.

Пиршество взгляду, замученному теснотой пещер Выскирега!

Ознобиша смотрел в чудесную даль сквозь дурнотную тоску, отчётливо понимая: пировать здесь не ему.

Если прищуриться, тени иных островов причудливо сливались, вытягивались. Заставляли вспомнить Чёрную Пятерь. Как же Зяблику сейчас хотелось туда! В небогатый уют знакомой опочивальни. На жёсткий лежак, под родное колючее одеяло. Спрятать голову в полсть, ощутить за спиной надёжное братейкино тепло...

Ознобиша даже зажмурился.

«Вот она, доля слуги. Даже гордо рекомого правдивым советником. Кинет меня Эрелис злым псам, чтоб отстали, передравшись над костью...»

Сбежать? Прятаться до конца жизни?

С обвёршки разрушенного крылечка вниз тянулись сосульки. Толстенные, косые из-за непрестанных ветров, в точности как в бездонных оврагах Левобережья. Ознобиша вдруг примерился к одной и ударил. Бросил руку всем телом. Да не по самой сосульке, насквозь.

«Вот тебе, Гайдиярище! От евнушонка...»

Лёд коротко треснул. Прозрачный обляк потолще самого Ознобиши лопнул у основания, канул вниз. Зацепил выступ камня, с грохотом раскололся...

Ознобиша даже повеселел. Ступил на самый край, глянул в бездну. Мысленное начертание не подвело. Под ногами был дикий берег. Обломки ещё катились, исчезая в оттепельных сугробах.

— Раньше сюда приходили цари, — наплыл тихий голос сзади. — Владыки Андархайны любовались зрелищем, коему немного было равных на свете. Увитые зеленью громады утёсов, цветущий шиповник... солнце, дробящееся в бирюзе моря!.. А когда над островами вставала гроза, сами Боги шли приветствовать своих земных братьев... Как думаешь, дитя, однажды это вернётся?

Зяблик оглянулся. Причуды тепла и мороза оставили от некогда обширной палаты узкий проход. На границе, куда ещё достигал снаружи

сумрачный свет, в чаще ледяных игл стоял Машкара. Ознобиша вежливо поклонился:

– Поздорову ли можешь, господин мой.

«Больно скоро с правежа отпустили. День до вечера обычно стоят...»

Уличный мудрец в ответ улыбнулся:

– Отошёл бы ты от края, малыш. Тебя крепко обидели, но, право, не настолько... Уж мне-то поверь.

– Я... – покраснел юный гнездарь. – Я капельник сшиб. Смотрел, куда упадёт!

Машкара задумчиво смотрел на него:

– Я о тебе слышал, маленький райца. Ты ведь с мирского пути котла прибыл?

– Верно, господин. Из Невдахи.

– Кое-кто говорит, ты единственный донёс чашу с водой. Как тебе удалось?

Думать о чём-либо, кроме услышанного от Гайдияра, оказалось неожиданно больно. Какой смысл во всём, какой толк?

– Мне учитель Дыр... Дирумгартимдех велел по дощечке с блюдом пройти, не то палкой прибить. Сказал, всей Невдахе срам станется. Я и прошёл.

Машкара выслушал, кивнул, улыбнулся:

– Ты рассеян, малыш. Ты рассказал о том, что совершил. А я спросил – как.

Ознобиша вскинул голову. Кто бы ждал подобных вопросов от человека со славой выскирегского сумасброда! Впрочем, Машкара не пытался никаких тайн.

– Я призвал на помощь святого лекаря Арелелка, что среди битвы вправлял выпавшие кишки. Позже раненый чуть снова не умер, от смеха, когда целитель спросил, против кого бились. Вот каким даром сосредоточения наделила его Владычица! Я вспомнил праведника, чтобы окутаться его тенью.

Он было вспыхнул, увлёкся, но тут же вновь навалилось: «Вот именно. Явитесь, Игай Кладёный да Койран Легчёный...»

– Ты удивляешь меня, – медленно проговорил Машкара. – Если вас учили нацеливать разум, подобно Арелелку, ты должен помнить, что стрелы, свистевшие над его головой, летели с правого берега. Твой выговор... Каким образом ты оказался в котле?

Ознобиша дерзко ответил:

– Мой господин уже не первый, кто сегодня прислушался к речи этого

райцы. Достойный обитатель дворца при мне мечтал продолжить Ойдригову войну, а сам тоже не мог отличить дикомыта от гнездара.

– Ты уверен, что третий наследник умеет их различать?

Ознобиша насторожился, опустил глаза. Если Машкара вздумал проверить, не начнёт ли он болтать об Эрелисе, то не на такого напал.

– Мой государь лучше всех постиг северный край, которым рождён править.

Андарх тихо рассмеялся. «Кем ты был? – вдруг задумался Ознобиша. – Прежде, чем зачудиться умом и превратиться в Машкару? Воином? Жрецом сгинувшего Бога? Владетелем, в одночасье утратившим подданных и семью?..»

А тот продолжал, всё более смущая выученика Невдахи:

– Отпрыск смелого Эдарга превыше кривотолков, малыш. Вот что! Затверди-ка несколько имён: эти люди не обманут, если тебе понадобится помощь или совет.

Ознобишу последнее время не поучал только ленивый.

– Мой господин слишком добр...

– Так слушай, желторотый птенец котла. Захочешь перемолвиться с верными людьми, ступай в кружало к Харлану Пакше или разыщи Цепира, доверенного райцу владыки.

«Цепира...»

– Они сами прошли котёл и отлично знают, каково служение начинать. Ну, мне пора: друзья нашли в судебне очередной узел, могущий оказаться облыжным. И ты беги, маленький райца, не то хозяин искать пустится. Дорогу найдёшь?

Это было уж слишком. Ознобиша ответил за всю Чёрную Пятерь:

– Мой господин сведущ в путях котла. Не думает ли он, будто нас стали хуже учить?

На самом деле пути котла были запутанны и темны. Торопясь вдоль нитей вещей берёсты, Ознобиша о чём только не передумал. «Цепир, Харлан... Теперь и меня?!» Всё тело сжималось, ужас то подкатывал волнами, то чуть отступал. Ко времени, когда впереди показалась знакомая дверь, Ознобиша твёрдо решил держаться подальше и от Машкары, и от «верных» людей.

А то не начали бы от Ветра поклоны передавать.

По счастью, вход снова охранял рыжебородый Сибир. Ознобиша кое-как выдавил улыбку, сунулся мимо него в дверь.

И... натолкнулся на вытянутую руку исполина.

– Погоди. Послушай сперва.

Ознобиша проворно отступил:

– Я не буду подслушивать у дверей государя!

Сибир схватил Ознобишу, притиснул ухом к тёмным доскам.

В покоях Эрелиса звучали напряжённые голоса. Брат с сестрой заседали на Невлина. Серьга и комнатные девки, кажется, прятались по углам.

– Это не урок царского вежества, а моя честь! Не хочу силой рваться мимо тебя, почтенный сын Сиге, но, во имя кипунов Воркуна... лучше ты отойди.

– Господину следует подождать хотя бы до завтра, – упрямылся старый Трайттрэн. – Мы составим послание. Я сам его отнесу. Мы подберём убедительные слова...

– До завтра? – рычала Эльбиз. – Мы видели, что бывает, если опоздать на мгновение. Пропусти добром!

– Во имя Закатных скал!.. Дитя, ты толкуешь о вещах за пределами своего разума. Царевнам Андархайны...

– Пристало кротко смотреть, как губится имя брата? Захочется людям служить тому, кто мог спасти и проспал?

– Дитя, ты не способна понять...

– Пропусти!

– Они сделали это с моим человеком, – вновь подал голос Эрелис. – Значит, сделали со мной. Не вынуждай оскорблять твою седину!

Сибир открыл дверь. Неодолимой рукой втолкнул Ознобишу в чертог.

Перед глазами возникли складки вытертой парчи. Спина Невлина, прижатого к самому выходу. Против старого вельможи плечом к плечу стояли царята. Суровые, свирепые, сейчас в бой! Эрелис – в шитом кафтане, как для Правомерной Палаты. Только пояс оттягивали ножны. Простые, исцарапанные... оттого нешуточно кровава. У Эльбиз висела с плеч жемчужная фереzea. Косо запахнутая, не скрывающая боевого ножа.

И оба пылали золотым царским огнём. Ничего прекраснее и страшнее Ознобиша в жизни не видел.

Мгновение минуло. Невлин оглянулся. Царята уставились круглыми глазами, как на оживший маньяк.

И... разом бросились к Ознобише.

Царевна подросла первая, схватила за плечи:

– Живой!

Быстро, умело пробежалась ладонями, ощупала рёбра:

– Правда живой!

Эрелис обнял недоумевающего райцу. Стиснул, словно потерять боялся. Повёл. Да не на подушки в передней комнате, а к себе в спальню, за ковровую стену. Невлин начал открывать рот... передумал. Тихо вышел вон.

Ознобиша уже сидел на тюфяке между царевичем и царевной. Эрелис всё держал его за руку. Эльбиз гладила по волосам.

Он сглотнул.

– Государь...

Хотел сползти на колени, просить прощения за неустройство. Царята слушать не стали.

– Ты где был?

– Эти бить умеют, чтоб следов не осталось...

– Сильно мучили?

– К Сибиру мезонька прибежал, такое рассказывал! Ты правда, что ли, на исаде встал? На порядчиков?..

– А потом тебя, всего искровянив, за ноги... лицом по камням...

– Мы уж не чаяли подоспеть!

«Они... они... меня ради...»

– Ты как вырвался? – жадно спросила Эльбиз. – В Чёрной Пятери научили из оков уходить?

Ознобише не хватало воздуха.

«Мой царь. Моя царевна. Я для них...»

Страшное одиночество рвалось, утекало. Ознобишу подхватила горячая волна благодарности и восторга. Хмельной вихрь в парусах, способный вознести к подвигу. Подумаешь, несколько дней болезни! Век без супружества и детей! Он сполз с тюфяка. Ткнулся лбом в повязку на ладони Эрелиса, предаваясь на вечный век:

– Господин... я готов.

– Мартхе, друг мой, – удивился Эрелис. – О чём ты?

– Я узнал... ради служения... очистить плоть. Я готов... к лекарю. Как благородный Цепир!

«А дети у меня всё равно будут. Приёмные. Сколько сирот...»

– Что?.. – опешил братец Аро.

Сестра догадалась первая:

– Гайдияр терзать взялся, кто ответить не может!.. А дядю Цепира на что оболгал?

Ознобиша приподнял голову:

– Обратить... все страсти свои...

Эрелис смотрел ему прямо в глаза. Потом вдруг отвернулся, зажмурился.

— Во имя благих Богов! Сколь праведно нужно царствовать... чтобы хоть мало... — И довершил совсем другим голосом: — Старца я срамословил. Неладно.

Письмо от Лигуя

Путеводные берёсты Ознобиши день за днём расширялись. Сегодня он привносил в них ту часть дворцовых подземелий, куда люди без дела вовсе не забредали. Даже идя по делу – старались прошмыгнуть как можно скорей. Точно вороватые мыши мимо кота, дремлющего у печки.

На самом деле Ознобише не было страшно. Все страхи остались в молодечной порядчиков, здесь было что-то иное. Ноги просто переступали всё медленнее, с усилием, как против встречного ветра. И мысленное писало сбивалось, замирало в бездействии на каждом шагу. Он спохватывался. Сердито подправлял начертание.

Скоро уже должна была появиться *та дверь*.

Ознобиша, конечно, мог её обойти. Тремя способами, самое меньшее. Он гордо отправился напрямки. Теперь последними словами ругал себя за гордыню. И всё равно не сворачивал.

Жилые утёсы Выскирега были сложены ракушечником, красноватым и золотистым. Горожане как могли украшали скучный тёсанный камень: стены людных проходов сплошь покрывали рисунки. Далеко не всегда искусные и пристойные. Воины в доспехах, парусные корабли, рыбомужи, соблазняющие таинственных птицедов. Одно поверх другого, от пола до потолка. По мере приближения к *той двери* рисунки делались всё реже, наконец пропадали совсем. Да что рисунки! Камень и тот становился сумрачней, раковины, слагающие его, – всё крупней. Из стены выпирали ребристые панцири с блюдо величиной. Не подлежало сомнению: стоит отвернуться – они оживут. Расправят жадные щупальца. Схватят, утащат в скалу. Выпьют жизнь.

Тогда, в спальне, Эрелис спросил без улыбки:

– Какое дело думаешь делать, кроме как лазутить за мной?

У Ознобиши язык в гортани застрял.

– Лазутить? Государь...

– Ты в Чёрной Пятери из котла хлебал? – перебила Эльбиз. – Не просто так тебя Ветер брату подсунул!

– Меня учитель отослал на мирской путь, потому что я воинского не тянул, – осторожно возразил Ознобиша. – А потом... я случайно...

– Где мораничи, случайного не бывает.

– Воспитатель наш в случай не верил, а он уж знал.

Ознобиша помедлил. Решился:

– Прости, государь... Воспитателя твоего звали не Космохвост?

Несколько мгновений они молчали. Наконец Эрелис велел:

– Рассказывай.

Под землёй ход времени ощущается не так, как снаружи. Кто долго не выходит, принимает двое суток за одни. Ознобиша просидел с царятами до утра. Вспоминал тихое, стыдливое возвращение ватаги Белозуба. Кровавую повязку на лице жоака.

Дымка нежилась под хозяйской рукой. Тянула мягкие лапки. Простирала когти, вновь прятала...

Всё будто вчера! Запертая дверь холодницы. Жестокие вериги. Озлобление Лихаря, вмешательство Инберна. Ознобиша даже «Крышку» напел, отчаянно изобразив голосницу.

– Эту песню мы слышали, – переглянулись царята. – Наш гуслар пел... Крыло!

– Может, и пел потом, – не успел прикусить язык Ознобиша. – Мало ли что Крыло! Как они вдвоём тогда... за решёткой... Смертные сани мчатся вприпрыжку!

Эрелис смотрел пристально:

– С кем вдвоём?

– Со Скварой, братейкой моим.

– Это дикомытское имя.

– Он и есть дикомыт, про него сказ отдельный. А потом Космохвоста наружу выводили, и Ветер ему: «Старый друг...» Мечи велел принести...

Царевна уставилась в стену.

– ...И честной костёр сложить повелел, – довершил рассказ Ознобиша. – На Великом Погребе. Мы все провожали, один Сквара запертый сидел. А Лихарь...

– Лихарь, – сквозь зубы выдохнула царевна.

Эрелис очень долго молчал. Ознобиша начал украдкой поглядывать на дверь, где опять раздавались шаги ночной стражи. Царевич негромко проговорил:

– Мартхе, друже... Невлин многое утаивает, почитая неведение благом для нас. Ему гибель телохранителя показалась безделицей, недостойной отвлекать меня от наук! Я хочу послушать твою правду, райца. Да не о других, о тебе самом. Потом назову службу, которая у меня на уме.

Царевна спохватилась, выскочила в передний чертог, послала девок за снедью. Те, напуганные, кинулись, будто она каждую ножиком пощекотала.

– Род наш прозывается от Божьих погод, – начал Ознобиша. – Только

отик с мамой дождевыми именами нарицались, осенними. Деждик, Дузья. Мы-то с братом уже зимние были, Зяблики. Он – Ивень, иней по-вашему. Его в котёл приняли, а я дома остался...

Робкие девки подали полночную трапезу. Варёную камбалу с озёрной капустой, хрустящие лепёшки, сладкое пиво. Накрыли низенький столик и под взглядом царевны сразу исчезли.

– Так я дальше жить стал, а на руке плетёжок унёс...

Вновь прошагали подземельем порядчики. Ночная стража передавала копья дневной. Сибир уступил дверь верному побратиму. Лебедь за руку втянула великана в покойчик:

– Заварихи отведай. На воле вкусней стряпали, но тоже съедомая.

– ...А лазутить за тобой, государь, мне ни господин Ветер, ни мирские учителя не велели, ты уж не обессудь.

Сибир низко поклонился царятам, поблагодарил, ушёл спать.

Эрелис отломил рыбье пёрышко.

– Значит, ещё велят, – предрёк он настолько спокойно, что у Ознобиши по плечам пробежался морозец. – Что ныне гадать. Это завтрашняя забота.

Юный райца торопливо проглотил половину лепёшки.

– Ты поминал... служба мне, государь.

Царята переглянулись. Лебедь подсела, взяла брата за руку. Они подались друг к дружке, прижались, став неразличимыми близнецами, одним существом. Вот с этими лицами они слушали о казни Ивеня, о погребении Космохвоста. Глядя им в глаза, Ознобиша испытал озарение: царята обо всём уже сговорились, значит внешнему миру оставалось только склониться. И ещё. Страсти пережитого дня не только его, слугу, бросили им навстречу. Царята собирались так же очертя голову довериться молодому советнику.

– Мы хотим узнать об отце, – наконец выговорил Эрелис.

– Почему здесь, в Выскиреге, батюшку вором честят, а на севере добром поминают?

– И храбрецом зовут. Он походов не затевал, новой дани не наискивал. В чём отвага его?

«Отпрыск смелого Эдарга...» – тотчас вспомнилось Ознобише.

– Нам вот Шегардай престол обещает ради славы отцовской.

– Мы Невлина спрашивали.

– Уж как подольщались...

– А у него весь ответ: державные намерения да тёмные тайны.

– Такие, что престол поколеблется.

– Дядя Космохвост нам тоже не сказывал, отчего отец с мамой в

Фойрег поехали, а нас с ним оставили на подворье. Он-то право судил: малы были всё знать.

– Зато теперь немые стоим, когда память родительскую хулят.

Ознобиша осторожно спросил:

– Но кому-то же вся правда известна? Высшим сыновьям... царедворцам, кто выжил?

– Я спрашивал, – сказал Эрелис. – Все врут, каждый в свою сторону.

– Неужели нет достойных полной веры?..

– Доверяй, а пальцев в рот не клади, – проворчала Эльбиз. – Чтобы меньше плакать потом.

«Стало быть, и мне испытание. Можно ли спиной оборачиваться...»

– У нас есть очень верные люди... – начал Эрелис.

– Один тогда в темнице сидел, а другой его выручал.

– Тебе, добрый Мартхе, свобода не в пример нашей отмерена. Поможешь честь отцовскую взять? Придумаешь как?

Ознобиша молча вникал. Ракладывал по умственным полочкам. Хмурил лоб.

– Это будет трудно, наверно, – сказала царица.

– Дома говорили: хочу – половина могу, – встрепенулся юный советник. – А на воинском пути поучали: если глаз видит – стрела должна досягать. Ты положил мне цель, государь.

...Во имя достижения этой цели Ознобиша теперь и крался каменным ходом. Пластался по стене мимо тёмной двери. Морёное дерево, железные полосы... На пороге – давний покров нетронутой пыли.

За дверью обитал самый страшный человек во всём Выскиреге. А может, и в Андархайне.

Первый царевич.

Никто и никогда не видел его. Никто не знал даже, как выглядит. Одни рассказывали о высоченном старце, иссохшем над зельями и книгами заклинаний. Другие описывали толстого, заросшего диким волосом горбуна, хотя какие горбуны среди праведных? Йелеген, старший брат мученика Аодха, юношей отказался от венца ради сокровенной учёности. У его двери не бдела охрана, первый сын Андархайны в ней не нуждался. Единственного безрассудного вора на пороге испепелило заклятие. Быть может, это его прах лежал кучкой возле стены?..

Ознобиша проелозил спиной по жёсткому камню, едва не сорвался на бег. Плети порядчиков, удавки тайных подсылов были очень страшны, но по крайней мере понятны. Даже нож дворцового лекаря худо-бедно

постигался рассудком. Колдовство было за пределами постижения. Оттого и пугало много сильнее.

– Значит, ты новый райца Эрелиса, нашего старшего брата?

Змеда, единственная законная дочь восьмого царевича Коршака, вела жизнь, на которую Невлин тщетно пытался направить Эльбиз. Окружённая комнатными девицами, чинно восседала за прялкой.

Ознобиша ловко утвердил ладонь на полу, поклонился. Эльбиз полдня учила его правильно исполнять большой и малый обычаи. Способы, усвоенные в Невдахе, в царских подземельях Выскирега были больше не гожи.

– С позволения доброй государыни, это так.

Девочкой Змеда наверняка была хороша. Как всякая юница, не отученная улыбаться. Пока отец кознодействовал, ища возвыситься замужеством дочери, вишенка расплылась в перезрелую грушу. Волосы оплела белая паутина, хищный наследный нос подушками стиснули щёки. Только в глазах, почти обделённых огненным мёдом, светился хитрый батюшкин ум.

– Нам передали, брат шлёт тебя с каким-то опы́том. Спрашивай, райца.

Пряла она, как полагалось царевне. Глаз радовался! Высучивала тончайшую нить, закручивала веретено, прихватывала петелькой. Прялка была старинная, в золочёной резьбе. Кужёнка – из пуха белого оботура.

– Не во гнев доброй государыне будь сказано, – учтиво начал Зяблик. – Праведный сын, сегодня признаваемый третьим, увидел Беду, едва выучившись ходить. Ныне, когда мой государь живёт в семье, ему хочется больше узнать о последнем дне Андархайны. Ради этого знания он отправил слугу опы́тывать достойнейших и знатнейших.

Между прочим, подол чёрного сарафана был расшит незабудками. Лиловыми, из почтения к погибшей царице.

– Особо же, – смиренно продолжал Ознобиша, – занимают моего господина неустройства, волновавшие двор. Ибо государю Эрелису, вероятно, придётся брать нить для кружев с того же клубка.

Тонкопряхи украдкой переглядывались за спиной Коршаковны. Хозяйка покоев как раз заполнила веретено. Ей с поклонами поднесли новое. Выставили серебряную чашечку кислого лакомства, чтобы не пересыхали уста.

– Чем же слабая ветвь отцовского древа может догадать нашего любимого брата... – задумчиво начала Коршаковна. Ознобиша видел, сколь тщательно она выбирала слова. – Батюшка жил у себя в Еланном Ржавце,

оставив заботы правления Высшему Кругу царевичей и вельмож. Когда он счастливо перешёл Звёздный Мост... – И вдруг удивилась: – Да ты, райца, не принёс ни чернил, ни листов?

Ознобиша, почтительно сидевший на пятках, вновь поклонился:

– С позволения милостивой государыни, котляры Владычицы нас вразумляли: беседующему радостней видеть лицо и глаза, а не темя, склонённое над письмом. Этот слуга доверит услышанное чернилам, когда вернётся к себе. Быть может, государыня пожелает прочесть... даже вспомнит ещё какие-то мелочи...

– Ты так уверен в своей памяти, сынишка Левобережья?

Пока Ознобиша соображал, как уверить толстуху, дверь приоткрылась. Все посмотрели в ту сторону. Лишь райца не отвёл взгляда, вежливо устремлённого на руки Коршаковны. Этому его тоже обучили в котле.

– Госпожа праведная сестрица, – как-то сдавленно, растерянно прозвучал голос Злата. – Тут, не прогневайся, грамотку подмётную принесли... Лигуй Голец, сосед тестя моего будущего, доносит... Убили Бакуню Дегтяря. Дикомыты... натёком с севера натекли...

В руке Змеды замерло веретено.

– Все вон! – повелительно проговорила она. – А ты, Златушко, иди-ка сюда. Сказывай толком.

Высший Круг

Из-под круглого свода смотрели вниз лики Тех, Кого прежде славили Андархайна и Левобережье. Над восточной стеной плечом к плечу стояли трое братьев: Гроза, Солнце, Огонь. На юге Мать Земля нежилась в объятиях Отца Небо. Морской Хозяин взирал с западной стороны. Справедливая Владычица – с северной.

Палата помещалась глубоко в недрах, но деревянная вымостка стен словно бы впускала в неё предвечернее солнце. Таких теснин, жёлтых в бурую прожилку, теперь было не достать. Горели светильники, заправленные чистым птенцовым жиром. В клетках щебетали чижи.

Чертог скромно именовался Малым, хотя следовало бы Сокровенным или вовсе Таимным. Высший Круг собирался здесь ради решений, не нуждавшихся в глашатаях.

– Мы сегодня должны вынести рассуждение о весьма особенном деле, – начал владыка Хадуг. Он сидел возле ног изваяния Правосудной, откинувшись на вышитые подушки, и с удовольствием улыбался: во рту моржовой костью белели новые передние зубы, схваченные золотой перемычкой. – К нам вызывает письмо, доставленное из далёкого зеленца. Послание касается лишь семьи, собравшихся здесь. Поэтому мы решили отдать право сегодняшнего суда нашему юному брату. Невлин доносит, Эрелис, ты быстро осваиваешь науки... Пора показать нам постигнутое!

Эрелис наклонил голову:

– По слову твоему, государь.

Перед Хадугом красовалось великолепное угощение. Закутанный кувшин с горячим напитком, постила, белые калачи. На особом блюде – крупная птица, зажаренная целиком.

– Заодно, брат, – продолжал Хадуг, – не упустим и повода испытать твоего райцу. Покамест он праздно шныряет по городу, распугивает порядчиков и тревожит почтенных людей непонятными расспросами!

Невлин и высшие вельможи с готовностью подхватили смех владыки. Хадуг отломил птичье крылышко, хрустящее золотой кожицей, начал есть.

– Угощайтесь, доверенные мужи. На впалое брюхо лишь хохотать хорошо.

Он сидел в домашнем балахоне, отнюдь не скрывавшем слоёв отёчного сала, бугрившихся ниже измождённого лица и худых рук.

– Знатного лебеда твои охотники подстрелили, – сказал Гайдияр.

Рука Эрелиса, протянутая было к лакомству, вновь легла на колено. Ознобиша пригляделся: судя по длине клюва и шеи, на блюде лежал откормленный гусь.

– Знать бы ещё, – недовольно проворчал Гайдияр, – каким образом весть, замкнутая печатью, стала достоянием черни. Мои порядчики еле отбили пекарню, где дикомытские калачи продают.

Меч Державы расхаживал туда-сюда. Полосатый плащ мёл круглый старинный ковёр, вытканый нарочно для Малого чертога. Синий Киян, зелёные земли, обильные города, цветущие под рукой праведных... Ознобиша старательно обходил «осрамителя нечестия» взглядом. Гайдияр на него вовсе внимания не обращал.

Эрелис вытащил жёсткий витой шнур полтора аршина длиной. «Чтобы голова на царских бдениях не болела, попробуй узлы вязать, – присоветовал Мартхе. – Станут бранить, скажешь: постигаю и славлю древнюю Правду...» – «А ты разве был уже в судебне?» – «Нет, государь». – «Так откуда...» – «В книгах прочёл».

А вот то, что пекаря зря хотели громить, он и без книг видел. У правобережных калачей масло изнутри не текло.

Владыка Хадуг устроился поудобнее.

– Нет большой беды, – начал он, – в том, что на исаде поют про Ойдрига Воина и закидывают камнями чучело дикомыта, сделанное из тряпья. Люди болтливы, а запечатанное письмо наверняка сопровождал изустный рассказ... Нам, однако, следует полагаться лишь на грамоту, заручённую надёжным владельцем. Огласи её, младший брат.

Эрелис слегка повернул голову. Кивнул райце, смирно сидевшему за спиной.

– «Государь наш милостивец, вельможный и праведный царский сын Злат Коршакович! – звучно, отдельно, чтобы все слышали, принялся читать Ознобиша. Туго скрученная берёста поскрипывала в руках, ладони потели. – Челом оземь бьёт твоей почести заглушный холопишко, рекомый Лигуй, севший царской милостью в зеленце среди Шегардайской губы, на болоте Порудный Мох. Доносит же сей холопишко твоему почтенному здоровью, сколь тяжким несчастьем нас Правосудная за грехи наказала...»

Измаравший берёсту плохо знал буквы. Бездельно вставлял те, что выглядели краше. Подавно не знал, как правильно величать пригульного. Сыпал, боясь оплошать, всеми когда-либо слышанными почётами.

Поди прочти не икнув!

– «Владелец соседский наш, коего имя тебе, милостивец, с давнего времени не чужое, рекше Бакуня Дегтярь, заохотился на купилище в

Правобережье, да вот не доехал. Злые дикомыты ему среди Кижей весь поезд разбили, товары забрали, а самого с поезжанами на дороге бросили мёртвых. Но чтобы тебе, праведному царскому сыну, не сомневаться: холопишко твой взял под защиту и зеленец Бакунин, Ямищами рекомый, и горькую вдовицу с сиротами. Приезжай, милостивец, как будет твоя на то вельможная воля. Пройдёт срок печали, сразу выправим к свадьбе и большой стол, и гордый, и пирожный, и всякую честь твоему здоровью окажем... А руку приложил к сему верный холопишко твой Лигуй, рекомый Голец, с Порудного Мха».

В самом низу берестяного свитка виднелось красное пятнышко. Отпечаток большого пальца, для крепости подмазанный яичным белком. Кончив читать, Ознобиша почтительно склонил голову. Позволил грамотке свернуться.

– Вы слышали, братья, – сказал Хадуг. Взял постилы.

Эрелис разгладил на колене треугольный кружевной узел.

Злат Коршакович, коего на все лады величал Лигуй, скромно сидел на коврике у двери, не смел поднять глаз. Наследной породы Злату досталось поболее, чем единокровной сестре. У него хоть волосы были русые, не тёмные, как у неё. На затылке блестел серебром гребень просватанного, подарок Бакуни. Конечно, владыка Хадуг своей властью мог узаконить небрачнорождённого. Однако про восьмого брата ходили столь тёмные слухи, что государь счёл за благо оставить дело как есть.

Гайдияр перешагнул голубую жилу Светыни, остановился на буром и белом узоре холмов севера.

– Прав подлый народ! – сказал он. Пристукнул кулаком о ладонь. – Вот сядешь, третий брат, в Шегардае... а дальше – по Ойдриговым стопам надо идти! Примучивать разбойное племя!

Он был сейчас сущее загляденье. Мужественный воин старинных дееписаний. Такими когда-то возвысилась Андархайна. Такие, как Гайдияр, оружейной рукой раздвигали пределы державы. Ознобиша вдруг мысленно поставил против него Сквару. Сквара немедля заулыбался, подмигнул братейке: «И по стопам Ойдриговичей – обратно бегом. Позорными воротами...» Ознобиша едва не улыбнулся в ответ.

Эрелис распустил узел, тщательно оправил верёвку.

– Люди чают отмщенья, – продолжал Гайдияр. – Поправшие славу отцов должны быть наказаны. Иначе дикомыты не прекратят выбираться со своих бесплодных земель. Захватят всё Левобережье, потом сюда явятся!

У него качался при бедре тяжёлый старинный меч. Вельможи переглядывались, согласно кивали.

– Ты бы сел, младший брат, – проговорил Хадуг. – В ногах правды нет. Калача отведай...

Гайдияр остановился:

– Если сяду, усну сразу. Пятую ночь из-за Коготка лихого глаз не сомкнувши. А дикомытов мне ли не знать! Эти не утихнут, пока в землю не втопчешь! И калачами Эрелис пусть лакомится, ему на севере жить.

– Младший брат, нам известно твоё стремление привести оба берега под единую руку, – сказал владыка Хадуг. – Мы преклоняемся перед столь деятельной любовью к стране, но сегодняшнее рассуждение касается лишь маленького зеленца за урманам. Наш почтенный младший брат, царевич Коршак, сговорил побочного сына в зятя гнездарю, ибо так велело ему сердце. Сегодня нам донесли, что промышленник Бакуня погиб от рук дикомытов, однако добрый сосед пришёл на помощь вдове и готов принять жениха, исполняя волю погибшего. Как же поступить, родичи? Всякая капля царственной крови требует бережения. Как мы распорядимся золотом, струящимся в жилах юного Златца?

Эрелис петлю за петлёй выкладывал уже другой узел. Оставалось стянуть.

Гайдияр снова остановился. На сей раз – попирая вытканые башни Шегардая.

– Пора уже им напомнить, чьим попущением на свете живут! Я бы с малым войском... хоть границы обмёл...

Хадуг кивнул, улыбнулся:

– Сделай милость, младший брат... сядь. В отваге твоего суждения мы нисколько не сомневаемся. Однако сейчас мы хотим услышать того, чьё слово здесь ещё не звучало. Говори, братец Эрелис. Какой суд предложишь?

Гайдияр досадливо мотнул головой, но не ослушался, сел. Откинулся на подушки. «Уж этот рассудит, – говорил весь его вид. – У него и евнушок дикомыт...»

Эрелис отложил верёвку, обхватил руками колено. Ознобиша видел, как побелели пальцы.

– Благодарю, владыка и старший брат. Ты мудр, ибо мне продолжать след отца, прервавшийся в Левобережье. Прости, если я, непривычный, буду подходить к суждению околесем, взывая к правде своего райцы... Итак, скажи, добрый Мартхе: утверждается ли в письме, будто Бакуне Дегтярю причинили гибель разбойные дикомыты?

Ознобиша сглотнул.

– Да, государь. Утверждается прямым словом.

– Скажи ещё, правдивый Мартхе: была ли в письме жалоба о других подобных натёках?

– Нет, государь.

– Можешь показать на ковре Кижную грядку и Порудный Мох?

– Могу, государь.

Рытая полсть отличалась красотой неизмеримо большей, чем точностью, но на ней хотя бы Светынь в правильную сторону текла. И Шегардай не смещался южнее залива, чью вершину хранила Чёрная Пятерь... а то на разукрашенных картах каких чудес только не встретишь. Палец Ознобиши уверенно прижал цветную шёрстку рядом с левым сапогом Гайдияра.

– Вот здесь, государь.

Хадуг потерял пальцами губу:

– Далековато от своей земли разбойники забрались...

– Наш доблестный брат, – продолжал Эрелис, – желает идти на правый берег ратью из-за одного слова в письме. У нас нет свидетельства, чтобы дикомыты постоянно досаждали твоим подданным, владыка. Я же слышан о том, как мои предки, Ойдриговичи, некогда согласились с их вождями, и, сколь известно, по сию пору слово не нарушалось.

Хадуг поморщился:

– Не очень почётное было согласие...

Эрелис чуть помолчал.

– Владыка прав, – кивнул он затем. – Оно было бесславным для нас, однако блюдётся. Если отбросить его, наш храбрый брат может просто исчезнуть с войском в диких лесах. Летописи рассказывают о подобных утратах. Но даже и победа особой корысти не принесёт. Что взять на Коновом Вене, кроме квашеной капусты и горлодёра?

Второй царевич неожиданно улыбнулся.

– Зелёный чеснок они там делают знатный, – проговорил он мечтательно. – Сядешь в Шегардае, не забудь почаще мне присылать... Продолжай, младший братец, твои речи кажутся мне разумными. Что же ты предлагаешь?

– Я предложил бы любимому нами Злату без промедления отправиться к наречённой. Я посоветовал бы ему созвать десяток-другой надёжных парней, тружеников ремесла, готовых оставить Выскирег для совсем новой жизни в дальнем краю. А ещё...

– Говори, братец. Мы слушаем.

Шегардайский царевич нащупал верёвку. Резким движением собрал петли узла.

– А ещё я надоумил бы его навестить воинский путь котла. Вряд ли в Чёрной Пятери откажутся послать на Порудный Мох одного-двух сыновей. Пусть бы те dokonно узнали, что там на самом деле свершилось. В искусстве разведки им не много равных найдётся.

Стало тихо. Владыка и вельможи смотрели на Эрелиса.

– Во имя Закатных скал!.. Сколь удивительное решение, – одними губами выдохнул Невлин.

– А нам доводят о твоём неизменном ожесточении против тайного воинства, младший брат, – удивился Хадуг. – Что случилось? Разогнать ли доводчиков, зря едящих наш хлеб?

Общее молчание нарушилось лёгким похрапыванием. Взгляды постепенно покидали Эрелиса, обращались на Гайдияра. Великого порядчика, стоило ему откинуться на подушки, действительно одолела дремота. Длинный меч лежал мостом через Светынь, на яблоке мерцал выбитый рисунок: что-то вроде маленького лука, униженного десятком тетив.

Хадуг негромко засмеялся, чем-то очень довольный.

– Не будем тревожить нашего брата, отдающего силы в беспрестанных радениях. Человеку деяний скучны словесные битвы... Твой суд принят и утверждён, братец Эрелис. Я, Хадуг, второй сын Андархайны, так решил и так возвещаю.

Тропа впереди

На открытом бедовнике пешеходу спрятаться негде. Это острожане так думают. Домоседы. Доро́га им мачеха, им бы с первого шага плащик-невидимку накинуть – и только у дружеских ворот снять. За ними весь воинский путь по лесу не бегал. Премудрость моранскую даже крохами подсмотреть не давал.

Лутошка переполз дальше по гребню увала. Подтянул за поводок лыжи.

Дичь медленно двигалась вниз по распадке – стрелой на излёте можно достать. Двое саней, впереди оботуры-дорожники, у санных полозьев – остроухие псы. Ни один не лает, не волнуется. Зря ли озаботился Лутошка зайти с подветренной стороны!

По левую руку обвалился снег. Подполз Онтыка, в таком же балахоне из выбеленного холста, вздетом поверх кожуха. Посмотрел сперва вниз, потом на Лутошку:

- Что пузом снег протираем? Не тот поезд, ясно же.
- Тот, – сказал Лутошка. – В передних санях коренник пегий.
- А где ещё пять саней, что нам доказчик сулил?

Лутошка не ответил. Всмотрелся заново. Вслушался. Перечёл вниз по поезжан. Четверо мужиков и взрослых парней. Баб и девок тоже четыре.

- Чего бавишь? – опять заныл Онтыка. – Ждёшь, чтоб заметили?

В белом куколе, спущенном на лицо, выделялись только дырки для глаз. В снегу не найдёшь, пока не наступишь.

- Ну? Долго модеть будем?

– А сколько скажу! – с приглушённой досадой срезал Лутошка. – Вдруг они эти двое саней привадой выслали? Сунемся, а оттуда на нас оружные молодцы?

Онтыка посопел, замолк. Верно, знал батюшка Телепеня, кого в разведе старшим поставить. Ум бороды не ждёт! Молод рыжак, а такое сообразит, чего старики все вместе не высидят. Кто придумал на Дегтяря снег обвалами сбросить? Ту добычу шаечка до сих пор продавала через верных людей. Вот и теперь о таком догадался, что Онтыка только со стрелой в горле и понял бы.

- Нету там воинских, – снизошёл наконец Лутошка. – Пошли.
- С чего взял?

- Баба в оболочку лазила. После строганины на ходу раздавала. Будь там

лишние, дольше бы провозилась. – Подумал, веско добавил: – И мальчишка бы к воинским липнул, не отогнать.

Бережно, опасаясь выдать себя, повольники отползли подальше от края. Встали, привязали лыжи, потекли в сторону.

Сотни через две шагов Онтыке помстилось сзади движение. Он обернулся, вскидывая самострел. За ними, проворно по крепкому черепу, скакала, дружелюбно виляя хвостом, молодая пелесая сука. Непостижимо тонко пёсье чутьё! Против ветра почуяла? Случайно выбежала наверх, вздумала познакомиться?

Движение человека, бросившего что-то к плечу, всё же ей не понравилось. Взвизгнула, пустилась назад. До гребня не добежала, конечно. Онтыка бил из самострела без промаха. Все телепеничи на лету снежок разбивали. Короткий болт попал в голову. Собака вскинулась, умерла, упала бездвижно.

– Вовсе ум обронил? – опоздал вмешаться Лутошка. – А взвыла бы? А искать прибегут?

Но и Онтыка упёрся на своей правоте:

– А сбегала бы к своим, свору привела? Поезжан всполошила?

– Подозвать, за ухом почесать, и делу конец, – буркнул Лутошка, но больше ради того, чтобы оставить за собой последнее слово. Пущенной стрелы не вернёшь. Значит, без толку ссориться и гадать, что было бы, если бы да кабы. Лучше умом пораскинуть, как со сделанным быть.

Онтыка прижал ногой пробитую голову псицы, потянул древко. Сперва бережно, затем в полную силу. Болт был с гладким наконечником, но выходить не желал. Всел, так уж всел. Из дерева не выколупаешь, а тут кость черепная. Тихо матерясь, Онтыка взял топорик, рубанул раз, другой, третий. Вынул стрелу удачно, вместе с железком, не успевшим отпасть. Вытер, порадовался:

– Перо выкрашу! В теле бывав, станет раны неисцелимые причинять.

Когда бежали прочь, Онтыкина правая лыжа сперва оставляла красные черты на снегу. Лутошка недовольно косился, но полосы быстро поблекли, а там вовсе пропали.

– Отик! Я же скоренько!

– Нет.

– Только след гляну и назад вборзе! Ну отик...

В тринадцать лет мыслимо ли спокойно смириться, что Атайка, выкормленица, любимица, против обыкновения, не мчится на зов! Мыслимо ли объять умом старшинскую ношу, представить, каково это,

когда ведёшь чад с домочадцами прочь от родительских могил, от насиженного острожка. Когда впереди – доля неведомая, а путь к ней, ох, непрост и неблизок. До псицы ли!

– Ну отик!..

– Сказано, язык прикуси! На то поводок, чтоб после слёзы не лить.

Дрёмушка засопел и более просить не отважился. Отик, бывало, смягчался на мольбу, поноравливал мизинчику. Бывало – отказывал непреложно. Вот и теперь ещё добавил для строгости:

– Ныть не оставишь, лыжи отыму и самого на поводок, как годовалого, привяжу.

– Сразу видно, малец делом не занят, – кивнул, уходя тропить на смену работнику, старший брат. – Иди матери помоги, с ног бедная сбилась!

Дрёмушка убрался прочь опечаленный. «Как в ночь за тридевять вёрст к богатею Зорко бежать, я им взрослый. А прошусь белым днём от поезда отойти, сразу мал несмышлёныш! – И мстительно решил: – Вот скажут на рожке поиграть, а я в ответ – не могу! Язык прикусил!»

Хоть и знал в глубине души: всё пустое. Родителям не откажешь. И любимый рожок немотой карать грех.

Он всё же крепко надеялся – вот сейчас Атайка как ни в чём не бывало выскочит из-за надымов. Подкатится, виноватая, пятнистым клубком, вскинет лапы на плечи, собьёт мордочкой меховую личину... Сколько он её за это ругал!

– Добрая Владычица, что тебе сто́ит... Пусть Атайка вернётся! Я каждый день на рожке хвалы играть обрекусь...

– Будет тебе Царица ко всякой мелочи снисходить, – щунул брат.

День тянулся до вечера. Атайка не появлялась. «Зайца погнала?.. Домой повернула?.. Эх...»

Уже падали сумерки. Отец стал отряжать старшего вперёд, разведывать притон для ночёвки. Подошла мать:

– Боязно мне, Тарута... Может, без ночлега пойдём?

Отик сильной рукой приобнял её на ходу:

– Отколь боязнь? Завтра берег. И то большого поезда ещё ждать стоять.

Мать с ответом не нашлась. Оно понятно, бабьи страхи кто исповедает! Однако неуютно было и отику, всегда решительному, властному. Что причиной, ведь не пропажа Атайки понудила озираться? Может, дело было в том, что Зорко-вагашонок, задёшево скупивший у него всё, что в сани не влезло, сам ехать раздумал. Да в последний день, когда Таруте с домочадцами стало некуда возвращаться...

...Всё же остановились. Распрягли оботуров. Дрёмушка привычно

устроил тягачей на приколе. Вынес каждому дачу мёрзлого пупыша. Не очень большую и, наверно, невкусную, а что сделаешь? Всё свежее осталось на последней оттепельной поляне. Дрёмушка спрашивал взрослых, чем станут оботуров кормить в лодье среди Киян-моря. «Рыбьими головами сушёными», – сказал брат. Отец отмолчался.

– Завтра лес будет, – на ухо пообещал Дрёмушка гнедо-пегому кореннику. – Хвои полакомиться наберу!

Ждал ответной ласки, но бык неожиданно фыркнул, мотнул головой. Ткнул Дрёмушку в плечо рогом. Больно даже сквозь кожух, обидно и... необъяснимо тревожно. Словно подтолкнул: «Убегай!»

– Сдурел?..

Залаяли обозные псы, строго повысил голос отец. Дрёмушка увидел лишние тени возле саней. Много. «Из большого поезда! Встречают! Но ведь отик не ждал?..» Дрёмушка испуганно присмотрелся. Чужаки были всё крупные, двигались неспешно. Одеты поверх шуб в белёные балахоны. Звероловы?.. Да какая ныне ловля?

– Обманул, стало быть, вагашонок, – сетовал вожак пришлых. Он стоял скалой, возвышаясь над всеми. Опирался вместо кайка на снятый с плеча двуручный цепной кистень. – Рядил нас в опасную службу с полдороги до берега, а сам где? Уж мы Зорка ждали, ждали! Сон забыли, измёрзлись, весь припас съели. А он!..

Отец комкал шапку.

– Не взыщи, милостивец... – Странно и жутко было слышать, как подрагивал всегда уверенный голос. – Мы ряды вашей не видывали, обид тебе не чинили. Кто тебя в убыток ввёл, на том доправляй, а наспусти невозбранно!

– Это с чего бы? – добродушно удивился главарь. В распахнутом вороте, наводя страх, мерцала кольчуга. – С Зорком вы из одной круговеньки в путь собирались, одним поездом. Значит, ответ общий. Он от слова спятил, а расплата твоя.

Тот всегда прав, за кем сила. Тарута скрипнул зубами:

– Ладно, государь ватаг... Чем тебя в обиде утешить?

– А половиной всего, что за море везёшь.

Мать с невесткой отозвались стоном. У них без того каждодневный разговор был: хватит ли в мошне серебра, чтоб работник с чернавками «мимо ига прошли». Отец дёрнулся говорить, но вожак вскинул руку:

– Лишнего не возьмём, чай, не звери какие. И то даже прощу, что ты моих парнишечек злой собакой травил.

– Какой ещё собакой?..

Дрёмушка померк, закусил согнутый палец.

– А парнишечки вас приметили, поздороваться вышли... глядь, псица летит свирющая, укусить метит!.. Хорошо, не успела.

«Не вернётся Атайка. Не прибежит...»

Дрёмушка ничего не знал про иго, так пугавшее взрослых. Дулся на отцовский запрет держаться у поезда. С трудом разумел, о чём так тревожно шепчутся ночами отец с матерью. Зато теперь было ясно: вот оно и случилось. То, что боялись вслух поминать. Как ни береглись, худшее несчастье услышало и пришло.

– Отдашь волей, возьмём добром, – повторил ватаг, нажав на слово «добром». В прорезях личины как будто собственным светом горели маленькие голубые глаза. Хищные, безжалостные.

– Зорко-вагашонок приедет, возместит, – глумливо пообещал другой.

– Или мы с него взыщем, заглянешь к нам, отдадим, – хохотнул третий. У него торчали из-под треуха тёмно-медные патлы. Вожак поглядывал на парня, как на любимого унота.

Четвёртый как бы невзначай толкнул старшего брата. Тот, гордый задира, качнулся, смолчал.

Дрёмушка успел представить, как сейчас все домашние животы будут выложены на две равные кучки, пойдёт спор, что отдать, что оставить. Успел решить: «Нет, ну на рожок не позарятся...» Вышло иначе. Холщовые балахоны просто влезли в оболочки саней, начали выкидывать на снег всё подряд. Полетели узлы, мешки, пестери, любовно уложенные к отъезду. Уцелевшие обозные псы вновь кинулись. У двоих чужаков качнулись в руках самострелы. Один кобель ткнулся в снег и умолк, другой покатился с визгом, хватая зубами шерсть на боку. Жадные руки пороли и разбивали выкинутое, выбирали, что поценней. Новую одежду, съестное, короб со стрелами... Дрёмушке стало не до рожка. «Это ж сколько хлопот, всё заново собирать...» Тяжко бухнулась в снег братнина жёнка. Не успела взять из саней люльку с груднышом, сунулась, её отпихнули. Над бабонькой склонился рыжак:

– А не на тебе ли, красава, серебришко да честные каменья припрятаны?..

Из болочка отозвался пронзительный младенческий плач. Чужие руки ворошили пелёнки, перетряхивали одеяльца. Искали сокровища.

Дрёмушка дёрнулся, ладонь отца пригвоздила, стиснув плечо. «Бессмысленное дитя не потеря. И баба... отмоеся. А вот если некому

будет родить, не от кого зачать...»

Старшего сына, ещё не выстрадавшего эту горькую и жестокую мудрость, Тарута остановить не успел. Рыжак отлетел кувырком, закричал, вскакивая:

– Наших...

Не договорил, упал вновь. На него, выкинутый из оболочка, рухнул один из двоих, что там шарили.

– Наших бьют!

А дальше всё начало свершаться одновременно. Дрёмушка не уследил, как взмахнул страшным телепенем вожак. Голова отца превратилась в тёмные брызги. Вот так просто. Была на плечах и вдруг быть перестала. Тяжёлое тело завалилось на Дрёмушку, подмяло, обдало липким. Разум ещё не постиг: ничто не вернётся, булькающая тяжесть не распрямится живым отиком, – а из саней, неся на плечах заднюю полсть, горбясь, обнимая себя, то ли выпал, то ли выбрался брат. Прошёл два шага, догоняя отползающую жену. Клонясь, гнулся ниже и ниже, прокладывая по снегу чёрный в сумерках след... упал наконец, скорчился. Смолк детский плач, так смолк, будто никогда и не было у Дрёмушки маленького племянника. Зато начала по-звериному страшно кричать мать. Ей закрывали рот, женщина сбрасывала чужие руки.

– Сыночек! Беги!

Она была совсем не старая, мама, родная, полнотелая, добрая. Взрослые думали, Дрёмушка совсем ничего не знал про баб и мужчин, но он знал. Он вылез наконец из-под кровавого груза, нашарил поясные ножны. Пригнувшись, подскочил к убийце отца. Не повезло – запнулся. Падая, изловчился воткнуть ножичек врагу под колено. Отчаялся, оценив стёганую толщу штанов. Обрадовался, когда острое лезо всё же нашло, зацепило, вдвинулось в плоть. Тут мир вспыхнул белым, разлетаясь на части. Уязвлённый зипунник, невнятно взревев, отмахнулся рукоятью кистеня.

Предутренний мороз обратил кровь, ушедшую в снег, крепким, основательным льдом. Над выпотрошенными санями висела неподвижная тьма. Густой иней одел разломанные тела и уже не таял, покрывая нагое бесстыдство. Скоро, ведомые чутьём, приблизятся осторожные волки, налетит голодное воронье. Учинит над останками хмельную без вина, крикливую тризну. Упокоит по обычаю, что древнее исконных людских вер. Лесной народец всякой малости рад. Росомахи и горностаи – не подорожная шайка, пресыщенная добычей. Разбойники покинули сани,

ведь они оставляют глубокую, вмятную полозновицу, а мало ли кто вздумает по следу пройти?.. Бросили, зачем-то перебив, горшки для готовки. Отвергли слишком окровавленную одежду. Помнили: Хобот через такой суконник из Шегардая еле ноги унёс. А отмывать – пальцы до ладоней сотрёшь. Висели клочьями рогожные оболочки, валялись опорожненные кули. В лёгких чуночках да за плечами всего не уместишь. Разве навьючить пленного работника, едва живого от страха.

– Дитё... зря ведь, братцы...

– Вот ещё. Груднышу без мамки куда?

– А хоть Чаге к титьке. Баба вымистая, молока хватит небось.

– К титьке! Седмицу лесом везти?

Вожак ярился и бедовал. Не мог своим ходом идти, какое санки тянуть. Ножик сопливца вроде колупнул-то слегка, а штанина с меховым сапогом вмиг отяжелела от крови. Затянули жгут, самого на оботура верхом! Так и поехал, ругаясь, вместо двух совсем не лишних тюков.

– Всё равно Владычице согрешили... ну как воздаст?

– Её суд далеко, людской близко. А его избежим.

– Экой ты страшливый, Марнава!

– За всё воздавать – и казней не хватит.

Из-за восточного окоёма недолго оставалось ждать света, когда под кучей хлама зародилось движение. Слабое, медленное. Выпросталась рука, непослушная, уже по локоть одеревеневшая на морозе. Рука, обречённая никогда не налиться мужской творящей, играющей силой. Кое-как сдвинула раздавленную плетёнку. Дрёмушка посмотрел в синюю бездонную тьму:

– Мама...

Получилось еле слышно, невнятно. Удар, смертельный для взрослого, лёгкого телом мальчишку отбросил и оглушил. Недобитка в сумерках поди распознай! Облупили, уехали. А дальше ночь на морозе. Дрёмушка знал, что умирает. И ещё что мама не отзовется. Подал голос просто с тоски, однако вблизи тотчас прозвучало:

– Всё хорошо будет. Не бойся.

В голосе было много от маминого. Безбрежное спокойствие и любовь, что так нужны младенцу в колыбели и воину, испортому копьём. Дрёмушка чуть повернул голову. Рядом сидела женщина, сотканная из той же тьмы, лишь означенная чуть приметным свечением.

– А я не боюсь, – сказал Дрёмушка. – Больно только. И холодно.

Женщина взяла его руку. От промёрзшей пясти вместо боли стало

растекаться тепло.

– Всё пройдёт...

– Мама говорила, я весну должен увидеть...

– Увидишь. Ты скоро снова родишься.

– Правда?

– Правда. Смотри...

Дрёмушке словно протёрли глаза. Сошла мутная пелена, тьма рассеялась, всюду был нежный, золотистый туман. Он густел, становился ярче, прозрачными столбами вырастал над раскиданными телами. Дрёмушка увидел маму, она озиралась, неуверенно улыбаясь. Вот приблизился отик, обнял за плечи. Светлыми тенями подплыли брат с женой, за ними чернавки. Невестка держала на руках сына. Дрёмушка ощутил прикосновение ко лбу, поцелуй... Слабо закашлялся, освобождённо вздохнул – и без усилия встал, чтобы идти вместе с семьянами. На снегу осталось лежать что-то сломанное, остывшее, с торчащей неподвижной рукой.

Напоследок Дрёмушка оглянулся. Издали вприпрыжку догонял комочек света. Обретал знакомый облик.

– Атайка!

Вот теперь всё было хорошо. Впереди мерцала, манила тропа, плавными извивами уводившая вверх, вверх.

Воруй-городок

У тёплого озерца раньше было звериное царство. В крутом северном берегу рыли норы волки и барсуки. Южный, где среди валунов лезла из земли упрямая сныть, служил родильным чертогом лосихам и ланям. Ныне меж валунов паслись оботуры, а на красной лужайке над давно забитыми норами стояли шатры. Удачники ещё грелись мехами, добытыми в первую весну воруй-городка.

Жилище боярыни Куки напоминало кочевую вежу хасинов. Снаружи – войлочные полсти, натянутые на складные решётки. Внутри – ковры, шкуры, тканые завесы, достойные храмов. Великое место завалено подушками, обогрето жаровнями, а уж изукрашено – ну сущий престол. Кому, если не боярыне Куке, смыслить в убранстве! Небось не в каком-нибудь Коряжине росла – в стольном Фойреге. О ней праведные вздыхали, царедворцы из ревности на поединках дрались.

Облокотясь на вышитые подушки, боярыня предавалась излюбленному занятию. Листала книгу, толстую, старинную, выкруженную по образу сердца, как принято его рисовать. Для неграмотных приближённых книга была святыней. Кука, ловко и бесстрашно с ней управлявшаяся, без сомнения, обладала могуществом жрицы.

– «Для белизны зубов, – не спеша читала боярыня, – возьми свежего морского ореха, зреющего на прибрежных обрывах, среди брызг и тумана. Расколи, не вымачивая. Мякоть разжуй; горькое масло впитается в нёбо и достигнет корней волос, придавая им блеск. Скорлупу же, истолокши непременно в каменной, всего лучше яшмовой ступке...»

Бабы, кому благоволила боярыня, сидели в кружок. Вязали, шили и штопали. В этом шатре грубые и горластые разбойничьи жёнки-малохи становились нежными скромницами. Комнатными девушками при дворе, доверенными госпожи.

– А как быть велишь, матушка, коли негде взять его? Ореха морского?

– Да свежего...

Боярыня досадливо сложила книгу, не убирая, впрочем, со страницы пухлого пальца. Из-под драгоценной кички на плечи спускались две косы: зримый знак распутства, носимый с вызовом, как венец. Косы были тугие, чёрные, не иначе мытые вороньим яйцом, изгоняющим седину.

– Ну вот что мне с вами, простынищами, делать? – вздохнула она. –

Учу вас, учу!.. Ореха тебе нету морского! Гульника в озере налови. Ещё и горечью не надо будет давиться.

– А где... ступку бы яшмовую...

Боярыня закатила глаза:

– От глупости, как от горба, только домовина избавит. К Марнаве своему приластись, добыл чтоб! Сумеешь приласкаться, он тебе украдёт, купит, сам вырежет. Сноровку, поди, не всю растерял?

Малохи напряжённо внимали. Усваивали премудрость. Легко ли с умишком, нажитым за прялкой да у печи, тонкости обольщения постигать!

– Матушка... сама ты как вельмож улещала? Ведь они тебе в золотых коробочках... из-за моря, из-за синих лесов предивные снадобья...

Боярыня вытащила палец из книги. Зрелая, ухоженная красавица, видевшая таких и такое, что разбойничьим друженкам Боги и во сне навряд ли покажут. Мечтательно уставила взгляд под войлочный кров, где порхала в токах тёплого воздуха, вертелась деревянная птица. Улыбнулась, перебирая былое. Мальчишескую простоту великих мужей. Свои подвиги любодейства. Бабоньки не смели дышать. Вошла служанка Чага, открыла рот, на неё зашипели.

– А я, – наконец промолвила боярыня, – каждому возлюбленному свою красу нетронутой подносила.

Потрясённое женство сперва ушам не поверило. После одной грудью выдохнуло:

– Да как?..

Кука усмехнулась:

– Много способов есть. Думаете, если вы умом не дошли, значит, никому не управиться? Вот что книга гласит. – Она привычно перевернула листы, жёсткие, покоробленные сыростью. – «Если ждёт тебя строгий жених, а ты боишься злочестия, налови голодных пиявиц да приложи не скупясь. Пиявицы, насосавшись, тело сожмут и кровавые печёнки покинут. Кто потом ославить решится, будто не честна в опочивальню вошла?»

Малохи, забыв рукоделье, слушали жадно. Сколько же всего хранили страницы, постижимые лишь для боярыни! Сколько тёмного, запретного и манящего, словно огоньки над трясиной!

– А заползут? – пискнул робкий голосок. – Заползут если?

Кука снова закатила глаза, дивясь неразумию. Посмотрела на говорившую, как на дитя. Соизволила наконец заметить служанку:

– Тебе что, Чага?

Молодёнка была из тех, что в родах и материнстве не вянут. Статная, крепкая, оглоблей не перешибёшь, щёки кровь с молоком, глаза телицы,

только ресницы подкачали, слишком белёсые. Чага ответила густым голосом, каким песни петь, чтоб в другой деревне пугались:

– Дозорные бают, матушка! Лутошка полем бежит.

Полем она бесхитростно именовала болото. Боярыня Кука собралась было задать ума, не успела. Полсть откинулась, повеяло холодом – вошёл сам вестник.

Медные усики, молодая бородка, сильные плечи. Кто б узнал пугливого паренька, прибившегося к телепеничам два года назад! Сметливого новичка давно уже величали Лутоней. Прежнее имя дозволялось жожаку да подглаварю Марнаве. Эти всей шайке отцы, любого как хотят, так и зовут. Что до баб, Лутошка остался Лутошкой только для Чаги, потому что ей кол на голове затесать было проще, чем новому научить. И ещё потому, что она делила с ним ложе.

Лутошка ударил боярыню Куке малым обычаем:

– Мир на беседе, матушка! Вели столы-скатерти готовить добрым молодцам к возвращению.

Боярыня отложила книгу, заботливо подалась с подушек вперёд:

– Все ли живы, все ли в добром здравии с промысла едут?

Потеряв Кудаша, она завела обычай спрашивать не о подвигах и добыче, только о здравии.

– Ну что, все живые, – ответил Лутошка. – Одна беда, батюшку Телепеню подраненного везут.

Боярыня ахнула. Схватила за сердце. На лице сразу проступил истинный возраст.

– Слыхали, дурищи? – накинулась на приближённых. – Телепенюшка за вас раны тяжкие принял! Лыжи мне скорей! Встречать побегу, все язвы кормильцу повью, боль уйму...

– Не полошись, матушка, – поднял руку Лутошка. – Уже скоро сами здесь будут. И о батюшке не кручинься, не сильно заразило его. Оботура поседлали ему, просто чтобы ногу не вередить.

На лице боярыни медленно разглаживались морщины, угасали красные пятна. Отдышавшись, Кука снова взъелась на перепуганных баб:

– Что расселись, бездельницы? Вовсе страх потеряли? Мужики для вас животы слагали в походе угрожающим! Сейчас ворота минуют, а у вас столы-скатерти приготовлены? Мыльня нагрета?.. Учю, учю дур, да, видно, без плётки толку не будет...

Малохи кинулись вон. Последней, оглядываясь, шатёр покинула Чага.

– А ты, Лутонюшка, присаживайся с дороги да сказывай толком, – велела боярыня. – Всю правду мне исповедуй! Как есть!

Вернулась служанка, подала деревянную чашку, полную горячего взвара.

– Ну что, – начал Лутошка. – С зубами оказался кошель...

Кука слушала не перебивая. Напряжённо раздумывала. Лутошка даже догадывался о чём. Живя в Чёрной Пятери, он насмотрелся благородства, равнодушия, хитрости и жестокости. Выучился людей понимать. Никогда бы домашняя жизнь не дала ему подобной науки. Он рассказывал друженке главаря о схватке с переселенцами и видел, как могучий Телепёня переставал быть для неё неуязвимой опорой. Что делать, если и он оплошает, как прежде Кудаш?

Под конец рассказа боярыня Кука поглядывала на крепкого и смышлёного парня, явно что-то прикидывая. Лутошка под этим взглядом волновался, радовался, предвкушал.

Помыслим и сотворим

– Матушка богоданная... Свѣтелка ребята на беседу зовут. В Затресье. В гусельки поиграть просят... Что присоветуешь, благословить ли?

Равдуша сидела на половике. Гладила двух толстых кутят, уткнувшихся в миску. Одна сучонка была смурая при белой грудке и мордочке, другая чёрно-пегая с рыжиной на бровях. Зыка сурово поглядывал на дочерей. Лежал у порога, подмяв головой старые хозяйские валенки.

Перед бабушкой Коренихой выстроилась кукольная дружина. Воевода с занесённым мечом. Стяговник, старшие витязи. Отроки, оружные луками и пращами... Как их расположить, внятным боевым строем или чтоб красивей смотрелись? Тряпичные человечки послушно менялись местами. Не торопясь отвечать, Корениха кого-то поставила на колено: пусть целится из-за куста. Взяла в руки другого, задумалась. Отвечая её мыслям, кукольный воин беспомощно запрокинулся, прижал полотняные ладошки к груди...

Может, именно так и творила людские участи Матерь Судеб в своей ремесленной среди звёзд.

Бабушка задумчиво проговорила:

– Хочу Светелка попросить. Выточил бы гусельки с вершок, витязю дать... Как думаешь, сладит?

– Сладит, вестимо, – обрадовалась Равдуша. – Вот и хорошо, матушка. Пусть уж дома сидит, тебе способляет. Найдёт ещё времечко погулять.

В прошлом году дитяtko тоже разлетелось было с дружками на беседу досветную. Сынок малый, глупый, готовый тут же за порогом беды себе наискать!.. Равдуша не благословила тогда. У самой сердце, помнится, заходило: а послушает сыночек? Ну как возмутится против материнского слова?.. Светел не восстал. После с кем-то дрался из-за насмешек.

Теперь поди вот так прикажи. С его-то опытом в Торожихе.

Корениха подняла голову:

– А по мне, пустила бы парнишечку на белый свет позевать.

– А подбитый глаз выгуляет?.. – пришла в отчаяние Равдуша. – Там ребята все сердитые, колошматники!

– И что? – фыркнула бабушка. – Вот сын мой, память ему негасимая... покуда парневал, рожу с вечорок исписанную столько раз приносил!

Лохматые сестрёнки до блеска вылизали мису, отправились теребить

отца. По уму надо было ещё в том году оставить от Зыки щенка. Не оставили: всё казался крепок и горд. Кто ж знал, как сдаст после Торожихи!

Равдуша не склонялась:

– Путь долгий...

– В Затресье-то? Хаживали и подальше. С дорогой три дня всего. Хочешь, чтобы внуки большаковы мальчонке опять проходу не дали?

– Насмешка глаза не выест!

– А Розщепиха сюда придёт воду мутить. О кровях его пришлох рассуждать.

– Да их младшенький затем только на беседы ходил, чтоб Гарко при нём не слишком задорничал!..

Корениха улыбнулась, кивнула.

– Я тебе и не велю с ним Жогушку отправлять. А Светелу порно уже побольше воли изведать. – Подумала, помолчала. Решительно выпрямила, оживила сникшее тряпичное тельце, заставила воина вскинуть голову. Сама с ним выпрямилась, приговорила: – Крылья расправит, может, в самом деле Сквару найдёт.

Утро принадлежит старикам. Их сон недолог, некрепок. Старики просыпаются рано, растапливают печи, садятся валенки подшивать. День – время полных сил взрослых. Тех, кто подьёмлет основные заботы и хлопоты жизни. Вечер с ночью – празднество молодых.

До Затресья оставалось не больше версты. Бешеной собаке, говорят, и сотня не крюк, а весёлым холостым парням подавно. В тягость ли день с утра ломать наракуй, если на том конце любушки заждались?

– Гори дрова жарко, приедет Гарко!

– На писаных санках!

– Сам на кобыле, брат на корове!

– Шабрята на телятах, на пегих собачках!

– Рогожникам обида с такого вида...

В очередь мчали лёгкие саночки, где сидела счастливая, закутанная Ишутка. Берегла гостинчики, чехол с гусями.

Светел бежал по свежей лыжнице, предвкушал, улыбался и... сам себе казался воришкой. Ну, может, не воришкой, но большекромом – уж точно. Тем, кто без смущения хватает лакомый кус, тянет в рот.

«Мог ещё лапки заплесть... теснинки париться уложить... А как они без меня Зыку через порог?..»

Не с такими бы мыслями на весёлую беседу спешить.

– Опёнок! Слышь, Светел! Что присмирел?

– Наш Опёнок долго молчит, потом гуселишки ка-ак вытащит...

– У иных по одному голосу, у него – сам-десятый!

– А шапку снимет, сразу светло.

«Зыка... Ничего! Ещё поднимется старичок...»

– Когда наши последний раз со своим гусяром выбирались?

– Когда, когда... При отцах ещё.

– Держись, зарогожники! Солнышко припомним! Знай Твёржу!

Светел делал усилие, отодвигал домашнюю печаль. На смену тотчас являлась другая. О голосе-корябке, руках-сковородниках. Которым дрова колоть, а не струны без толку мучить.

«Начну гудить, засмеют... Всю Твёржу со мной...»

Хотелось немедля остановиться, раскрыть чехолок, ещё раз проверить заготовленный наигрыш. И проверил бы, но бежали холмами, через самый мороз. Лыжи свистели по ледяному черепу, по отличному взёму, зато даже в меховых личинах было не жарко. Начни играть, струн до места не донесёшь.

Вот когда засмеют.

– У Пеньков Зыка заплошал. Худо есть стал.

– В избу взяли, вона как.

«А я веселиться иду!..»

– Крепкий Зыка, полежит, встанет.

– Эй, Опёнок! Как он, дочек признал или мужевать лезет?

– Куда там лезть ещё, сосунки!

Ночь стояла светлая, серебристая. Размазанный пуховик зеленца обнимал песчаную косу, делившую мелководное озеро. Под пологом тумана мерцали тёплые звёздочки. Огоньки двигались, с разных сторон тянулись к большому овину, откупленному для посиделок. Это собирались местнички. Над овином поднимался дымок: девки наверняка уже сидели внутри. Ценовали плющенные стебли, делали вид, будто лишь о материнских уроках и думают.

Раньше кругом шелестели зелёные плавни, давшие прозвание деревне. Трестняк и теперь умудрялся выпускать стебли. Хилые против прежних, но на рогожи годились. А рогожа всякому в хозяйстве нужна. Оттого Затресье жило припеваючи. Большими ложками хлебало кулеш из болотных корней с гусиными шкварками. Шумно выезжало на купилище в Торожиху. Взыскательно косилось на пришлых парней, увивавшихся за румяными ткачами.

Знамо дело, отвернись, тут и увезут в нищую дыру вроде Твёржи.

Гарко, старший внук большака Шабарши и ватажок в этом походе, первым сдёрнул надоевшую харю, оттолкнулся, с воплем ухнул вниз по заснеженной крутизне. Парни заулюлюкали, засвистели, посыпались следом. Взвизгнула на санках Ишутка.

Сейчас в тепло! В доброе насиженное тепло, звенящее девичьим смехом, напоённое запахами угощения...

...Какое! Вынырнув из тумана, твёржинские натолкнулись на крепкую стайку местничей. Парни загодя выстроились стеной, спрятали за широкими спинами своего гусяра.

Светел пригляделся к ватажку затресских, узнал, обрадовался:

– Зарничек! Я тебе лапки привёз.

Тот лишь вскинул голову, надменно изломил бровь. Дружеский разговор будет после. Когда уймут кровушку из «подрумяненных» в честной сшибке носов, разыщут все шапки, отдадут девкам пришивать оторванные рукава.

За надёжными плечами знай пробовали голоса струны. Затресский гусяр Небыш подкрутил последний шпенёк, покрепче притопнул, ударил сверху вниз кусочком плотной берёсты.

Отвечай при всём народе,
Из какой такой глуши
Люд разбойный ходит, бродит,
Всех гусей расположил?

Светел торопливо встряхнул берестяной чехолок, вынул гусельки, что хаживали по беседам ещё с молодым дедушкой Корнем... подпрыгнул, чтобы притоп вышел весомей, чем у соперника.

Про честную про беседу
Нам напели снегири.
Мы пришли друзей проведать,
Девкам прянички дарить!

Созвучья красного склада он заготовил ещё дома. С какими трудами – лучше не поминать. От самой Твёржи вместе с наигрышем повторял. Теперь ему и слова, и бисерные раскаты струн казались неуклюжими, скучными, одной рукой отмахнуться. Ну, куда денешься, других всё равно

не принёс.

Худшие страхи воплотились немедля.

Затресские начали обидно смеяться, вся шаечка снялась с места, двинулась по кругу. Мётили перебить дорожку твержанам, те не давали. Оба гусяра старались вовсю.

Подвалили к нам не наши
Дармовое пиво пить!
Больно лихо Твёржа пляшет,
Как бы лоб не расшибить!

Гарко с Зарником ударились плечами. Столкновение получилось далеко не любошное. Светел исполнился злого вдохновения: а вот не хвастаться вам, будто Твёржу переплясали, переиграли! Руки полетели по струнам, он забыл гадать, кто что про него подумает или скажет.

Мы приходим к вам нечасто,
Пива хватит до утра!
А плясать и впрямь горазды,
По работничкам игра!

Загусельщики бряцали нарочно всутычь, вперекор, сшибая один другого с меры и лада. Поддаться, уступить – что боевой дружине стяг выронить!

Дедушкины гусли не подвели. Пели верно, весело, нóско. Задирали, смеялись. Опёнок приручил не всё подсмотренное у Крыла, но для побеждения вражишки, похоже, хватало. Небыш раз за разом пускал по кругу один излюбленный перебор – отворю да затворю, утону да вынырну! Светел отвечал ему всё новыми, злясь, радуясь, торжествуя.

Рогожники духом не падали. Помогали своему гусяру, орали, ревели:

К нам за стол любой мостится,
Нашим девкам всяк жених!
Только суженых девицам
Подберём среди своих!

Гарко и Зарник снова толкнулись. Оба – добрые молодцы во всём цвете юного мужества. Оба в прежние годы уносили боевой Круг. Такие увлекутся – до стеношной битвы недалеко!

Ты совет запомни, друже:
Стерегись метать слова.
Языку болтать досуже,
А в ответе голова!

Эти строчки Светел припечатал перебором из тех, которые пальцы выделывают как бы сами, по наитию и восторгу... а разум ещё месяц тщится понять, отчего полопались струны.

Из овина высунулась девка, пискнула, спряталась. Светелов соревнователь всё не сдавался: уступку признавать не лицо. Затресские почувствовали, как дрогнул гуслияр.

– Эй, Светел! – выкрикнул Зарник. – Глянь, Крыло идёт!..

Оговор вышел что надо. Светел аж запнулся, чуть не выронил гусли.

– Твержане до самого тла оскудели! – возрадовались местнички.

– Косорукие, андарха гудить привели!

Светел оскалил зубы. Пальцы бешено заплясали, рождая всё новые попевки. Небыш ещё воевал, но не мог ни переиграть, ни повторить.

– Не твоё дело, Ойдригович, на наших посиделках играть! – кричали затресские.

– Ишь взялся гусли сквернить! На-ка вот тебе уд андархский!

В растоптанную слякоть под ногами шлёпнулся лёгкий короб с длинной, беспомощно свёрнутой шейкой, с обмякшими жилами струн. Посыпались шуточки по поводу разбитых, отбитых, сломанных удов:

– Ещё не так оттерзаем, когда за Светынь обратно погоним!

Опёнок заглушил струны ладонью. Нагнулся, поднял увечную снасть. Тонкий ковчежец отозвался прикосновению. Жалобно, слабо, но всё-таки отозвался. Может, попробовать оживить...

– Мы? – хмуро осведомился Гарко. – Ты, заводняжка, многих сам оттерзал?

Кажется, шутки кончились.

Зарник сложил руки на груди. Как не оскорбиться, когда называют младшим у рогожного стана!

– Наши прадеды небось чужих не пускали в своём огороде что попало сажать!

«А я тебе такие лапки добрые выгнул. Нёс, радовался...»

Гарко вдумчиво кивнул:

– Деды, может, и не пускали. А внукам, значит, андарха на гусях не победить.

– Светелко не из тех, – высунулся Велеська, Гаркин братёнок. – Наш он, твёржинский! Его си...

Хотел сказать «симураны принесли», старший брат не дал, вразумил подзатыльником.

– Ну вас, зарогожников, – сказал Светел. Вспыхнувшая было драчливая злость так же быстро опала, оставив одну глухую тоску. – Коли так принимаете, побегу-ка домой.

«А решат ребята на веселье остаться...»

– Беги себе! – скривил губы Зарник. – Хвост поджав, как отцы твои бегали!

Гарко не остался в долгу:

– Вот же взялся предков тревожить. Собою на что годишься? Только храбрый, когда сам-двадцатый на одного?

– Ну, не двадцатый, – начал загибать пальцы Велеська. – Десятый.

Другой парень, Гневик, поправил:

– Тринадцатый, а нас шестеро.

– Семеро! – тонко возмутился Велеська.

Светел отдал в руки малышу поломанный уд. Потом чехолок с гусями.

– Что высчитывать, – проговорил он хрипло, неспешно. – А не переведаться ли нам, друже Зарничек, один на один, раз я так здесь не ко двору?

Тот вроде смутился:

– С тобой? Да тебя и на Кругу не видали.

Твержане пошли смеяться. Светел тоже засмеялся. До хруста распрямил пальцы. Сжал кулаки. Рядом снова бухнула овинная дверь, высунулась и с визгом спряталась девка.

Парни без сговора начали отступать, давая место единоборцам. Светел вышел на середину, почти с отчаянием вглядываясь в себя. И вот ради этого перетирал пальцами струны? В брызги колотил мешок, распинался на перекладине? «Думал, всех смету ради брата, а вышел другому брату рожу подкрасить. За правду, по сути. И кто на самом деле мой брат?..»

Первый кулак Зарника он пустил мимо себя. Это оказалось настолько легко, что горечь сменилась удивительной ясностью. Вот как надо!

– Раз!

Светел взялся ломать весёлого, рваные движения метали его в стороны, вверх-вниз. Гарко, сам игрец не последний, взял было гусли, но под ногу Светелу попасть так и не смог. В драке Светел всегда жил на мгновение впереди супостата. Зарник, багровея, пудовыми ударами месил пустой воздух.

– Шесть! Семь! – веселились твержане.

Просто так стоять было холодно, они тоже пошли плясать, хлопать себя ладонями, Велеська стучал по гулкому берестяному чехлу. Зарник вдруг растопырил руки, захотел облапить, свалить... Куда! Промазал, не удержался, взрыл талую землю головой и плечом. Мгновенно вскочил.

– Нож!.. – завопил Велеська, указывая пальцем. – Нож! Све-е-етелко...

Редкая беседа задаётся без рукопашной. Спину кому отходить, бока нагулять, рожу искрасить – дело святое. А вот ножовщину затевать... Никто не ждал, стороны чуть промедлили сообща скрутить забияку. Светел тоже увидел тусклое железяко, медленно взлетающее у Зарника в кулаке. Увидел дурной взгляд...

Потом ему говорили, у иных под кожухами разбежался мороз. С чего бы? Опёнок спокойно взял из поленницы две баклуши. Лево́й подправил ору́жную руку, чтоб нож канул подальше, никого не задев. Правой...

И добро бы впрямь стукнул! Он не бил, хотел только остановить. Мало ли чего он хотел. Зарник вмялся рожей во вскинутое полено. Левая бровь так и лопнула. Кровь погасила глаз. Разбрызгалась толстыми каплями по лбу и щеке...

...В точности как у Сквары, когда бабушка его дровиной тогда... за кугиклы...

Сомкнулась на плече незримая пятерня...

Светел отлетел прочь, выронил чурбачки.

– Уби-и-ил, – заверещали над ухом.

Да ну, какое убил. Зарника уже поднимали, вполне живого, даже, кажется, отрезвевшего. Он досадливо сбрасывал чужие пятерни. Моргал, тянул руки к лицу.

Светел молча повернулся, незряче, не разбирая дороги пошёл обратно в туман. Вон с беседы, вон из Затресья. Скорым ходом подальше... Велеська дёрнулся за ним, обернулся на брата: а гусельки? а коробейка эта андархская?.. Гарко нахмурился, кивнул парням, твержане потянулись прочь, и с ними Ишутка, сникшая, молчаливая. Жалко веселья, ан сызмала не приучены своего покидать.

Лыжи, воткнутые в снег, дожидались на морозе. Светел уже завязывал юксы, притоптывал по скрипучей лыжнице. Гарко тоже сунул валенки в

ремённые стремяна, тут сзади накатился, догнал шум, из тумана пёстрым косяком ринулись девки. Крик, писк!

– Вы куда ж это, гостюшки разлюбезные?

– Куда гусяра повели?

– Ждали вас, ждали, уроков без счёта переделали, угощения наготовили!

– Светелко, за что обидеть желаешь?

– Без твоих гуселек ни плавуна, ни частого, ни топотухи!

Девки ловили его за руки, за кожух, уговаривали, тянули обратно. Он вырывался, бурчал, наказывал холить Небыша: довольно хорош. Окидь, севшая на пока ещё малоприметные волоски, делала его нешуточно усатым и бородатым.

– Нейди, Светелко! С нашим пыльщиком поди напляшись, тоска смертная!

– Не уговоришь лишний раз гусельки зажать, струночки подольше налаживать, чтобы нам с ребятами целоваться...

– Мы тебе светец удобно поставим, пот со лба промокнём!

– А ныне уйдёшь, всем гуртом дорогу перебежим!

Самая хитрая всхлипнула, пала перед Светелом на колени, голыми пальчиками стала развязывать обледенелые путца. Это было уж слишком. Девичьих слёз он никогда не мог вынести. Тем более что плакать взялась Убава. Первая источник Затресья. Гаркина любушка.

– Ну вас, ценовахи! – рявкнул он грубым голосом. Миротворицы шарахнулись, но Светел подумал об Ишутке. Сбросил лыжи, позволил себя утянуть обратно в туман.

* * *

А дальше всё шло правильно, как на любой досветной беседе, как Светелу ещё в дороге мечталось. Ладил плясовую под ногу то девкам, то парням. Временами отдавал игру Небышу. Девки наболтали зряшного, тот был вовсе не пыльщик. Ну, может, чуток упорством недобирал. Ещё не выучился играть, как последний раз перед смертью.

В дальнем углу зашивали бровь Зарнику. На это стоило посмотреть. Над внуком гусачника трудился пришлый лекарь, только что чистивший деду глаз от внутреннего бельма. У него была целая шкатулка тонких ножичков, зубных буравчиков, глазных игл. Любопытные девки набили в светец лучин, подавали гладкие нитки.

– А правду бают, будто андархи собственных детей слепят, чтобы те песнями по дорогам кормились?

– Правда. – Молодой лекарь рад был знанием прихвастнуть. – Водят раскалённой кочергой над лицом. Глаза от этого умирают.

– Испекаются? Насовсем высыхают?

– Нет. Только зрачок во всю радужницу и не видит.

Зарник терпел как камень, спрашивал, велик ли останется рубец на хвалёбу перед людьми. Светел обходил его взглядом, но неотступно наплывали мысли про Сквару. Вот бы сейчас рядом приплясывал... в кугиклы свистел... куда веселей против нынешнего всё бы ходило...

Парни и девки в черёд высказывали показать удаль. Крик, топот, хлопки! Лишь одна рогожница молчком сидела в углу, больными глазами поглядывала на твёржинского гусяра. Её звали Полада.

Шутки, конечно, крутились вокруг Гарки с Убавой. Когда Небыш завёл левобережную песню про горечь замужества, его заглушили насмешками:

– Не наша это вера – жён бить!

– Попробовал бы...

– Ишутку того гляди туда отдавать.

– Ох, раскаемся...

– Кайтар не такой! – Светел окончательно сбил песню, был готов хоть струны Небышу оборвать. – Кайтар мне друг!

Храбрые ткахи опять не дали вспыхнуть ссоре.

– Светелко! А четвёрочку можешь?

Это была новая и мудрёная плясовая забава, подхваченная в Торожихе. Её затевали, когда не видели старики. Срам сказать! Парни с девками брались за руки, плясали четами, отчего взрослые норовили схватиться за хворостину. Когда же творить коленца, на лету меняясь дружками, принимались враз четыре четы, за дверью выставляли сторожа. Светел отряхнул усталость, заважничал:

– Обижаете, красёнушки! Как не мочь!

Чтоб затеять четвёрочку, гусяр изволь на зубок, со всеми разноголосьями, усвоить шесть наигрышей. «Знакомство», «девок нарасхват», «чижика», «толкушу», «подгорку»... и, конечно, «гусачка», излюбленного в Затресье. Каждому парню помощи явить доблесть, девке дай проплыть белой лебедью, величавой, неприступной, желанной...

– Ты кваску попей, Светелко. Пирожком подкрепишь.

– А нам квасу? – весело спросил Гарко.

Убава задорно подбоченилась:

– Был квас, да не было вас! Не стало ни квасины, тут вас приносило!

Для Гарки с Убавушкой Светел был готов ещё не так расстараться. Приросла бы Твёржа новым домом, вошла бы в тот дом славная молодая хозяйка... Опёнок благодарно хлебнул вкусного сыровца, отказался от угощения, чтобы не начало клонить в сон. Потёр руку об руку, торопясь снова взяться за струны. Поймал взгляд затресского гуслира.

– Зачинай, – сказал тот. – Подыгрывать стану.

«Аодх! Брат!..»

Светел настолько не ждал беззвучного оклика, что отозвался вслух:

– А?..

И окатило таким ужасом, что пальцы отстали от струн. Больной голос Рыжика, тянувшего к Одолень-мху со стрелой в животе... Опять? Неужто опять?!

«Поспеши домой, брат. Зыка уходит на ту сторону неба...»

...А как они бежали в Затресье! Оперённые радостным предвкушением, лёгкие и счастливые даже после суток пути! Какая усталь, какое что: впереди ждало гордое молодечество, а повезёт, краденый поцелуй!.. Обратная гонка выдалась мрачной, яростной, безнадёжной. Твержане сорвались с беседы, не наплясавшись, подавно не выпавшись в овинном тепле. Помчали в санках Ишутку. Велеська считал себя взрослым, крепился как мог, но скоро поехал на закорках. У Гарки, у Светела, у иных...

– Я ведь не тяжёлый, да? Не тяжёлый?

Могучие парни отшучивались. Прибаутки постепенно иссякли.

Рыжик незримо вился над лесом. Заботился, подсказывал путь, но Светел и сам был зряч в ночном серебре.

«Лети домой, брат! Держи Зыку! Сумеешь?..»

«Сумею».

Золотая искра умчалась вперёд, пропала за небоскатом. Надсада и холод сразу навалились вдвое против бывшего.

«А сам я что? Я что, какая баба брюхатая?..»

Гарко позже сказывал – Светел захрипел сквозь зубы, всех напугав. Успели решить: замлел, падает! А Опёнок вдруг как размахался кайком, как двинул вперёд, полетел – поди угонись...

Зыка дождался.

Его перетащили к печи. Принесли валеночки под голову. Запах Светела на них свивался с запахом Жога Пенька, но старик уже не замечал. Лежал на боку. Смотрел сквозь пелену, часто и неровно дышал. Мать,

бабка, Жогушка – все сидели кругом, гладили, шептали напутствия:

А за мостиком догонишь ты хозяина,
По следочкам выбежишь вподстёжечку,
Ты приветы передай ему сердечные
Да скорей беги обратно домой...

Рядом, сложив крылья, изваянием застыл Рыжик. Пёс как пёс, только непомерно мощный в груди. Сучонки-сестрёнки, смурая да подпалая, испуганно притихли у тёплого бока.

Светел вскочил в избу, даже иinea с козуха в сенях не оббив. Тотчас бухнулся на колени, замкнул круг. Равдуша пригляделась, всхлипнула, потянулась рукой. Сын сидел страшноватый, с покусками стужи на запавших щеках. Даже огненные вихры как будто пригасли. И веяло от дитятка лесом, морозом, чужим очагом... а пуще всего – отчаянием безнадежной погони.

– Зыка, – выдавил Светел, сипло от долгого молчания и от слёз. – Зыка, ты что же это, малыш?

Пёсий век куда короче людского, но сейчас уходил тот, кто был рядом всегда. Светел бросил из-за спины чехолок.

– Я тебе в гусельки поиграю...

Пальцы скверно слушались после кайка. Он не стал их жалеть. Долблёный ковчежец наполнился гулом, не до конца выплеснутым в Затресье. Окликнул Зыку родным голосом дедушки Корня, голосом Жога Пенька. Светел песню не выбирал, явилась сама, единственная, которую он даже про себя никогда не мог допеть до конца.

Было двое нас, братьев румяных,
Неразлучных, как с нитью игла...

Не пел, шептал, задыхался. Как в полёте, забравшись на невозможную высоту. Скварина голосница заслуживала других слов, лучше, чище, добрее. Когда-нибудь он их сложит. Когда-нибудь.

Зыка дёрнул передними лапами, простонал. Светел не глядя сунул гусли братёнку. Ладонями помог приподнять голову, тяжёлую на странно податливой шее. Зыкины глаза прояснились, Опёнок увидел в них отражение света. Туда, к свету, восходила пёсья жизнь, верная и

бесскверная. Взлетала с людских рук – поклониться Матерям... принять новую шубку... опять изведать рождение...

Почему же так горько было провожать её в путь?

Ерга Корениха, Жига-Равдуша, Светел, Жогушка, Рыжик... Зыка, наверное, ещё обонял их, улавливал дотлевающим разумом их присутствие. Младшенький гладил то Зыку, то струны. Струны продолжали звучать.

...И не надо каменных стен...

Мысли Зыки обычно достигали Светела таким глухим отголоском, дремучие, звериные, тёмные. В этот последний раз они прозвучали на удивление ясно, по-человечески:

«Верни солнце!»

Гусли в руках у Жогушки замолкали медленно, неохотно.

Отражение далёких огней дрогнуло, рассыпалось, замерло.

Твёржинские ребята сладили Зыке самые честные проводины. Со скорбным рокотом бубна, с пением дудок, с гусельными раскатами. А как вдохновенно выла Ишутка!..

Бабы слушали с одобрением:

– То-то знатно восплачет, отдавая девичью волю. Скоро уже.

Розщепиха кривилась:

– Не дело по псу тризновать. Снесли бы в лес, и довольно.

Но тут уж Носыню и свои внуки слушать не захотели. Им атя разрешил. Его слово было главней.

И впервые лёг Зыка в те самые саночки, что столько зим и лет исправно таскал. Лёг хозяйски, достойно. Сложил голову на передние лапы. Жаль, дочкам не успел показать, как ходят в алыке, да что ж теперь.

– Я научу, – на ухо пообещал Светел. Сам встал впереди. Повёз Зыку бережно, осторожно, как тот его маленького возил.

И рассыпался звонкими углями щедрый, жаркий костёр...

По пути домой, а как без того, заглянули проведать Родительский Дуб.

Увитый ширинками исполин высился, как прежде, неколебимо. Каменный отломок торчал в древесной груди, словно копьё, пригвоздившее биение сердца. Жогушка раскинул ручонки, обнял подножие Дуба. Потом влез братищу на плечи. Приласкать морщину, оставленную кончиной отца.

Раньше для этого и ему, и Светелу приходилось тянуться на цыпочки. Теперь достиг без труда. Снегу нападало или подрастает парнюга?

– Бабушка, – сказал Светел, когда впереди встали ледяные валы Твёржи. – Ты заметила?

Равдушино полотенце, давно истрёпанное до узла, вовсе исчезло.

Корениха спокойно кивнула:

– Заметила, дитятко.

– И что будет от этого?

Корениха помолчала, вздохнула:

– А будет, Светелко, то, что будет. Даже если будет наоборот.

Он помолчал, переваривая. Ничего путного не придумал. Оставил бабушку, догнал Гарку, выбившегося вперёд.

– Дело есть, брат.

– Какое?

– А забыть не могу, что Зарник молол. Про битвы... как наши деды андархов... твои деды то есть.

Гарко нахмурился:

– Я ватажок. Я ему за болтки язык выдерну.

– Не о том речь, – сказал Светел. – Это я не смекнул сразу оттолкнуть.

Он давай кровями считаться, а я повёлся, дурак. Надо-то было сказать: как мы врагов повергали, когда одним плечом за воеводами шли! Теперь мыслю... О ту пору ведь всякий отрок воином наторялся, дружинное служение принимал. Потом поистёрлось.

– Поистёрлось, – согласился внук большака.

Светел продолжал:

– Ныне дружину только на купилище и увидишь. Да и то какой-нибудь Ялмак вожаком. Плохо это.

Гарко подумал, вновь согласился:

– Ещё как плохо.

– Песен боевых мы в Торожихе напелись, а вправду натекут, кем заслонимся? Где воинство?

Гарко засмеялся:

– Слепого быка для жертвенного пира заколем, чтоб враги путей не нашли.

– Ага, – сказал Светел.

– Ты к чему клонишь, брат, не пойму?

– А к тому, что не худо бы нам в Твёрже свою дружину уставить. Хоть младшую, если старики слушать не захотят.

– Другие вроде не помышляют...

– Другие нам не указ. А мы вот помыслим! И сотворим! И не такую, как у Ялмака. Правскую! По сердцу себе! По чести прадедовской!

Гарко даже остановился.

– Вона куда хватил! – и догадался, прищурился: – Воеводой, знамо, метишь?

– Не, брат. – Светел мотнул головой, глянул исподлобья, упрямо, глаза горели. – Сам воеводой ходи. Я что... я гусяром при тебе, боевым маячником, пока братёнок мужает.

Гарко задумался.

– Ну! – пристукнул в ладонь кулаком, рукавица о рукавицу. – Значит, другой раз рогожникам зададим! Не уйдут даром!

Светел продолжал, не слушая:

– А Зарника подвоеводой к тебе. Чтобы правой рукой был, заменить умел, коли придётся.

– И знамя сделаем!

Гарко уже перебирал хищных птиц, рыб, зверей, каких мог вспомнить.

– Снегиря, – сказал Светел.

– Почему?

– А я знаю! – подбежал Жогушка. – Я расскажу!

– После расскажешь. Науку воинскую у кого переймём?

– Сами обретём.

– Пожалуй, – усомнился Гарко.

– Ну хоть «мама» кричать не будем, если вдруг что.

Помолчали.

– А после? – спросил Гарко. – Как натешимся берестяными шеломами? Сколько было у нас игр, все помалу прискучили.

– Это не игра...

– Всё равно прискучит. Ещё ты, коновод, на сторону глядишь. Вот уйдёшь, ребята и разбредутся.

Светел числил себя тугодумом. Однако сказанное было так неправильно, нехорошо, невозможно, что его осенило:

– А у дяди Шабарши благословения испросим опасного промысла поискать!

Гарко даже остановился.

– Ух ты, – всего и сумел выговорить.

Светел продолжал, глаза разгорелись:

– Помнишь, купца Бакуню Дегтяря в Торожихе ждали, не дождались? Мы бы другого такого на Светыни встретили. Не трусил чтоб.

– И на левый берег выбежать можно. Загодя сговорившись.

– Как станем воинством искусны, всё как есть и разведаем.

– Кайтар! С Кайтаром уговоримся!

– Да он и так не боится ничего.

Теперь глаза горели уже у обоих. Сколько всего! Какая жизнь впереди!

Доля третья

Чёрная Пятёрь

Всякий раз, когда Злат оказывался на снегу, из недр памяти выплывало одно и то же. Ему тринадцать, он стоит на коленях, а кругом – густой сумрачный лес. Он не смеет поднять головы, видит лишь меховые сапоги, переступающие по плотному насту. Злат до сих пор чувствует пёсий запах шерсти на отворотах, помнит узор бисерной вышивки и жемчужное зёрнышко, готовое соскочить с надорванной нитки. Зёрнышко хочется сколупнуть, сунуть за щеку, сберегая до дома. Если потеряется, отец непременно заметит. И кто окажется виноват? Тогда-то лаской вспомнится нынешняя гроза.

«Другой случай будет?! – кричит из-под тёмного неба надсадный старческий голос. – Я, значит, последнее продаю, а мне другого случая ждать велят?!»

Гонец, доставивший восьмому царевичу обидную весть, благоразумно держится опричь, Злат его даже не видит. Сам он не смеет поднять головы – силится вдеть отцовские ноги в ремённые стремяна лыж, но Коршак слишком зол и раздражён, чтобы хоть мало устоять на одном месте. Все уже поняли: никакой охоты нынче не будет, однако повеления подать снегоступы царевич не отменял, а самочинных решений от подданных он не терпел отродясь.

«Это хлевок с утками, а не воинский путь!»

Злат кое-как улавливает лыжей отцовский сапог, правый, где болтается бусинка... Пальцы, заледеневшие без рукавиц, вхолостую соскальзывают с завязок.

«Никчёмный сын шлюхи, зачатый позади нужника!..»

Каёк обрушивается на спину. Искры из глаз! Злат горбится на снегу, прикрывает голову рукавами. Ждёт новых ударов. Однако лыжный посох вдруг валится из рук Коршака, царевич сгибается в кашле. С морозом вроде нынешнего скверные шутки. Разумный полесовник дышать-то старается через шерстяную повязку, какое на воле криком кричать!

И кто опять выйдет кругом виноват, если батюшка разболеется?

К Чёрной Пятери следовало бы привозить из Выскирега впавших в уныние. Тех, кто грустно взирал на повседневность стольного города, замечал плесень медленного умирания и рассуждал о гибели тысячелетней державы. Много ли разглядишь из затхлого подземелья?

Ушедшая вода лишь добавила береговым откосам величия и неприступности. Дорога карабкалась вверх крутыми локтями, плотный ком тумана казался венцом, возложенным на утёсы. Ветер клонил и оттягивал его вершину, рвал косматый хвост на клубы и полосы, уносил в тучи. Пять гордых башен то появлялись, то пропадали во мгле. Одна, самая высокая, чуть клонилась, подрубленная Бедой, но и она собиралась стоять ещё не один век...

Медлительные сани одолели половину взъезда, когда из тумана высыпали мальчишки. В валеночках, в залатанных сермяжных кафтанишках. «Новые ложки», – сообразил Злат. Как есть выскирегские мезоньки. Разве что не такие наглые и вороватые. Мальчишки гнушались следовать дороге. Садились в снег, скатывались напрямки. С поклонами окружили походников, облепили сани, взялись помогать оботурам на последних, самых крутых петлях подъёма.

Мост через заплывший ров давно врос в землю. Ворота стояли распахнутые – зримый знак, что здесь никого не боялись. У ворот собралось население крепости. Несколько старших, ещё подростки и ребятня.

– В доме Владычицы рады послужить рождённому от царственной крови, – поклонился гостю суровый светловолосый мужчина. – Повелевай, Коршакович.

Злат нашёл глазами надвратный лик, тёмный от сырости, коснулся ладонью груди:

– Я привёз от подножья Огненного Трона слово приветов верным детям Царицы... Ты, верно, Лихарь?

Смекнуть было легко. Мартхе не ошибся: перед Златом стоял вылитый Гайдияр, только моложе. Лицо, осанка, мужественная и грозная стать...

Лихарь снова поклонился:

– Мой господин чтит вниманием самого последнего из котляров.

С ним вышли здоровствовать Злату ещё двое, сходные, как отец и сын. Только старший почтенное брюхо уже нагулял, а младший пока нагуливал.

– Идём в тепло, достойный свет Коршакович, хватит перед воротами без правды стоять! В мыльне отогреешься, угостим, чем богаты...

Злат сказал:

– Владыке Хадугу доносят, Шегардай вот-вот украсится новым дворцом вместо старого. А сам я вижу: ты будешь добрым державцем тому дворцу, сын Гелхи.

Польщённый Инберн распустил усы. Всякому радостно сознавать, что его имя знают в столице, в покоях Высшего Круга. Он хлопнул по плечу

круглолицего парня, вытолкнул вперёд:

– Вот, наглядочка готовлю, за меня служить в доме Владычицы... Он тебе всё у нас покажет, расскажет. Кланяйся, Лыкаш, благородному Коршаковичу!

«Лыкаш», – подтверждая догадку, кивнул про себя Злат. Вслух сказал:

– Я лишь скромная щепка от восьмой ступеньки трона. Доведётся ли повидать здешнего волостеля, великого котляра?

Лихарь ответил:

– Мы нынче к вечеру учителя ждём.

Злат всё же пренебрёг советами Мартхе, вздумал явить понимание воинского пути:

– Он, верно, с орудья идёт во славу Владычицы?

Брякнул, сразу понял оплошку. Мораничи переглянулись. Лихарь не унижил знатного гостя, ответил тонко:

– Наш великий отец по земле ходит и воздухом дышит во славу Владычицы. Он третий день сыновей на лыжах гоняет, ныне, вышней милостью, возвратится.

«Прости, друже! Впредь нипочём твоего вразумления не покину...»

Инберн толкнул воспитанника. Воробыш кашлянул, отважился подать голос:

– Благоволишь ли, батюшка высокоимённый гость, глазом посмотреть, хороши ли палаты приготовлены...

Злат милостиво кивнул. Было стыдно и смешно. В Выскиреге он ходил ничтожным для всех, кроме Эдарговичей. В хоромы Высшего Круга сидел всего один раз. На коврике у двери. А здесь! «Как бы под конец похода к царской почести не привыкнуть...»

Лыкаш тоже заулыбался. Оставил робость, повёл знатного гостя во двор.

Недоставало человека, о коем Мартхе рассказывал всего более. «В дозоре? На башне сторожем? В холоднице наказанный?..»

– А где... – начал было Злат. Спихватился, прикусил язык. *Про дикомыта, если что, лучше вовсе не спрашивай, упреждал Мартхе. Тотчас поймут, с какого дерева кукушка накуковала...*

Услужливый Лыкаш повернулся:

– Что, господин?

В это время молодые мораничи во дворе словно бы слитно колыхнулись в одну сторону. Мгновением позже сразу с двух башен, обращённых к заливу, долетел громкий свист.

– Идут! – обрадовался Лыкаш. – Учитель возвращается! Полуднём

раньше, чем ждали!..

Злат оглянулся. Все не занятые обустройством походников бежали вон со двора. Туман взялся вихрями за спиной сурового стена: первый долг Лихаря был наставнику, потом уж всем остальным.

– Не угодно ли будет благородному гостю... – начал старший державец.

Злат даже не вспомнил, вменяла ли что в таких случаях выскирегская чинность.

– Идём скорей, добрый Инберн! Встретить в воротах великого сына Владычицы, это ли не честь для меня!

Вывалившись обратно на снег, он увидел зрелище, достойное памяти.

Внизу во всей славе распаивалась морозная ширь, которую Злат только что измерял своими ногами... и, если по совести, предвкушал не видеть ещё хоть несколько дней. Ребяшня, обойдённая лесной потехой с учителем, гроздьями свисала с края обрыва, галдя хуже птичьего базара. Мальчишки наперебой тянули руки, указывали что-то вдали. Злат присмотрелся. По замёрзшей ладони залива подползали два тёмных пятнышка. Медленно-медленно, одно чуть впереди.

– Пороша вторым, – со знанием дела возвестил кто-то.

– Какой Пороша? Побегка Бухаркина!

– Зенки протри!

– Ну не Хотён же.

– Хотён на ногу тяжёл, пожрать любит.

– Когда это они Ворона обгоняли?

– А когда он тебя, соплюгу, на закрошнях тянул!

Бросились бы в кулаки, только стена и убоялись.

Пятнышки подползали, по-прежнему всего два. Злат попробовал на глаз прикинуть расстояние, а с ним скорость. Получилось – так быстро и птица не пролетит.

По мере того как точки обзаводились ручками, ножками, превращаясь в двоих бегунов, голоса спорщиков стихли.

Злат, впрочем, не слушал.

Он смотрел на переднего, околдованный мощью, безоглядно сжигаемой в последнем усилии. Лыжник отдавал всё, сбережённое на ста вёрстах бега. Достигнув подъёма, пошёл вверх, как по ровному месту. Что за сила нужна, чтобы так-то драться на крутизну!.. У Злата до сих пор жаловались ноги, запомнившие каждый поворот, каждое плечо взъезда. Он начал беспamięтно переминаться, помогать незримым кайком...

Спохватился, нахмурился, перевёл взгляд на второго.

Увидел совсем другой ход.

Этот словно вовсе не касался лыжами снега. Скользил в двух вершках над дорогой, плыл на незримой нити, подцепленной к облакам. Стелился клочком тумана, готовым оторваться от тверди... Никакого последнего, яростного выплеска сил: так, приплясывая, летит с поля позёмка. Злату показалось – мог легко изойти переднего. Просто не хотел.

Они были на верхней трети подъёма, когда в морозной дымке залива показались другие. Отставшие бежали кое-как, не за победу, просто к отдыху и еде... пытались не слишком осрамиться при этом.

Ученики прыгали у обрыва, плескали руками. Гомонили, свистели, задорили своих.

Передний взнял наверх с таким грозным и яростным вдохновением, будто самую крепость собирался приступом брать, – а и взял бы, да там загодя растворили ворота. Злат даже не сразу увидел седую бороду, торчавшую из-под меховой рожи, не сразу ей удивился. Победитель бросил вверх руки с кайком, неизжитое бешенство гонки рванулось хриплым выкриком:

– Славься!

– Славься, Владычица! – грянули ученики. Нестройно, но так, что отголосья загудели в стенах Пятери, чуть не в тучах, поровнившись о Наклонную башню. «Да это ж Ветер, – ахнул про себя Злат. – Сам Ветер...»

Ребятня сарынь уже ползала под ногами учителя. Мальчишки отталкивали один другого, в драку оспаривая честь снять с него лыжи. Злат замер в полусотне шагов. Богатый, строчённый дорогими нитками кожушок в море серых заплатников... Злат казался себе оборванцем на богатом пиру, отчего?.. Ветер вроде повернулся к нему, Злат вострепнулся, хотел приветствовать, говорить, но котляр не задержал на нём взгляда. Сердцем был ещё там, на гнетущих и возвышающих изволоках пройденных вёрст. Второй лучший бегун стоял рядом, точно так же облепленный мелюзгой. Улыбался, держал в руках лыжи. Волосы чёрным свинцом, нос горбатый... «Сквара? Не Сквара?..» – гадал про себя Злат.

Новые ложки гомонили, вперемежку что-то рассказывали, каждая пара чумазных рук тянула в свою сторону. Ветер шагнул к ученику, крепко обнял:

– А я всё гадал, сын, когда уже ты обставишь меня! Слетаю в раскат, сам жду: вот сейчас наддаст, обойдёт!

Долговязый ответил негромко:

– Я ищу, чему у тебя поучиться, отец, а не как бы обставить.

Мелькнула перед глазами спина Лихаря в меховой безрукавке. Злат

моргнул, отвернулся. На подъём тяжёлой толпой лезли отставшие. Барахтались, теряли разгон.

– Стоит на трое дён из дому отлучиться, тут самое занятное и происходит, – сказал голос. Злат вскинул голову. Перед ним стоял Ветер. Цепкий, собранный, видящий каждую мелочь. А ведь только что рвал жилы и душу, славя Владычицу невозможным деянием... Он улыбнулся Злату, словно давнему другу. – Не в пронос твоей чести, гость высокоимённый... Мы тут, в лесном заглушье, люди простые. Побрезгуешь ли в мыльню со мной и детьми?

В покоях Ветра было тепло и по-особому тихо.

Ничему в открытую не дивись, упреждал Мартхе. Угадывать не надейся. Спросят, говори лучше как есть...

Россказни Мартхе сулили полубога. Вчера Злат увидел радушного хозяина, чуточку простоватого в своей щедрости. Седеющего воина, по-прежнему способного честно посрамлять молодых – и по-детски обрадованного победой. Сегодня...

Окольные Злата внесли два расписных короба. С поклонами удалились.

Внутренние палаты крепости, где успел побывать Коршакович, живо напоминали выскирегские. Хотя, конечно, здесь вправду жили попроще. Певчих пичужек для услады взора и слуха не содержали. Тканых начертаний былой державы под ноги не бросали. А так – по стенам ковры, меха, войлоки обороной от холода. Яркие, налитые чистым маслом светильники...

Ветер усадил Злата в заваленное подушками кресло, сам сел напротив:

– Вот теперь сказывай, почестный гость, чем воинский путь праведной семье послужить может.

Злат вытянул из-за пазухи свиток с печатями, передал котляру.

Ещё к разговору были допущены Лихарь и «Сквара – не Сквара», его звали Ворон. По знаку Лихаря он переставил короба поближе к столу, поднял крышки.

Ветер скосил глаза, даже от письма оторвался:

– Что за справа чудная!.. Выложи, старший сын, чтобы мне не рыться, как разбойнику в краденном!

Злат понял: с подарками не ошиблись. У Лихаря был глаз на соразмерность и красоту. Стол украсился маленьким воинским святилищем. Два старинных меча. Острые, как шилья, кинжалы. Тонкая густая кольчуга – под кафтан вздеть на орудье. Позолота, переливы

каменных граней, чудеса полузабытых письмён. Извитые листья да цветы, ан взглядишься – «Друга обтеки, врага оботни, всё зло отсеки»...

Ветер не усидел. Отложил свиток. Быстрым движением взял боевой нож, самый неказистый, в простой бирюзе. Осмотрел клинок, щёлкнул, послушал звон.

– Я думал, такой уклад уже и варить разучились... – Вернул в ножны, бросил поперёк всей любовно выложенной Лихарем красоты. – Рассказывай, Коршакович.

За пределами зеленца сегодня мело. Крыши Чёрной Пятери умывал дождь.

– Дорога мне суждена во исполнение слова, данного батюшкой. Владыке Хадугу донесли, что моего тестя...

– Это я знаю.

– Разбойные дикомыты убили, – с разгону договорил Злат.

Ворон, скромно сидевший на корточках у двери, поднял голову, отблеск пламени косо пронизал глаза, на миг заставив светиться.

– Это я знаю, – повторил Ветер. – Убитые давно погребены, твоя невеста присмотрена, разбойников след простыл. Почему владыка послал тебя под кров Правосудной?

– О моей судьбе решал Высший Круг, хотя я ничтожен. Было сочтено, что гибель Бакуни Дегтяря может оказаться не так очевидна, как утверждает донос.

Ветер прошёлся от стены к стене.

– Владыка явил воистину царскую пронизательность... Что насторожило его?

«Говори лучше как есть», – отдался в ушах голос Мартхе.

– На самом деле, – сказал Злат, – владыка отдал суждение третьему праведному наследнику. Ибо государь Эрелис...

– Что насторожило его?

– Слова «взял под защиту». Праведный Эрелис нашёл, что такими слишком часто прикрывают нечистую совесть. – Злат подумал, добавил: – Это по его наставлению я приехал сюда.

Ветер долго молчал. Взял нож, только возвращённый Лихарем на самое подходящее место. Задумчиво повертел. Снова бросил как попало.

– Неисповедима смертным мудрость Владычицы... – пробормотал он наконец. – Воистину знает Правосудная, кого покарать, кого уберечь... – Опять надолго умолк. – Отдохни у нас, Коршакович. Потом я отправлю с тобой сына. Вот его. – Кивнул на Ворона. – Он сам дикомыт, небось лучше всех разведает, кто и что натворил.

Злат с новым чувством оглянулся на лыжника у двери.
Ветер улыбнулся краем рта, будто вспомнив давнюю шутку:
– А надо будет – разведается.

За дверью, в сумрачном каменном переходе, Злата и Ворона дожидался Лыкаш.

– Всё ли хорошо у твоей почести? Нет ли нуждишки какой?

Он смешно потел, топтался, мял руки. Полошился хуже, чем перед спуском в заплесневелые погреба.

– Я дивился вчера на пиру, – сказал Злат. Полюбовался смущением молодого державца, с улыбкой продолжил: – Столь отменно украшенных блюд я даже в Выскиреге не видел. Сладкие заедки аж рушать боязно было... Кто трудился над пищаами для высокого стола? Не сам ли Инберн руки заголил?

Правду сказать, его куда более удивило, что второй победитель, Ворон, сидел за общим столом, ел, как все, озёрную сырую траву. Но это наблюдение Злат оставил пока при себе.

– Не, – смутился Лыкаш. – Господин державец следит, чтоб снадное силы крепило и нёбо ласкало. А украсы... Это Надейка старалась, чёрная девка.

– Пришли её ко мне, – сказал Злат. – Она заслуживает подарка.

И не понял, отчего Лыкаш как-то тревожно скосился на молчаливого Ворона.

– Учитель... если мне позволено будет спросить...

Ветер просматривал письма, ожидавшие его возвращения.

– Спрашивай, старший сын.

– Коршакова сына пристало бы Златцем именовать, но ты его ни разу, даже заглазно...

– Это потому, что мы с тобой сами пригульные, не нам губу оттопыривать. Вот послушай: Люторада опять жалуется. Мочи, пишет, не стало в Шегардае сидеть. Люди всё непочтительные, Владычицу бояться забыли, на дворцовые стены брёвна вздымают, нагальом срамные песни орут. Уж он бы, Люторада, их словесным жеглом на разум направил, да старец, в чём душа, – не даёт... Скромным поклонением довольствоваться желает.

Стень помолчал, ответил неуверенно:

– Сколь я помню прежние письма, благой Люторада видит истинное служение в том, чтобы сопрячь жреческое слово с мощью воинского

пути...

Ветер досадливо бросил грамотку.

– А я мыслю, нет ничего опасней такого супружества, в особенности для веры. Если вся сила державы преклонится Владычице, у Справедливой скоро переведутся святые. И вот что велишь ему отвечать?.. – Взяв другой свиток, сломал печать, пробежал ровные краснописные строки, брови поползли вверх. – Ты вот это послушай-ка, старший сын! Бьёт челом нам Коверька, учёный купец. Вменил, пишет, в заботу себе разыскать и вернуть кое-что из убранства Эдарговых красных палат! Похоже, малый непрост, вызнал, что иные вещицы могли у нас в Пятери задержаться... Особо же две безделицы: «...первая рекше блюдо пирожное превеликое, с проушины для деревянные ручки, с цветы алые да золотые и завитки, его бы двоим человекам к царскому столу выносить...» Что скажешь, старший сын, есть у нас похожее блюдо?

– Не в обиду, отец, – потупился Лихарь. – Я такого в крепости не видал.

– Мало ли, что здесь было, да сплыло после Беды, – нахмурился Ветер. – Ладно, мы воины, нам хоть с золота-серебра, хоть из простой мисы в рот зачерпнуть, было бы что черпать... О! Дам Лыкашке орудье! Скоро его на державство опоясывать, а что за державец, если ни орудья для Владычицы не исполнил? Ворона с ним пошлю, когда из Ямищ вернётся... – Хотел дальше читать, но поднял глаза. – Чем ты, старший сын, опять недоволен?

– Отец... Может, Хотёна моего с Лыкашом? Чтоб долго не ждать...

«И ученики ропщут. Как орудье помудрёней, всё Ворону! Им тоже твою хвалу охота стяжать...»

– Хотён твой Лыкаша, бедолагу, лыжным гоном насмерть уморит и с насельниками обхождения не найдёт. А Ворон пусть привыкает учить. Есть у меня замысел на него.

Лихарь потемнел, ковры на стенах качнулись перед глазами.

«Ужели стеном хочешь ненадобного... Вместо меня...»

Ветер зорко посмотрел на него:

– Оставь ревновать, старший сын. Твоего места он никогда не займёт, а вот с поездом за новыми ложками я его, пожалуй, отправлю... Ты дальше послушай. «Другая же вещица рекше картина, писана по кедровой доске, а доска есть трёх пядей шириною да семи высотой, а явлены на оной картине мученик царь Аодх со царицею и младенец наследник, в обои руках воздетый людям на погляденье...» Об этом что скажешь?

Лихарь стоял как внезапной стрелой пройденный. Страдал, смотрел в

сторону. Учитель ждал ответа. Стень кое-как выдавил:

– Доска... зрак утратила... стыд вернуть... вся сыростью съедена, облупилась...

– Ладно, – сжалился Ветер. – Дело неспешное, успеем решить... – Дочитал письмо до конца. – Ишь, Коверька! Не безмездно выпрашивает. Сулит кроме торга серебра взвесить, сколько велим. Но ведь не с царевичей брать? Воссядут на Огненный Трон, всё сочтут.

Лихарь придвинул учителю ещё несколько берестяных писем. Руки, знакомые с тысячей способов отнятия жизни, неукротимо дрожали. Ветер бегло просматривал грамотки.

– Временами кажется, будто я знаю людей, но они не устают меня изумлять, – сказал он со вздохом. – Возгнушалась купчиха мужем-переметчиком... дети ростовщика наследства не поделили... мы-то при чём?.. Хотя... – Он заново развернул отложенную было берёсту. – Волокиту в себя привести дело доброе. Зови, сын, ко мне Беримёда! Пошлю их с Порошей отучать изменщика зариться на чужую красу.

Лихарь чуть помялся:

– Отец... не в укоризну... Белозуб ко мне плачет, орудья просит.

– Ему дано было орудье, – прищурился великий котляр. – Я до сих пор последки расхлёбываю.

Лихарь поклонился, вышел. Оставшись один, Ветер развязал тесьму на последнем оставшемся свитке.

«Поздорову тебе, добрый брат, – писала Айге. – Ты изрядно удивил меня, пощадив негодного Брекалу, но оказался кругом прав. Скоморошек немало прославил Владычицу даровитыми песнями. Всего же краше, как ты и ждал, удаются ему представления выводных кукол. Действо о Беде и спасённом наследнике поистине вдохновенно. Увы только, Брекала не озаботился лучше узнать дикомытов, отчего не смог толком всколыхнуть пересуды, выдразнить откровенное слово. Впрочем, вряд ли стоило ждать, чтобы все повернулись в одну сторону и указали перстами: да вот же он!..»

– Дальше, дальше, – жадно пробормотал Ветер. – Что вызнала?

Айге будто щурилась из-за строчек, умная, хитрая, терпеливая. Радовалась случаю подразнить.

«На Коновом Вене, как всюду, растёт множество приёмных детей. Большинство не помнит истинного родства. Ещё есть целые деревни, прозываемые андархскими, их считают наследием былых войн. Стало быть, наш отрок для здешнего люда своеобразен наружностью, но не дикообразен...»

– Ну?..

«Я свела дружбу с первейшей злыдницей его племени...»

Осторожная Айге не упоминала имён. Мало ли что могло случиться с гонцом, мало ли кому на глаза могло попасться письмо.

«Старуха честит приёмыша упрямым и дерзким, но особых нечаянностей его появления не вспоминает. Сам отрок брал ложку правой рукой, а у лотка оружейника любопытствовал не больше других. Я устроила ему случай явить силу души и нашла паренька не столь податливым, как мы опасались. Он ходил смотреть маньяков и обратился к Брекале, но скоморох, раздражённый насмешками, его отогнал. Ещё скажу, отрок отменно силён, искусен в лыжном делании и неплохо владеет гуслиями, хотя истым даром не взыскан...»

Ветер опустил свиток.

– Не взыскан, – повторил он вслух. – Аодха смешили льстецы, хвалившие его дар гуслияра...

«Краткость торгового праздника не дала мне времени послать дочь за последними доказательствами его родства. Будущей весной я предполагаю возобновить нынешние знакомства и, волею Владычицы, установить подлинность того, в чём сомневаюсь сегодня».

Ветер окончательно покинул кресло, заходил по комнате. Многолетняя привычка успела проложить тропинку из угла в угол. Лихарь предлагал сменить старый ковёр, но Ветер отмахивался.

– А ведь в руках был, – прошептал он, глядя сквозь оружие на столе, сквозь годы и каменные стены. По брёвнам тына ползли кровавые струйки, смываемые дождём, а над ними бледными пятнами расплывались детские лица. – В руках был...

Снова взял свиток, начал похлопывать по ладони. Незримая собеседница улыбалась ему с лукавым намёком.

– Ты спросишь, не продешевил ли я, взяв старшего, – сказал Ветер. – Нет, Айге. Не продешевил...

В плохие дни Коршак выселял сына из домашних покоев. Крик, слюна брызгами, тяжёлая палка в старческой, но ещё крепкой руке... Злат собирал по двору пожитки, раскиданную одежду. Шёл ночевать к слугам в людскую. Потом батюшка прощал, приказывал вернуться. Злат втаскивал постель и кожух обратно, заранее зная: скоро всё повторится.

Сестра была добра, но у неё Злат опять жил из милости. И никогда об этом не забывал.

Чёрная Пятерь оказывала ему непривычное уважение. В уютной хоромине было даже окошечко, забранное белым стеклом. Снаружи по

стёклышку стучал дождь. Что за радость после душного облока, где ноги толком не вытянешь!

Вечером Злат валялся на подушках, забавляясь в читимач с ближником по имени Улеш, когда в дверь постучали.

– Открой, – кивнул Злат.

За порогом, опираясь на костыли, стояла девушка. Очень маленькая и напуганная. Ворон, тёмная тень за спиной, первым подал голос:

– Ты Надейку видеть хотел, кровнорождённый.

Он держал плетёный подносик тех самых заедок, похожих на душистые живые цветы.

– Входи, добрая черनावушка, – сказал Злат. – Ты славно порадовала меня. Скажи, милая, твоё умение от матери или его тебе привили в котле?

Надейка испугалась ещё больше, оглянулась на Ворона:

– Милостивый господин...

Дикомыт поставил поднос, отступил к двери. Снова обратился в непроглядную тень.

– Милостивый господин, эта чернавка... от образа Справедливой... художество постигала...

Злат заметил:

– Ты вряд ли помнишь цветы. Как вышло, что изделием твоих рук обманулись бы пчёлы?

– Этой чернавке было позволено в книжнице травники созерцать...

Улеш принёс кожаную шкатулку. Злат достал витую серебряную цепочку:

– Носи на счастье, искусница.

Надейка удобней перехватила костылики, низко поклонилась ему. Злат заметил на девичьей шее тесёмочку и на ней – розовый завиток раковины. Улыбнулся:

– Жених подарил?

Надейка вдруг покраснела:

– Просто человек добрый... В болезни пожалел... ни разу не видел...

Злат всё косился в сумрак возле двери. Ему хотелось подзудить, испытать Ворона, он не знал как, злился и не мог показать злости.

– Ступай, славница.

Когда дверь закрылась, в створку через всю комнату полетела подушка.

– И вот с ним в Ямищи ехать! Я думал, нет наглей наших выскирегских мезонек, но этот!..

Улеш помалкивал, уставившись на доску для читимача. Он никогда не

перечил Злату и вообще редко открывал рот. Он был на год моложе, а в волосах – полно седины. Злат перевёл дух:

– Твой ход...

Они довершали третий круг игры, когда снаружи донёлся звук, настороживший обоих. Негромкий, трепетный вздох, протяжный, бесконечно печальный...

– Мартхе говорил, башня воеет, – прошептал Злат. – Наклонная. Когда с Кияна буря идёт.

Друзья прислушались. Зов повторился, долгий, тоскливый... вдруг взмыл, заворковал, зажурчал древней и простой колыбельной, известной множеству поколений андархов:

Кошка холит котя,
Я целую дитя,
Это песни зачин.

Внизу живота разбежались нити жутковатого холода. Злат быстро оглянулся на ближника. Улеш, белый как тесто, зажимал пальцами уши. Злат бессильно обнял друга. Заново ощутил себя щепкой в ручье, уносимой велением обстоятельств, волей гораздо более сильных людей... птахой с крылышками, укороченными от рождения. А он было разлетелся...

Во дворе намело.
Нам у печки тепло.
Спи, мой маленький сын...

В снежном городке

В нескольких верстах от крепости, на вольной поляне, у мораничей был устроен боевой городок. Чтобы крепить руку и глаз, разрубая снежных болванов. А промахнувшись мимо цели стрелой, не клеить новую взамен разбитой о камни.

– Ты первый из праведных потомков, кто приехал самолично взглянуть, как мы здесь славим Владычицу, – сказал Ветер.

«Я не царевич и не смею посягать на родство, – ещё при начале знакомства уведомил его Злат. – Ты слишком великодушен...» Ветер посмеялся. И продолжал вести себя так, будто в гости пожаловал сам Гайдияр. Восемнадцать лет домашнего ига дёргали за язык, но Злат не давал ему воли. *Что однажды сказано, не поновляй*, упреждал Мартхе. *Ум клинок, память щит: а его щита никто не пронял...*

– Слишком многие довольствуются сказками о страшном котле, где злые похитчики детей варят, – продолжал Ветер.

Он сидел в лёгких саночках, кутался шубой. Его, выстроившись гусем, везли четверо младших. Злат видел: шустрая ребятня чуть не дралась, кому в корень вставать.

– Ещё болтают, – продолжал Ветер, – мы чёрные требы кладём, взыскупя умений, запретных доброму человеку. Нет бы, говорю, в путь собраться да самим посмотреть!

Ворон скользил соседней лыжницей, рассматривал беговые ирты Злата. Заметил взгляд гостя, отвернулся.

Дух укрепим на ратное старанье,
Страх отметём на воинском пути,
Длинной рукою и перста касаньем
В битве земной Царицу защитим!

Внутри городка уже сновали новые ложки. Чистили снег, покинутый вчерашним ненастьем. Слово «городок» вроде разумело стену для ратного приступа. Она впрямь виднелась посредине: башенки, между ними прясло в полторы сажени. Однако поляна сама давно стала подобием крепости. Только перевернутым. По всем сторонам высились отвесные раскаты. С вершин, оплавленных летними оттепелями, скалились ледяные

иклы сосулук. Снег наваливали на санки, увозили прочь.

Ветер притопнул валенками, сбросил с плеч шубу.

– Гуляй, гость именитый. Поглядывай. Возжелаешь – испробуй... Ты, сын, присмотри, чтобы не знаячи под стрелы не встал.

– Присмотрю, – кивнул Ворон.

«И мне ехать с ним! А Мартхе баял... да мало ли что он баял. Сам буду решать!»

Пестовать обиду сразу стало некогда. Младшие ребята, которым в Выскиреге заботливые няньки не дали бы ножика в руки, стояли рядом, плотно зажмурив глаза. Парень постарше двигался вдоль цепочки, как недельщик на правеже. По случайному выбору толкал в грудь одного, другого... Ученики, не противясь, падали сбитыми кознями. Да не в рыхлую мякоть – на голый лёд! Те же няньки ручек-ножек целых не чаяли бы сыскать. А мальцы – хоть бы что. Вскакивали, спешили обратно. Подошёл Беримёд, застиг увлёкшегося «недельщика», подцепил, ринул. Парень извернулся, как подброшенный кот, пустил колесом самого Беримёда. Младшие засмеялись.

Злат вспомнил, как на него пялились в мыльне. Гнули шеи, прятали взгляды. И всё равно пялились. Выискивали царские знаки. Не находили: великое клеймо миновало даже батюшку, рождённого всего лишь восьмым наследником трона. Сегодня настал черёд Злату пялиться на парней, истязавших себя воинским правилом. Рослый, пригожий на улицах Выскирега, здесь Злат был мешок. Ни гибких мышц, ни скоморошьего проворства в ногах. До дрожи хотелось сверстаться, явить себя среди них. Как они!

«Сулился же меня батюшка в котёл сбegrить, нежеланного. Как я боялся! Вовсе ничего, глупый, не знал...»

По самой долгой стене череда изгрызенных ударами стойков отделяла неширокую улицу. Там стреляли в мишень. Злат с немалым удивлением заметил среди стрельцов Лыкаша. «И этого тюфяка от вертелов отогнали?..» Злат сделал шаг.

Над головой хрустнуло. Неосязаемое дуновение отмело Коршаковича прочь, ледяная стена метнулась в лицо, он выставил руку, но всё равно мазнул носом по сероватому холоду. Рассмотрел каждую прожилку смёрзшихся зёрен...

Лишь тогда от левого плеча доползло ощущение стремительного толчка.

– Не обессудь, кровнорождённый, – сказал Ворон. – Мы научены сперва защищать, потом уже спрашивать.

Он держал сосульку. В три пальца толщиной и длинную, как боевой нож. Взятую из падения в воздухе, как иные резак берут с верстака. Пробила бы меховую ушанку, свалившись прямо на голову? Уж всяко бы остолбушила. Кругом никто не смеялся, не тыкал перстами. Ну убрал один другого из-под удара. Самое каждодневное дело.

– Спасибо тебе, – сказал Злат.

Ворон чуть поклонился:

– Ты хотел стрельцов поглядеть.

Сосулька прыгала, крутилась, обегала ловкую пясть. Возвращалась в ладонь, как верёвочкой притянута. Дикомыт на неё и не смотрел.

«Почему я так не умею? Возьму научусь...»

Ребята с луками и самострелами теснились в узком торце под присмотром одноглазого Белозуба.

– Лыкаш у нас зарный стрелец, – громко сказал Ворон.

Злат удивился:

– Лыкаш?..

Нехорошо прозвучало. Без уважения. Ворон улыбнулся:

– Это к лучшему, когда тайного воина за воина не принять... Готов, что ли, Воробыш?

Злат не увидел замаха. Ледяной клинок взвился отвесно и высоко, чуть не в тучи, кутавшие плечи холмов. Как бы неторопливо выплыл вверх самострел. Сузился глаз, палец надавил спуск...

Брызнули осколки. Вовсе не исчерпав силы, болт слегка вильнул в сторону. Канул за окраину городка. Самый маленький из мальчишек побежал доставать.

– Державец в крепости остаётся третьим по старшинству, – пояснил Ворон. – Если что, отпор должен возглавить. – Засмеялся. – Пасись, враг, Воробыша-воеводы! Он коз разделал без счёта, постиг лучше всех, как в сердце разить!

Лыкаш покраснел.

– Ворон! – долетел через городок голос Ветра. – Ты не своей ли кровью ему стрелы намазывал?

Все знают, какую меткость дарует оружию воронова кровь. Дикомыт усмехнулся:

– Почти. Думал, простых средств неостанет.

Парни смеялись, хлопали Лыкаша по плечам.

В гонке, далеко на заливе, Ворон был лёгкой тенью, почтительно смиравшей полёт. Вблизи... неохота даже гадать, каких дел натворит, если вдруг что. «И я, как он, мог бы стать... Эх!»

Злат поискал взглядом Ветра. Учитель трудился по другую сторону зубчатой стенки. Показывал простое движение: встречный шаг. Нападающие с дубинками почему-то шарахались как от огня, даже падали. «Не смеют к учителю прикоснуться?»

Опять пришла на ум мыльня. Ветер среди молодых тел выделялся лишь сединой в бороде. Злат оглянулся на стрельцов:

– И Белозуб верно в цель бьёт?

– Ещё как...

– С одним глазом?

– Он давний ученик, – сказал Ворон. – Чуть младше Лихаря. Когда столько сноровки, миряне и калечного всемером не возьмут.

Злат завистливо произнёс:

– А нам говорят, сюда бездельных сыновей отдают. Безнадзорных воришек...

– Владычица принимает самых последних, чтобы указать им путь к возвышению, – сказал Ворон. – У Матери ненадобных нет.

Злат вдруг спросил:

– Это ты вчера цевницами тешился?

– Я. Не вели казнить, если опочив порушил.

Злат мучительно подбирал слова:

– Не играл бы ты больше ту колыбельную...

Ворон глянул надменно:

– Ещё чего не велишь играть, господин?

– Я просто сказал.

– И я тебя, кровнорождённый, просто спросил.

«Ехать с ним!.. Может, кто-то насовсем решил меня известить?..»

Ветер оставил учеников возиться между собой. Злат разговаривал с Вороном на другом конце поля. Русые волосы из-под шапки волной... Царской стати Коршаковичу досталось немного. Таков ли вырос Эрелис, прежде стоявший всего на ступеньку выше в лестнице? И другой, чьё имя не называла Айге?.. Отменно силён, а ещё?..

– Может быть, ты не слышал: я еду к невесте, – ровным голосом говорил Злат.

– Я слышал, кровнорождённый.

– Честный жених блюдёт себя в чистоте. Ты, верно, об этом забыл, раз не пожелал доверить мне любимицу для короткой беседы.

– Бережёную Владычица сберегает, кровнорождённый.

Злат с отчаянием выговорил:

– А мне Мартхе сказывал, здесь один дикомыт жил. Скварой звали.

Ворон некоторое время молчал.

– Жил, – ответил он наконец. – Пойдём, учитель зовёт.

Когда подошли, Ветер шагнул навстречу. Злат сразу понял, отчего спотыкались оружные ученики.

– Весело тебе, знатный гость? Досад никто не чинит?

– Благодарю, – поклонился Злат. – Твой добрый сын восхитил меня искусством братьев и уберёг мою шапку от дыры, когда со стены упал лёд.

Серые глаза котляра засветились хитроватыми огоньками.

– Озяб, Коршакович? Согреться не пора?

Злат понял, что угодил на гибель и позор.

– Почту за честь, добрый хозяин.

Ветер оглянулся:

– Шагала!

Подскочил недоросль, тощий, бесцветный, Злату по плечо и... босой. Пока Злат пытался сообразить, за что наказание – голыми пятками по морозному снегу, рядом прозвучало строгое:

– Не обидь!

«Да как можно...» Злат протянул руку. Ладонь, тронувшая худенькое плечо, угодила в цепкие клещи. От кончиков ногтей до лопатки сделался один жгут огня, Злат ахнул, пал на колени. Тело больше не подчинялось рассудку, пыталось уйти от боли, само себе мешало спастись...

Так же внезапно хватка исчезла. Взмокший Злат снова начал дышать. Вот, значит, к кому был обращён приказ «не обидь». Ворон держал Шагала, тот сердито порывался на волю, отнятый от любимой забавы. Ворон что-то шепнул ему, дал подзатыльник, отпустил.

– Шагала сирота деревенский, всего мира б'итьш, – сказал Ворон. – Господин стень его из-под смерти забрал. Дай поправлю.

Железным пальцам рукав не помеха. Пробежали, больно сдавили. В локте перекатились, щёлкнули жилы, что-то встало на место.

– Зря ты, кровнорождённый, смолчал, что плева сухожильная с прошлой раны скорбит...

Злат опять не удержал языка:

– Царевна Эльбиз руку дёрнула.

– За что?

– Я с ней поспорил, что схватить подкрадусь. – Злат улыбнулся воспоминанию. – Сама лечила потом.

Ворон молчал.

– Эдарговичам веселей стало, когда Мартхе Зяблик приехал, – с

надеждой продолжал Злат. – Он райца толковый. И в бою не дурак.

Ворон медленно проговорил:

– Лыжи у тебя знатной работы. Что лапки, что ирты.

– Мартхе выбрал. Купец клялся, из Сегды привёз. А Мартхе знай твердит – дикомытские! Покажешь трубу, в которую вы с ним друг другу поесть сбрасывали?

Ветер снова смотрел на них с того конца городка. «Нет, Айге. Я не продешевил. погоди, откроется последняя дверь. Когда время придёт...»

Беседа в опочивальне

Почтенная Алуша, красная боярыня Харавон, считалась непогрешимой в женском достоинстве. Даром ли была взыскана от Светлых Богов не только сыновьями, дочерьми и внуками, но даже маленьким правнуком. И лицом до сих пор была хороша. Понятно, к седьмому десятку давно раздарила невесткам украшения, оберегающие плодovitость. Взамен шитых нарядов явились морщины, знак мудрого опыта. А как она плыла дворцовым подземельем к хоромам третьего сына!

Вот у кого внучки-юницы в непотребных гачах по палатам не шастали, с кротостью и послушанием своё девство несли...

Боярыню ждали. Царевна, в негнущейся золотой ферезее, тулилась у ног брата, воссевшего на красный столец. Слева и справа – слуги, комнатные девки. Позади – Ознобиша с дядькой Серьгой. В шаге перед стольцом, облитые кольчатыми рубашками, при начищенных бердышах, замерли рынды. Сибир видел, как с вечера тосковала его маленькая государыня. Даже в болвана, скрученного из сухих водорослей, кистенёчком через раз попадала. Оттого Сибир хмурился суровой обычного. Грозным взглядом отбивал желание приближаться к стольцу.

Боярыня вошла, заметно робея. При виде государя соблюла большой обычай: повалилась на пол, ткнулась в камень челом. Ни к какой власти Эрелиса покамест не подпускали, но бабке ли не знать, сколь быстро внуки растут! Воссядет на Огненный Трон, сестрицу великому союзнику в жёны отдаст... Оба никого не забудут. Никому не простят.

– Встань, матушка боярыня, – сказал Эрелис. Ознобиша с Серьгой выступили вперёд. Под локотки усадили грузную женщину на подушки. – Сказывай, матушка, здоров ли супруг твой, славный Ардар? Правнук весел ли?

Боярыня вострепелась:

– Изволением Светлых и трижды Светлых Богов... никакого бeссчастья к твоему порогу эта холопка не принесла. В доме мужа моего лад и покой, а тебя, государь, Небеса благословят за заботу. Не вели себя пустяками обременять, вели всякой службой тебе, милостивец, услужить.

И склонилась, готовая вновь бухнуться ниц.

Эльбиз проворно поднимала и опускала бёрдо. Выбирала синие, белые, зелёные нитки. Уточила уже третий пояс любимому советнику

брата. Опытной ткахе сегодня не везло. Вот заметила оплошку, случившуюся два рядочка назад... Оставить нельзя, срам. И поди распусти, чтобы не заметила Харавониха. Сама рукодельница хоть куда: увидит, неумехой сочтёт...

Ознобиша видел, как замешкались пальцы Эльбиз. Пока гадал, чем помочь, – спас Сибир. Почувствовал, сдвинулся на полшага. За его плащом царица вмиг выдернула злополучную нитку.

– Добрый сын Сиге, чьей мудрости мы доверяем, присоветовал нам обратиться к тебе, матушка Алуша, – говорил между тем Эрелис. – Нам кажется, беседа с тобой пойдёт сестрице на пользу. Ступайте поворкуйте вдвоём.

Ознобиша с дядькой Серьгой вновь ухватили полнотелую боярыню под локотки. Зяблик видел, как неохотно, изломив брови, отвязывала царица основу от ножки стола.

– А ты, райца, доску неси, – сказал Эрелис.

Царицы Андархайны принимают подданных, сидя за рукодельем. Царям и царевичам пристало обыгрывать супостатов сперва на доске для читимача, после в беседе, а там уж и в поле; даром ли название игры толкуется как «маленькая битва». Покамest Эрелис, как ни трудился, с молодым советником тягаться не мог.

Ознобиша знал ненависть своего господина к игре. Вынужденный отдать сестру на мучение Харавонихе, Эрелис хотел сам себя наказать.

– Больно узенькая лавочка у тебя, дитячко, – оглядевшись в опочиваленке Эльбиз, ласково попеняла боярыня. – А с девками-красавицами пошептаться? Тайны сердечные выслушать?

Царица уселась на своё ложе. Горстями стиснула одеяло. Невольно фыркнула:

– С этими?.. Они в добычный ряд для меня боятся сходить.

– В жестокие времена мы живём, – усаживаясь напротив, вздохнула наставница. – Мои-то дочушки вдали от грубости выросли. Даже не ведают, где этот ряд и что там продаётся.

Эльбиз ответила, глядя в сторону:

– У нас память родительскую украли. Мы... Мартхе туда ходит, вдруг что всплывёт.

– Тяжко было тебе, дитя, без матери подрастать, – сделала свой вывод боярыня. – Вот уж скоро своим очагом заживёшь. Гребешок небось прятала под подушку, чтоб суженый показался?

– Было раз... – неохотно созналась девушка.

Харавониха так и подалась вперёд:

– И как? Приходил косу девичью расчесать?

– Не трогал он мою косу! – возмущённо отеклась Эльбиз. – Он... ну...

Боярыня прижала пухлую ладошку ко рту, глаза округлились.

– Неужто обидеть норовил?! Валил, мял-тискал?..

– Не меня, его обижали, – пробурчала Эльбиз.

Боярыня нахмурилась, не поняла:

– Как это?

– Меня другие люди прочь вели, а в него камень метали.

– А ты что же?..

– А я, – Эльбиз собралась со вкусом рассказывать, – хватать в обе руки что попадя – и на них! Хар-р-га!

Вскочила, показала. Врагам явно не поздоровилось.

– Спаси Владычица, дитятко! – отшатнулась боярыня. – Иное пытаю! Случилось ли тебе во сне лицо его румяное целовать, уста медовые искать, тело молодецкое нежить?

Царевна задумалась. Не было там ни румяных щёк, ни медовых уст... ни прочей ералашины, о которой громким шёпотом судачили девки. Было неловкое пугалище, то ли мохнатое, то ли пернатое... Расплывчатое в потёмках и совсем без лица, лишь глаза искрами... А её, Эльбиз, утягивали прочь с попрёками, с перекурами: разлетелась! Свою честь забыла, братниной не соблюла!.. Она вырывалась, а бедное страшило ползло к ней, руку тянуло... Да не то чтобы руку, а лапу, что ли... клешню...

– Какие тут поцелуи, – вырвалось у царевны.

– Вот это славно, дитятко, – обрадовалась боярыня. – Тебе следует понимать: праведность Андархайны не ведаёт любострастия.

Эльбиз нахмурилась:

– Это как Тигерн с Тайей? Которые от гордости померли?

– Ты всё очень правильно разумеешь, дитя. Не в пример распутным простолюдинкам, ищущим радостей плоти, наши дочери приходят к мужьям в целомудрии и живут с ними честно, разнузданной похоти вовсе не предаваясь. Ты, дитя, выросла с людьми подлых кровей, но к царскому золоту грязь не липнет. Даже сны твои остались чисты!

Эльбиз сосредоточенно морщила чистый лоб:

– Когда в сугробе спишь, не до снов: замёрзнуть недолго. А в деревню придём... все бегут, девки вьются – дружина пожаловала! Нас с братом куда-нибудь в собачник спать под овчину... А рядом – визг, писк, лапотки к стропилам летят!

Боярыня пухлой ладошкой захлопнула себе рот.
– Дитятко! Бедное! Какого ты ужаса натерпелась...
– Почему? – удивилась царица. – Если рядом девок целуют, значит, всё тихо и от врагов безопасно.
У матушки Алуши не сразу перестал дрожать голос.
– Это... это хорошо, девочка, что ты государя ограждала и сама под овчиной пряталась, избегая соблазнов...
– Соблазнов? Каких?
– Ну... – замешкалась боярыня, не зная, как намекнуть, не стеснив девичьего стыда. – Кругом воины... сильные, пригожие, молодые... Ты могла прельститься... задуматься о недолжном... – И свернула к тому, о чём говорить было легче: – Тебе скоро шитые полотенца раздавать, дитятко! У тебя ведь уже есть... очищения девичьи? Знаешь ли, что в них нет стыда? Не пугаешься?
– Было бы чего пугаться, – пожала плечами Эльбиз. – Мне тётя Ильгра всё загодя объяснила.
– Кто? – вновь опешила почтенная Алуша. – Какая тётя Ильгра?..
– Наша. Дружинная.
– Она же... не хозяйюшка была? Из тех, что при воинах без пути и чести живут?..
– Да ну! – Царица обрадовалась возможности поведать о родном. – Тётя Ильгра воевица сердитая. Как сойдутся потешиться, её в прыжке не видеть! Она меня всякому бою учила. Ну и как девкой быть.
– Благослови Боги добрую женщину, – неуверенно проговорила Алуша.
– Она знаешь что на бранном поле творит? – вдохновенно продолжала Эльбиз. – Позёмкой через поляну, кровь на стороны! А как их прогнали, тётя Ильгра хватать наших двоих, кто под руку попал, и с ними за ёлку!.. Мужики матерятся, потому обратно на четвереньках, а как не пойти? Её ж выручать надо, чтоб душу не изронила...
Некоторое время боярыня лишь таращила глаза. Наконец выдавила бессвязно:
– Она... как...
Царица пожала плечами:
– Тётя Ильгра сказывала: молодая была, пробовала пленных насиловать. Только пленник ведь что? Страх, боль, злоба. Такую силу забрав, много навоюешь потом?

Ознобиша с Эрелисом недоумённо подняли головы от игры. Беседа в

опочиваленке завершилась куда скорее, чем ждали. Откинулась полсть, боярыня Харавон выбежала краснее медного окуня. Всплеснула руками, схватилась за щёки... себя не помня, ринулась из хором. Следом вышла Эльбиз. Немного смущённая.

Эрелис уставился на доску, сказал вдруг:

– Ты поддавался, Мартхе.

Голос прозвучал как-то так, что Ознобиша покинул скамейку, колени сами собой ткнулись в пол. «Сейчас опалит. Скажет: ты мне чужой. Поди, скажет, прочь...»

– Государь...

– Ты и разыскание моё намерен так исправлять? От истины отойдёшь, желая порадовать?

Ознобиша молчал. Правиться было нечем. «И как он мне теперь доверять сможет? Мой царь...»

– А я вроде боярыню приобидела, – повинилась Эльбиз. – Скверно.

Эрелис будто очнулся. Со скрипом отодвинул креслице, измерил шагами хоромину. Дееписания, к которым чуть что отсылал Невлин, не предупреждали об искушении гневом. О том, как, оказывается, это просто. С досады замахиваться на того, кто не ответит.

К счастью, в памяти жили песни, что пел Крыло.

В гусельных струнах чистым звоном звенел булат побратимства.

Эрелис взял Ознобишу за плечи. Заставил поднять голову. Вздохнул. Тихо закончил:

– Не поступай так со мной, друже.

Щит славнука

В ремесленной Пеньков главенствовали запахи печного дымка, горячей воды и дерева. Распаренного, смолистого. Под перекладной на уютном берестяном ворохе прикорнул Жогушка. Спал усталый, счастливый, сунув под щеку очередной лапоток. Почти совсем гожий. Строгий брат не то чтобы похвалил, но хоть в растопку не бросил и тотчас расплести не велел.

Сам Светел приподнимал крышку бука, деревянной возмилкой доставал размокшие моточки корня. Навивал, горячие, податливые. Выполнял загодя связанную основу. Ребята на удивление загорелись, разохотились в дружину, что твёржинцы, что затресские. Ввадились собираться у озера на полпути между деревнями. Пошёл разговор о железном оружии, о мечах.

«Это ж Синяве кланяться! До костра погребального не отработаешь...»

«Ещё меч тебе. Рогатину наточи!»

«С топорами хороши будем пока. С луками...»

Привычным оружием каждый управлялся неплохо. Только не влекло оно, не тянуло из повседневности за воинский окоём.

«А щиты? Щиты сладим какие?»

Заспорили, круглые или капелькой. И насколько большие.

«Во-от такие! – растопырил руки Велеська. – Да чтобы длинные!»

Гарко окоротил мальчика подзатыльником:

«Войдёшь во все года, тогда спросим. Не салазки ладим, чтоб с вала кататься!»

«Длинный щит, он для вершника, ногу заслонять, – сказал Светел. – Пешему не способен».

«А из чего? Кожи с воском поди напасись! Венцы железные...»

«Зачем кожу? Сплетём!»

«Вот ещё, – огорчился Небыш. – Без того за станом уходишься, гусли в руки взять недосуг...»

Гарко уже чувствовал себя воеводой. Ответил надменно:

«А у нас в Твёрже бают: кто хочет, творит. Кому лень, у того на всё отговорки!»

Небыш надулся, возревновал. На очередное молодецкое сходбище, поди, явится со щитом получше иных.

«А знаменье какое на щитах понесём?»

Тут все были единогодушны:

«Калач!.. Ойдриговичам подавиться!»

Позади тихо открылась дверь. Светел встал, поклонился:

– Пожалуй, бабушка.

Корениха плотней запахнула тёплую душегрею, подошла, осмотрелась. Увидела на полке андархский уд, повеселевший, со склеенной шейкой, с новыми струнами. Ишутка уже примеривалась к нему, училась играть. Не стыд девке, это ж не гусли.

– Над чем засиделся, Светелко?

«Заругается. Скажет, добрый припас на пестюшки перевозжу...»

– Щит плету, бабушка.

«...Семь работ неисполненных сыщёт. Спать выгонит, чтоб с утра лишку поваляться не норовил...»

Ерга Корениха нагнулась, тронула белую вицу, ещё влажную, тёплую из кипятка. Сколько ни распаривай – как есть железные прутья. А внучек управляется, один прут с другим повивает.

– Возьми на руку, – велела она.

Светел на миг даже растерялся. Оплоску в работе нашла? Вместо ремней у него был привязан к опругам кусок старой верёвки. Светел бросил ужище на локотницу. Стиснул деревянную рукоять, покраснел, выпрямился перед бабкой.

Корениха долго смотрела на внука. Упрямого, хмурого, широкоплечего. Светел затевал уже не ребячьи разговоры о воинстве. Семя давало росток, слова обретали плоть. Мальчонка стал делателем. Воля матери, всё желавшей видеть в нём несмышлёныша, была больше не властна.

Корениха сама выпрямилась, приосанилась. Решилась:

– Поди со мной, Светелко.

Он оглянулся на Жогушку. Положил щит, прикрыл малыша старым козухом. Пошёл за бабушкой в сени. Наполовину ждал – поведёт в большую избу, станет ругать. Корениха, взяв светильник, отворила дальнюю дверь. Здесь была малая изба, куда Единец Корень некогда отселил женатого сына. Всё с тех пор изменилось: семья, деревня, самый мир вокруг. Жизнь обитала в большой избе да в ремесленной; здесь давно уже не топили. Малая изба стала клетью, хранившей вещи прежних времён. Светел сюда запускать хорька-крысолова, и всё.

А ведь атя с мамой вот на этой лавке молодыми сидели. За руки держались, улыбались друг дружке... И огонь из печки подмигивал, рыжей

бородой тряс...

Бабушка воздела свет, осмотрелась:

– Во-он в тот угол проберись, внученько. На лавку вступи.

Светел перелез лубяные короба. Разулся, встал на край лавки. Сиротливо отозвались под ногами голые доски, простывшие без уютных полавочников, без живого тепла.

– Корзины подвинь, – продолжала указывать Корениха. – Куль видишь?

Светел переставил два больших пестеря, наполненных пустыми горшками. У стены обнаружился свёрток из грубой рогожи, плосковатый, широкий. Рогожное плетение залубенело на сгибах, проросло даже не пылью – серой, липкой старческой перхотью. Так паршивеет нетревожимое годами.

Бабушка терпеливо держала светильник над головой.

– Достань, – кивнула она. – Неси сюда, развернёшь.

Внук послушно вытащил куль, положил на пол. Узлы на перевязях срослись в единое целое. Стоило тронуть, ветхое мочало распалось прямо в руках.

Под грязным рядном открылась настоящая циновка, доброго тканья, даже сохранившая мягкость. Светел, конечно, знал, что за нещечко хранилось в рогожах. Один раз даже видел, как атя Жог его доставал. Колени согнулись сами. Светел припал на берестяные четырёхугольники пола. С бьющимся сердцем откинул циновку. Развернул тонкое льняное полотно...

На полу лежал щит. Очень, очень старый, но целый. Дощечки в палец, немного выгнутые, крепко сплочённые. Обтянутые кожей с плеч быка, проваренной в воске. Заклёпки, железный венец, в середине – помятое выпуклое навершье... Рубцы от стрел и клинков... Щит изначально был красным, воск сберёг цвет, лишь с поверхности облетала черноватая плёнка. Светел осмотрел испачканные ладони, спросил почему-то шёпотом:

– Это что?..

– Кровь, – спокойно ответила Корениха. – Пращур выкрасил его своей кровью, ожидая в бою смерти или победы.

Светел даже руки отдёрнул, не смея тревожить святой давний покров. Чуть не спросил, не о дедушке ли Корне шла речь. Нет! Доспех, хранимый Пеньками, был гораздо древней. Там, где к тканым пеленам прилегали верёвки, сквозь черноту казался рисунок. Светел поднял глаза. Бабушка стояла строгая, суровая. Кивнула:

– Расчисти, дитяtko.

Светел очень осторожно провёл пальцем там, сям...

Кругом наверху распахивал крылья серебряный симуран. Держал в передних лапах снасть вроде маленького толстого лука, круто согнутого, наряженного десятком тетив.

Склонённую голову внука накрыла бабушкина ладонь.

– Владей, Светелко, – тихо сказала Ерга Корениха. – Благословляю.

Чужая ступень

Если держать отсюда прямо на север, попадёшь в Житую Росточь. Налегке, да не сильно задерживаясь, долетишь в четыре седмицы. Санным поездом, как теперь, – доползёшь месяца за два.

– У твоей любимицы нежное лицо и узкая кость, – сказал Злат. – Право, моим высокородным сёстрам служат девушки, отмеченные куда меньшим изяществом. Она ведь не с рождения на костылях?

Места здесь были морозные, вовсе глухие. Без дорог, без следа. Ни зверя, ни птицы, ни рыбного зеленца. Выскирегская дружина бережно расходовала припас, сличала холмы и бедовники с приметами, означенными в путевой росписи и... уповала на чутьё дикомыта.

– Как ты понял про костыли? – спросил Ворон.

Моранич и кровнорождённый шли за санями, отдыхая после тяжёлого целика.

– Кто скорбит ногами с младенчества, отдаёт всю силу плечам. А Надейка соразмерна не только лицом, но и станом.

– Не зря я её, похоже, берёг, – пробормотал Ворон.

Злат жарко покраснел под меховой харей:

– Я думаю о невесте и замечаю красавиц, гадая о чертах ни разу не виденной... К тому же я столько раз слышал о своём подлом рождении, что неволей высматриваю в других благородство, обошедшее меня самого. Твоя чернавушка могла бы служить праведной сестрице Эльбиз! – Подумал, засмеялся. – Пожалуй, государыня её бы драться костыликами научила...

– Тебя послушать, сокровище Андархайны кого хочешь убьёт. А царевич что? С полатей гузном сажу мести?

Мороз обратил смех в кашель.

– Типун на язык! Государь Эрелис всякому оружию изобучен. Просто он... сказано – государь. Ему премудрым рассуждением врагов покорять. Царевна... – Злат улыбнулся. – Она ж старшая. Сколько лет с братом не знали, доживут ли до вечера. Привыкла меньшого оборонять.

Ворон закатил озорные глаза:

– А жених не знаячи обоймёт...

– Эй, лодыри! – донеслось с передка. – Выходи черёд принимать!

Возчики, люди работные, вежества в обхождении не постигли. Вовсе не знают ни царственных отпрысков, ни гордых мораничей. Могут пугой

замахнуться, если старания не увидят. Ещё ведают они, возчики, три крепких слова. Шепнут в заиндевелые бороды первое – и оботуры влягут в хомуты, помчат, будто ретивые лошади по хорошей дороге. Не заметив доедешь!

Другое слово шепнёт обиженный возчик, и неласковому седоку самый ближний путь обернётся тоской, страхом и муками.

А третье слово – заветное. Никому не доведись услышать его. Обращает оно ручных тягачей буйными свирепцами. Лиходеи насели, топчи, бей, круши!..

...Парни живо обогнали скрипучую вереницу, миновали мотающих рогами дорожников. Пока шли из Выскирега в Чёрную Пятерь, Злат хвастливо решил, будто вполне выучился ходить в снегоступах, сокрушать наракуй. Теперь понимал: зря вздумал кичиться. Не выучился ещё ничему.

– Ты молодницу обратно в стольный Коряжин через нас повезёшь? – спросил Ворон. – Или напрямки пустишься?

Вот кто в самом деле шёл легко и неутомимо, даже дыхания не терял.

«Беда мне от болтливости языка! Вольно было про Надейку в сенных девушках рассуждать...» Злат покачал головой:

– Я с окольными в Ямищах остаться хочу.

Шли по-прежнему без следа. Ворон выносил ногу выше колена, разбивал звенящий наслуд. С дикомытом на снегу не тягайся. Кому труд невмерный, а этот приплясывает.

– Все, что ли, от отцов обездоленные? – спросил он через десяток шагов.

Теперь уже Злат надолго умолк. Оглянулся на сани, белые от инея.

– Кто как, – проговорил он негромко. – Вот Улеш, ближник мой... Хотел уже Кокура Скало приёмышу ладком женить, пекарню в руки отдать. Тут объявляется у ворот ненадобный шпынь. Я, мол, рожонный сын твой Утешка, в Беду злыми бурями унесённый.

– Красно врёшь, – похвалил Ворон. Густой пар от дыхания серебрил мягкую молодую бородку. – Так в чём горе его? Лавки дубовые двух сынов не вместили?

– А в том горе, что Скалиха сына вроде признала, сам же Кокура упёрся и ни в какую. Знать не знаю молодчика и дуру-бабу слушать не буду. – Злат вздохнул. – Тот с обиды в кружало... и порядчика кто-то в драке убил.

Ворон смотрел вперёд, на край леса, синеющий вдалеке.

– Владыка милостивую расправу творил, – продолжал Злат. – Отказался Кокура шпыня выкупить. С казни Скалиха заговариваться

начала, а там не проснулась. Кокура неделю крепился. Свил петлю из верёвочки, на которую баранки низал. Улеш сперва себя винил, тоже в петлю ладился или в пропасть вниз головой. Потом всё наследье с наддачи пустил и мне в ноги ударился – в новом краю новой доли искать.

Ворон молча грыз коваными лапками наст.

– Брат его Утешка возле края смерти колыбельную пел, – сказал Злат. – Улеш в крепости услышал, заплакал. Другие ребята тоже с повестями забавными, дикомыт. До Ямищ врать хватит.

В сумерках Ворон различил впереди чужой след.

Сразу повеяло грозой. Злат вспомнил жестокую судьбу тестя, рассказы о бесчинствах разбойников. Обозные псы вздыбили загривки, стали рычать.

Пока молодые походники снаряжали самострелы, дикомыт вышел на погляд. Вот склонился над узкой полозновицей, взгляделся, сделал шаг и другой. Снял рукавицу с варежкой, что-то ощупал. Поднял к лицу, втянул запах, чуть ли не языком тронул.

– Вовсе усталый прошёл, – поведал он Злату. – Руку правую берёг. Только что был.

– Куда шёл хоть? – спросил Злат.

Ворон вытянул руку:

– В Истомище к ночи метит добраться.

Старую заимку считали удобной для отдыха. Путевники не советовали пробегать её второпях: далее простирался немилостивый Шерлопский урман.

– Вот чего не пойму, – продолжал Ворон. – Нарта пёсья, гружёная, а тащит пеш. Где упряжку покинул?

Злат сразу предположил:

– Разбойники отобрали.

«Дикомыты затечные...»

– Поклажу отстоял, собак отдал, – кивнул Ворон. – Обойти бы стороной этого человека.

«Царям Андархайны свойственно великодушие...»

– Если странник нуждается в помощи, мы окажем её.

– Воины Гедаха Отважного нашли умирающего хасина, – медленно проговорил Ворон. – Царь велел повить его раны, дать припасов и отпустить...

– А тот навёл на Гедахов отряд войско, и благородный царь пал в бою, – подхватил Злат. – Я ничтожен в своей семье, дикомыт, но про Гедаха

Отважного песни поют, а Гедаха Сторо́жного, не отмеченного великостью сердца, числят среди предков лишь из уважения к правде.

– Зато Отважный правил два года и один день. А Сторожный – двадцать лет без одного дня. Отец послал меня ради твоего благополучия, не для славы.

– Я не брал у тебя роту телохранителя, Ворон. И сам не рóтился слушать, как присяжного рынду. А вдруг там бакунич бедует? Мне ради страха мимо брата пройти?

Ворон смёл рукавицей куржу, скопившуюся у прорезей хари.

– Вот что, кровнорождённый... Если до ночлега странника не переймём, я один сбегая посмотрю, добро?

Нарта вправду оказалась поместительная, четырёх аршинов длиной. Человек меховым кулём сидел на тюках, раскачивался взад-вперёд. Не вдруг заметил лыжников, явившихся из-за низкой гряды. Когда наконец увидел – хотел вскочить, закричать... сил не достало. Взмахнул рукой, повалился. Оружные парни подходили к нему, убирая пальцы от кляпышков самострелов. За спинами бегунов фыркали оботуры, тяжело подминали тор гружёные сани.

– Не помстились... – всхлипнул человек и заплакал, тычась лбом в снег. Спина в полуторной шубе казалась сутулой от широкого мехового оплечья. Правый рукав – разворочен зубищами чуть скромнее медвежьих. Виднелись повязки, неуклюже намотанные, пролитые кровью.

Спасённого взяли в болочок, где ехали семьи слуг. Сзади подчалили санки. Тягу, едва посильную человеку, упряжные быки не заметили. Собаки с недовольным рычанием обходили и самого подборыша, и его нарту.

Два следа сошлись в один.

Ворон догнал Злата, снова принявшего черёд впереди, по чистому целику. Злат ждал перекоров, услышал неожиданное:

– Я знаю терпельника.

Злат оступился ногой в лапке.

– Ваш, что ли? Из Пятери?

«Ну не дикомыт же... Хотя... если они Бакуню...»

– Нет. Видел, шуба пёсьими хвостами обшита? Его так и зовут – Хобот. Это чтоб упряжка быстрее бегала и вьюга след заметала. Хобот знáтый маяк. У лихих людей покражу скупает и по воровским рядам продаёт.

Злат тревожно задумался, чем могли быть набиты мешки на саночках Хобота. В Выскиреге воровского ряда не велось, но добычный двух таких

стоил. Злат хаживал с царятами. Видел оружие не беднее того, что досталось в подарок великому котляру. Видел корзна старинной парчи, наспех отмоченные от крови. Детские гремушки светлого серебра...

– Теперь послушал бы ты меня, Коршакович, – тихо, с нажимом проговорил Ворон. – Завтра пусть этот Хобот погреемся, в себя возвратится. А послезавтра я пытать его стану.

– Как?.. – Злату влез под кожу мороз. – Зачем?..

Темнота мрела всё гуще, светильников рядом не было, только мерцали впрозелень голубые глаза.

– Пока не скажу. Завтра, если что увидишь или услышишь, дивиться забудь. Молвлю слово, поддакивай знай. А там – как Справедливая рассудит.

* * *

Рана Хобота, обнажённая в болочке, отвращала безобразием вспоротой плоти. Рваная кожа, отёкшая мешанина мясных волокон и жил...

– Ты, батюшка, не под волком ли бешеным побывал? – испугались чернавки.

Хобот лишь головой мотал. По лицу стекал пот, слова сорвались бы воплем, а вопить, точно баба-роженица, до поры казалось зазорно. Терпёж кончился, когда стали вправлять обломки костей. Тут маяк, подвывая сквозь зубы, захотел убрать руку. Ворон взял его за шею, чуть-чуть сдавил. Хобот смежил веки, оплыл по полу киселём. Проснулся со всхлипом, когда локотницу, повитую свежей повязкой, укладывали в лубок.

– Пальцами шевелить можешь?

Получилось едва. Ворон посоветовал:

– Станет подживать, труди без жалости. Тогда не замрут.

Ночь Хобот провёл в страданиях. Охал, ворочался, бормотал. Утром то ли отвлёкся хлопотами и едой, то ли полегчало ему. Вылез вон, придирчиво осмотрел нарту: цела ли поклажа.

Его награждали самыми чёрными взглядами, но маяк никакого внимания не обращал. Коли дожил своим промыслом до нынешних лет, значит видел уже всякое и оброс, будто старый секач, доспехом калкана. Какое взглядом – стрелой в упор не проймёшь.

Ближе к полудню Хобот даже выбрался из саней, пошёл сам. Придерживался за верёвочный хвост, после оставил и его. Тропить не порывался, но и лишней милости, чтобы потом отдаривать за неё, не искал.

Вчера ещё нарту с грузом пытался волочь, сегодня не раскисать стать!

Чуть позже Злат приметил худое. Санний поезд начал отставать от дорожников. Чуть по чуть, неуклонно. Когда Злат вместе с Вороном отдыхали позади, к ним, покинув облук саней, подбежал возчик:

– Хозяинушко-батюшко! Изнемогают сердешные. Мочи нету дальше брести. Роздых нужен!

Творилось это всё как раз за спиной Хобота. У Злата на миг сжало нутро: неужто лихо путь перебило? Ломая шапку, бородач скосился на Ворона, из глаза в глаз стрельнула искра. «Молвлю, поддакивай знай...» Злат надулся, жаль, харя скрыла грозные брови:

– Перепряги лишний раз, да и будет с них! Какой ещё роздых?

– Батюшка...

– Твоё слово каково будет, следопыт?

Ворон отозвался неспешно:

– А таково, что в Истомище тянуть надо. Там, ежели путевнику верить, тебеневать способно.

– Ой, кормилец... Путевник твой людьми писан, а люди чего не наврут...

– Дальше гони, – со всей важностью приговорил Злат. – У тебя пуга на что?

Оботуры вправду шли угрюмые, беспокойные. Ревели, нюхали воздух. Кладеные быки зло нацеливали рога. Неужто гон вспоминали?

Настал новый черёд тропить. Теперь Злат жил не усталостью тела, не муками истянутых ляжек – ждал потехи. Ворон помалкивал, трудился себе. Однако стоило свалиться назад, как перед Златом затряс седым веником уже другой возчик:

– Снизойди, милостивец! Вовсе не могут болезные, вот-вот ноздрями кровушка хлынет... Остановиться бы!

Злат ощутил себя скоморохом, лицедеем на подвыси. Взялся чваниться, как не выдумал бы и праведный Коршак:

– Остановиться? Ещё чем лени своей велишь потакать?

– Отец родной...

– Ты, Ворон, что скажешь?

Ворон долго молчал.

– Погоди, – тяжко выговорил наконец. – Мы ведь ту чужую ступень вроде не пересекали?

– Да тьфу на тебя, парень, молвишь тоже! Как можно?

Хобот не оглянулся. Лишь под мотающимися хвостами оплечья одеревенела спина. Голос Злата на краткий миг стал совсем батюшкиным:

– Твоё где место, холопец? И до Истомища слышать более ничего не желаю!

Однако тучи над поезжанами опускались всё ниже. По завершении очередного круга трудов перед Златом пополз на коленях третий возчик. Самый старый и опытный.

Всё повторилось. Злат, разойдясь, со вкусом посулил воткнуть деда в умёт головой, да там и оставить, в рученьки же замест пуги и вожжей дать хвосты, у любимых оботуров оттятые:

– А туши морозить велю, чтоб наверняка до Ямищ дойти...

Кто, когда являл в обращении с возчиками столь непреклонно-лютую волю? Дед заслонился шубным рукавом и удрал, громко сетуя:

– Как есть чадо Жестоканово! Тоже нравен был, на злые приметы взора сокольего не обращал... И где теперь?

Злат на этих словах запечалился, ибо старинушка слегка хватил через край. Хобот всё не оборачивался, чужие победушки ему были без надобности, но маяцкие уши под меховым куколем напряжённо переползали к затылку, дабы ни полсловечка не пропустить. Злат увидел это и снова возвеселился.

От Истоминой заимки с прежних времён остались только название да угловые камни подклетов. Старикам верить, в этих местах растили рожь и ячмень, теперь полей от бедовников не разберёшь. Здесь когда-то пустил корень прадед Бакуни, уроженец Шегардайской губы. Строился из доброй лиственницы, навечно. Правнуку выпало разбирать венец за венцом, увозить на новое место. Туда, где смрадное тепло Ямищ сулило худую и бедную, но всё-таки жизнь.

На Истомином забытище не сбереглось даже тына – въезжанам обставиться от дикого леса. Злат велел завернуть сюда не ради удобства ночлега – из уважения к родительскому чину невесты. Шастнуть второпях мимо, поклона не отдав? Нехорошо...

Легко было найти почитаемые могилы на вольном холме. Пламя Беды, пришедшее с юга, жестоко ободрало шеломя, превратило в каменный останец. Погребённые вновь подставили грудь за детей, как то родителям заповедано.

– Жаль, прахов не сыскать, – сказал Злат. – Чаянушке бы свезти памяткой драгоценной!

Они с Улешем забрались на жальник по отлогой северной стороне. Принесли огонь, разложили вышитую скатёрочку. Поставили кашу, добрую строганину, кружок постилы – тризнить вместе с усопшими. В руках Злата

весело звякнул андархский уд, маленький, как раз для похода.

Не серчай, суровый прадед,
Что на правнучке женюсь!
Красоты девичьей ради
Никого не забоюсь!
Кто познал огонь свирепый,
Не заблудится в пути.
Удирай-ка, пращур, с неба,
Да старуху прихвати!

Злат запевал, Улеш подхватывал. Голос у неклюда объявился сильный, красивый, неожиданно звенящий подспудным весельем, которое как веснушки на щеках: если нет, не приклеишь, а если уж есть – и смерть не сотрёт.

Чтоб на свадебной пирушке
Мёд и пиво с нами пить,
Чтоб невестины подушки
Сладким шёпотом подбить...

Ворон сперва держался в сторонке, тёмной тенью в ночи.

Наконец выпростал руку, сунул за пазуху. Улеш чуть не поперхнулся, когда к пению струн добавились протяжные вздохи и задорный щебет кугиклов. «Ну как счастью не быть? – спрашивали, трепеща, соловьиные горлышки. – Иначе зачем родители жили, на что жизни свои в муках и трудах полагали?»

У печи, за крепким тыном,
Жизнь продолжится детьми.
Воплотишься, прадед, сыном,
А старуха – дочерьми!

Шерлопский урман

До утра Злат передумал множество дум, и хоть бы одну добрую. Давние родители Чаяны ему не то что светлого сна не послали – вообще почти никакого. «Гнушаются во мне семьянина признавать. А может, душеньки в Ямищи отлетели, вправду у милой подушки выются...» Братец Аро говорил: в дружине им редко удавалось по-настоящему выспаться. И ничего. Тело всё равно отдыхает, пока мирно лежит. Злат тогда не очень поверил.

Забиться удалось, когда из корзинки вылез котёнок, в поисках уюта втиснулся под хозяйскую шею.

Утром Злат покинул болочок хмурый, но на удивление бодрый.

Мычали упряжные оботуры, вернувшиеся с тебенёвки. Ворон, голый по пояс, умывался снегом. Не спеша, с удовольствием. Возле походного очажка металась стряпеюшка. Без горячей заварихи как в дорогу пускаться?

Из котла над углями булькало густыми и долгими запахами Выскирега. Злат неволей улыбнулся. Водоросли, разварной кисельный корень, рыбная мука, птенцовый жир...

В животе приветственно забурчало.

Одного жаль, стряпея нынче поднялась с левой ноги. Хобот, что ли, кряхтением над больной рукой спень разгонял?

Женщина вконец осердилась, пустила в Ворона тряпкой:

– Ишь разнежился! Молодой, стыда нет! Иди хлёбовом добрых людей обноси!

Дикомыт обернулся, невозмутимо, надменно. Смерил взглядом языкастую тётку. Взялся за гашник: а вот совсем развяжу! Парни стали хохотать, но неробкая статёнушка лишь прибоченилась:

– Удивить вздумал! А то мало я в поварне стеблей да клубней повидала, мало ножиком искрошила! Тебе, говорю, отскребать, ежели на дне пригорит!

«Да с чего... – изумился было Злат. Вспомнил, закрыл рот. – Что молвит, поддакивать...» Под кожух вновь забрался мороз.

Мартхе сказывал... Не Злату, вестимо. Эрелису, господину своему. О чём был сказ, Злат не спрашивал. Брат с сестрицей два дня потом ходили в воду опущенные. Самому Мартхе словно болячку развередили. Отвечал

невпопад, пребывая мыслями неведомо где. Шептался с царятами, поминал рынду Космохвоста, какого-то Ивеня. Все трое замолкали, когда входил Невлин.

По лицам, по обрывкам речей Злат смекнул: сказ был о замученных котлярами. Тогда же он услышал про Сквару, побратима юного райцы. Мартхе давно не имел никаких известий о нём. Боялся: тот словом ли, делом уже допросился гибели. Непременно долгой и страшной.

«Взял спел им что-нибудь, а они...»

После разразилось собрание Высшего Круга. Гролом небесным – совет братца Аро. «Пиши, Мартхе, своему дикомыту письмо, а я отвезу! – вспыхнул Злат. – Он ведь грамоте понимает?»

Райца стал белей трескового брюха:

«Не стану. Они прочтут...»

«А я укывом передам. Под рукой!»

«Не знаешь ты их. Чего не увидят, умом дойдут. А он же лгать не умеет. Братейку сгублю...»

Никакого Сквары Злат в Чёрной Пятери не нашёл. Зато вдоволь насмотрелся на «них». На тех, чьи треклятые имена Мартхе до сих пор с трудом выговаривал. Узрел сурового воздержника Лихаря и Ветра, любимого учениками... Чем дольше смотрел, тем сильнее дивился. «Ты, правдивый райца, не путаешь ли чего?..»

Ворон окал по-дикомытски. И приметный рубчик в брови носил. И кугиклами баловался, да.

А ещё – собирался пытать Хобота, не открывая даже о чём.

Вот так, добрый Мартхе. Вот так.

Вчерашняя незадача длилась. Оботуры еле переставляли копыта. Возчики бессильно щёлкали пугами и то материли, то ласково уговаривали «сердешных». Не помогало. Умирая на ходу, поезд плёлся рекой Шатун, промёрзшей до дна. Попирал сомов и налимов, повисших в тёмном стекле донных ям.

Имён зря не дают. Русло знатно петляло, как бы с налёта отскакивая от утёсов-бойцов.

– У вас на Коновом Вене такие же кручи? – спросил Злат.

Он придерживал шапку, оглядывая высоченный утёс, ледяной или каменный, поди знай.

Ворон посмотрел, только фыркнул.

В стороне за сугробом неуклюже возился Хобот. Оглядывался на поезд, боялся отстать, но телесная нужда сроков не знает...

Никто не сомневался: грозное Жестоканово чадо велело бы драться прямоезжим путём, да на берегу высился крепостной тын – Шерлопский урман. Злому Коршаковичу пришлось себя обуздать, выслать на развед дикомыта: вдруг, против всякого вероятия, сыщется удобный для проезда бедовник?

Ворону что! Повесил за спину беговые ирты, пропал с глаз.

Вернулся он незадолго до полудня. Клубом позёмки вылетел из-за бойца впереди. Таким страшным ходом пронёсся мимо упряжек, махавших давно оплаканными хвостами, что псы поднимали лай уже вслед. Люди заметили: храбрый моранич был сам не свой. Харя на темени, зенки выпучены и волосы дыбом. Сразу метнулся к Злату – в ухо шептать...

Злат, выслушав, осенил себя знаками всех сущих Богов. Последним, как было замечено, сотворил трилистник Владычицы. Размашисто, с небывалым чувством и страхом.

– Охти-тошненько... – дружно вострепетали обозники.

В мёрочной мгле, окутавшей берега, гневными ратями витали нежилые жильцы.

– Что же не насядет лешая сила? – пискнула стряпеюшка. Та, что утром смело грозила всем на свете клубням и стеблям. – Чего ждёт?

– Известно чего, – вздохнул белый дединька. – Тьмы ночной, непроглядной!

– Да за что гнев? Уж и рыбкой Хозяинушкам поклонились, и пряничками домашними...

Ведун-возчик, без правды избитый вчера Коршаковичем, на самые глаза спустил мохнатые брови:

– Нечистоту, знать, в ком-то зачуяли. Грешное дело, перед дорогой не исповеданное!

Тут уж все взоры и указующие персты обратились на Хобота.

Маяк не очень заметил. Подхватив долгую шубу, неловко вскидывая снегоступы, дыбал в сторону от обоза. Тридцать третий раз за одно утро. И было ему уже не до того, чтобы скрываться, присаживаясь по великой нужде. Он отвергал еду, лишь с болезненной жадностью глотал согретую воду, но и вода не удерживалась в черевах. Хобот вернулся к поезду злой, бледный, осунувшийся. Его зримо качало.

Утешая напуганных походников, стряпея с необычной щедростью обносила их лакомствами. Мурцовкой, остатками заварихи, стружёной рыбой, теми самыми пряниками. Люди благодарили, с надеждой отщипывали толику байкалам, диконьким, вольным и прочим, смотревшим с береговых круч. Лишь Хобот, зеленея лицом, отворачивался от угощения.

– Не пуцу на ночлег! – крикливо сулила стряпея. – Ишь брезговать
взялся, а сам насквозь провонял!

Псы обнюхивали кровавые пятна, тянувшиеся по снегу за маяком.

Селезень-камень

Злат, не чуждый книжной словесности, знал: «пыткой» прежде звался просто расспрос. Любопытный и усердный. Но сын восьмого царевича был также сведом в летописаниях. Назубок знал деяния восемнадцати Гедахов, шести Хадугов, четырёх Аодхов и прочих. А значит, и то, сколь часто усердный расспрос применялся к бунтовщикам, людишкам несговорчивым и жестоким. Дивно ли, что с годами изменил значение не только шегардайский «позор»?

В переднем дворе Чёрной Пятери торчал столб в неполную сажень высотой. Он казался обугленным. Вплотную подходить и присматриваться Злат убоялся. Глаз искал на земле у подножия горелое место. Казалось, оно залегло там, выжженное незримо.

«Это здесь казнят за измену?»

В каменном дворе легко рождалось эхо, но голос Ворона как будто упёрся в настенные войлоки:

«Нет. Этот столб свят. Здесь обидевшие Мать берут свою честь».

Злат убоялся допытываться подробностей. Перед поездкой он по совету наставника Ваана листал книгу о Хадуговых гонениях. Нарисованные мученики с улыбками падали в кипящее масло. Знать бы Ваану: дома непризнанный батюшкин сын забегал греться в поварню. И что такое «вертеться, как короп на сковороде» ведал не с чужих слов.

«Холодницу покажешь?» – напомнил он дикомыту.

Ворон молча повёл его к не приметной двери под отлогой каменной выкружкой. Дверь, снабжённая личинкой и скважиной для ключа, стояла отомкнутая. Злат увидел резное изображение в четверть плоти: как бы один человек, но с двумя лицами, обращёнными одно другому навстречу. За порогом начинались облупленные ступеньки, уводившие, как помстилось сперва, в кромешную темень.

«Гляди под ноги, кровнорождённый».

Злат бережно сошёл на колючую залежь битого камня. Внизу стоял дух скверны и затхлости, особенно гадкий после хрустящего лесного мороза. Оконце под потолком впускало свет из другого мира. Проникая в холодницу, частички дня теряли силу, кружились беспомощными пылинками, гасли у пола.

Цепи, свисающие со стен. Пустые ошейники.

Здесь творилось то, о чём сказывал Мартхе. Неприступная решётка.

Космохвост. Сквара...

Злат не сразу рассмотрел в холодильнике человека.

Тощий парнишка очень тихо сидел в углу, обхватив руками колени. Он не поднимал головы, но у Злата отозвался болью локоть.

«Это за меня его? Сюда?..»

Ворон стоял у двери. Не торопился ободрять Шагалу, кутать в скрытно пронесённую душегрейку.

«Нет, кровнорождённый. Ты ни при чём».

Злат сам рос почтительным сыном. Для сторонних гостей ему тоже всегда жилось сыто и хорошо за батюшкиной заступой.

Когда вышли наружу, он вполголоса предложил:

«Если кто захочет еды ему сбросить, я бы постерёг...»

«Ты не понимаешь, кровнорождённый».

Ворон смотрел куда-то вверх. Злат тоже вскинул глаза, но увидел только туман, восходивший над развалинами внутренних хором. Он спросил:

«Где нужду можно справить?»

«Великую или малую?»

Злат удивился, но ответил, что малую.

«Пойдём».

За маленькой дверью у подножия Наклонной опять начались ступени под землю. Здесь было тепло и сыро, ход показался Злату знакомым: где-то рядом бурлил горячий кипун, согревавший мыльни и портомойни. У одной двери виднелся вместительный широкогорлый кувшин. Ворон снял крышку. В носшибануло запахом стоялой мочи.

«Что за раскат, где учитель от тебя выпередки ждал?» – делая своё дело, спросил Злат.

«Да так... косогор на старой дороге».

«Просто косогор?»

С другого конца хода показалась вереница мальчишек, уныло плетущаяся к портомойне под водительством Белозуба. Злат обратил внимание, как при виде Ворона босые подростки согнали с лиц тоску, приободрились, прошли в дверь, чуть не приплясывая. Двое последних забрали кувшин. Злат посмотрел на Ворона. Дикомыт улыбался.

«Они наказаны?»

«Нет, кровнорождённый. Идут бельё в чану попирать».

Они поднялись обратно к двери, но у порога Злат натолкнулся на вытянутую руку Ворона. Миг спустя почти прямо над головами что-то подвинулось. Зашипело летучими змеями, сожравшими солнце.

Загрохотало – и в чёрный дворик тяжёлым потоком сошёл сырой снег. В белых струях мелькали как бы ледяные осколки ошейников, силившихся запереть гулы в горле Наклонной.

Возле ног Злата упокоился последний звонкий желвак.

К ранним сумеркам выскирегский поезд обратился лукавой скоморошной, представлявшей для одержимого трепетом одинокого зрителя. Походники так радовались случаю избыть дорожную скуку, что перед ними, право, сняли бы шапки опытные лицедеи. Никто не согрешил против замысла, не дал Хоботу заподозрить расставленную ловушку. Впрочем, Хобот был уже не в том состоянии, чтобы уловить нечаянную ухмылку, а и заметив – верно истолковать. Его черева истекали наружу смертным потоком, кровавым, страшным, неудержимым. Гашник исподних портов впору было так и нести развязанным в негнущейся от мороза горсти. Чуть вернулся к саням, и вновь с дороги бегом!

– Что там? – подгадав время, насторожилась стряпая. – Чужой, что ли, мелькнул?

– Да где?

– Вона!

Старичок-возчик сощурил выцветшие глаза:

– Ну тебя с чужим! Он разве покажется? Пёс это.

– А я о чём? Собачка лешая...

Другие тоже начали вглядываться.

– Рубашкой сера...

– И бесхвостая!

– А почему сквозь неё куст видно?

– Зря ли ворон вчера над поездом летал, каркал!

– Да он всё время тут вьётся, – пискнул кто-то. – И каркает знай...

Болтливого утянули за оболочку вразумлять. Прочие старательно ужасались:

– Ишь зубы оскалила!

– И ещё кружат, ещё, глянь...

– А куда бегут?

– Наверно, туда, где война будет.

– Ой, горенько! Не к добру...

Даже Хобот на время забыл свою скорбь, вертел во все стороны головой. Страшное диво ему так и не показалось, а вот за сугроб заскочить он еле успел. Вернулся шаткий, лицо совсем восковое. Застонал, рухнул на нарту. Ворона упрашивали ещё сходить на развед, он пугливо отказывался.

Вдохновенные обозники восплакали к Злату. По грозному приказу «батюшки-хозяинушки» дикомыт очень неохотно убрёл к берегу. Вернулся вдвое быстрее утреннего и пуще прежнего оробевший.

– Следы, – залетало над поездом. Люди всегда всё знают, даже то, о чём слуга шепчет на ухо господину. – Следы пёсьи кругом! За снятыми шкурами пожаловали. За хвостами...

Возчики начали останавливать сани. Народец постепенно собрался в кружок, посредине которого стоял на коленях, озирался, комкал плетёный гашник зачуявший гибель Хобот.

– Я вам поперёк пути свою ступень не метал!.. – ещё пробовал он огрызнуться, но голос утратил силу, сипел жалко, надсадно.

– А правду ли бают, – спросила стряпея, – когда в Веретье зеленец позноблять начало, они пришлую бабу в бочку закрыли, хворостом обложили да подожгли?

В иной день Хобот, пожалуй, мог задуматься, откуда выскирегской служанке знать притчу, случившуюся в глухой деревне Левобережья. Ныне, однако, смекалка у Хобота вытекла туда же, куда почти всё нутро. Он схватился за нож:

– Не дамся... убью...

– Ха, – сказал Ворон.

Дединька-возчик огладил белую бороду:

– Ты, подборыш, вот что послушай. Мы все тут грешны Богам: без срама да без греха никто ещё рожи не износил! Только мы, как от пращуров заведено, при начале пути исповедали, кого что тяготило... неча тайным злодеяниям под полозьями застревать!

– А тебя, отецкого сына, – подхватил другой, – мы только по имени знаем, да и то: у маяка имён небось, как у рыси пестрин!

– Маяки люди тёмные. Сойдутся, на особом языке говорят, добрым мирянам неведомом.

– Давай-ка, любезный, исповедуй добром! Что за плечами такого несёшь, что нам с твоего появления совсем удачи не стало?

– Не то, – приговорил третий, – уж не обессудь, прямо здесь тебя и покинем. Нежилым жильцам, бесхвостым собакам, всей неключимой силе урманной...

Златичи одобрительно гудели, поддакивали, кивали. Говорить осмысленные слова Ворон им не доверил. Молодые, не выдержат, захохочут.

У маяка из-под разметающейся шубы выползла багровая струйка. Он взмолился хрипло, страшно:

– Не бросайте... не здесь... два дня ещё... У Селезень-камня останусь, там подберут.

– Кто?

– Люди вольные...

Поезжане притихли, затеяли переглядываться. Злат нарушил молчание:

– А я-то гадаю, человек или зверь лесной тебя упряжки лишил.

Хобот обернулся к нему, взгляд был тёмный, мёртвый.

– Мне, добрый господин, лютая сучилища упряжку смутила. Давно бы тварюгу прибить, а я знай кормил... – Приподнял повитую руку. – Вот, получил за добро.

Ворон выслушал не переменявшись в лице. На что ему занудилось спросить именно об этом и именно так, Злату недосуг было гадать.

– Что же ты, дорожный человек, сразу нарту не бросил, на полдень не повернул? Уже добрёл бы к жилью. А если бы нас Боги не нанесли?

Хобот мотнул кудлатой башкой, да так, что заметались хвосты оплечья. Он не хотел больше говорить, но из лесу долетел вой. Близкий, полный предвкушения и потаённой насмешки. Маяк пуще прежнего съёжился под полуторной шубой.

– Той шаечке вольной я драгоценные снадобья... из самого Шегардая... Денег плачено – до завтра не перечесть! Если не довезу, лучше самому в петлю...

Драгоценные снадобья! Злату пришлось удивиться:

– А бают, повольники за весь неимущий народ голодные и раздетые ходят. Что, панибратья твои царский поезд разбили с данями за двенадцать лет? Зеленец торговый обнесли?

– Какой зеленец... Телепеня промышленника подстерёг. Тот на правый берег земляной дёготь вёз. Я сам-то не видел... Мне порты богатые отдали, и те насквозь провоняли.

Злат не сдержал уже настоящего удивления:

– А мы совсем другое слышали. Будто дикомыты его... Так, стало быть, крови на тебе нету? Или всё-таки есть? Исповедывай!

– Перстом не тронул, – усердно правился маяк. – Бакуню молодой один порешил, Лутошкой люди зовут... ни при чём я!

– Уж так ни при чём? А навёл кто, снова не ты?

– Истинно, не я! Я же что, моё дело маячить... злые дела на добрую пользу обращать...

Из лесу вновь донёсся вой, звучавший голодом и надеждой.

– Не унимаются, – зашумели походники. – Не до конца ты, Хобот, душеньку опростал!

Торговец краденым затрясся, заплакал, только слёз не было.

– Сосед повольничков навёл, достатку завидуя... Лигуем зовут...

Ворон подошёл, неся большую тёплую кружку:

– Испей, Хобот.

– Не стану! И так нутро печёнками выпадает...

– Пей, – ласково повторил Ворон. – Не то шею сверну.

Хобот взял кружку. Выхлебал, стуча зубами по краю. Дико огляделся кругом... Схватил рукой живот, закатил глаза, свалился. Лицо – острый нож, мокрая борода торчком, рот нараспашку...

– Помер! – ахнула стряпея.

– Спит, – невозмутимо ответил Ворон. – Проснётся здоров. Погоди ещё, завтра всю завариху у тебя съест.

Всё сбылось близко к тому, как предсказывал дикомыт. Утром Хобот не то чтобы проснулся здоров, но хоть проснулся. Не осквернил наглой смертью дорогу и поезд, а главное – жениха. Вчерашнее помнилось крайне смутно, морока от яви не разберёшь. Сперва маяк отсиживался на своей нарте, враслопырку на тюках, так никем и не потревоженных. Когда надоело мотаться вперёд-назад с движением потяга – обулся в лапки, пошёл. Псы крутились у него за спиной. Нюхали след, примеривались к изгвазданной шубе. Хобот зверовато оглядывался, замахивался кайком:

– У, пропасть...

Всех пуще на одного кобелька, звонкого, куцехвостого. Тот не отставал.

– Потерянное зачуял, – творила святые знаки стряпеюшка.

– Что, мил человек, собачек взамен беглых присматриваешь? – строго осведомился возчик-ведун. – Не думай даже. Не продадим!

– Без шавок обойдусь, – зло рычал в ответ Хобот. – И от вас, недобрых, поскорей бы прочь! Мне до Селезень-камня дойти. Там подберут...

– Да кто подберёт?

– А кто надо!..

Он больше не чувствовал рядом смертного края, значит, правду говорить большой нужды не было. Вчерашняя исповедь то ли приоблазилась, то ли забылась, а может, того и другого наполовину.

Ворон принёс ему ещё питья, пахнувшего летними зельями.

– Избавителю мой... – согнулся в поясном поклоне маяк. – От непотребной смерти спасителю...

Стряпея кинулась долой с облучка – прятать смех. Дединька нахлобучил ворот шубы, схоронил веселье в густой бороде.

Сутки спустя впереди выплыл из морозного тумана Селезень-камень. Посреди южного склона чудом устояла сосна, обращённая пронёсшимся пламенем в угольный столб. Злату неволей вспомнился двор Пятери, чёрный стоёк, но у этого был живой выгиб. И крепкие корни, объявшие валуны. Над бедовником, что сменил пройденный Шерлопский урман, высился великан, изготовившийся к любовным радениям.

У подножия каменного жениха Хобот открепил потяг.

Многие ждали, что он, словечка не сказав, обратит ко всем спину, усядется ждать своих вольных людей, но маяк удивил. Честь честью попросил остановить поезд, взялся пороть один из тюков. С поклонами поднёс Злату нечто чёрное с серебром, умеючи скатанное:

– Прими, батюшка, от скудости нашей...

Злат милостиво принял. Люди всегда отдаривают за добро, чтобы долг не виснул на вороту, отпугивая удачу.

– А с тобой, грозный дикомытушко, не откажи кровью смешаться... Второй раз дорожки сбегаются, может, на третий я тебя выручу.

Все посмотрели на Ворона.

– Награда изрядная, – проговорил тот неспешно. – Только нам, воинам Правосудной, мирскими побратимствами себя опутывать заповедано. Мало ли куда, на кого завтра пошлют.

С тем Хобот и остался у своих санок, чтобы скоро сгинуть во мгле, выползавшей из-за Селезень-камня. В уходящем поезде мрачила весёлые воспоминания лишь одна тень.

– А не наведёт на нас панибратьев своих? Скорняков с вязовыми иголками?

Злат снова вспомнил про Отважного со Сторожным.

– Не наведёт, – сказал Ворон. – Он же трус. Одного меня и то забоится. А насядут... Их редко более дюжины ходит, а нас? – И улыбнулся. – Будто растеряемся?

Храбрые ближники Злата, те, что ради новой доли покинули с ним Выскирег, на всякий случай выложили поближе кольчатые рубашки. Никто так и не попытался напасть. Когда Селезень-камень подвинулся уже за третий закрай, у всех отлегло.

– Ты заметил? – спросил Ворон.

Злат насторожился:

– Что я должен был заметить?

Впрозелень голубые глаза чуть-чуть смягчились.

– На горелой сосне, на той стороне, что к камню приникла, коры полосочка сбереглась. После Беды уже пуколка вылезла, хвоя распустилась

успела... Может, проснётся ещё.

– Знать бы когда, – вздохнул Злат.

– Когда в праведной жизни утвердимся и Владычица наказание отзовёт.

Злат вдруг спросил:

– Ты только про собак пытаться собирался? Знал, что тестя моего вспомнит?

– Догадывался. Учителю письмо было из Шегардая. В воровском ряду опознали кровавый Бакунин суконник. У Хобота купленный.

Злату бросился в лицо жар.

– А мне что же не довели?

Ворон смотрел сквозь прорези меховой хари. Впору было ответить: «Потому и не довели...»

– Не хотели загодя озлоблять.

– А ты будто знал, что дорогой встретим его!

– Не знал. Но раз он от Кижей до Шегардая шарахается, значит, мог и на нас выйти.

После драки все горазды кулаками махать.

– Я тебе поддакивал, как велено было! А ты его отпустил! И шайку! Сам сказал, их там хорошо если дюжина! Мы бы с ребятами!..

«И Чаiane головы отцовых погубителей под ноги метнули...»

– Учитель меня не для того посылал, – терпеливо повторил Ворон. – Разбойники что, они – нож в руке. Почём знать, каков на них замысел Справедливой!

Остаток дня поезжане двигались вперёд лёгким шагом, не зная усталости. Слышались шутки, оботуры и те бодро уминали копытами снег. Будто чуяли впереди оттепельную поляну, изобильную зеленью. Так бывает, когда завершается основательный труд, затеянный миром, хотя вроде что сделали? Дом отстроили погорельцу, спускные пруды вычистили?.. И дорога обещала кончиться не назавтра. А веселились!

Вечеромстряпеюшка без просьб вытащила самый большой котёл. Приказала шустрым златичам натаскать снега. Между составленными от ветра саями загорелся костёр. Густо повеяло жареным салом, потом – озёрной капустой, мороженым борканом и травами, отдающими сок. Наконец над поляной поплыл упоительный дух мяса, таявшего в булькающей ушнице.

Тут уже молодых ребят стало не отогнать. Стряпея разбивала колотушкой каменные от мороза комья грибов и тщетно ругалась. Кто же

отойдёт от живого огня, где пышет жаром веселье и вот-вот позовут к вкусной еде?

Улеш принёс маленький уд, подтянул струны.

Плющом повитые утёсы
И наших жён густые косы...

Пели выскирегские песни, без сговора избирая ласковые и смешные. Других не хотелось. Ворон сидел на облучке ближних саней, куда не достигал дым. Злат всё ждал, чтобы моранич вынул кугиклы. Однако тот слушал очень внимательно и молчал.

Там кто-то плачет,
Там смех ребячий,
Там ждут и любят
Своих мужей...

Ворон шевелил губами, смотрел сквозь темноту.

Стряпея длинной ложкой сняла пробу, вновь надвинула крышку, кивнула. Из-под котла выгребли последние угли, оставили доспевать. Походники глотали слюну.

Видя гудебный сосудец бездельно лежащим на войлоке, Ворон слез с облучка:

– Позволишь, кровнорождённый?

Злат усвоил не все обычаи моранского поклонения, но кое-что знал.

– Я слышал, Владычицу мало радует бряцание струн... Ты разве умеешь?

– Не умею.

– Пробуй, друг мой. – Злат протянул ему уд.

Ворон убрался на прежнее место. Устроил снасть на коленях, принялся пощипывать струны. По одной, по две. Прижимал пальцами лады, испытывал поголосицу.

– А знатно ты волком выл, – сказал Злат Улешу.

Наследник лакомщика улыбнулся:

– Он с напужки хоть морской прибой услышал бы.

Ворон запел. Сначала негромко.

Нас беда равнодушно размечет,
А удача обратно сведёт.
Сколько лет ожидали мы встречи,
Продираясь по жизни вперёд...

Рука яростно пустилась по струнам, голос хлынул, раскатился, могуче
взлетел:

Мы все не такие, как были когда-то,
Попробуй узнай заплутавшего брата,
Сквозь годы и морщины
Отец не видит сына
И давнюю кручину
По-прежнему несёт...

Маленький короб гудел, рокотал, вещал человеческим языком. Злата
пробрала дрожь, он быстро посмотрел на Улеша. Несчастный Кокурин
пасынок, названный в честь дважды потерянного, сидел бледный.
Захлёбывался горьким лекарством, уже чувствуя, как начинается
исцеление.

Нам родня достаётся в наследство,
Выбирать мы её не вольны.
Это нам оборона от бедствий,
И надёжней не надо стены.
Кто встанет за нас возле самого края?
Кого позовём, на снегу умирая?
А сами-то готовы
За брата молвить слово,
Когда грозят оковы
И плаха без вины?

Злат вдруг подумал о своём обидчике-отце. И сразу, скачком, о невесте,
ждавшей избавления в Ямищах. Почему-то он нимало не сомневался в
посрамлении вероломца, даже не гадал об успехе, пёкся о том, что будет
после. Как он Чаянушку за белые руки возьмёт? В глаза ясные взглянет?

Узнает ли в ней ту, с кем день за днём сто лет не соскучится?
Крылатый голос горевал, отчаивался, возносил к незримой звезде.

Кто поймёт, кто по правде рассудит
Незнакомых тебя и меня?
Небеса мы просили о чуде,
А дождавшись – не смеем принять.
Ошибки страшась, отметаем с порога
И дальше бредём одинокой дорогой...
Останься!
Будь как дома,
Мой родич незнакомый!
Молись углу святому
Да грейся у огня!

– Вот, – сказал Ворон.

Ещё через седмицу Златов поезд, обойдя с севера Кижную гряду,
прибыл во владения Десибрата Головни.

Воронята

Надейка теперь жила хорошо. Слишком хорошо. Так, что мама за голову бы в испуге схватилась: «Куда высунулось, дитяtko? Пропадё-о-ошь...»

Мама то и дело оглядывалась через плечо.

Всё равно не убереглась.

Надейка поднималась узким всходом, закрученным противосолонь. Ворон объяснял: так, если что, казалось сподручней отбиваться царевичам Ойдриговой ветви. Они все были левши.

Ещё Ворон зачем-то выучил Надейку читать. Однако дееписания древних царей девушку не влекли. Ну разве буквицу замысловатую подсмотреть. Шитые прикрасы богатых одежд... И скорей снова за травники, сохранившие резной лист чистотела, нежные усики повилики. Чтоб летел над берёстой заточенный уголёк, рождая новый узор...

Лыкаш придумал нанести один из хитрых Надейкиных «завитков» на масло и топлёное сало в горшочках. Кобоху потом месяц спрашивали, не захворала ли. Отчего невесела сделалась, с лица спала...

Костылики негромко брякали по треугольным ступеням. Посохи выгнул Ворон. Удобные, невесомые. Как лапки-самоходы, что носили по чужедальным снегам его самого.

Правду молвить, в сошках для ходьбы Надейка не сильно нуждалась. Ворон и это растолковал. Взял под мышку клюку, сделанную для невелички Надейки. Согнулся корягой, сбросил волосы на глаза. Гадко затрясся, заскулил, выставил горсть...

Вышло до того убедительно, что Надейка попятилась, отмахнулась руками:

«Ну тебя!...»

«Так в Шегардае кувьки подаяния просят. Кто на увечную с костыликами глянет, если рядом душа-Сулёнушка подолом метёт? А ещё...»

И Надейка, опять не ведая как, простёрлась на лавице. Деревянный наконечник висел у лица, грозно метил в глаз.

«Костыль-самоправ по слову дерётся!»

«Да я разве сумею?..»

«Нет слова такого „я не сумею“. Ты попытайся!»

Надейка, волею Инберна вознесённая из мизинных чернавок, давно

забыла дорогу в общую девичью. Крохотный покойчик на третьем жилье Дозорной башни она по деревенской памяти называла клетушкой, хотя в каменной крепости какие клетки. Окошка здесь не имелось, да и зачем бы? Только выпускать грево, худо-бедно доходившее снизу. Зато Надейка теплила жирник, не опасаясь попраёков. Рисуи, покуда не свалится на берёсту рука! Притвори дверь – и смазывай барсучьим салом кожу на отболевших ожогах...

Уже поднимаясь на третий кров башни, Надейка слышала из своей хороминки голоса.

Она чуть не споткнулась, пронесла костылик мимо ступеньки. Дверь, которую она по глупой доверчивости считала своей, запиралась лишь изнутри. Да и то – до первого крепкого натиска. Такие, чтобы замыкались снаружи, в Чёрной Пятери были наперечёт. И те ключей не ведали месяцами. Стало быть...

«Я высунулась, мама. Голову подняла, пташкой запела, тебя не послушала. Прости...»

Надейка постояла, покачиваясь туда-сюда, мучительно вслушиваясь. Во рту пересохло.

...А Ворон – далеко-далеко... Ноги отяжелели вконец. Надейка всем телом навалилась на костыли.

«И за то прости, мама, что в убёг, как ты, не сорвусь. Куда мне...»

Уже мёртвая Надейка одолела оставшиеся ступеньки. Открыла дверь.

На лавице, воздвигнутой повыше от сквозняков, расселся Шагала. Болтал ногами, гневил Суседушку. Гладил, ворошил Надейкино ложе. Ухмылялся чему-то.

– Наш козёл, крутые рожки, проторил себе дорожку...

Только Надейка Шагала не очень заметила. В головах, возле короба, склонившись над горящим светильничком, стоял Лихарь.

Он не подумал обернуться на стук Надейкиных сошек. Без того знал, кто пожаловал. Надейка хотела склониться, исполнить должный привет... не могла. Так и стояла, делаясь от ужаса всё ничтожней. На лубяной крышке короба, на лавке, на полу валялись берёсты. Травы, буквицы, украсные завитки...

Стень, рассматривая, держал в руках два рисунка. Те самые. Хранимые от недоброго глаза возле укромного тла. Берёста норовила свернуться. Лихарь успел досадливо заломить, чтоб меньше упрямилась.

Вот она, смерть.

На одном листе высился чёрный столб. Тщился затмить белый, бесскверный окаёмок. Надейка избегла внятных черт, обозначила лишь

осанку, гордый поворот головы... Лицо запечатлела вторая берёста. Тонкую горбинку носа, прямые длинные брови, гладкие у висков, пушистые к переносью. Глаза – два бесценных камня верила. Красок Надейка не приложила, лишь уголёк, но глаза всё равно мерцали, искрились. Ворон что-то рассказывал, смешной, весёлый, бесстрашный...

– Наш дружок чисто ходит, в зауголья девок водит... – пел своё лихаревиц.

«Прости, мама. Кланяюсь четырём твоим ветрам, батюшка белый свет, прости и прощай. Всех сирот Матерь, прими милосердно... Да повели наконец перестать ему воздух сквернить в клетки, где братик песни играл!»

Против всякого ожидания, молитва была услышана.

Лихарь обернулся.

– Цыц, – щунул он наглядьша. Изволил наконец заметить хозяйку покойчика. – А ты, значит, не только цветы из теста лепить... Твоих рук творение?

Надейка торчала на пороге, уставив костылики наперёд. Не могла выдать звука.

– Чёрный ворон пролетал, крылышками задевал... – еле слышным голосом, тряским от потаённого смеха, вытянул Шагала.

Лихарь просто глянул. Младший вмиг присмирел, прекратил даже ногами болтать.

– Урок для тебя есть, рабица, – словно через силу выцедил стень. – Не совладаешь, изленишься – утоплю.

Мёртвому незачем бояться угроз. Надейка стояла, молча ждала.

Лихарь наконец отпустил её взглядом. Кивнул. Шагала соскочил с лавки, развернул парчовое покрывало. Явилась тёмная от времени, непонятная большая доска. Ученик держал её бережно, как святой образ.

Надейка слепо уставилась на художество. Каменная кладка стен, незнакомые крыши... важные, богато одетые мужи, занятые беседой... солнце над головами... Чуть дальше, на лобной каменной подвыси, мужчина и женщина. Женщина кротко склоняла голову под бело-синим убором. Мужчина, ликуя, воздевал двумя руками дитя в младенческой рубашонке. Показывал народу.

– Будто с тебя, наставник, поличье царское писано, – глядя сверху вниз, упоённо выдохнул Шагала.

– Картину поновишь, – тем же обдирающим, наждачным голосом произнёс Лихарь. – Что понадобится, из припасов возьмёшь. – И повторил: – Заленишься – утоплю.

Младший всё не мог унять восхищения:

– Хоть прибей, батюшка стень... Ну прямо ты живой стоишь!

Лихарь, не терпевший пустой болтовни, почему-то забыл одёрнуть ученика. Сказал ещё:

– Совладаешь, рабица, дозволю список сотворить на чистой доске.

Надейка всё так же стояла у двери, повиснув на костылях, напрочь потеряв голос. Только шевельнулась, отступила с дороги, когда двое, покинув картину и покрывало, направились вон.

– Будто на тебя искусник смотрел... – донеслось уже с лестницы.

Шаги стихли. По полу гуляли стылые токи, шевелили раскиданные берёсты. Надейка сглотнула, вздрогнула, всхлипнула.

«Мама...»

Обжитый было покойчик, вывернутый, залапанный жестокими пятернями, вновь стал чужим. Надейка была в нём беззащитна, как эти лёгкие свитки, колеблемые сквозняком. Собрать их, обратно в короб сложить... не хотелось касаться...

Не хотелось видеть доску, попиравшую складки драгоценной парчи. Всё же девушка скользнула глазами. Переступила, подбираясь поближе.

Над людским скопищем, над головами и крышами реяли крылья, сотканые золотым светом. Надейка ни разу не видела живого симурана. Лишь на очертаниях в книгах.

«Вот бы мне с тобой, чудо небесное, отсель улететь... подальше куда...»

Вглядевшись, она поняла наконец, кому посвящено было художество. На гордой подвыси стояла последняя праведная чета. Аодх и Аэксинэй, честно встретившие Беду. Здесь они были живы, счастливы и прекрасны. Надейка разобрала даже буквы внизу: «Великая Стрета».

Картина действительно просила заботливых рук. Пятна плесени, выбоинки, трещины... Надейка оценивала их вершок за вершком, бережно прикасалась. По ключьям, уцелевшим от платья царицы, струились синие незабудки. Плащу царя повезло меньше. Весь облупился, узора не разберёшь. А вот лицо Мученика сохранилось. Почти целиком. Тонко, тщательно выписанные черты... ликующая улыбка... седые пряди из-под венца...

И на Лихаря царь Аодх был совсем не похож.

Плесень, облепившая низ картины, вдруг показалась Надейке коростами на живом теле. Она дотянулась левой рукой, не глядя вытащила гибкое лезвие, самое тонкое, прожилки на цветочных лепестках выводить. Осторожно поднесла...

У двери зашуршало. Надейка ахнула, ножичек звякнул об пол,

подпрыгнул.

На пороге переминались двое мальчишек:

– Тётя Надеюшка...

У неё перед глазами медленно рассеивалась тень Шагала. Эти были совсем мелюзга. Новые ложки, недавно приведённые в крепость. Надейка вроде даже слыхала их имена. Только не могла вспомнить.

– Тётенька, мы приберём!

Тот, что был повыше и посмелей, уже собирал с пола берёсты. Он родился густо веснушчатым и кудрявым, это считалось наследием андархских кровей. У второго были чудесные тёмные глаза в густых ресницах. Как он улыбался, когда старшие не смотрели!

Он сказал:

– Чтобы тебе по всходам не спотыкаться... Ты вели, всё надобное живой ногой принесём.

Теперь Надейка вспомнила. Ирша и Гойчин.

Лики царской четы поплыли перед глазами. Девушка согнулась, спрятала лицо, только чувствуя, как трогают, гладят руку лёгкие пташьи крылышки детских пальцев.

Воронята...

Уже во дворе Шагала разочарованно протянул:

– А я думал, наставник, ты сведать захочешь, ладно ли у ней рубашечка сшита. Гадал, может, и мне покровка достанется...

Лихарь равнодушно пожал плечами:

– Дурак ты. Ласковых девок в любом острожке довольно. С этой дикомыт валяется, ну и пусть. Нешто сварой учителя огорчать?

– Всё ему! – надул губы гнездарёнок. – Ворону! И орудье, и девка бесскверная...

Лихарь добавил к словам подзатыльник:

– Дурак! Хочешь с дикомытом тягаться, сперва вполовину таким стань. Тебе честь была вручена, царскому сыну правоту Владычицы показать, а ты что устроил? Только о том думал, как себя выхвалить. А как тайному воинству после с праведной семьёй в ладу жить, о том забота была?

Книжница

Наставник Ваан учил самого Цепира, великого законознателя. Он видел и помнил столько – и столько, – что разум отказывался объять. Дузья и Деждик, поди, в пелёнках лежали, а он, уже бородатый, следил последнее ристалище Эрелиса Четвёртого. Отречение первого наследника. Восшествие на престол молодого Аодха...

Когда такой человек ведёт тебя в книжницу, не знаешь, куда смотреть. Кругом – или на него одного. Книги небось подождут!

– Стольный Фойрег видел более двадцати государей, – идя долгим прогоном, неспешно рассказывал Ваан. – Все они были праведными отцами народа, но различались в пристрастиях. Гедах Девятый, к примеру, знал толк в роскошных пирах. Это он велел вырубить в податливом здешнем камне обширные погреба для хранения вин. Андархайна уже тогда была страной запечатлённого слова, а вельможи подражали царю. Поэтому в Гедахов век о стряпном искусстве писалось множество книг.

На лице Ваана господствовали большие глаза под высоким лбом, долгий нос. Говорят, это черты прозорливых, умеющих видеть сокрытое от простецов. Стоило Ознобише послушать речи мудрого старца, его самого несколько дней потом тянуло облекать свои мысли так же красно, связно, забавно. Не получалось.

– В должный срок Гедах Пузочрева сменил сын, суровый Хадуг, четвёртый этого имени. Он читал подвиг воздержания и воинского труда. Посему и не видел пользы в книгах, повествующих, как верно за жаривать лебедя, да ещё одевать его в перья при подаче на стол. Говорят, царедворцы боялись, как бы праведный государь, по строгости нрава, вовсе не уморил их скудными пища и непрестанными объездами земель... Однако речь не о том. Ты представляешь, от скольких книг пришлось избавляться, освобождая место спискам трудов, прославляющих искусство конной езды и науку мечного боя? Иные из отвергнутых книг дожили до нашего дня лишь потому, что были взяты вельможами на украшение хором, на поглядение подданным...

Старик и юнец шли наклонным каменным ходом, спускаясь всё ниже в скальные недра Выскирега. Ознобиша разглядывал узоры слоёв на стенах и неглубокий, тщательно выглаженный жёлоб вдоль пола. Через равные промежутки виднелись искусно выбитые гнёзда для клиньев, чтобы работники могли утвердить тяжёлую бочку, утереть пот.

– Покуда краснописцы слепли в новой работе, – продолжал Ваан, – на Огненный Трон воссел пятый Хадуг, правивший ещё суровой отца. В начале царствования он наполнил тогдашние каторги мораничами. Поклонение Наказующей Матери мерзило ему. Говорят, он вообще женщинами гнушался... Ты уже, наверное, понял, что в ранние Хадуговы дни отовсюду выкидывались хвалебники твоей веры. Их свозили на пустыри и сжигали. Сколько прекрасных песен безвозвратно пропало тогда!

«А не болтал бы ты, о чём не знаешь, высокоучёный Ваан. Утраченные хвалы были воссозданы. Стих за стихом, слово за словом. И дополнены новыми...»

Ознобиша одёрнул себя. У великого ума если шаг, то семи вёрст, если ложка, за семь дней не выхлебаешь. Ему ли пустяки замечать!

– Кто мог знать, – продолжал Ваан, – что на вершине дней царь познает вкус милости и вернёт заключённых, а тайно сбережённые книги обретут цену золота! Между тем стыдившийся женщин не оставил наследника. Ему преемствовал... Впрочем, я снова увлёкся. Я хотел лишь сказать, что поветрия, властные над судьбами книг, в Выскирег из столицы докатывались уже не столь сокрушительными волнами. Когда в Фойреге выбрасывали и сжигали, здесь всего лишь прятали под замок. Не забудем, что царственноравный город от века ещё и ревновал царскому... Какие жемчуга мудрости стеклись в собрания Выскирега – числа нет! Но настал день, когда небесные громы смешались с подземными...

Зяблик невольно насторожил уши. Вдруг да прозвучит нечто важное для его дела?

– Тогда одному человеку пришло время деяний. С немногими друзьями он обходил брошенные покои, ставшие гнездовищем сов. Подвижники собирали книги, свитки, письма и на себе несли их сюда. – Ваан указал вперёд. – В винные погреба, опустошённые расточительными пирами о рождестве престолонаследника. Его успели прозвать Аодхом Оборвышем, ибо у венценосного отца был обычай... Впрочем, довольно о нём. Спасителям книг то и дело приходилось выхватывать оружие, отбиваясь от простецов. Озябшие люди знали одно: камышовые листы можно бросить в печь, кожаные – отскрести от чернил и сжевать. Нам далеко не всегда удавалось избежать пролития крови...

«Нам?»

Ознобиша успел привыкнуть к Невлину, человеку поступков, учившему Эрелиса поведению царственного воина и судьи. Ваан был птицей совсем иного пера. Жрецом письменного слова. Подобными

наверняка мнили себя и учителя Невдахи, но кто бы уравнил их с Вааном! У него палка служила не для тычков в безответные спины. Ему ноги-то нужны были, чтобы до книжницы добираться.

– За этой дверью ты найдёшь бесценные светильники мудрости, зажжённые трудом могучих умов. Они живут здесь в прихотливом соседстве с убогими лучинами каждодневности, вплоть до записок виноторговцев... ибо те тоже суть наследие Андархайны. Поколение, ныне седобородое, не щадило себя, сберегая прошлое для вас, молодых и пытливых. Помни об этом!

С последним словом Ваан остановился перед воротцами, перегородившими подземный прогон.

«Мне бы научиться так говорить, – снова позавидовал Ознобиша. – Успел все смыслы объять, завершил точно ко времени... От меня на Эрелисовых судах подобных речей будут ждать!»

Воротца были окованы толстыми железными полосами. Ползучие лозы, листья, тяжёлые грозды. Всё совершенно живое, сработанное людьми, любившими то, чем выпало заниматься. Плодоносные ветви красиво оплетали калитку, устроенную в воротах.

– А вот тебе, юный райца, живой знак просвещённости владыки Хадуга, понимающего значение книжницы.

Возле калитки стоял воин чуть поменьше Сибира, облачённый в полосатую накидку. Он почтительно поклонился Ваану. Со второго взгляда Ознобиша узнал порядчика. Мелькнуло искушение потянуть носом, напоказ проверяя, хорошо ли отстирали налатник. Зяблик поклонился воину и следом за Вааном, пригнувшись, нырнул в невысокую дверь. Стражник Новко с недоумением посмотрел ему вслед.

Наклонный ход привёл их в самый низ подземелий. Вот здесь чувствовалось, что великая книжница вправду заняла винные погреба. Вдоль стен в деревянных подпорках стояли по кругу невиданно громадные бочки. Притом слаженные прямо на месте: наружный ход не мог их вместить. Между крутыми боками зияли жерла прогонов, звездой расходившихся от срединной хоромины. Одни, залитые непроглядной тьмой, были жерлами Исподнего мира. В других угадывались отблески света, слышались дальние голоса.

– Здесь трудятся мизинные слуги учёности, – сказал Ваан. – Ты же понимаешь, спасённое доставлялось в немыслимой спешке, а значит, сваливалось как попало. По сей день далеко не до всего дошли руки... Итак, юный райца юного государя, с чего бы ты хотел начать свои

разыскания?

Книжница выглядела необозримой. Ознобиша почувствовал себя одиноким ратником перед лицом вражьей орды.

– Этот райца был бы счастлив прибегнуть к твоему совету, правдивый Ваан.

– По совести молвить, меня привела в изумление служба, заданная тебе третьим сыном державы. Искать следы неустройств, омрачавших страну в последние месяцы перед Бедой!

Ознобиша невольно представил, как шегардайский царевич уже завтра займёт место в неиссякаемых байках Ваана: «...а ещё был Эрелис, не знавший, чем бы занять райцу, присланного из мирского пути. Велел прошлогодний снег разгрести...»

– Что ж, не нам, скромным трудникам, оспаривать волю владык, наше дело воплощать её, – смягчился Ваан. – Величайший подвиг берёт начало с малого шага; быть может, однажды я стану гордиться советом, данным сегодня. Идём, я тебе покажу.

Они вместе вошли в устье хода, освещённого, к немалому облегчению Ознобиши, заметно лучше других. У стен толпились бочонки, откуда-то выставленные и забытые. Справа и слева через каждый десяток шагов открывались боковые покои. Ваан уверенно остановился перед одним из них.

«Освоюсь ли я здесь когда-нибудь так, как удалось ему?» – заново преисполнился благоговения Ознобиша.

Два светильника озарили вырубленный в сплошном камне покой, неширокий, но вытянутый в глубину. До самого потолка были устроены полки. А на них – книги, книги, книги! Целые и растрёпанные, с оторванными корешками. Свитки в расписных кожаных трубках и просто повязанные верёвочками...

Жизни не хватит все перечесть!

– Вот прямая дорога, могущая разветвиться извилистыми тропинками, среди коих, милостью Богов, отыщется нужная, – сказал Ваан. – Осмотрись пока, правдивый Мартхе. Я буду поблизости. Если понадобится... Между прочим, здесь, в книжнице, вырос мой внук, юноша прилежный и одарённый. Буде пожелаешь, он станет твоим помощником в учёных трудах.

Оставшись один, Ознобиша двинулся с дозволенным светильничком вдоль полок. Узнал одну за другой несколько надписей. Вот они, друзья! Тени в глубине хоромины сразу перестали пугать. Зяблик поклонился всем

составителям, переплётчикам, переписчикам, чьи последние строки обратила в пепел Беда.

«Сквара сейчас бы песню сложил. Про то, как искры уже зипун прожигают, а подвижник летописи выносит...»

– Хвала и почесть, старшие братья! Не себе корысти ищущи, не трудам вашим сквернения, но продления и плодов новых...

Последние слова показались очень самонадеянными. А куда денешься! Ни на что не посягающие робуши поганые бочки вывозят. У торговцев рыбой кормятся на побегушках. Не у царевичей райцами.

Ознобиша переступал маленькими шажками. Пригибался к полу, тянулся на цыпочки. Снимал с полок, раскрывал. Одну, другую, третью... Добраться до свитков на самом верху не хватало роста. Зяблик разыскал порожний бочонок, вкатил, поставил торчком...

Ход времени в подземелье оценить трудно. Долго ли, коротко – Ознобиша задумался, сидя на донце бочонка.

Если хоть бегло просматривать всё здесь хранимое, можно вотще потратить много недель. Если умерить внимание, легко проморгать важность. Вроде страниц, вырезанных из лествичников. Или блудной грамотки, на которой, оказывается, самое-то главное и начертано. Думай, райца!

Ознобиша, пожалуй, даже понял, почему Ваан оставил его именно здесь. На полках панцирной ратью выстроились книги, с детства знакомые любому грамотному андарху. «Перечень Гедахов», «Деяния Йелегенов», «Два сказа о возвращении Левобережья»... Все – вековой древности. Выложенные дворцовыми грамотеями до образцового согласия. Нигде ни заусенца крамолы. Никто не зажмёт седую бороду в кулаке: «Ты насовествовал?»

И судить ли Ваана за такую боязнь? Сам рассказывал, сколь переменчивы бывали владыки. Если речь хоть краем касается неустройств, открытия могут оказаться опасными...

Ознобиша ещё раз поклонился чертогу благой надёжности. Вышел, потирая глаза. «Можно, правдивый Ваан, я сперва разведом всё обойду? Как слова подобрать, чтоб разрешил?.. Э, а что это я у него позволения спрашивать собрался? Он надо мной не начален. Я одному Эрелису виноват!»

Всё же правильным казалось уведомить старика. Смирная несытое любопытство, Ознобиша миновал несколько тёмных покоев. Ваан обещал быть неподалёку...

Один вход по правую руку был занавешен полстинкой. Изнутри

пробивалось немного света. Ознобиша помедлил, остановился. Старательно кашлянул. Никто не отозвался. Он отогнул краешек полсти.

По ту сторону открылся очень уютный чертог, настоящая ремесленная мудреца. Войлоки по стенам, большой стол, загромождённый книгами от крохотных до неподъёмных, мерцающих золотыми обрезами. Угловатые лубяные пестери, набитые свитками. Чернильница, кружка с белыми и пёстрыми перьями... Кресло возле стола, основательное, старинного дела, напоминающее важный престол. В кресле, опустив щёку на вышитую кожу подушки, мирно почивал Ваан.

Всё это Ознобиша охватил одним коротким взглядом. Пальцы тотчас разжались, выпустив полсть. Ещё не хватало подсматривать, что за поручение так изнурило райцу владыки!

Отдёрнув руку, Ознобиша торопливо шагнул назад.

Ощутил присутствие за спиной.

По сути, на нём не было никакого греха, но сердце заколотилось во рту. «Порядчики... к лекарю... очищать плоть... выждали, пока зазеваюсь!»

Он обернулся так стремительно, что едва светильник не выронил.

Перед ним в сумерках подземного хода стоял и улыбался Машкара.

Пока Ознобиша пытался заново утвердить пошатнувшийся мир, а огоньки светильников гасли на лезвии каменного лекарского ножа, Машкара взял его под локоть, повёл прочь.

– Чего испугался? – спросил он, выходя в срединную хоромину. – Я думал, ты видел меня. Я дважды заглядывал, пока ты в холостых книгах копался.

Ознобиша икал, тщаь выдавить разумное слово.

– В холостых?..

– А каких ещё, если там нет ни единого узла, который захотелось бы раздёрнуть. Тебя старый мизгирь небось к ним приставил?

Ознобиша не вдруг сообразил, что столь непочтительные речи относились к Ваану.

– Он... ну...

– Знал бы ты, правдивый Мартхе, что за дивные перевои умели творить в старину! Их отказывали по наследству, наносили на родовые щиты, даже использовали вместо печатей... Ты ведь слышал об этой чудесной хитрости? Приходит грамотка, скреплённая шнурком, и сразу видно, тревожили её или нет!.. Сколько штанов я протёр в этой книжнице, сколько сжёл масла, вникая в труды мореплавателей, вышивальщиков и ткачей... а оказалось, с самого начала нужно было изучать письма. Идём, правдивый Мартхе, я тебе покажу репки и репейки, закрепы и захлёсты,

навёртки и желваки!

Ознобиша не хотел никуда идти, но пережитый испуг взял своё. Он сделал шаг и другой. Ноги слегка заплетались...

Лягушачья шкурка

– Вот, вот, именно это мне в золотых коробочках дарили! – Боярыня Кука раскупорила тщательно замазанный горшочек, со сладкой тоской провела над ним носом. – Чуете, шелопутки?

Под крышкой была желтоватая смола, даже с виду вязкая и тягучая. В шатре сразу повис запах тухлой рыбы. Любопытно сунувшиеся малохи, отмахиваясь, подались прочь.

– Прости, матушка... Стерву кастную чуем.

– Эх вы, нескладихи, – беззлобно ругнулась боярыня. – Стерва!.. Думаете, чего не знаете, то вас и красит? Это ж морская слизь многоценная! В стольном Фойреге люди гибли, её из жемчужных раковин добывая!

Коснулась блестящей гладкой поверхности. Покинула мелкую завитушку следка. Напоказ облизнула палец, удовлетворённо кивнула:

– Та самая! Думала, помру не дождавшись.

– И зачем бы она, матушка?

На низком столике перед Кукой стояла яшмовая ступка. Вдоль длинной доски – кучками истолчённые порошки. Серо-зелёный, жёлтый, красный, белый да чёрный. Боярыня взяла медную чашечку, начала понемногу смешивать порошки:

– А затем, бестолковые, что без неё не сделаешь мазку-липок. Морщины с лица белого гнать, да так, чтоб пути назад не нашли. Чтоб до седых лет юницей свежей ходить.

Костяной ложечкой зачерпнула слизи, добавила немного масла, вновь тщательно перетёрла. Опустила чашку в жестяной ковшик, полный горячей воды. Накрыла, велела утвердить на жаровне. Малохи забыли иглы и веретёна, следя каждое движение белых рук. Они, конечно, знали простые средства, вроде толчёного клубня болотника или, на худой конец, муки с молоком, но Кука низошла к ним с высот, из другого мира. Сверялась с книгами, читала по писаному. Помнила, близко знала такое, чего им во сне не привидится. В золотых коробочках снадобья!..

– Побаяла бы, матушка.

– Как в царских хоромх ковры шёлковые ножкой топтала.

– Как тебя красные боярыни ревновали...

Кука откинулась на подушки. Закрыла книгу-сердечко. Мечтательно улыбнулась:

– Ещё б им ревностью не пылать, если в них самих мужьям ни глазу радости, ни беседы разумной, ни на ложе восторга! А тут мы, сударушки-посестрей. Речи ласковые, краса ненаглядная, утехи неутолимые.

Бабы слушали. Пытались вообразить просторные каменные чертоги. Парчу, бархаты, дорогие меха. Тонкие пищи, сладкие вина, царское слово над пиршественным столом. Праздные дни боярынь, отдавших рабыням бесконечные заботы женства: кормить, одевать, шить, прясть, обстирывать.

– Да что ревность, нам эта беда как с гуся вода. Вот помню гадюку злосердную... жёнку Ардарушки моего, красного боярина Харавона. Ядом чёрным надеялась меня погубить! За красу лица, за разум светлый, за доброту! Другой бы от неё не спастись...

– А ты, матушка?

– А я с вами сию, безгодными. Порно было Харавонихе лютовать: муж её позабросил, за меня поединком драться собрался!

– Да с кем бы?

– С праведным царевичем Гайдияром, ныне четвёртым в лестнице. Ох, очами сверкали... Ковшик дайте сюда, беспутки. Пусть стынет.

О том, как мимоезжий праведный загляделся, готова хвастать почти всякая баба. Кука говорила совершенно обыденно.

– И... ты-то что, матушка? – спросила самая смелая. – Кого избрала?

Кука вдруг спрятала лицо рукавом. Грудь всколыхнуло рыдание.

– До них ли мне было, дуры! Когда лютая змеища моё дитяtko златокудрое извела...

В шатре долго было тихо. Наконец раздался робкий голосок:

– Дальше-то что, матушка?

– А что дальше. Боярин обратно к жёнке притёк. А Гайдиярушко, соколик мой, по сию пору так и не женился.

Остывающая смесь во внутренней чашке стала бурой, гладкой, жирно блестела. Кука милостиво поманила одну из малых:

– Ну-ка, сядь ближе, головушку подними... Глазки прикрой.

У друженки подглаваря Марнавы было широкое простое лицо, кожа рыхлая, в чёрных точках от редкого мытья и костровой копоти. Боярыня обмакнула палец в тёплый липок. Оставила щедрую черту на подставленном лбу, обмазала нос, подбородок, одну щёку, другую.

– Вот так. Не тронь, покуда не высохнет.

Малюхи с завистью следили, как меняла блеск зелёно-бурая плёнка.

– А нам бы, матушка?..

Кука глянула насмешливо, с превосходством:

– Вы, мои голубушки, хоть представляете, какова цена зельям, если

для них на коробочки золота не жалели? Даром ли Хобот, собак потеряв, пеш дорогу одолевал, не смел поклажу утратить! Моего совета великие царедворцы искали, я Кудаша обнимала и с Телепенюшкой ночами шепчусь, а вам, дурам, кого ради бесценным снадобьем молодиться?

Бабоньки виновато опускали глаза. Кто не помнил Кудаша, тем рассказывали. Могучий Телепентя и сейчас полёживал в пологе, отдыхал от докучливой боли в ноге. Подватаг Марнава заглянул было, послушал храп вожака, воздержался тревожить. Глянул на свою любушку в лягушачьей шкуре липка. Махнул рукой, плюнул, вышел.

– Матушка... – расплакалась намазанная. Потянулась к лицу.

– Цыц! – властно остановила боярыня. – Жди, сказано! Я вам, безгрудым, тайну открываю. Думаете, за одно пригожество нас великие избирают?.. На всякую красу... – голос Куки чуть дрогнул, – краше да моложе найдётся. Мужья наши лакомы, зарятся, как малые дети, на сладенькое. Того не поймут, что с виду малина, а раскусишь – мякина!

Она примолкла. Бабы неловко ёрзали. Оглядывались на входную полсть, у которой, по обыкновению, сидела Чага.

– Ась?.. – недоумённо отозвалась молодая служанка.

– А ворочаются к мудрым, – зло и твёрдо договорила боярыня. – Краса приглядится, ум пригодится... Ну-ка, смирно сиди! Чтоб не шелохнулась мне!

Долгим ногтем мизинца подцепила высохший край, потянула. Бабы смотрели во все глаза. Липок сходил цельным листом, забирая налёт, вынимая из устьиц чёрные точки. Кука бросила обвисшую плёнку в жаровню:

– Зеркальце подайте.

– Диво предивное, – разахались бабы.

Марнавина суложь сидела розовая, счастливая, по-девичьи свежая.

– Не лапай, – предостерегла Кука. – Сосулькой талой протри. А теперь подите все вон!

Удобней поставила серебряный зеркальный кружок. Улыбнулась отражению. Пальцами натянула кожу на лбу.

Поздно вечером разбойничьи жёнки отыскали Чагу, полоскавшую бельё в озерке.

– Ступай, Лутонюшку позови!

– А? – разогнулась недогадливая служанка. – На что?

– На то, надолба, что матушка боярыня затворилась, ни ест, ни пьёт, плачет о чём-то и нас тяжкими словами прочь гонит, а твой Лутонюшка

любимец её.

- Ну... Порты вот допру...
- Какие порты, дело жданок не терпит!
- А мне для вашего спеха бельё в потёмках катать?
- Мы радеем, чтоб матушка не печалилась.
- А я – чтоб ей же в чистом ходить!

Пока уламывали Чагу, Лутошка в шатре завалился на тюфяк. Пришлось вместо тёплых объятий снимать валенки с сушила. Лутошка ругмя ругал глупых баб, но Кука ему вправду благоволила. Он думал вначале – за рассказы про Кудаша.

Недовольный Телепентя потягивал пиво.

– Без меня моему серебру тускнеть не даёшь, а теперь и при мне ввадился? – нахмурился он при виде Лутошки, но из полога долетел всхлип, и вожак сменил гнев на милость: – Ладно уж. Иди утешай.

Кука сидела ко входу спиной. Горестно раскачивалась, бормотала невнятно. Лутошка осторожно присел на корточки:

– Матушка боярыня, чем тебе послужить?

Она чуть обернулась. В щёлку платка смотрел докрасна воспалённый глаз, туго подпёртый затёклой, свекольно-синей щекой.

Разговор у Десибрата

– А я правского войска у старших братьев не попросил, – вслух каялся Злат.

На лавке беспомощно распростёрся его сверстник. Лежал укрытый меховым одеялом, хотя в большой избе Десибрата было натоплено. Голову с плечами подпирала подушка. Деревянная нога валялась на полу отстёгнутая. Парня звали Коптелкой.

– Выжил как? – спросил Ворон негромко.

– Сивушка телом прикрыл. Заслонил от снега текучего. Потом... остывал долго...

Застарелое страдание лишало мир очертаний. Моранич качался против света серый и чёрный, лицо узким пятном, по волосам ручейки жара. Больше ничего: единственный глаз Коптелки исходил слезами, умаешься вытирать.

– Сивушка?

– Коренник мой. – Парень всхлипнул. – Залёточка...

В руках дёргались обрезки старых верёвок. Калека будто стремился всей Десибратовой чади до веку шептунков наплести. В работе порой забывал даже боль, сидевшую копьём в груди и спине.

– Дяденька Бакуня оботуров пестовал, – влезла девка. – Сивушку холил, чаял от него хоть во внуках рубашки белой дождаться. Владыке поклониться мечтал!

Она сидела босая. Коптелка плёл без колодки, примеривал на милую ножку.

– Ты уж, господин вольный моранич, не гневайся, – досадливо проговорил Десибрат. – Ох, выучу дурёху язык за зубами блюсти!

Прозваний зря не дают. Волосы у Головни были чёрные, борода – огненными завитками.

Ворон не стал допытываться, что примяло спину Коптелке. Удар опрокинувшихся саней, глыба снега или косматая туша, бьющаяся в последней борьбе.

– Сюда бы праведного брата, храброго Гайдияра, – расхаживая туда-сюда, горевал Злат. – Лиходеи полосатого плаща бегают!

Столичные выходцы, которых он с такой гордостью сюда вёл, были добрые друзья, удалые работники. Но – не воины. Не с ними Лигуевых головорезов из Ямищ выдворять.

Ворон коротко глянул на него. Нарушил Коптелкину работу, взяв его руку:

– Дале сказывай, друже. Лигуевичей запомнил кого? По именам назовёшь?

– Я Сивушку телком из рожка... Вот, кровью побрататься пришлось...

– Сам Лигуевичей видел? – терпеливо повторил Ворон. – Или голоса показались?

– Ещё бы не видел, если ему Улыба, товарищ застольный, сулицей глаз выткнул! – опять встряла девка. – Хватит, не мучь его! Вот пристал!

Испуганный Десибрат крепко стиснул дочкино ухо:

– Прости, батюшка моранич. А ты! Плётку возьму!

– Погоди, – сказал Ворон.

Злат беспомощно отвернулся. Представил, каково лежалось Коптелке под ста пудами снега и кровавого мяса, только что бывшего живым, своевольным питомцем. А вчерашний друг вместо помощи тычет сверху сулицей. Стало совсем тошно. Кулак стукнул в ладонь.

– Да Гайдияр их...

– Нет здесь Гайдияра, – через плечо бросил Ворон. – Помилуй дочку, добрый хозяин. Она, поди, столько раз эту повесть слушала, что лучше самовидца расскажет. Так, умница? Чур только, не привирать мне. Выплывет – не потерплю.

Орёл-девка вмиг съёжилась испуганным птенчиком:

– А я что, я дома сидела, это отик с парнями в Кижы ходил...

– Парней после расспрошу, – пообещал Ворон. – Сейчас твоё слово. Чтобы мне зазнобушку твоего зря не терзать.

Девка помедлила, глядя, как сильные пальцы поворачивают Коптелкину кисть. Мнут ложбинку меж косточками. Надавливают всё крепче. Коптелка вдруг выгнулся, ахнул. Девка ожила, сунулась. Налетела на руку Ворона.

– Сказывай. Слушать буду.

Пришлось продолжать:

– Кто на них обвалом снег обвалил, то неведомо. Ударило, понесло, страсть! – Затараторила: – А улеглось, злые воры копьями совать, с дяденьки Бакуни дорогой суконник снимали, Порейка, Хлапентя и Улыба ещё, они у дядьки Гольца как десница с шуйцей, и Сивушку добивали, а Коптелку...

– Ворон!.. – вспыхнул Злат. – Ты на лыжах летаешь, соколу не угнать! Обернись в Выскирег, я грамотку напишу! Гайдияр...

Моранич ответил сквозь зубы:

– Погоди, кровнорождённый. Совсем девку запутаешь.

– Тот путается, кто кривду плетёт, а моё слово прямое, – надулась хозяйская дочь. – И сам дядька Лигуй с разбойными людьми добычу делил!

– Куда напрямки ближе? – хлопотал Злат. – Может, к вам, в Чёрную Пятерь?

– Язык прикуси, дочь! Не клеpli, чего сама не видала! Не бремени совести!

– Я...

– Батюшке не перечь, – завозился Коптелка. Завёл другую руку под спину, опёрся, сел. Даже выпрямился, сморгнул слёзы. – Сам доскажу.

Злат взял Десибрата за рукав:

– Вели берёсты подать, чистой да ровной!

– Слышала? – повернулся тот к дочери. – Вняла, что господин царевич велел? Ишь расселась!

Коптелка твёрдо приговорил:

– Так всё и было, как сказано. Лигуище вор, и пасынки его ворята, я в том хоть на железо пойду, хоть образ Моранушкин поцелую! А злому Улыбе от своих товарищей изгнать бы, как нам с Сивушкой...

Пальцы дикомыта всё играли с его рукой. Похаживали, плясали, натаптывали. Коптелка прислушался, удивился, освобождённо вздохнул:

– А кажется – спину правишь!

– Я спину и правлю. Тебя в мыльне распаривали?

– Как иначе... Не помогло.

– Поможет теперь. Научу.

Вернулась девка. Злат жадно схватил берестяной лист, шагнул к столу: где писало?

– Пойдём, кровнорождённый, – сказал Ворон, вставая. – Сперва других ватажников попытаем. Авось ещё что для твоей грамоты вспомнят.

Злат с готовностью поспешил к двери. Десибрат двинулся за гостями, как доброму хозяину надлежит. У порога Ворон молча придержал его. В собственном доме Головне уже давно не указывали, но своё право он отстаивать не посмел. Вернулся на лавку, обнял дочь, загрустил.

– Что, отик? – прошептала девка, вдруг оробев.

– Он моранич, ему воля, – тихо отмолвил отец. – Чего возжелает, слушайся, поняла?

Из сеней долетел сдавленный вскрик. В стену бухнуло, словно кто мешок взялся метать.

– Страшный-то! – пискнула девка. – Как зыркнул глазищами... где душа!..

– И я было с рукой попрощался, – сказал Коптелка. – Сразу всё вспомнил, что про них говорят.

Снова лёг, вытянулся. Лежалось весело и удобно.

– Зато с ними бояться некого, – вздохнул Десибрат. – Не обидит он тебя, дитятко. Не обидит.

– Глянулся моранич, так и скажи, – буркнул Коптелка. – Погоди, теперь, может, я и сам поднимусь!

...А Злата, едва выбрались в тёмные сени, вдруг сгребли за грудки, только затрещал шитый кафтан. Коршакович ойкнул, схватился, но железные руки ещё и в стену внесли – так, что оборвалось дыхание.

– Разбойникам за три овиди кулаком грозить мы горазды, – прошипел Ворон. – А как враг лицом встал, за порядчиками бегом? – Пальцы разжались так резко, что Злат опять схватился за стену. – Сам к делу не способен, хоть мне не мешай!

Злат успел возгореться бешенством, унижением, кровной обидой...

И всё проглотил. Спасибо родителю за науку.

Разгладил надорванные петлицы, отдышался. Сказал почти спокойно:

– Тебя учитель на развед послал. Ты выведал про Лигуя. Дальше что?

Ворон ответил, невидимый в темноте:

– Дальше – разведуюсь.

Злат неволей вспомнил, какое будущее себе рисовал в безопасности Выскирега. Вспомнил, как вправду смешно храбрился дорогой. Ворон... Ворон был тенью из тьмы, залёгшей позади тына. Тьмы, куда ему, Злату, лучше было совсем не заглядывать.

– Ты вот знаешь, – словно в подтверждение, сказал вдруг моранич, – что Лигуев охотник прямо сейчас к нам через тын заглянуть метит?

– Отколь взял? – вздрогнул Злат.

– Смотреть умею.

– Ну не учён я воинству, – с отчаянием проговорил Злат. – Я со слугами рос. По ухожам. Уток кормить, оботуров пасти...

Ну так слушай учёного, мог сказать Ворон.

Располагай, пособлять станем, мог ответить Злат.

Обошлись. Промолчали.

– Ты, кровнорождённый, что про Лигуя постиг?

«Да его не постигать надо, а голову на кол!»

– Жестокий он. Жадный, раз душегубства не застыдился. – Злат наморщил лоб, вспомнил письмо Гольца, корявое, отчаянно льстивое. – Может, трусоватый, хотя владыки кто ж не трепещет. Ещё мыслю, хитёр

по-звериному, а по-людски не больно умён.

– Ходит берегами увешанный, – пробормотал Ворон. – Как сгинул Бакуня, говорят, начал мёртвых робеть. Боится, не встали бы...

– Надеется правду скрыть, – продолжал Злат. – Вздумал с праведными тягаться!

Ворон хмыкнул в темноте:

– Не клади его в грош, кровнорождённый. Хочешь врага ухватить, выведай, что он любит, чего боится. Пошли.

– Других опы́тывать?

– Узнавать, какой облик врагу страшнее всего.

Вечером Десибратовна металась из клетки в малую избу. Собирала чёрную и зелёную ветошь.

Коробейка с потайкой

– Почтенный хранитель!

Необходимого человека Ознобиша в конце концов поймал в ремесленной. Там, где чистили, подклеивали, заново сшивали увечные книги.

– Слушаю тебя, правдивый Мартхе.

Хранитель был очень толст, что странно выглядело при нынешней дороговизне.

– Жаль отрывать тебя, почтенный, от исцеления книг, но, похоже, мне без подмоги не обойтись.

Хранитель начал с видимой досадой подымать со скамьи непослушные телеса:

– Поведай, что ты разыскиваешь, и я попробую подсказать...

Сегодня правдивый Мартхе явился с помощником. Невзрачный, бедно одетый мальчонка скромно прятался позади. Ворох русских кудрей, остренький нос, на ладонях – готовая рассыпаться кипа берёст и кожаных грамот.

– У меня нет затруднения с поиском, благородный хранитель. Мне бы от помехи избавиться.

Дряблое сало, внятяг сдерживаемое одеждой, наново расплылось по скамье. Взгляд стал острым.

– Кто смеет мешать посланцу третьего сына?

Ознобиша улыбнулся:

– В том, что происходит, я не усматриваю злой воли, одно прискорбное недомыслие. Видишь ли, я день-деньской отбираю записи, могущие насытить любознательность моего господина. Увы, почти каждое утро оказывается, что некто распорядился добытым по своему разумению. Вчера я принёс корзину, помеченную внятной просьбой не трогать, однако сегодня и её не нашёл, только грамотки, сваленные на полу. Не удастся ли, благородный хранитель, во имя занятий государя выделить уголок, коего не касалась бы ничья рука, кроме моей?

Ознобише всегда нравилось наблюдать, как задумывается человек. Вот обращается в себя взгляд, перестаёт замечать пустяки яви, устремляясь в куда более насущные внутренние миры... Удивительное дело! – в эти мгновения толстый хранитель напомнил братейку. У Сквары, бывало, так же останавливались глаза... а потом обретала рождение новая, никогда

прежде не слыханная попевка. Только дикомыт искал сосредоточения двигаясь, приплясывая. Хранитель застыл изваянием. Потом увесистое гузно всё же оторвалось от насиженной скамьи.

– Идём, правдивый райца. Кажется, у меня есть кое-что любопытное для тебя.

Как и следовало ждать, ещё прежде срединной хоромины тучному ходуку потребовался роздых. Сев на пустой бочонок, он немало удивил Ознобишу вопросом:

– Я смотрю, ты покинул котёл, но не обычай котла. Мезоньку вот прикормил, помощником сделал... Небось и грамоте учишь?

Царевна Эльбиз притихла за спиной Ознобиши.

– Пытаюсь, – весомо отвечивал тот. – Правда, малец пока больше на кашу облизывается, не на книги.

Сзади его незаметно ткнули крепеньким кулачком.

– А верно ли, друг мой, говорят про тебя, будто ты по рождению дикомыт?

Ознобиша улыбнулся:

– Это лишь кривотолки. Мне показалось проще использовать их, чем бесконечно оспаривать. Я решил, пусть люди видят то, что им хочется видеть. Я не особенно грозен, а дикомытов в городе опасаются.

Хранитель вздохнул. Упёрся пухлыми кулаками в деревянное донце. Вставать страсть не хотелось.

– Ты рассудителен, как и надлежит райце. Однако синеглазого племени здесь не просто боятся. Слышал, что случилось третьего дня? В калачной пекарне, что над исадом, печь разбили. Чтобы, значит, заречным духом больше не веяло. А кто скажет «Коряжин» – на улице бьют. И порядчики не вступаются.

«Какое вступаться, если сам Гайдияр спит и видит Коновой Вен воевать...»

Хранитель слез наконец с бочонка. Повёл дальше. Ознобиша и царевна свернули за ним в тот самый ход, что показывал Машкара, а там – в покойчик, где якобы таились чудесные «репки и репейки». Здесь хранитель остановился у большого сундука. Похлопал по крышке:

– Вот, как мне кажется, достойное испытание для твоей смекалки, правдивый райца. Добытки грамот втащили сюда этот короб и замкнули, наполнив спасёнными книгами. Почтенный Ваан, конечно, тоже здесь был, но не запомнил, как срабатывает замок, до того ли им было! Я приступался... сломать проще. Осилишь – владей. Никто случайно не

покусится.

Скрыня была из вощёной кожи, гладкой и жёсткой. Ознобиша не заметил, как вышел толстяк. Уже ползал кругом, ища спрятанные запоры. Не находил ни скважины для ключа, ни живой пуговицы, сулящей пружину.

Царевна примерилась лезвием к щели под крышкой. У боевого ножа обушок был толст, не влезал. Ознобиша уселся, держа светильник перед собой.

– А уж хранитель, видать, тем печным калачам был первый едок, – проворчала Эльбиз. – Ишь взгоревал. Ему, случаем, не Гедах имя? Как Пузочреву?

Ознобиша рассеянно отозвался:

– Мыслю, в черевах несогласие... Иные от маковой росинки добреют...

С крышки вдоль расписного бока свисал железный язык. Конечную петельку держали клювами сразу две кованые жар-птицы. Сдвинуть их пальцами не получалось даже на волосок. Птичьи лбы были сжаты настолько плотно, что ржавчина цвела единым пятном. Крутые загнутые шейки, простёртые крылья... Узор выглядел единым целым, напоминая бочки из срединной хоромины, воздвигнутые прямо на месте.

– ...не хочу?

– А?..

– Ты на что сказал ему, будто я книг читать не хочу?

– Чтобы дознания твоим успехам не учинил.

«Раньше любили делать ложные язычки. Заставляли без успеха возиться, разгадки не ведая...»

Царевна села на крышку, свесила ноги. Подкинула и поймала нож. Подкинула и поймала.

– Выродились андархи, – сказала она. – Чучела терзают, в пекарнях хоробрствуют. Срам! Поскорей бы уже в родительский город! Там святой дедушка, наш восприемник. Там честь помнят. Слышь, Мартхе! Может, тебе с Сибиром через город ходить?

– Читимач, – глядя в пустоту, сказал Ознобиша.

– Что?

– И другие развлечения для деятельного ума. Слезь!

Этот неистовый блеск у него в глазах Эльбиз уже видела. Живо спрыгнула, взяла оба светильника.

Нераздельным целым жар-птицы всё-таки не были. Взаимному движению мешала цепь, соединявшая лапки. Толстая, гладкая. Ознобиша сперва посчитал её ручкой для поднятия, одной из шести. Точёные

железные ядрышки в узорных гнёздах оправ... Цепь выглядела неразъёмной. Но если её оттянуть и начать поворачивать, как с ручками обычно не поступают... Если, одолевая шершавую ржавчину, выстроить гнёзда вереницей, по-кукушечьи перекатить яйца...

– Быть в Андархайне Эрелису Великому, – пробормотала царица.

Ознобиша держал половинки цепи. На правой руке кровоточил сломанный ноготь. Он ответил:

– Не всё же ему через меня поношения и насмешки терпеть.

Взвешивая правителя, взвесь его райцу, гласило древнее поучение. Следовало добавить: а взвешивая райцу, положи на весы книги, что он в отрочестве читал.

Развести кованых драчунов теперь не представляло труда. Из ушка выскочил один клюв, потом и другой.

Молча переглянувшись, друзья подняли крышку. Толкнулись плечами, разом перегнувшись вовнутрь.

Ознобиша ждал сырой затхлости, но из короба веяло лишь старыми книгами, кожей, свечками, чуть-чуть дёгтем... По стенкам виднелось немного плесневой черноты, но и та – хлопьями, давно иссохшими, безобидными.

Книги, грамотки, свитки... Почти полтора десятка лет они не видели света, не знали человеческих рук.

– Куда выкладывать велишь? – спросила Эльбиз.

Ознобиша напряжённо хмурился:

– Погоди... сперва приглядимся...

«Станут ли в таком сундуке что попало хранить?..»

Его взгляд почему-то упорно возвращался к одному облупленному уголку, казавшемуся из-под стопки у самого тла. Так бывает: войдёшь в изобильную лавку и среди пёстрых богатств не можешь покинуть простенькой чашки... Может, роспись на обветшалом окладе внимание привлекла? Рука в красном рукаве, сжавшая униженный бубенцами колпак?

После того как Ознобиша, глядя прочь и думая о стороннем, третий раз положил на прежнее место пачку записей о продажах вина, царица легла животом на край сундука. Выудила книгу, сунула райце:

– Читай уже, что ли! Сил нет смотреть, как слюни пускаешь!

Ознобиша жадно вгляделся... Узнал, ни разу не видел. Беспамятно бросил всё, что держал, – и схватил «Умилку Владычицы».

Это была родная сестра той, про которую, прижавшись под одеялом, на ухо рассказывал Сквара... Милостивая Богиня шествовала в окружении скоморохов. Свирели, бубны, пыжатки... даже гусли, воздетые в упоённом

размахе. Морана взирала на игроков улыбаясь, как мать на детей, охочих до шалостей, но от этого ничуть не меньше любимых. Ознобиша раскрыл книгу посередине, спеша прочесть песни, созданные не чуравшимися шуток жрецами...

Не смог разобрать ни словечка.

Краснописные буквы ползли с места на место, вихрились палой листвой, складывались в простой и страшный узор. Кровавое тело, вздёрнутое на дыбу. Листки, исполненные вот этими строками... приколотые на груди, скомканные под ногами... Подземная книжница со всем содержимым исчезла за небоскатом. Ознобиша вновь стоял у чёрной стены, под корявым суком, простёртым через дорогу. Глядел в глаза обречённику, сжимал самострел... и уже не отвести, не отнять готовой впиться головки...

– Мартхе!

Лихаревы лапы на плечах утратили нещадную хватку, обернулись заботливыми руками царевны.

– Мартхе... братёнок...

Понадобилось же ей произнести последнее слово, без которого он ещё как-то крепился. Услышав – больше не смог. Зажмурился что было сил, опустил голову, почувствовал, что слабеет.

Царевна росла с воинами. Знала, как поступать, когда побратима ранит стрела.

– Ты сядь, Мартхе. Я здесь.

Он послушно уселся.

Спустя немного времени умиральная книга Ивеня перестала вздрагивать и кровоточить в руках. Ознобиша услышал рядом возню, негромкое бормотание. Открыл глаза.

Царевна сидела у входа, разложив на полу, кажется, те самые записи виноторговца. Ознобиша успел виновато решить, что это он их метнул, бросившись за «Умилкой». Нет. Девушка брала листы, поворачивала, косо подносила светильник...

– Глянь, райца, – как ни в чём не бывало проговорила она. – Ну на что, думаю, было так хитро прятать перечни бутылок и бочек? Нешто воры кражу делили?.. Я читать, а листы в руке хрупают. И все загнуты с одной стороны! – Она подняла лист, показывая, о чём речь. – Искроили, значит, престарую книгу, прежнее смыли, новое написали! – Лист щёлкнул, как жестяной. – А всё одно – плохо старались!

– Прочла что-нибудь? – спросил Ознобиша. Голос прозвучал хрипло, безжизненно, равнодушно.

Эльбиз оглянулась на входной проруб. Неожиданно оробев, зашептала:
– Сумела немного... У лебеди птенца отняли! А она песнь поёт, проклясть хочет!

Ознобиша медленно выплывал к яви из тёмного мира, где остались и братейка, и брат.

– Проклясть?..

Глядя друг на дружку, они испытали удивительное единение мыслей. Оба помнили, как переводилось на языки имя царевны. И то, что Эдарг, сев в своей уkraine, перво-наперво запретил стрелять лебедей. Ознобиша протянул руку:

– Дай погляжу...

Смывший чернила постарался впрямь недостаточно. Следы прежних линий, видимые в косом свете, не полюбились плесени. Светлые полосы на посеревшем листе, выплетенные цветами, травами, листьями... Дописьменные письма Андархайны, запечатлевшие язык, отличный от нынешнего. Ознобиша и Эльбиз умели его разбирать.

Вот только повесть, обещанная высохшими листками, вправду пугала...

Серебряный гребень

– Так понял ты или нет, когда к нам припожалуют?

Рослый парень в ещё не обтаявшем кожухе, только из леса, растерянно мял шапку:

– Кабы знать, батюшка...

– Мне самому лапки вздеть велишь и на развед за Кижы бежать? Толком сказывай, говорю!

Новый хозяин Ямищ умылся возле крыльца. Аюшка поливала ему на руки из муравленого кувшина, немного облупленного, но по нынешним временам всё равно многоценного. Чаяна держала полотенце. «Пусть учатся, дуры, моими дочками быть! – сказал он их матери. – Разом две свадебки справим, Чаяны да нашу с тобой. Погодя Аюшку выдадим. За Порейку...»

Не в час молвил. Вот он, Порейка: мнётся, топчется, шапку терзает. Внятное слово хоть клещами тyani. Хорош женишок!

– Погодь! – сообразил вдруг большак. – Тебя кто напугал?

– Ну...

Порейка приподнял виноватую голову, быстро покосился на девок. Лигуй досадливо выхватил у Чаяны ширинку. Утёрся, в сердцах метнул наземь.

– Брысь! – Девки сдуло. Хозяин вновь надел на разведчика: – Сказывай толком!

– Как не заботиться было, батюшка, – стал рассказывать Порейка. – Добрые люди с дороги бы отдохнули да по вехам дальше пошли. А эти мало что за ворота нейдут... Как полночь, костры смрадные возжигают! Галдят, поют не по-нашенски, аж волосы дыбом! В бубен гудят...

Вроде простые слова, но на краю зрения вспыхнуло зарево, пустились в пляс тени. Рука сама поползла к поясу, где рясами висели обереги: крохотный топорик, ножичек, ложечка... Лигуй сделал усилие, подбоченился. С усмешкой спросил:

– Государя зятя моего видел ли?

– Видел, – обрадовался Порейка. – Отрок ещё. Собой худенький, волосы пакляные... По гребню узорочному догадался.

«Отрок... – Думы трудно возвращались в прежнее, приятное русло. – Появжу девкой недоросля, подомну, в моей воле будет ходить. И кто мне, царскому свояку, на купилище о пошлине заикнётся? А младшую...»

– Только ты, батюшка, сделай милость, дальше за ними лазутить иных посылай, – сказал вдруг Порейка. – Ты уж как хочешь, а не пойду я больше туда.

Хозяин сделался грозен:

– Перечить мне?

А у самого рука снова дёрнулась к оберегам.

– Не пойду, – упрямылся парень. – Нечисто в Кижях! Повадились там... вставать да бродить, вот что!

Лигуй аж отступил на полшага.

...Ледяная рука легла на плечо, мелькнул чёрно-зелёный рукав...

Двор притих. Люди переглядывались. Все думали об одном. И Лигуевы чада, и прежние Бакунины домочадцы. Вслух говорилось только о злых дикомытах, натёкших через Светынь, но шила в мешке не утаишь. Как Лигуй ни скрытничал, правда точилась.

– Не баб старых пугаешь! – проскрипел он сквозь зубы. – Чем поклянёшься, что не лень свою покрываешь?

– А вот этими снегоступами! Коли вру, пусть изломятся, с места вовсе не пойдут! Только что я Кижями повернул, чую, будто бы идёт кто за мной. Снег мнёт, в шею дышит! Оглянусь – никого!

И Порейка наотмашь ударил перед собой воздух, гоня незримое зло.

– Всё, что ли? – мрачно спросил Лигуй. – Весь страх?

– То не страх, батюшка, полстраха, – был ответ. – Выскочил я из лесу, опушкой иду... вдруг сзади как заревёт, как застонет: у-у! Я смотреть, а по снегу пёрышко катится... чёрное... А только что не было! И птица не пролетала! Отколь среди пустого места взялось?

Парни начали пятиться. Бабы, какие высунулись в двери, живо попрятались. Многим были памятны рассказы маяков про торг в Шегардае. Про пятерушечника Богобоя, похабника Мораны... в одну ночь ставшего Богумилом, исступлённым мораничем.

Люди горазды забавлять себя страхами. Покуда эти страхи – чужие. Покуда не выскакивают из-под ног, не виснут на воротах!

Порейка понизил голос до шёпота:

– А ветер как затеял песню выть, ту самую, Ба... э-э... ну, песню нагальную. Сани белы лебеди, на дорогу выводи! Только тихо так, жалостно... Будто из-под земли!

У Лигуя померкло перед глазами. Чёрное, зелёное, кровавое выросло из снега. Шло к нему. Тянуло мёртвые руки...

«В три шеи гнать злосчастье ходячее. Ещё не хватало, младшую за ненадобного! Чтобы всё добытое – меж пальцами водой утекло?..»

Порейка смекнул: зря взялся болтать. Поздно! Хозяин смотрел зверем, вчерашние дружки отступали, никто не хотел касаться его. Особенно те, с кем показывал пришлым людям подпоры в снегу, с кем вместе смотрел, как внизу смешно кувыркаются сани, люди, оботуры...

– Перо-то хоть на месте покинул? На погляд нам не подобрал?..

– В молодечную спать не приходи! С одеялом выкинем!

– Без приносов ворожейных обойдёмся...

Порей озирался, всплёскивал руками, как подбитая птица:

– Я ж... Братцы! Я ж упредить!..

– Без упреждений хороши будем.

– За ворота ступай со всем, что в Кижях налипло!

Лигуй зябко передёрнул плечами. Зеленец в Ямищах был богат и желанен, но на грево не особенно щедр. Любой ветер напрочь сдувал туман, в одной рубахе среди двора долго не простоишь. Особенно после таких-то известий. От прикосновения ледяной руки нет заслона, кроме святого огня. Скорей светильники зажигать! Больше, ярче!.. Лигуй взбежал на крыльцо.

– Батюшка... – жалобно раздалось сзади.

Дверь бухнула, отсекала. Лигуй не оглянулся. Чего ради? Выгонят, значит быть по сему.

При виде грозного хозяина Удеса и дочки сразу вскочили. Молча стали смотреть, как он теплит Божью огнивенку.

Едва сел на красное место – с поклонами поднесли завтрак.

Против обыкновения, женское покорство не радовало. Хотелось придраться, швырнуть мису в стену. Хорошо бы и самим науку задать. Лигуй взял ложку, молча принялся есть.

Ничего не случилось.

Всё же бесталанный Порейка приволок из лесу налипший клочок темноты. В этот день всё шло вкливо.

Замызганные трудники на ямах только поспевали ловить упущенные черпаки. Поднимали одну воду без дёгтя. Кое-как наполняли вонючей жижей ушаты. На полпути до отстойника незримая рука сбивала ушаты с хлудов. Чёрные девки бросались спасать дёготь, но совками много ли соберёшь?.. Пороть дур, без щадя пороть! Чтоб сердце в ручки, в ножки ушло, проворства добавило!.. Хозяин самолично брался за плётку, но до вечера оберегов на его поясе знай прибывало.

Ночь не принесла облегчения.

Не растешили даже приятные мысли о скорой женитьбе. О тёплом,

податливым теле ещё не старой вдовы. Всё нынче было отравлено, объятия казались опасными. Бабы в постели умеют разум отнять. Выведать тайное. Глянет Удеса ему в глаза, вдруг душу увидит?

Лигуй тяжело ворочался, полати скрипели.

«Может, лучше ей ненароком в яму дегтярную оступиться? В лес пойти да под деревом задремать?.. Аюшка молода, умишко цыплячий, живо моим золотом глаза да уши завесит...»

За стеной ещё не ложились. Сквозь брёвна, как с того света, доносилось тихое пение. Чаяна отпускала девичью волюшку, оплакивала, оставляла сестрице.

То, что вдова с дочерьми как будто тайком от него пытались блюсти свадебный чин, почему-то вконец смутило Лигуя. Он рывком сел. Зарычал, швырнул одеяло. Последний жирник ещё горел, бросая по углам тени.

Чёрные с зеленью...

До зуда хотелось грохнуть дверью, бешено опростоволосить Удесу. Сорвать зло. После – явить чади царапины от ногтей: «С ножом посягала!..» А как рассветёт, скорым шагом за Кижь! Размыкать по ветру Десибрата и всех, кто за тыном неведомо кому ворожит! Что они смогут, на коряжинских подушках возросшие? Головы долой! В самой глубокой и чёрной яме серебряный гребень похоронить!..

«Нет. Вычерпают однажды, как правиться стану? В землю кладом зарыть!.. Ну его. Возьмётся кликать человеческим голосом, огнями бледными процветать... Двор Десибратов зажгу, в пожар бросить? Нет, жалко...»

Лигуй откинулся на перину.

«Вот! Огнём переплавлю, чашку выколотить велю. Стану пить да посмеиваться...»

Утром он встал бодрый, избывший все вчерашние страхи.

– Пор... Хлапёня, Улыба! Живо сани закладывайте. Собираться велю!

– Далеко ли, батюшка?

– Куда гонишь врасплох?

Спрашивали свои. Бакуничи повиновались молча, нога за ногу.

– К соседу едем, к Десибрату Головне! – радостно объявил Лигуй. – Царский сын, поди, всё терпение растерял, почёта ждёт, богатых подарочков, а я мешкаю, непонятливый, тонкому вежеству не наученный!

Хлапёня с Улыбой переглянулись, вышли в загон. Могучие оботуры, белолобые красавцы-братья, были съезжены в пару ещё при Бакуне. Поговаривали, будто прежнего возчика, Коптелки, слушали с полуслова.

Новым хозяевам до сих пор едва в руки давались. Ничего! Вожжи да кнут не таких на ум наставляли. Коренник за буйство уже получил кольцо в нос. Младшего ждали цепные постромки. Не забалуешь.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается... В исплошку люди в дальний путь не срываються, разве что от смерти бегут. Впрочем, дело хозяйское, а с хозяином в этом доме не спорили. Лигуй шутил, улыбался, но в глазах играли кровавые жилки. Работники бегали, таскали спальную мяготь, лыжи на всех, съедомый припас.

Грозный хозяинушка сам отбирал подарки. Чистый дёготь без копоти – для царских светильников. Шубу из чернобурок, крытую бархатом. Бакунин лук с плечами, выложенными китовым усом. Стрелы, окрылённые лебединым пером: где теперь такие найдёшь!

Чаяна с сестрицей увидели, обнялись, отвернулись.

– О чём, дуры, ревёте? – непритворно удивился Лигуй. – Небось женишок всё как есть назад привезёт. А не привезёт, надоумлю получше на купилище взять!

Не рассказывать же скаредницам, как сам поглядывал на заветный горшочек с Божьей огнивенкой. Вот бы чем царского пригульного порадовать... Нет, жалко. Такой оберег раз в жизни в руки приходит. Дело ли по-глупому упускать, если меньшим обойтись можно!

Лигуя, прозванного Гольцом, с молодых лет отличала жилистая телесная крепость. Как всякого, кормящегося от собственных трудов и отваги. Последние годы украсили его дородством. Теперь он замышлял и приказывал. Для удалых дел имелись ретивые молодцы. Не стяжавшие власти, не нажившие ума.

Жаль, в большой работе своей рукой до всякой мелочи не дотянешься. Как ни подгонял лежебок, к обеденной выти еле управились со сборами.

После трапезы, уже в дорожной одежде, Лигуй присел ненадолго в красном углу. Отсёк насущные хлопоты, разогнал домашние попечения. Даже мысли о нежном девичьем теле, о полных, влекущих мякитишках Удесы. Встал суровый, уже не принадлежащий избяному крову, только дороге. Шагнул к двери.

Всё-таки оглянулся, взял с божницы горшочек. Сунул за пазуху.

«Ограждай, свет-горюч камешек, в пути и в беседе от порчи, от озёва, от глаза урочливого... А там – как дело пойдёт!»

Мать с дочерьми вплоть до старого поля молча шли за санями. Иначе – на миру срам, иначе – сор из избы: неладно живут!

Оботуры шагали угрюмо, тяжело, мотали лобастыми головами.

Артачилились как могли. Цепь лязгала, Хлапеня еле справлялся. Одно слово, Бакунины! Хозяин к родителям отошёл, а упрямство осталось. Только на быков пересело. Рога им, что ли, спилить, чтобы люто́сти поубавилось?

У самого въезда в чащу Лигуй выглянул из болочка.

– Ложе брачное мягчи, девка! – крикнул Чаяне. – Может, прямо завтра жених изведать захочет, честно ли тебя мать сберегала!

Ражие парни заулюлюкали. Посыпались шуточки, весёлые намёки из тех, без коих свадьба не свадьба. Чаяна покраснела, закрылась воротником. Под злой рёв оботуров, под ярое хлопанье пуги походники и сани скрылись в лесу.

Здесь им была не своя круговенька, небо мрело всё гуще, но опять спасибо Бакуне. Зряче, хорошо разметил дорогу, не заплутаешь. Да и Порейкин вчерашний след бежал впереди. Вёл, подсказывал, ободрял.

Когда скрылись из глаз, мать и дочери повернули, тоскливо потянулись домой.

– Мамонька! – вдруг вскинулась Аюшка. – Он же, дядька противный, с лучшими ватажниками ушёл! Если нам сполох кликнуть? Лигуевичей, кто остался, в клетки запрём! Ворота крепко заложим!

Удеса задумалась. Она двадцать два года вела дом. Провожала супруга то в лес, то на промыслы, то на торг. Вместе с ним решалась в Ямищах основаться.

– Нет, – сказала она. – Приедет без жениха, долго ли против него выстоим? Только верных людей без толку загубим. А с женихом об руку пожалует, начнёт доброго молодца под себя гнуть... на тебя, Чаянушка, будет наша надея. Авось ночная кукушка дневную перекукует... Дитятко болезное! Ты что там шепчешь такое?

Старшая впрямь творила святые знаменья, губы дрожали.

– Отика вспомнила, – ответила она погодя. – Здесь вслед махали ему. А больше не видели...

Аюшка притопнула валеночком:

– Дядьку Гольца бы в неворотимую сторону унесло! Не видеть бы его, противного, больше ни живого, ни мёртвого! Слыхом вовсе не слышать! Па́деру ему в глаза, сувой на голову, синий лёд под пятау!

Холостые слова упали на снег. По сказанному лишь в дивных сказах сбывается, наяву чудес не велено ждать.

Пальцы гусяра

За уродливыми останцами Зелёного Ожерелья, некогда спасшего город, раскинулось Дорожное поле. Южней Выскирега бывшие отмели резко сходили на нет. Северней – достигали десятка вёрст в ширину и, нарушаемые лишь устьями заливов, тянулись проезжей дорогой до самой Светыни. С востока горбился материк, обращённый Бедой в сплошные шерлопы. С закатной стороны зримо представала граница, где прибрежные отмели сменяла пучина. Там, внизу, лежал покрытый льдами Киян.

Сверху лёд выглядел гостеприимнее суши, но промышлять там отваживались лишь самые безрассудные. Неупокоенный Хозяин ещё тосковал в глубине. «Море пришло!» – говорил здешний люд, когда белый панцирь от окоёма вскраивала волна. Опытные рыбаки Выскирега умели предсказывать гнев Морского Хозяина. По ломоте в костях, лёту птиц, ходу сельдяных рун... Кощеи-переселенцы не были искусны в морском промысле, ну а безрассудной отваги от голытьбы пополам с беглыми рабами никто и не ждал.

С Дорожного поля мёртвые острова выглядели стеной разрушенной крепости. Когда-то она отразила врага, но с тех пор впала в забвение. Стояла растерзанная, загаженная, покинутая измельчавшими потомками храбрецов...

У подножия некогда гордых утёсов теплились скудные костерки. Дрова, как и весь прочий припас, переселенцы отчаянно сберегали. Вороватых нищевродов, понятно, в стольный город не допускали, но его близкое присутствие всё равно словно бы грело. Не пришлось бы поминать потраченные ныне поленья где-нибудь в северных пустошах, под погребальный плач бескрайней метели!

Человек с повадками и осанкой витязя шагал меж костров, лихо сбросив на плечи куколь мехового плаща. Знавал, дескать, стужу, после которой ваш приморский морозец стыд замечать! Волосы у него были бурого золота, с белыми нитками по вискам, глаза – зелёно-карие, окружённые морщинками смеха. Только сейчас смеяться воину не хотелось.

Стан кругом прирастал до позавчерашнего дня. Теперь на месте самых больших костров остались кострища. С ними остывали надежды на пополнение дружинной казны. Семья за семьёй, притом наиболее крепкие и достаточные, перебирались в другой конец Зелёного Ожерелья. Туда, где

вчера встало знамя с чёлкой из белых оботурьих хвостов, увенчанное загнутыми рогами. На знамени плескала хвостом, разевала пасть зубастая Щука.

– Летень! Летень, друже! Далеко путь держишь?

Навстречу витязю, придерживая коробок с гусями, почти бегом спешил синеокий красавец. Статный, разодетый, как на званую почесть. Плащ с серебряной канителью, шитый суконник, богатые сапоги. Кажется, гусяр думал прямо с ходу обнять Летеня, но на последнем шаге смутился.

Витязь тоже замешкался. Кашлянул. Разгладил пальцем усы.

– А тебя вот ищу, – буркнул наконец. – Дай, думаю, гляну, как живёшь, как можешь...

Смех Крыла прозвучал чуть громче и веселей истинного.

– Брось, друже! Дурных нету гусяра обижать... Ты про наших сказывай, не томи! Неуступ поздорову ли? Ильгра? Гуляй безлядвый как, всё бурлит?

Летень малость смягчился:

– Все поздорову. И Гуляй ворчит, небось не в язык копьём получил. Дни считает с нашими царятами свидеться.

– Так они правда здесь? В Выскиреге? – обрадовался Крыло. – А я думал, зря люди врут! Вот молодцы чадунюшки! Сам их видел ли?

– Сам не видел пока. Сеггар грамотку заслал во дворец, ответа ждёт. А чадунюшками их не зови. Чадунюшки они прежде были. Когда в бою смерти не дались и нам навстречу дошли, да бабку старую довели. Ныне, гусяр, повыше слово ищи! Лебедь наша, умница, из Невлина вынудила Орепеюшку возвратить. Орлёнка, бают, Высший Круг слушает... А в Шегардае отеческий дворец с песнями под крышу подводят. Это, брат, не ребячьи пестюшки! Ты-то каково можешь? Про себя сказывай.

Побратимы шли мимо утлых саней и ветхих палаток, чьи хозяева ещё не перебежали от Сеггара к Ялмаку. Тощие оботуры копытили снег, жевали сушёные рыбы головы, купленные у запасливых горожан. Мотали рогами, отгоняя норовящих поживиться собак.

Крыло вдруг поморщился, досадливо махнул рукой:

– Нечем, брат, прихвастнуть.

Летень обратил давно истлевшую горечь в подначку:

– Что же не задалось? Сам сказывал, Лишень-Раз дальними странами ходит. Коренными землями, куда мы не заглядываем. А там-то чудес...

– Молодой был, – со вздохом покаялся Крыло. – Глупый. Только и понимал, что в гусли бренчать да с девками миловаться.

Витязь усмехнулся:

– Будто девкам на пряники не скопил?

– Так тебе скажу, – помешкав, отмолвил Крыло. – У Ялмака, да, будешь при серебряной ложке. Только есть с неё не захочешь.

– Нешто права о нём людская молва?

– Э, брат... людская молва ещё не всё знает.

Летень надолго замолчал. Наконец спросил:

– Чудеса хоть баснословные повидал? Песни сложил?

– Чудеса, брат, на юге такие, что век бы их не видеть. Над старым Лапошем зарницы ночью дрожат. Люди, от людей дикообразные, в развалинах поживляются. Что найдут, хоть поливной плитки осколок, маякам отдают. Те Лишень-Разу ссыпаются, чтобы туда-обратно без печали дошёл. Не звенят с таких чудес гуселишки, знай плачут враздрайку...

– А на севере? Людям верить, вас о том годе за Светынью видали.

– И больше вряд ли увидят. Ничего хорошего там. Купилище слёзы, народ злодеи. Гусельную гудьбу, правда, любят. И девки красивые... – Он усмехнулся. – Только приступа к ним никакого. Зазевалась одна, так за неё чужие парни стеной. Ялмак, слышь, даже вспятил.

– Лишень-Раз? – прищурился Летень. – Хватит заливать! Вспятил?

– Парни щенки... так дикомыты же. Им хоть дружина, хоть бояре царские. Наших не замай, и весь толк. Костей не выплунут. Был один там... Прогнал я его.

– Прогнал?

– Да он моей науки просил. А у самого ухо дубовое, голос – уток распугивать.

– Ну и нечего ему, – равнодушно бросил Летень, глядя вперёд.

Крыло покачал головой. Вздыхнул:

– Видал я, брат, голосистых. Перстами вещими наделённых. Только воз ныне там. А этот, неспособный, за троих впрягся. Глядишь, принял бы умение.

– Таких парнишек в каждой дюжине по двенадцать. Найдёшь ещё себе унота. – Летень повёл рукой. – Вон кощеи сидят, от любого костра мальчонку бери. За полмешка рыбьих голов с радостью отдадут.

Крыло мазнул взглядом по серым лохмотьям. Внезапно решился:

– Слышь, брат... Я ж к вам с Неуступом шёл. А тут ты на удачу! Ты витязь первый, он тебя слушает. К вам назад охочусь... Примете, братья?

Летень спросил неторопливо:

– Что ж ваша Железная от таких богатых поездов опять кощеев провожать воротит? Нешто соскучился воевода?

Крыло, ждавший от бывшего друга иных слов, отозвался не сразу.

– Ялмак сам себе голова, никто не совет ему, не указ. Я, что ли, спрашивать буду?

– А я вот собираюсь. – Летень свёл рыжеватые брови, голос звучал по-прежнему ровно. – Железная подвалила, когда мы уже знамя поставили. Мы с Сеггаром вам никогда дороги не перебежали. Лепо ли обычай переступать?

– Зря идёшь, – сказал вдруг Крыло.

Витязь легко согласился:

– Ясно, зря.

Однако не остановился, не повернул.

– Есть время увещаний словесных, – шагая рядом с ним, продолжал Крыло. – Но не теперь. Коли Ялмак пришёл и встал, его только сбивать. А у него одних отроков больше, чем всех вас.

Летень усмехнулся:

– Ты меня самого, брат Крыло, за отрока держишь? Какое задориться, когда нам дети Космохвостовы вверены?

– Зачем же идёшь?

– А по дружеству былому. Любопытство потешить. С твоего ухода, чай, не видались. Четыре года скоро.

Гусляр безнадёжно махнул рукой. Пошёл рядом.

У каждой дружины есть братская ставка. Тесная, просторная, волосяная, кожаная, расписная, попроще... Шатёр Ялмака был великолепен. Сверху – промасленная кожа, внутри – войлоки, многоцветные ткани. Раньше, поди, служил охотничьим домом красному вельможе. Или даже царевичу из младших. Шатёр стоял в заветери у глядной скалы. На вершине каменного зуба хлопало знамя, выпущенное из чехла.

При входе, нарочно распахнув меховые ворота, чтобы виднелись кольчуги, с копьями в руках стояли два отрока. Рынды весело приветствовали гусляра. Летеню загородили дорогу.

– Ты чьих будешь, чтобы отца-воеводу ради тебя покою лишать?

Летень остановился, усмехаясь углом рта. Крыло нырнул внутрь.

– Барышники скромней держатся, – напоказ рассуждал старший отрок. – И торговщина вся воеводе уже поклонилась.

– Горожан порядчики не пускают, а кощеи глаз не смеют поднять...

– Да он, верно, из этих! Коим зваться бы у нашего стола подбиралами!

– Крошек искать пришёл?

Летень не отвечал. Ждал, что будет. дождался. Полог взлетел,

вышагнул седоусый боярин. Витязь из тех, перед коими самый крикливый людской тор почтительно расступается. Перво-наперво он приласкал обоих рынд по затылкам, сбив меховые куколи на глаза. Даже не вполсилы, конечно. Просто чтоб знали. Шагнул к Летеню, крепко обнял:

– Сколько лет, брат!

– И у тебя, Оскремётушка, лишь рубцов прибывает, а силы не убавляется, – хриловато проговорил Летень. – Все ли наши бывшего круга землю топчут? Все отзываются?

– Тех, кто не отзовётся, за хлебом-солью помянуть след... Идём, нечего на ветру без правды стоять.

– Много чего без правды ныне творится, – проворчал в бороду Летень. Пригнул голову, вошёл за старым товарищем внутрь.

Внутри ставки держали тепло две большие жаровни. Гордой жизни не спрячешь! Так дело пойдёт, купит Ялмак для братского шатра складной стол, браные столешники, узорочную посуду. И будут всю эту роскошь возить уже не лёгкие чунки, а большие нарты собачьи. Или вовсе болочок с оботурами. Тогда перестанет Ялмакова дружина летать проворной метелицей, как дружине положено. Будет ходить чинно, неспешно. Сядет где-нибудь в большом зеленце, городок сладит. А поджарую Щуку на знамени, глядишь, сменит добычливый Сом...

Против входа, у большой стены, замерли ещё двое рынд. Нужды в них на самом деле не было. Кто посягнёт на могучего Ялмака по прозванию Единожды Бьющий? С той поры, когда Летень последний раз видел его, воевода ещё взматорел, налился медвежьей могутой. Крыло сидел рядом, растёгивал коробейку с гуслями. Летень вежливо поклонился:

– Ялмаку-воеводе, именитому Лишень-Разу, почтение и привет...

– И тебе, Летеню Мировщику, под этот кров поздорову, – прогудел в ответ низкий голос. – Не чинись, старый друг, присаживайся. Почествуй Божью Ладонь.

Это был один из славных обычаев Ялмака. На богатых стоянках, вроде теперешней, яства в его шатре выставлялись с рассветом, покрывались с закатом. Чтобы в охотку баловало себя воинство, уставшее затягивать ремни в долгом походе. И любезным гостям чтобы пира не дожидаться, а то ведь мало ли у кого какие дела.

Летень сел, как должно, на второе важное место. Привычно поджал ноги. Белобрысый отрок, радуясь оказанной чести, поднёс знатному гостю подушки.

В глазах Летеня снова заплясали искры веселья.

– Щедра к тебе нынче Божья Ладонь...

Перед ним распадалась пластами толстая рыбина. Да не какая-нибудь вяленая треска, торопливо размоченная в походном котле и всё равно жёсткая, как ремень! Деревянное блюдо занимал медный окунь. Огромный, попавший в коптильню прямо из-под льда. Благоухала в горшке особенная выскирегская завариха с птенцовым жиром и яйцами. Посредине красовались в плетёной корзинке целых три хлеба из настоящей муки. Царское лакомство, купленное не столько ради еды, сколько для чести, для любования.

Ялмак с хозяйской гордостью обозрел скатерть.

– Кому другому, – произнёс он неторопливо, – так сказал бы: посторонков люби, но в первую голову ближников не забудь... Тебе не скажу.

Летень молчал, улыбался. По сути, ему было здесь больше нечего делать. Лишень-Раз снова оправдал своё прозвище. Одним махом ответил на все «почему»... которые Летень даже не собирался к нему обращать.

Кого зовут кулаком, уже не распрямится в ладонь.

Крыло поворачивал шпеньки, клонил ухо к струнам. Ропот гуслей наплывал как будто из морской глубины, далёкий, необъяснимо тревожащий. Почему? Это же всегда хорошо, когда застольной беседе помогают размышления гусяра...

Седоусый Оскремёт взялся потчевать гостя:

– Что сидишь как просватанный! Али таймень во мху не свежа, окунь не жирен? Хоть мало отведал бы! Где ещё такого попробуешь?

Разумел – «кроме как в Выскиреге», но нынче всякое лыко было в строку. Услышалось – «ведь не у Сеггара же!». Летень как бы из милости отшипнул рыбье пёрышко, стал жевать. Хвоя из-под снега бывала вкусней.

– Мы и сами, – сказал он, – на денёчках почести ждём. Сейчас спорятся, у кого в доме столы накрывать.

Хохот Ялмака всколыхнул ковёр на стене.

– Узнаю Неуступа! Без штанов, а чести никому не отдаст.

Волна, рокотавшая в руках у Крыла, вдруг взмыла из пучин и вознеслась к берегу, круша лёд.

Песню старую спеть хочу...

Крыло не подавал голоса, лишь перебирал струны, но сидевшие в шатре так хорошо знали слова, что они как будто звучали.

Побратимы плечом к плечу
Ободряли порой меня
В темноте у скупого огня,
Говорили: «Покуда есть
Наша верность и наша честь
И покуда раздор
Не погасит наш костёр,
Не опустим взор!»

Летень, оказывается, стал уже забывать, какие чудеса способны содеять с человеческой душой вещи гусли Крыла. Даже с такой душой, что вроде наглухо заросла щетинистой шкурой... Внезапно приметил: Ялмакова десница начала теревить волчий мех безрукавки. Дёрнула волосок... ещё волосок...

«Не ту попевку ты затеял, Крыло. Не ко времени...»

Белый день был на ночь похож,
Мы шагали сквозь снег и дождь
И вселенской зиме назло
Берегли возле сердца тепло.
Лютый враг вызывал на бой...

Плох воин, не умеющий почуять опасность! Поняв, что́ может случиться, Летень всё-таки промедлил долю мгновения, уповая на чудо... а не надо бы медлить.

Но, друг друга закрыв собой,
Мы бросались вперёд,
А когда ломался лёд,
Выходили вброд...

Звонящее жегло песни добралось до живого.

Лишень-Раз на предупреждение не расщедрился. Не его это была вера – предупреждать. Гусли вскрикнули смертным криком. Ялмак выдернул их у Крыла. Сломает? Вон выбросит из шатра? Гусляр метнул руки за ускользающей снастью...

Да по ним углом корытца и получил.

Летень уже взвился с места, уже перескочил скатерть, уже стоял над Крылом. Тот скорчился на коленях, уткнувшись лбом в войлоки. Всё на свете забыв, прижимал к груди левую пясть.

На бесчинного гостя запоздало бросились рынды, охранявшие воеводу. Кто стерпит, когда стол в доме сквернят! Подроспели и отроки, сторожившие у двери. Только против могучего витязя ничего не смогли. Вчетвером налетели, вчетвером и отхлынули. Кто-то поскользнулся на блюде, покоившем роскошного окуня. Брызги по стенам!

Едва не досталось и Оскремёту. Однако плох воин, что не заметит мирно воздетой руки. Летень был воином очень хорошим. У самого набухла в волосах шишка, но с кулаков капала чужая кровь. Седоусый боярин помог ему поднять на ноги гусляра, повёл мимо плюющих зубы телохранителей, мимо сбежавшихся ялмаковичей, свирепых, рвущихся к мести. Прочь, прочь...

Ялмак не двинулся с места. Усмирил своих одним взглядом. И сидел, угрюмо следя, как бывший друг почти на плече уносит поникшего гусляра...

Подвиг заступника

Всякий раз, когда на Зелёном Ожерелье ставила знамя дружина, а кощеи, помалу сползавшиеся с украин Андархайны, начинали сбиваться в поезд для долгого кочевья на север, выскирегская торговщина потирала руки. Быть барышу!

Сперва оживлялся Ближний исад. Сюда выходили те, кто загодя готовил на продажу дорожный припас, но побаивался чужаков. Барышники скопом забирали вяленую рыбу, дрова, тёплую мякоть – и торопились за пределы города, на Дорожное поле. В такие дни там шумел Дальний исад.

К разбитой челюсти островов несли свой товар и смелые горожане, уверенные, что слухи о бесчинствах кощеев распускают сами барышники.

Чем дальше от жилых круч Выскирега, тем крепче делался под ногами снег. В людском ручье щепками плыли двое мальчишек, одетых, может быть, чуточку приличней уличной босоты. Через прежнюю бухту, мимо срединного островка, где в крепостце былой мытни устроила свою бутырку расправа.

У невысоких стен по двое, по трое расхаживали стражники. Блестели железки копий, свободные от нагалищ. Вот вышел сам Гайдияр. С тяжёлым боевым шлемом на руке, в серебряной чешуе дощатой брони...

– Встал порядчик утром рано, – пробормотал Ознобиша. – Вынул стрелку из колчана...

Это он сочинил уже давно. Хотел сложить продолжение, в котором жадный порядчик нацеливал бы стрелу на исад: чей лоток поразит, там, стало быть, и кормиться. Дальше первых строк дело не пошло. Задор кончился, отбежало наитие.

К царевичу подоспел запыхавшийся отрок. Стал тыкать рукой в сторону Зелёного Ожерелья, заполошно что-то рассказывать.

- Любят покрасоваться... – проворчал внизу мужской голос.
- Не болтай! – зашипели справа и слева. – То заступники наши!
- Без храброго царевича городу не житьё!
- Ему нынче в оба глаза присматривать.
- Тревожится Гайдияр...
- С одной дружиной хлопот полон рот, а тут две сразу!
- Охти, дело небывалое...
- Чем плохо? Большой поезд поведут, расторгнемся.

– А завтра эти камбалы косые двойной оброк возвестят, – не унимался роптуша. – И так жрут, как не в себя!

Бабы кое-как уgomонили недовольника, повлекли дальше.

Младший мальчонка цепко схватил за руку старшего:

– Дома сядем, сразу дяде Сеггару весть пошлём...

– Знающие купцы, – вдумчиво проговорил Ознобиша, – доносят, будто в счастливом Шегардае живут старинным обычаем. Кончане, крепкие сыновьями, посылают их обходить улицы. И этого довольно для поддержания в Озёрном городе кротости.

Эльбиз даже остановилась:

– Ты зачем всему прекословишь, что ни скажу?

– Я? – удивился Ознобиша. – Прекословлю?

– Тебя слушать, дяде Сеггару с братьями при нас и места не будет!

Это была злая неправда. Ознобиша упёрся:

– Я такого не говорил. Увидел порядчиков, вот и вспомнил, как шегардайцы город покоят. А про домашнее войско я тебе ни словом не возражал.

Советник и царевна давно стали неразлучны. Эрелис прекратил вылазки, оплаченные безвинной кровью Сибири. Сколько ни утешал его великан, наследник был непреклонен. «Лебедь пусть вылетает волюшкой подышать, пока брачным полотенцем крыльев не спутали. Ты, Мартхе, язык и нож наточи, чтоб с нею ходить. А я заслон держать буду...»

– Это правда, что Лишень-Раз у Неуступа прежде подвоеводой был?

– Правда. Вместе ходили. Потом дядя Сеггар выгнал его.

– Почему?

– Дядя Сеггар стоит на том, что воитель – мирянам защитник.

– А Ялмак?

– Он к завоеваниям опоздал, когда города грабили. Ему меч нужен золото высекать. Кичится, что богаче нас живёт! А славу перенять – руки коротки!

Сегодня Эльбиз была на себя не похожа. Спотыкалась на гладком тору, огрызалась по пустякам. Сколько бегала к глядному окну наверху, высматривала родное знамя вдали... – а узнала о появлении дружины самым обидным образом, на исаде, от мезоньки по имени Кобчик.

Братец Аро с Ознобишей еле отговорили её от немедленного побега за Ожерелье. Пока спорили, над островами было замечено второе знамя. Напротив Поморника поднялась Щука.

Когда объявили торг и народ потянулся на Дальний исад, Эльбиз впору сделалось запирать. Впрочем, Ознобиша драных рукавиц не поставил бы в

кон за то, что царевну удержит даже замо́к. Воевода Сеггар прислал Невлину грамотку. Испрашивал встречи с царятами. Эрелису про то вчера вечером донёс Серьга, узнавший от всеведущих слуг. Мыслимо ли ждать позволения, мыслимо ли покориться отказу! Очень, кстати, возможному. С Невлина станется воспретить наглядышам выход даже в «Сорочье гнездо», и даже с охраной. А дружину кто ж пустит дальше кружала?..

Да ещё когда их возле города сразу две!

Эльбиз кусала губы, держась за руку Ознобиши. Тянула шею, заглядывала вперёд. Бегом помчалась бы, да нельзя.

Недовольный дядька, сопровождаемый двумя бабами, тянул санки с товаром. Сразу видно – семья была опытна в кощейской торговле. Оснастили короб с одного боку полозьями, с другого – парой колёс. Как удобней, так и вези. Доехал, ставь на по́па, отворяй крышку, покупателей зазывай!

– Рыба онамедни уходила почём?

– По три денежки.

– А головы? За мешок?

– По две полушки.

– А верно бают, что у Дюдени с Затыльной гряды один мешок взрезали, глядь, с испода льду ради тяжести наморожено? И будто палками бились до синяков?

– Какое палками! В топоры кинулись.

– Ох, кощеи лютые... И что?

– А то, что гайдияровичи, хвала им, не пустили крови пролиться.

– Эй, мезонька! – это относилось уже к царевне Эльбиз. – Отрыщ-ка подальше! Нам возле нашего товара чужие пальцы не надобны!

«Братишки» живо прянули в сторону. Понятно, выскирегские уличники плохо лежавшего не пропускали, но праздных намёков терпеть было негоже. Ознобиша ответил, по обыкновению, за двоих:

– Кто голодным не даёт, с торга всё назад везёт!

Склочной бабе предстояло пожалеть, что с ним зацепилась... но в это время плавное течение людского ручья взялось вихрями.

Словно тяжёлый чёлн, рассекающий ряску и камыши, толпу возмутили два с лишком десятка бегущих порядчиков.

– Берегись! Сторонись!..

Люди уворачивались кто как успел. Падали в толкотне, ползали у опрокинутых санок, силились подгрести выпавшее добро. Сглазил барышников оговорённый мезонька! Неведомо как витало уже понимание: нынче не судьба прибытки считать.

Толпа опять всколыхнулась.

Впереди, под разбитыми башнями островов, рождалось чужое движение. Куда грозней заверти, оставленной пролетевшими порядчиками. Те что! Отшвырнули дюжину коробов и корзин. Они что ни день на исаде их перевёртывают. Обтёр животки, отряхнулся, дальше пошёл...

Сейчас впереди затевалось что-то страшное. Кровь, смерть!

Народишко оттуда не просто бежал. Пытался спастись.

От чего? За людскими спинами поди разгляди!

Но зря ли Ознобиша с царевной вместе лазили заповедными норами Выскирега! Он выставил колено. Эльбиз вспрыгнула, он подхватил. Девушка совсем ненадолго высунулась над головами.

С широкого поля, даже не нагибаясь за сбитыми шапками, удирали последние барышники и кощеи. Ибо там под боевыми знамёнами, с оружием наголо, молча и неотвратимо сходились две воинские дружины.

Одна в красных налатниках, другая в белых с чёрным.

Не часто такое бывает.

Но когда уж случается, никто не захочет оказаться посередине. Потому что хуже подобной схватки – только новая Беда. И то если подгадаешь в самое пекло.

...Железная была больше.

...Царская – пылала неистовой яростью, обжигавшей даже на расстоянии. И каждый воин её – опытный глаз это видел издалека – стоил нескольких ялмаковичей. Не исключая самого маленького витязя, что, пригнувшись, как будто не шёл – плыл, стелился рядом с вождём. Беловолосый, пренебрёгший и шеломом, и железной рубашкой. С каждым шагом этот воин всё ниже припадал к снегу, сжимаясь одной страшной пружиной. Ещё чуть, и взовьётся, разворачиваясь гибельным вихорем, и...

Ознобиша увидел: один молодой порядчик из тыльных замедлил шаг. Потом вовсе отвернул, преступая роту, покидая отряд. Сорвал, бросил полосатый налатник...

Хорошо в расправе служить. А живу быть – лучше!

Тягуна не заметили, некогда было. Почти безнадёжно опаздывая, порядчики на бегу перестраивались клинышком. В самом острие посвечивала царским золотом непокрытая голова.

Гайдияр!

Вожак – половина отряда. Тонкий клинышек одолевал последние сажени. Бесстрашно влагался меж наковальней и молотом.

Люди, стиснувшие двух бедно одетых подростков, начали оглядываться, лезть друг другу на плечи. Что, что там?

– Куда сунулся, оттябель!.. – вполголоса ругалась царевна. – Если дядя Сеггар клич кинул...

Гайдияр стоял посередине, разметав руки. Хрупкий распор, бессильный удержать стронувшуюся лавину. Царевич что-то кричал. Срывал голос. Взывал к одному воеводе, к другому. Всё без толку. Сейчас дружины схлестнутся. Играючи расшвыряют порядчиков, сметут Гайдияра. А чья рука первой ударит, не постыдится праведной крови – ищи ветра в поле!

– Люди добрые! Что делается? – слышались голоса. – Что будет?

Ознобиша переглянулся с Эльбиз.

Будет вот что.

Людской ход, густо протянувшийся через бухту, не разбирая дороги хлынет обратно и сам себя на четверть потопчет.

К побоищу устремятся кощеи. С ножами, с дубинками. С застарелой злобой на всех, кому живётся чуть лучше.

Помогать нанятым дружинам – это они вряд ли. Духу не хватит. Но вот беззащитных горожан пощипать... прикончить помятых...

И обезглавленная расправа не сможет отогнать лиходеев.

А после...

Стоит дрогнуть порядчикам – резня покатится в город. Кощеи устремятся на улицы. На якобы сказочно изобильный Ближний исад.

Всем гибель!

Толпа ходила непонятными токами, как суводь за перекатом. Кто-то, бросив чунки с добром, сверкал пятками в сторону города. Иные бестолково топтались: возвращаться несолоно хлебавши казалось слишком обидно. Третьих снедало неутолимое любопытство, способное вместо спасения устремить в пекло.

– Бьются там, что ли? – спрашивала маленькая юркая тётка. Нос длинный, красный от холода, голос пронзительный.

– Что расправа? Стоит или всех уже истоптали?

– А кровь пролилась? Кровь есть?

– Дура-баба! Это тебе не сосулька на голову сверглась...

Ознобиша вдруг заметил: они с Эльбиз были не сами по себе в скопище чужаков. Мелькнула, приближаясь, вязаная косынка, покоившая на груди недвижную руку. Харлан Пакша на удивление ловко сочился меж людьми, уклонялся, раздвигал, обтекал... К нему с разных сторон прокладывали путь люди, прежде виденные Ознобишей в «Сорочьем гнезде». Двое вышибал, дюжие работники – гордость стеношных битв. Их кулаки не оружие против дружинных мечей. Но сорвись бежать сходбище,

заслонить царевну сумеют.

Эльбиз заступникам не обрадовалась. Кто под щит берёт, тот и неволит! Девушка зло прошипела, юркнула ужом в толкотню. Рванула туда, где бились на киянском ветру, хлопали серые крылья Поморника... Ознобиша ахнул, бросился следом.

Он тоже неплохо умел скользить в сплочённой толпе, но гонка не задалась. Чуть не на третьем шагу Эльбиз обхватили мощные руки. Девушка яростно трепыхнулась, метнула руку к ножу... задрала голову, притихла. Ношенный обиванец, седые волосы по плечам. Царевну взял в плен Машкара.

«Затверди несколько имён, – отдалось в памяти Ознобиши. – Эти люди не обманут, если понадобится помощь...»

Харлановичи слаженно взяли обоих в кольцо, молча, скорым шагом помчали к городу. Царевна выворачивала шею, до последнего силясь рассмотреть, что делалось вдалеке. Многоголосого клича, железного лязга пока не было слышно. Эльбиз поймала руку Ознобиши, отчаянно стиснула...

Позже он нашёл синяки повыше запястья. «Мне бы довелось эдак разминуться с братейкой... не попусти, Справедливая, нет, нет!»

Между тем крушащий удар, казавшийся неминуемым, как будто замешкался. Поверх голов качались два знамени. Поморник и Щука всё медленнее плыли встречь.

Гайдияр сотворил невозможное. Дружины остановились.

Лебединые стрелы

Через Кижы не только Разбойным корытом можно пройти. Другие тропки натоптаны. Менее удобные и безопасные, ну так чваниться ли теперь! Тяжких снегопадов последние дни не было. Зато мороз поиграл, сплотил снег. Авось пропустит Хозяинушко. Вспомнит, кто его обильной жертвой попотчевал.

А там уж...

Ночь стояла не самая тёмная. Ехалось легко, да и след Порейка бросил отменный. Всё ручьями, болотцами, маленькими бедовниками. Как раз до холмов добежать, встать на отдых. А утром, по надёжному свету, пуститься в удолья – и вечером лихо стукнуть в ворота. Ну-ка, где тут нашему красному товару покупатель?

Лигуй уже начал подрёмывать под ворохом шуб, когда в оболок сунулся Хлапеня.

– Не прогневайся, батюшка... Улыба леса не узнаёт!

Хозяин Порудницы досадливо зашевелился. Он-то полагал, если будет досуг, присмотреться к Десибратовой дочке. В дороге думается знатно. Всё рядом, всё достижимо. Взять женить на Десибратовне того же Хлапеню. Прибрать к рукам стареющего Головню с его зеленцом... Эх! Какое женить околотней, если без большака ни с чем справиться не умеют!

– След, что ли, потеряли, дурни? – вылезая на козлы, хрипло спросил Лигуй.

– Нет, батюшка. Вот он, след.

– Тогда что глаз смежить не даёте? Я не вы, мне до завтра умом надо раскинуть!

Ответил Улыба, шедший на лыжах:

– Я с Порейкой на первый развед бегал. Должно помошье быть и с краю валун, зраком на человека похожий. А нету!

Он был следопыт. Лигуй, конечно, виду не показал, но про себя встревожился. «Леший, что ли, пробудился не к сроку и давай спросонья водить?..»

Поднял воротник шубы, пихнул в бок Хлапеню, сел с ним на козлы. Сразу приметил: походники жались к саням. Шуба вдруг стала редкой рогожкой, ветер, звеневший ледяными ветвями, её легко пронизал.

Лигуй нахмурился. Остановил руку, тянувшуюся к оберегам на поясе.

– Чего испугались?

– Да тут... это... уж не обессудь, батюшка, – помедлив, ответил Улыба. – Как нам, сирым, не бояться, если ветер песни поёт?

– Какой ветер? Какие ещё песни? – грозно рявкнул Лигуй. Не хотел сознаваться, что успел ощутить каждую заснеженную версту, отделявшую сани от дома с его теплом и хранительным светом. – Что вы, как бабы старые, от лесного шороха обмираете?

Хлапения не ответил, лишь покосился. Лигуй невольно напряг слух.

Деревья, все до единого обломанные, покалеченные снегопадами, стонали, скрипели, будто в каждом маялась загубленная душа. Горожанин какой, житель стольного Коряжина, с напужки память утратит. Лигуй жалобы леса каждый день слышал. Он чуть снова не выругал своих молодцев старыми бабами или чем хуже... Оханье и плач древесных макушек вдруг начали слагаться в осмысленную попевку. Да не какую попало! Наплывала именно та, которой, бывало, помогали работе весёлые Бакунины чада:

Ой, беда, застряли сани...

А впряжёмся, а потянем...

Только вот звучала артельная песня горестно, будто кто на собственные похороны тащился.

Как возможно, чтобы бодрый нагал обернулся иносветной кручиной? Лигуй вмиг забыл, куда едет. Чёрные деревья нависли, простёрли цепкие ветви. Ладонь, гревшая обереги, утратила волю. Краем меркнувшего рассудка Голец только знал: мстилось не ему одному. Рядом кто-то пробовал высечь огня и тряско, жалобно матерился. Искры не попадали на ветошный трут. Бессильные проклятия уносил ветер.

Сани лебедь белые,

Что же мы наделали?

Нейдут, нейдут,

Нужие...

Душа метнулась к упрятанной в горшочек огнивенке. Мысленно Лигуй уже искал полдень и полночь, возжигал жирники. Спереди раздался крик Улыбы. Большак еле усидел на козлах, не сразу признав шальную радость в голосе парня:

– Помо-о-ошье!

И развеялся морок, рваными клочьями отбежал в лесные крошечные закоулки. Ветер перестал надрываться человеческим горем, по вершинам опять заметались самые обычные вихри. Облегчение утроил новый крик следопыта:

– И камень вот он приметный!..

Оботуры стали поднимать головы, нюхать воздух. Передовой, за ним коренник. Тоже, верно, чаяли отдыха и пастьбы. Лигуй зевнул, с облегчением полез назад в оболочку. Досужие ребята кинут стан и без него.

...Благодарную радость пронёсшейся напасти смёл новый крик Улыбы. Без слов, зато полный потустороннего ужаса:

– А-а-а!..

– Что? – снова помертвел Лигуй. – Что?..

В нескончаемом вопле звучала бесповоротная гибель всем и всему. Улыба развернулся в воздухе, в зверином прыжке. Бросился назад мимо саней. Взгляд большака мазнул по белому лицу с пятном орущего рта, устремился дальше, притянутый тем, что больше всего боялся увидеть.

Смутно похожий на человека валун, которому только что радовался следопыт, обретал движение.

Расправлял плечи. Сбрасывал снег...

Вожжи обмякли у Хлапени в руках. Оботуры остановились.

Теперь кричали, кажется, уже все, но Лигуй отчётливо слышал скрип снега под валенками мертвеца.

Тело, изломанное обвалом, шагало неловко, угловато, неотвратно. Серебряный светоч, мревший в облаках, скрадывал очертания и цвета, но страх сообщил зрению небывалую остроту. Половина лица бугрилась чёрным потёком, видимый глаз был мокрой ледышкой... Голец узнал растрёпанные, точно пакля, седовато-светлые волосы... старую лисью шубу... а главное – чёрное и зелёное, казавшееся из-под распахнутой шубы!..

Навстречу Лигую, раскрывая для объятия руки, валко шёл Бакуня Дегтярь.

А перед ним катилось по снегу чёрное пёрышко.

Лигуй увидел это и умер.

Дальше всё творила пустая телесная оболочка.

Он не слышал, как вблизи подал голос ещё один призрак:

– Родимые! Грабят!!!

И всё похоронил рёв косматых тягачей. Белолобые братья заветных слов не забыли. Две заиндевелые копны разом прыгнули вперёд, стали

заворачивать влево, увязая по целику, падая и вздымаясь. Очнувшийся Хлапентя бешено захлестал, метя по головам, но какая пуга упряжке, дождавшейся хозяйского зова? Оботур не зря называется оботуром, злых рук назавтра слушаться не начнёт... Долой сани с чужими людьми! Облуком их в дерево, да и набок! Кореннику мешали оглобли, пристяжной бился в цепных постромках. Хрустнуло дерево, расселись крепкие звенья!

Хлапентя вылез из сугроба без шапки, пуги и рукавиц. Размахнулся по пристяжному топориком. Неведомо откуда прилетела стрела. Ударила в лицо, опрокинула.

Лигуй не видел гибели пасынка. Способность что-то понимать вернулась к нему через версту, и что это была за верста! Чужими чащобами напролом, без следа, без снегоступов! Изнеможение тела пробудило рассудок, когда звериный умишко отработал своё. Лигуй шарахнулся от безликих теней, оказавшихся такими же беглецами. Прежде у них были имена. Если натузиться, удастся вспомнить, но сейчас не было сил. Ступни холодил снег, таявший в валенках. По лицу текло, влага выедала глаза. Лигуй поднял руку утереться, выронил что-то мешавшее. Хотел идти дальше, моргнул, тупо уставился под ноги... Поспешно склонился, подхватил горшочек с Божьей огнивенкой, заковылял.

Усталость брала своё, скучившийся остаток походной дружины перестал бежать, помалу вовсе остановился.

— Куда теперь, батюшка?.. — неверным шёпотом спросила одна из теней.

К себе на Порудный Мох было верней. В Ямищи — ближе. Ещё понять бы, где что!

— Вон там Ямищи, — показал самый уверенный. Даже сделал шаг, но качнулся. Резко стукнул в сосну головой... уронил руки, обвис, выпучив неживые глаза. В мокрых кудрях на виске забелел то ли ком снежного пуха, то ли хвостик стрельного оперения. Стало ясно: Дегтярь не просто вернул себе плоть, вздумав показаться Лигую. Он ещё и лук свой нашёл в разбитых саях. Поднял лебединые стрелы.

Теперь не отступится, пока всех погубителей не настигнет!

Словно в подтверждение, тучи наверху собрались гуще, затмив небесное серебро.

По крутым по вёрсточкам
Изломились косточки, —

мешая ловить шаги за спиной, скорбно затянул ветер.

В сухотѣ да ломотѣ
Резвым ножкам нет пути,
Нейдут, нейдут,
Нужие...

...А вот это уже была кривда бесстыдная. Уцелевшие походники во все лопатки дыбали по сугробам. Кто-то всхлипывал. Кто-то в голос молился.

На роковое помѡщье Лигуй прибыл в санях. Отроки – утомившись на лыжах. Тем не менее свой зеленец хозяин увидел последним. Резвые юнцы умчались вперѣд, бросив батюшку большака. О том, как их наказать, Лигуй подумает завтра. Сейчас он бежал к туманной стене, за которой тревожно двигались огоньки. Туда, где на столе сделаны отметки для жирников. Чернавки не смели их соскоблить.

Наконец-то! Белый влажный кисель оваял лицо...

Внутри зеленца, в полусотне шагов от ворот, на талой земле скорчился Улыба. Сулица, разогнанная копьеметалкой, пробила овчинный кожух. Копьецо бросил дозорный. Не признал дружка в кричащем и растерзанном бесноватом, выбежавшем из тумана. Лигуй перескочил Улыбину ногу: обегать кругом показалось долго.

Ввалился во двор:

– Закладывай ворота! Живо закладывай, говорю!..

На него странно смотрели. С лица спал, глаза дикие, волосы дыбом...

Прочный брус тяжело стукнул в проушины. Звука отрадней Лигуй за всю жизнь не слышал.

Во дворе было куда веселей, чем в тѣмном и враждебном лесу. Лица перед глазами не держались, но это мелькали лица живых, не ледышки кровавые. Трещали в руках домочадцев смолѣные витни. Мало, слишком мало! Нужно ещё!

– Огня святого добуду, – прохрипел Лигуй. – От лешей силы отбою!..

Не глядя ринулся в дом.

– Это что у батюшки на спине?.. – ужаснулся сзади девичий голос. Некогда было слушать его.

В сенях Лигуй метнул с плеч кафтан, мокрый, изодранный о сучья и пни. Не глядя схватил бочонок дѣгтя из ряда, выстроенного у стены. Внёс в избу. У печи возились две бабы. Лигуй взмахом руки смёл всё, что они

выставили на стол. Брякнули скалки, пылью разлетелась мука!.. Обои дур метлой вымело за порог. Лигуй понял, что нужно делать. Бросился, заложил дверь. Вот теперь никто не помешает ему! Он поспешно раскупорил заветный горшочек...

Загодя сделанные знамена не подвели. Каменное сердечко забилося, начало исторгать свет. Послушно вспыхнула берёста. Лигуй взялся зажигать светильники, лампы, сальные плошки, найденные на поллицах. Дёготь плескал на пол, на одежду. Изба озарилась. Ещё света, ещё! Берестяной клочок обжёт пальцы, Лигуй бросил его, схватил новый. Поплыл дым, это было хорошо. Выходец из Кромешного мира не сунется к дымному очагу. В дверь ломились снаружи. Лигуй засмеялся. Он ни с кем не поделится светом, никого не пустит в избу, где сулит оборону Божий огонь...

С горки на другом краю болота за пожаром наблюдало несколько человек.

– А я уж думал, так и загибну, отмщения за батюшку не увижу, – сказал Коптелка. Сотворил святой знак. – Не попустила Моранушка.

Он сидел верхом на кореннике, погрузив руки в длинную шерсть. Смотрел не мигая на пламя, рвавшее туман. Бык заворачивал голову, гладил так и не спиленным рогом хозяйскую деревяшку. Коптелка уже избавил его от кольца, вдетого за непокорство. Пристяжной стоял рядом с братом. На белых лбах вкривь и вкось запеклись красные полосы. Скоро всё заживёт.

– Славься, Владычица, – сказал Ворон.

– Был Порудный Мох, прозовётся Лигуевой Гарью, – предрёк Злат.

Дикомыт переступил беговыми иртами:

– Чести много.

Он уже отодрал от лица «кровавый» потёк, но из ворота казались чёрные и зелёные тряпки. Тугому Бакунину луку хорошо лежалось в руке. Лебединых стрел в туле убавилось по числу Лигуевых ухорезов, не добежавших до зеленца.

– Я тоже мог перед ними из сугроба встать, – проворчал Злат ревниво. Коптелка предлагал ему сесть на второго быка, он с непривычки убоился, теперь жалел.

Ворон кивнул, глядя через болото:

– Мог. А они могли стрельнуть с перепугу.

– А в тебя бы стрельнули?!

– А я от калёной стрелы крепким словом заговорённый.

Злат довольно насмотрелся на моранича за время похода. Принял бы

на веру и ещё что похлеще.

– Дёготь горит, – глядя на страшное пламя, определил Коптелка. – Не впрок пошло краденое!

За болотом редел туман, съедаемый неистовым жаром. На старом поле толпой сбились погорельцы. Яростный свет стелился по снегу, наделяя их шаткими, невозможно долгими тенями. Ни уходи отстоять, ни добро вытащить. Спасибо, выскочили живые!

Вот тяжело застонала, рухнула крыша. Лигуевичи отпрянули дальше, жар как будто метнулся в стороны по земле. Почти разом по всей длине вспыхнул тын. Загородил долгой крадой гибнущий двор.

– Отстроимся, – подал голос Улеш.

Коптелка передвинулся на уютной спине, ответил громко, уверенно:

– Не впервой.

Коряжинские выходцы с десибратовичами стояли плечом к плечу. Все они храбрились на бой. Теперь были рады: никто кровью не замарался.

Толстенные рассохи подпорных столбов, ещё видимые в огне, заваливались, распадалась угольем.

Злат вдруг понял, что боится покинуть Ворона взглядом. Орудье тайного воина было завершено. Отвернись – растает в ночи, и следа не сыщешь. Уже теперь отчуждился, суровый стоял, незнакомый. Пристально разглядывал погорелую Лигуеву чадь, растерянно снующую за болотом. Не спешил снимать тетиву с лука.

– Порейки не вижу, – сказал он наконец.

– И я не видел, – подтвердил Коптелка.

– И мы, – на разные голоса отозвались ребята.

Да ну его, Порейку! Мысли Злата уже текли в будущее. Всё же к лучшему, наверно, что батюшка не исполнил угрозы, не отдал в котёл. Дикомыту теперь бежать домой, в Чёрную Пятерь. Как есть одному через Шерлопский урман, мимо Селезень-камня, мимо Истомища... А там, поди, опять на орудье, чтобы увенчать его кратким мгновением торжества. А потом снова.

Пока Владычица не поцелует где-нибудь на безвестной тропе, не укроет снеговым одеялом.

Коршаковичу тоже хотелось стоять с боевым луком в руке, наблюдать за смятением недобитых, но его удача в другом. Он наконец увидит Чаяну, и горе больше не найдёт к ней дороги. Оживёт промысел, вновь появится на купилищах земляной дёготь. Даже Порудница не загложнет: хоть Улешке над ней старшинство вручить... Сколько дел! И каждое – змей о семи головах. И каждое в черёд победы. А наградой – нежные руки, тёплые губы,

топот детских ножек в избе...

Ворон подслушал его мысли.

– Будет то, что будет, кровнорождённый, – проговорил он негромко. –
Даже если будет наоборот.

Песня о великом копье

Про себя Ознобиша был наполовину уверен: когда восторг и тревогу первых открытий в книжнице сменит бисер ежедневных трудов, с царевны станет заскучать. Озорнице и непоседе, знавшей по именам всех союзников «дяди Сеггара» и в особенности всех его недругов, – ей ли раз за разом подливать масло в светильник, трудить глаза, силясь отличить узор случайных потёков от прихотливого течения додревних писемён?.. Девичья ли забава – воссоздавать дела старины, испятнанные кровью и вероломством?

«Это мои отцы и матери», – сказала Эльбиз.

Они к тому времени разобрали уже достаточно. Ознобиша пытался предупредить:

«Их слава может оказаться не столь возвышенной, как мы все привыкли считать...»

«Это всё равно мои предки. Других не надобно».

«Но ты всяко узнаешь, когда я государю Эрелису разыскания поднесу...»

«Ты дурак, Мартхе! – рассердилась царевна. – Ну вот почему, как мне что полюбится, тотчас отнять нороят? Ещё ты начни меня за прялку засаживать!»

«Я дурак, – согласился Ознобиша. – Но ты лучше всех знаешь: отрока со стороны в дружину просто так не берут. Велят доказать, что впрямь иной жизни не мыслит. Поэтому искушаю...»

Эльбиз буркнула, остывая:

«Сравнил! То дружина!»

Ознобиша спрятал руки в нарукавники, отмолвил строго, спокойно:

«Если бы я не равнял свой долг райцы с долгом витязя воеводе, твой брат меня бы вряд ли приблизил».

Больше они не спорили. Царевна только сводила в книжницу Серьгу. Чтобы знал, где искать её, если неотложно занадобится. Верный дядька, доживший до седой бороды без малейшей нужды в грамоте, заметно подивился новой причуде любимицы, но дорогу запомнил.

Город уже оправился от испуга, навеянного едва не случившимся кощейским нашествием. На каждом углу звенели струны. Уличные сказители славили порядчиков, воспевали мужество бесстрашного

Гайдияра:

То не буря киянская веет –
Разгулялись лихие кощеи!
То не скалы встают над волнами –
Это щит неприступный над нами!

Горожане милостиво подавали певцам. Ещё вчера торговый люд жаловался на поборы, сегодня наперебой хвастался:

– А меня за пирог с молоками старшина Обора благодарил!

На Ближнем исаде давно смели в обрыв пепел, оставленный чучелом дикомыта. Теперь в огне распадалась набитые ветошью поличья переселенцев. К ногам кукол с проклятиями летели тресковые головы, не проданные на торгу. Этот пепел тоже смывало дождём.

Посередине исада громоздилась лобная подвысь. Лищедеи с утра до вечера представляли деяние Гайдияра. На вразумление тем, кто сам не ходил к Зелёному Ожерелью. На веселье тем, кто ходил.

Сейчас у потешников была передышка. Народ медлил расходиться, ждал нового начала.

Ознобиша в толпу не полез, но посмотреть остановился.

– Вот кому Справедливый Венец воистину в пору!

Купеческий сын гладил молодые усы тем движением, что многие подмечали у Гайдияра. Таких юнцов в достатке было по городу. Паренёк заметил взгляды, храбро продолжил:

– Небось и кощеям окольный путь показал бы, и дикомытам укрощение сотворил!

Молодца неожиданно поддержал важный бородач в долгом охабне, расшитом золотыми птицами, синими рыбами:

– И моё слово такое, что по нынешним делам смотреть надо, не по ветхим лестницам! Пока смелый царевич жизни за нас не щадил, где, спрашиваю, шегардацкий во... – хотел в запале ляпнуть «ворёнок», опаматовался, – наследник отсиживался?

– Гайдияр люб! – крикнул молодой. – Гайдияра на государство!

Клич не то чтобы упал в пустоту.

– Венчать храброго Гайдияра!

– Эдарговича проводить, отколе пришёл!

– Ему на север дорога! В отцовский оруй-городок!

Ознобиша почувствовал, как собралось узлами нутро. Честь Эрелиса

требовала заступы. «Потопчут... Прибьют...»

Рука сбросила с головы куколь.

«Хоть государыня сегодня дома осталась...»

Его узнали.

– Райца... райца Эрелисов... дикомыт...

Кто-то опасливо отодвинулся.

– Ты, добрый Жало, рад честить четвёртого сына прежде третьего и не велишь считаться рождением, – услышал Ознобиша собственный голос. – Что ж сам родителем пеняешь моему государю? И добро бы прямыми делами его, а то дымом без огня! Как тебя понимать?

Он сжал кулаки, почти ожидая, что сейчас его схватит сотня рук... да и поволочёт прямиком под каменный нож.

Ничего не произошло. Народ с любопытством смотрел то на него, то на багрового Жала. Даже местечко освободили: кто кого?

Распря хоть и словесная, а всё людям радость.

В это время с подвыси, изображая боевые трубы, замычали берестяные рога. Позоряне тотчас забыли спорщиков. Ознобиша успел заметить некое облегчение на лице Жала.

Бородатые воеводы, один другого обширнее и страшнее, в верёвочных подобию кольчуг, кружились на дощатом помосте, зычно перекидывались оскорблениями.

– Вот уж чудо из чудес: у Поморника хвост облез!

Дружинам места наверху не нашлось. Они топтались у подножия, три и три человека, различные цветом налатников. И тоже старались вовсю. Отвечали на глаголы чужого вождя выкриками, грозными взмахами копий. Своему вторили согласными ударами деревянных мечей по щитам. Оружие и доспехи, исполненные для деяний древних царей, мало напоминали теперешние, но в том ли беда?

– Рыбьим ратям впредь наука: нам в котёл попала Щука!

Позоряне веселились знатно. Подсказывали лицедеям такие словечки, что Ознобиша невольно поискал взглядом Машкару. Где старик, записывает ли?..

А высоко над верёвочными бронями, пакляными усищами и стуком потешных мечей казалась из мокрой скалы разбитая печь. В утробу сводчатого горнила, сто лет беременевшего вкусными калачами, затекала вода. Слезами точилась вниз. На самом деле ими плакала вселенская неправда, примета умирания города, но кто её замечал?..

Воеводы-спорщики разошлись не на шутку. Толкали один другого в

плечи, тянули пятерни к бородам, хватались за ножны. Уже выскочили на подвысь два лохматых уродца. Кощеи вертелись под ногами дородных верзил. Облизывались на город. Точили кривые разбойничьи тесаки...

Пора было являть себя великому порядчику. Вершить подвиг.

– Го-су-дарь! – нараспев взывала толпа. – Гай-ди-яр, из-бав-ляй!

– Не пущу вас за Ожерелье, – предвкушали позоряне. – Кто полезет – того на релью!

– Это потом! А сперва – не велю я вам споры спорить, всех как есть побросаю в море...

И заступник ждать не заставил. Скинул просторную рогожу, под которой скрывался. Минуя ступеньки, одним лихим прыжком взмыл на подвысь! Лицедей Шарап был, может, не самый даровитый в ватаге, но самый красивый и статный – наверняка. Привычный играть то Хадуга Жестокого, то Гедаха Отважного. Вот где кстати пришлись накладные волосы и «старинная» броня из крашеной рыбьей кожи!

– Славным предкам не будет горя! Грудью встану за стольный город!

Доблестный красавец устремился под занесённые мечи воевод...

...И тотчас что-то пошло неправильно. Одетый царевичем как будто споткнулся. Замер. Позоряне начали понимать, когда лицедей вытянул руку к одному из проходов, отворявшихся на исад. Мол, туда смотреть надобно, не на меня! Стыдливо сдёрнул царское золото со стриженной головы. Поклонился – низко, достав рукой влажные доски...

Ознобиша оглянулся вместе со всеми. На торговую площадь в окружении порядчиков вступал Гайдияр.

Народ раздавался перед ним улицей.

– Слава!..

Лицедеи замерли на подвыси. Кому нужен ряженный герой, когда вот он сам – во плоти, живой, настоящий? Не при нём же играть? Ну, если только повелит...

Гайдияр не повелел.

Ознобиша сперва разглядел, как горестно, будто над нежильцом, кривился старшина Обора. Тогда толком присмотрелся к царевичу.

Несравненный воин, украшение царственности, мужественный спаситель города словно не понимал, где находится. Опухшее, налитое сизой кровью лицо. Тусклый взгляд. А одежда! Измятая, в дурных пятнах, словно он трое суток валялся не раздеваясь, да всё на полу!

Несчастливые порядчики тянулись кругом государя, снедаемые бессилием и стыдом. Они с радостью увели бы царевича обратно в покои, но кто отважится к нему прикоснуться?

Людская улица, распахнутая перед Гайдияром, указывала прямо на середину исада. Великий порядчик посмотрел вперёд. Узрел подвысь. Лицедеев на ней...

Зашагал прямо туда.

Громко сказано, зашагал. Земля кренилась зыбкой лодкой, мотала Гайдияра влево и вправо. Он выпрямлялся. Свалить могучего воина было очень непросто. Он даже речь утратил не до конца.

– Я за вас!.. – достигло Ознобиши невнятное мычание. – Вы мне!.. Я вас!.. Вот я вам!..

На старшину Обору жалко было смотреть. Уже то плохо, что упустил воеводу из домашних покоев, всему городу на позор. А тот как есть непотребный охотится на подвысь. Что ещё учудит?

– С дор-роги!..

Знать, казалось царевичу – это люди застили путь. Дерзко мешали выступать прямо и ровно. Он рванул с себя тяжёлый воинский пояс, пошёл хлестать без разбора:

– Все прочь!..

Кто-то вскрикнул.

Гайдияр достиг подвыси, тоже не стал искать лесенку. Где стоял, там ухватился. Полез. Вышло не так ловко и знаменито, как у ряженого двойника. Пояс звякнул золочёными бляхами, остался валяться. Гайдияр лёг на подвысь щекой, было затих, но верёвочные кольчуги бросились на подмогу, втянули, поставили.

Народ ошалело глядел снизу. Робеть? Веселиться?.. Самые сметливые отступали к боковым ухожам исада. Не знаем, не видели, не было нас тут!

– Да я вам!.. – взревел с подвыси Гайдияр.

Эх, не надо было медлить порядчиком!.. Шитый кафтан разлетелся. Штаны повисли на сапогах, открыли белое тело. Спаситель города держал нечто в руке, грозил во все стороны:

– Я вас всех сейчас!..

Расправа запоздало сорвалась с места. Обора первым вспрыгнул на подвысь... и первым полетел в толпу, сметённый ударом. Гайдияр хохотал. С надрывом, с непонятным злым торжеством. Повернулся, сшиб кого-то ещё, но подначальные сомкнули кольцо. Закрыли собой. Отгородили распахнутыми плащами. Скопом увлекли прочь...

Куда бы глаза деть? Ознобиша нечаянно столкнулся взглядами с Жалом.

«Ну что? – впору было спросить. – Забудем, значит, лестницу? Одни дела станем судить?..»

Остаток пути до книжницы ноги несли Ознобишу сами, без водительства разума. Три дня назад, у Зелёного Ожерелья, он окончательно уяснил, почему Гайдияра столь многие прочили на Огненный Трон. Гайдияра, незнатного одиннадцатого царевича, не удостоенного ни клейма, ни царского имени. Загодя чтили Ойдригом Первым. До сих пор держали зло на Эрелиса: перебежал путь!

Сегодня стало понятно, отчего владыка Хадуг, сам отнюдь не спеша под царское бремя, так и не увенчал Гайдияра.

Великий порядчик был способен отвадить любого врага. Не пожалеть себя на краю. Победить. Вернуться со славой.

Но вот стать каждодневной опорой для подданных... царём-тружеником... кропотливо собирать истерзанную державу, забыв о звонких победах...

В ушах вдруг запели кугиклы, рядом скользнула тень побратима. «Царевич бесстрашный спешит на врага... А дальше? Нога? Луга? Царевич бесстрашный на поле спешит... вершит... Братейко! Выручай!»

В срединной выработке великой книжницы Ознобиша попался Ваану. Великий райца со вздохом оглядел недоросля, согнувшегося в низком поклоне:

– Ах, дитя...

Ознобиша заметил наставительно воздетый палец. Плохи дела. Тяга к назиданиям нападала на старца вечно некстати.

– Дитя, – повторил Ваан. – Твои дела, за коими я с самого начала наблюдаю внимательно и благосклонно, начинают внушать мне опасения. Ты высокомерно пренебрёг избранными трудами, способными преподать Эрелису величие предков, предпочтя забавляться каракулями ничтожных... да ещё прячешь отысканное под замком, хотя достоинство сей книжницы именно в том, что мы её спасали для всех!

Ознобиша почтительно внимал. «На исаде... глядя... ради...»

В памяти звенели плясовые Левобережья.

– Бойся, дитя, уподобиться несчастному Анахору, что подавал большие надежды, но стал для нас превеликим разочарованием, – продолжал старый мудрец. – Не так важен путь, который ты проторишь для себя. Гораздо важнее, как ты умножишь честь своего государя... а мыслимо ли её хотя бы сберечь, избрав в пособники грязного мезоньку, ничему не обученного и наверняка нечистого на руку? Это притом что тебе была предложена помощь моего внука, отрока примечательно благонадёжного... Многие

можно поведать о райцах прежних времён, опалённых, изгнанных, даже казнённых. Не повтори их судьбы!

Речи Ваана бились в незримую стену. За плечом стоял Сквара, приплясывал, ощеулил: «Врагов и дружье... сокровенным оружием...»

– Я вижу, сегодня взывать к твоему долгу ещё бесполезней всегдашнего, – вздохнул наконец Ваан. – Ты вбежал с улицы, где молодые ищут лишь развлечений. По счастью, старость вознаграждена даром терпения. Я буду молиться, чтобы твоя беззаботность, дитя, не отлилась слишком горьким поздним умом.

И побрёл прочь шаркая, сокрушённый.

«Может, Ваан меня в наглядьши прочил? В преемники? А я, бестолковый... Людей дурачат... с напужки плачут... тайком судачат...»

Что могла пыльная наука Ваана ответить соловьиным коленцам кугиклов, небесным звонам золотых гуслей!.. Не так далёк был покойчик, где ждала коробейка с потайкой, но юный райца шёл и не шёл. Останавливался на каждом шагу. Бормотал, улыбался в потёмках. «Горóдят не́быль... гора до неба», – подсказывал Сквара. Чувство было как на последней сажени гонки кругом лесного притона. Благое опустошение, венец усилию, награда неподъёмным трудам!

Ознобиша совсем перестал касаться земли. Песня вправду рождалась. Первая в жизни. Может, единственная. Он не раздумывал, ладно ли выйдет. Подавно – какую судьбу уготовить обрётённому слову.

Наверно, потому всё получалось.

Песня охорашивалась перед внутренним взором, ещё зыбкая, шаткая. Готовая развеяться, если немедля не положить на письмо.

Перья, чернильницу, вощёную церу для летучих заметок хранил сундук. Руки сами повернули гранёные звенья, подняли крышку.

– Ой, что было-то на исаде... изумлялися люди глядя...

Продолжая бубнить ускользящие слова, Ознобиша поставил светильник, нагнулся через край...

Ледяное копьё ударило меж лопаток, донизу прошло позвоночник. Он ещё не понял, в чём дело. Откуда страх, лишающий сил?

– Как дружинушки возле моря...

...Из «Умилки Владычицы» торчал край берёсты.

Её не было накануне.

Ознобиша застыл, ничего больше не замечая. Твердь расселась под ногами, он медленно падал на каменные острия, торчавшие сквозь темноту. Ну уж нет! Страшный конец лучше бесконечного страха!

Пальцы сомкнулись на шершавом листке.

Благо тебе, ученику, отраде учителей. Стало нам знаемо, в стольном Коряжине есть искусные оружейники. Верно, памятен тебе добрый нож зарукавный. Дорого ли возьмут такой выковать? Да начертать бы старыми письменами: «Чести вручаюсь»...

Грамотка была самая простая, ни имени, ни печати, ни шнурка с приметным узлом. Какой смысл? Руку Ветра Ознобиша и так хорошо знал...

Загадай желание

Старуха Орепея утирала глаза. Любовалась царевной:

– Совсем взрослая!.. Уж мы вестей радостных ждали, дитятко. Спорили, отколь сватов примешь... А тебя, значит, грехом да страхом пугают! Что ж они тут за нелюди собрались?

– Её напугаешь, – улыбнулся Эрелис. – Ты, бабушка, видела бы, как Харавониha вся красная убегала.

– А сама на суженого гадала ли? Гребень под подушку укладывала?

– Успеется гребень, ты дело сказывай! Дядя Летень, значит, всех раскидал?

– Так нам боярин Оскремёт баял, дитятко. Сама я только видала, как Летень с ним кровавый пришёл и Крыла в обнимку привёл. Я-то уж на котомке сидела, Сибирушко меня забирал.

– Гусляра не пожалел! – В девичий голос вновь прорвалось рычание. – От Богов взысканного! Этому бы Ялмачищу ненадобному...

Могучего воеводу ждала от рук царевны долгая и страшная смерть.

Эрелис опустил резец, спросил пасмурно:

– Но хоть пальцы живые? Шевелятся?

– Живые, дитятко, – успокоила Орепея. – Срастутся косточки, веселей прежнего играть будет.

Царята переглянулись:

– Мы бы враз вылечили...

– Так Крыло, детушки, не без насмотра остался. Нерыжень с братом при нём.

Эльбиз стукнула кулаком в лавку:

– А дядя Сеггар? Нешто Лишень-Разу спустил? Не верю!

– Знамо, спустил. Развёл их государь Гайдияр.

– Это же какая слава пойдёт! Неуступ заработок уступил! Значит, и поезд лихим людям предаст, копыя не сломив!

Братец Аро переставлял деревянную скамеечку, понемногу обходя громоздившуюся в передней комнате дуплину. Он уже выровнял её снизу, чтобы держалась стоймя. Разметил ряды окошек и теперь трудился над ними. Морёное дерево едва поддавалось, но третий сын был упрямей.

– У Сеггара наши сводные за спиной. Их бережёт, поколи у Невлина отвоюем.

В добычном ряду продавались одни боевые ножи.

Они лежали на виду, блестящие и заржавленные. Такие чёрные от запёкшейся крови, что надписей на клинках не прочтёшь. Их прятали под тряпьем, но Ознобиша всё равно видел рукояти, исполненные бирюзой. Это для того, чтобы не залёживались без дела. Бирюза любит кровь. Высыхает и трескается, если жаждет подолгу. На поясах покупателей и продавцов качались ножны, с виду слишком короткие для лезвий в полторы пяди, только это было притворство.

Ознобиша понял, почему так боялись добычного ряда сенные девки Эльбиз. Дорогу медленно перешёл Лихарь. Стень тоже приценивался к ножам. Щёлкал ногтем – звенят ли. Проверял отметины на сложенных в сторонке щитах. Нёс под мышкой деревянный ларец. Наружу свешивалась кольчуга. Сама серебряная, нарамки вызолочены, финифтевые незабудки вереницами.

– Подарок смотрю, – растянул губы Лихарь. – Свадебный!

Ознобиша повернулся, побежал от него.

Добычный ряд только так назывался, на самом деле это были подземные закоулки исада, спёртые, темноватые. У иных перекупщиков возле ног сидели рабы. Ознобиша увидел, как за угол ведут на тяжёлках Эрелиса и Эльбиз, пустился за ними, не догнал. Выскочил на торговую площадь.

Посередине хотели разбивать подвысь, но медлили. На мокрых досках стоял Сквара. Босой, связанный, бессильный. У подвыси взад-вперёд расхаживал Ветер. Крутил пальцами тяжёлый боевой нож. Рукоять в бирюзе, вдоль клинка старинная вязь. Ознобиша пытался прочесть, это казалось очень важным, но стальная голомень мелькала слишком проворно.

Ветер заметил Ознобишу, весело кивнул:

– Этого ученика я посылал на орудья. Я ждал, он прославит Владычицу, но послушник не исполнил урока. Даже начального!

Подвысь страшно закрипела, из неё начало расти дерево. Корявая сосна, не мёртвая и не живая, как все нынешние деревья. Вот простёрла обвитый верёвками сук... Другой конец ужища тянулся к плетёному оберегу на руке Ознобиши.

Ветер шёл через площадь, неся заряженный самострел.

– Брат, – силился закричать Ознобиша. Голоса не было. – Сквара...

Его тянули за рукав несмело, однако настырно. Он кое-как оторвал взгляд от подвыси. Медленно повернулся.

– Господин, – повторял маленький Кобчик. – Ты, господин, что мокнешь стоишь?

Ознобиша сморгнул с ресниц дождь. Слева как ни в чём не бывало шумел рыбный ряд, у подвыси стучали киянки. Ни Сквары, ни котляров. Слепой Сойко играл на новой глиняной дудке, что купил ему Ознобиша. Морок рвался тёмными клочьями, расползлся в углы. Вил гнёзда, шептал знакомыми голосами... таился до срока...

Сибир, бдевший снаружи, отворил дверь.

– Мартхе, – обрадовался Эрелис. – Мартхе?

Ознобиша сглатывал и молчал, с двух шагов не замечая чужой бабки, чью руку сжимала царица. Взгляд блуждал в знакомом покое. Райца словно прямо сейчас его покидал, врасплох, как есть, в чём есть... навсегда. Так порой смотрит пьяный, только Ознобиша к хмельному не прикасался.

– Мартхе, кто обидел тебя?

– Государь, – со странной торопливостью произнёс Ознобиша. – Пасись, государь, подсылов котла...

Эрелис ответил, по обыкновению, рассудительно:

– Подсылы – невеликая новость. В день, когда мораничи покинут меня вниманием, я заскукаю, пожалуй. Отчего ты решил напомнить о них?

Ознобиша заметил наконец бабку. Уставился на неё.

– Орепеюшка нам родня, – воинственно подала голос царица. – Говори с ней как с нами. Либо вовсе не говори!

– Дитятко, – забеспокоилась бабка. – Дела ваши царские...

Ознобиша двинулся с места. Безмолвно, на деревянных ногах. Припал на оба колена. Подал Эрелису тонкую полоску берёсты. Кое-как выговорил:

– Урок мне Ветер прислал...

Шегардайский наследник прочёл грамотку, не изменившись лицом. Протянул сестре.

– Тоже мне урок! – фыркнула царица. – Ни убить, ни тайное выведать. Всех дел – к ножу прицениться.

Ознобиша посмотрел, как она стискивала руку Орепеи. Девушка будто снова брела тёмной дорогой, впрягшись вместе с братом в утлые санки... только не было рядом Косохлёста и Нерыжени, готовых встать между ними и темнотой. Никого не было.

Эрелис кивнул:

– Письмецо в самом деле говорит лишь о том, что Ветру полюбились присланные подарки. Что так испугало тебя?

– Я отвык, – прошептал Ознобиша. – Я думал... они далеко...

Брат с сестрой переглянулись.

– Кто грамотку передал?

– В сундуке была... за неприступным замком. В книгу вложена.

– В ту самую, что ли? – спросила царица.

Ознобиша кивнул.

– На кого думаешь? – спросил Эрелис.

– Дорожные люди всякий день прибывают. Этот райца может лишь полагать...

– И что полагаешь?

– Нас учили: надо спрятать – клади на виду, – хрипло произнёс Ознобиша. Подозревать оказалось неожиданно тягостно. – Муж есть, коего причуды всему городу знамениты...

– Это не Машкара, – отмела поклёпы Эльбиз.

– Оттого, что на Дорожном поле вступился?

– Не он это.

Ознобиша потупился:

– Порядчики с ним, точно с красным боярином, а по книжнице ходит, как хозяин в клети. Это он изначально скрыню мне показал. Мог знать, как отворяется.

Эрелис терпеливо дослушал.

– Это не Машкара, – повторил он, глядя Дымку, свернувшуюся на коленях.

– Райца далёк от мысли убедить господина. Я лишь пробую объяснить...

– Урок вправду почти смешон, – сказал Эрелис. – Однако ты сам говорил, Ветер редко что-либо делает просто так. Чего нам ждать самого скверного?

Ознобиша отмолвил не сразу.

– Кого хочешь привязать, усыпляй несложными просьбами, – прошептал он затем. – Благодарю за пустяк... потом вынуди один перст замарать... А потом...

Он так и стоял перед царевичем на коленях. Эрелис отложил резец, повернулся к нему, взял за руки. Пальцы молодого советника были холодными, в серо-голубых глазах был северный лёд. Царевич понудил Ознобишу встать, усадил подле себя. У шегардайского наследника был взгляд, какой редко встретишь в четырнадцатилетнем. Очень взрослый взгляд помнящего, как за него умирали.

– Друг мой... На что намерен решиться?

– Ты предрекал... – Голос грозил сорваться на писк, Ознобиша закашлялся. – Ты предрекал, меня заставят лазутить. Я не верил тогда. Я

дурак...

Эрелис некоторое время молчал.

– Тебе страшно, Мартхе. Ты привык биться в одиночку, но больше ты не один. Люди проклянут Эдаргов род, друже, если я допущу, чтобы кто-нибудь причинил тебе зло.

Задворками крикливого исада снова пробирались двое подростков. Один – в строгом кафтане красно-бурого шегардайского сукна, пепельная голова успела примелькаться на улицах Выскирега. Пареньку кланялись, он уважительно отвечал. Товарищу молодого райцы доставалось меньше почёта. Мальчонка в ветхом колпачке, сползшем на самый нос, выглядел чуть опрятней таких же уличников, юривших по торговым рядам. Даром ли мезоньки как из земли вырастали всюду, где проходили господин и слуга. Одни просто тянулись за «дикомытом», другие подскакивали, начинали торопливо рассказывать. Иногда райца кивал. Тогда служка развязывал плетёный кошель, наделял удачливых угощением. Вяленой рыбёшкой, куском сухаря.

– Зря пошла, – подгадав местечко потише, сказал Ознобиша. – Вдруг что? Мой урок, мой ответ...

Оружейники, люди почтенного ремесла, трудились опричь продутого сквозными ветрами исада. Ознобиша и царевна спускались с крова на кров, с жилья на жильё. Мысленное писало знай меняло листы, пополняя густую сеть прогонов и сходов.

– Чему улыбаешься? – спросила царевна.

– Начертание Коряжина для дорожных людей переписать хочу. Или пусть мезоньки гостей водят, пропитание промышляют?

Оставив людную улицу, господин со служкой проникли в извилистый ход. Он не годился нарядным сановитым мужам, но путь сокращал заметно.

– Людям верить, в Шегардае тоже голытьбы бездомной полно, – задумчиво проговорила Эльбиз. – Камышнички прозываются.

Ознобиша снова улыбнулся чему-то.

– Вчера мы новые ложки в котле были, небось уже другие наспели. Может, даже этой весной за ними поезд пошлют. Или следующей.

– Сюда не досягнут, – отмолвила царевна сквозь зубы. – А успеет брат в Шегардае сесть, и туда путь возбранит!

Она привычно спускалась, цепляя захватанные выступы стен. Было тесно и темно, лишь под ногами рдело, медленно разгоралось пятнышко неяркого света. Скальная глубина всё отчётливей перекликалась стуком и

звоном, токи воздуха отдавали железной окалиной.

– Возбранить недолго, – сказал Ознобиша. – Одна беда, уличных воришек с тех запретов меньше не станет.

«Меня другом зовёшь, а я ведь моранич. И Космохвоста, твоего второго отца, на воинском пути обучали...»

Царевна подслушала его мысли:

– Добрый царь Аодх не Лихаря мечтал видеть, когда котёл наряжал!

Ознобиша первым выбрался в широкую наклонную улицу, снабжённую отлогими ступенями для пеших и гладкими желобами для тележных колёс. По потолку бродили жаркие отсветы, впереди бодро лязгало и звенело, слышались голоса. Ремесленные ножевщиков начинались за поворотом.

Стены, как почти всюду в Выскиреге, были густо разрисованы. Воины с занесёнными копьями, храбрые мореходы, спасающие пышногрудых прелестниц. Лохматые пленники... рыбомужи в объятиях таинственных птицедев... Озорные, временами даровитые руки не жалели рудянки, празелени, угля. Пятнами выделялись вчерашние поновления. Ознобиша переглянулся с царевной, оба заулыбались. Гайдиярово исступление пребывало у всего города на устах. Здесь, где редко появлялись порядчики и вовсе никогда не бывала госпожа Харавон, деяние царевича восславили подробно и от души.

Ознобиша верно подгадал время. Народу в прогоне было немного. Сверху, занятые беседой, шли две бабы с корзинами. Пройдут, снова станет безлюдно.

Эльбиз присмотрелась к маленькому рисунку. Закат на Кияне, венец лучей над тонущим солнцем... Паруса кораблей, кружевные окаёмки Зелёного Ожерелья... Рисунок был безыскусный, поблёкший, но весёлыми новинами почему-то не перекрытый.

Костяной перестук побудил обернуться. Напротив под стеной теплился светильник, рядом сидела женщина. Увлёкшись росписями, ребята её не сразу заметили.

Царевне вдруг показалось – огонь метнул по стенам зелёные отсветы, верную остерёжку о присутствии потустороннего. Эльбиз моргнула, нахмурилась... Нет. Померещилось.

Женщина была простоволосая по обычаю жриц и гадалок. Седеющие русые пряди раскинулись по плечам, глаза прятала шёлковая повязка. Рука ворошила в мисочке гремучие козны. На облупленных гранях мелькали письмена вроде тех, что хотел видеть на клинке Ветер.

Всех рыночных пророчиц Ознобиша давно знал, эта была чужая.

Отколь забрела, о чём повздорила с товарками – поди знай! Бабы с корзинами её миновали, чуть ноги не отдавив. Ознобиша придержал шаг, наклонился:

– Ты вряд ли доищешься здесь заработка, ясновидица. Здешние насельники – ремесленный люд, привыкший день за днём мостить путь вперёд. Им прорицания ни к чему.

– Если хочешь, на обратном пути мы проводим тебя к торговым рядам, – добавила Эльбиз. – Там много охочих будущего дознаться.

Гадалка склонила голову к плечу. Улыбнулась:

– Я, детушки, не заработка дожидаясь, но встречи, что позабавила бы меня... Вот сестрица, готовая обморочить братца. И правдивый судья, намеренный осудить несудимого. Мне ли жаловаться на скуку?

Друзья переглянулись.

– Ты, тётка, ври, да честь помни, – остерегла Эльбиз. – Чтобы я брата взялась обходить? Не дождёшься!

– Пошли, – сказал Ознобиша.

«Несудимого осудить... Вот ещё! Славе государя урон, мне – опала бессрочная...»

Они уже двинулись дальше, когда гадалка засмеялась. Негромко, но ребята разом остановились.

– Вы, дыбушата, ещё забавней, чем я ждала. Одному из вас я, пожалуй, отвечу на великое вопрошание. Который не заботится?

Ознобиша хотел утянуть Эльбиз прочь, но девичье плечо ловко выплыло из ладони. Царевна вернулась, присела на корточки. Ясновидица улыбнулась:

– Этого следовало ждать. Девки с виду робки, в душе дерзновенны. А отваги не хватит, любопытство в спину толкнёт... И что мне подсказывает, дитя, – не о суженом ты намерена спросить?

Эльбиз ответила сквозь зубы, тем голосом, что успел хорошо узнать Ознобиша:

– От разговоров о женихах на меня нападает чесотка. Вот слушай, вещунья. Меня вырастил храбрый воин. Он погиб. Когда будет отомщена его кровь?

Женщина задумалась.

– Насколько проще рассказывать очередной дурёхе, скоро ли ждать сватов, – пробормотала она затем. – Ты хочешь знать, скоро ли удостоится поцелуя забравший жизнь храбреца?

Царевна яростно мотнула чужими вихрами:

– Нет! Кто увечил! Скованного топтал!

– О! – Гадалка подалась назад, сплела руки, готовясь к долгой беседе. – Ведомо ли тебе, как ветвятся порой ручейки судеб, какие прихотливые русла им достаются?

– Ведомо. Не томи!

– И то ведомо, что на свете всему цена есть?

Эльбиз не ответила. Лишь напряжённо смотрела туда, где под повязкой прятался взгляд, зрящий сквозь время.

– Я вижу две участи для обидчика, – после долгого молчания заговорила женщина. – Вот первый путь: его праведной рукой сразит царь.

– Царь! – воспрянула девушка. – Скоро?

– Непросто сказать. Слишком многое должно ещё сбыться. Есть второй путь, верней и короче. Я сотворю обряд, чтобы ненавистник пал в течение года. Только даром это не дастся.

– Я... чем скажешь, всем обяжусь!

– Не о тебе речь. С обидчиком падёт другой человек.

– Кто? Зачем?..

– Он чужой. Тебе нет до него дела.

Ознобиша хотел говорить, но слова ускользали из памяти, не шли на язык. Мгновение показалось безбрежным. Он увидел, как отшатнулась царица.

– В твоём обряде нет чести. Хватит уже другим гибнуть за нас!

Легко вскочила на ноги, отбежала.

– Ты наговорила жестоких слов, ясновидица, хотя мы тебя ничем не обидели, – обрёл язык Ознобиша. – Впрочем, твой труд должен быть вознаграждён. Если хочешь, у нас с собой немного еды, найдётся и сребреник... Чем воздать тебе?

Гадалка разглядывала его сквозь тугую повязку. Тёмный шёлк был препоной его глазам, не её. Ознобиша успел испугаться. «Не буду я ничего спрашивать. И так тошно. А хочу я... Эрелису правдой... и чтобы Сквара...»

Женщина передвинулась, поудобней усаживаясь у стены:

– Вы меня позабавили, дыбушата. Бегите себе.

Вода мёртвая и живая

У оружейников всё было как водится. Один пускал по голомням таких птиц и зверей, что глаз не оторвёшь, но сами клинки, ради удобства чеканки, наваривал в три слоя. Железо, уклад и снова железо. То есть, по мнению Ознобиши, не для настоящего дела. Слоёный нож сам себя точит, но, случись рубить, переломится.

Другой источник подваривал хорошим привозным укладом врасщеп. Подобное лезо щербится, гнётся, но служит. Жаль, ни про какие цветы и листья кузнец слушать не захотел. Имя, доставшееся от дедов, было его ножам единственной прикрасой и славой.

Третий наторел очищать железо до струистых узоров, до чёрного серебра. Ознобиша показал надпись.

– Не стану портить красный уклад, – отрёкся ножевщик. – И так голомень травчатая, что ещё ты хочешь травить?

Он был кровный андарх, веснушчатый, широколицый. В седых завитках не до конца погас медный жар. Ознобиша снял руку с кошелька:

– А я слышал, древние буквы от узорочного уклада родились...

– Это раньше письменный уклад искусны были варить, – величаво поведал кузнец. – Миновалось умение.

За спиной Ознобиши пискнул голос из-под надвинутого колпачка:

– На север посылать надобно, господин. Люди бают, Коновой Вен булатного художества не растлил...

– На север?.. – зарычал оружейник. Выхватил у Ознобиши заготовку, скрылся в ремесленной, бросив через плечо: – Через месяц придёшь! Если прежде справлюсь, сам тебя, изнорыша, разыщу!

– Хочешь, обратно другим ходом пойдём?

Не сознаваться же, что шёлковый платок самому помстился удавкой.

Царевна хмуро оттолкнула:

– Брат с Сибиром каждый день на мечях. И я через день. Когда Невлин с Харавонихой отвернутся.

Ознобиша сам изведаль руку царевича. Космохвост и дружинные витязи потрудились не втуне. А ещё за Эрелисом будет царская правда. И все Светлые Боги.

Вот только при мысли о Лихаре в ушах заводили вой плакальщицы.

Ознобиша покосился через плечо. Они едва оставили жаркий грохот

ремесленных, но Эльбиз шла, зябко нахохлившись. Хотелось обнять её, утешить, согреть. Он предложил:

– Пошли Харлана Пакшу проведем.

Однорукий харчевник был в перечне надёжных людей, некогда затверженном царями со слов воспитателя.

– Я Харлана вечно забывала, когда дядя Космохвост выскирегцев приказывал перечесть, – поделилась царица. – С подзатыльников еле-еле упомянула.

– С подзатыльников? – ужаснулся юный советник.

– За мои забудки брату доставалось. – Он перевёл было дух, но царица пояснила: – А за его – мне.

Ознобиша похвастался:

– А меня над межевой ямой хотели пороть.

– Это как?

– Я младший сын, мне на корню бы сидеть. После Беды стали переселяться, землю от зеленца до зеленца наново межевать... Кто знал, что репу собирать не придётся!

– За что ж сечь?

– Как вас с братом, для памяти. Где межа, роют яму, кидают уголь древесный. Чтобы скоро не сгнил. И яма не камень, не передвинешь. Здесь мальчонку порют, велят крепче запоминать... У меня по отцу все памятливые были. – Вздохнул, добавил: – Жили долго.

Он тотчас пожалел о сказанном, да вылетело – не ухватишь. «Называется, возвеселить хотел! Когда наконец буду говорить красно, ладно и порно, как правдивый Ваан?»

Всход, выбранный Ознобишей, опять был не для дебелих мужей. Ступени теснились узким винтом. Светильнички выхватывали на стенах рыб, морских слизней, мякишей в завитых раковинах. Внуки мореходов рисовали со знанием дела. Выпуклые глаза, цепкие щупальца... Совсем как те, что мерещились Ознобише возле двери первого сына.

Он вдруг спросил:

– Невлин-то хоть был в том перечне верных?

– Был, – кивнула царица.

– А Ваан?

– Нет.

– А Машкара?

Ему показалось, девушка улыбнулась.

– Нет.

– Вот видишь...

– Там и самого Космохвоста не было, Мартхе. Ладно, хватит из-за глупой бабы страдать! Она бы ещё мне в женихи великого котляра напророчила. И я, дура, на Лихареву смерть загадала!

– Я бы тоже загадал. Не кори себя.

Царевна мотнула головой:

– Дядя Сеггар меня ещё не так укорил бы...

– Отчего?

Послушать царят, Сеггар был железный и каменный. Стоил обоих Йелегенов и половины Гедахов со всеми их полководцами.

– Он... – Царевна задумалась, не зная, как объяснить. – Он говорил: это мёртвая и живая вода. Месть очищает рану от гнили. Но пасись идти по течению мёртвой воды, тогда рана не заживёт... Дядя Сеггар сказал: кто властен убить – силён. Однако не сравняется с тем, кто властен спасти.

В темноватой глубине кружала звякали струны, ладно вторила дудка. Это гуляли скоморохи Шарапа, собиравшиеся покидать город.

Двое вошедших поклонились образу доброго царя над столом для безденежных.

– Смотри! – шепнула Эльбиз. – Цепир!

Великого законознателя Ознобиша видел нечасто. Цепир жил почти таким же затворником, как страшный первый царевич. Ознобиша давно наметил посетить его для «опыта». По сию пору откладывал: успеется.

Райца владыки сидел в уголке, где Харлан Пакша лишь самых дорогих гостей потчевал. Пустой гомон кружала словно не касался его, чашка сладкого молока остыла нетронутая. Упокоив больную ногу на особой скамеечке, Цепир пребывал в великом сосредоточении. Перед ним кверху спинками была рассыпана зернь. Райца владыки жмурился так, что лоб доверху прорубила морщина. Водил над столом ладонью, переворачивал костяшки. Смотрел, качал головой, начинал всё сначала.

«И этот ворожит, – взгадило Ознобише. – Ну что за день сегодня такой?»

Великий советник недовольно поднял глаза. Увидел царевну, смягчился. Кивком указал Ознобише место против себя. Эльбиз, как положено службе, устроилась возле хозяйских ног на полу. Тут же не стерпела, высунулась из-за края стола:

– Каково успел, дядя Цепир?

Светильник озарял лицо снизу, делая незнакомой усмешку Цепира.

– Серединка на половинку. Пока внимателен сижусь, не ошибаюсь. А песню блажить начнут или с разговором пристанут – куда что девается.

Брови на чумазом личике изломились хитро и виновато. Ознобиша ладонью придавил трёпанный колпачок:

– Прости, господин, докучливого мезоньку, он недавно при мне, я ещё не вполне его обучил... Позволено ли будет спросить о природе игры, помогающей отточить собранность разума?

Выскирегская зернь отличалась от левобережной. Вместо воинской sprawy являла рыбацкую: лодки, сети, ножи. Правда, гусли здесь тоже главенствовали.

Цепир начал двигать по столу козны.

– Тайна невелика. Я выкладываю костяшки, желая найти одну среди всех. – Ладонь с разведёнными пальцами медленно поплыла над гладкими спинками. – Допустим, ту, где лодка и сеть...

Рука помедлила в воздухе. Вернулась на полвершка. Подняла зерно. Ознобиша увидел лодку и сеть.

– Поистине волшебным даром владеет мой господин! – вырвалось у него. – Любой зерновщик за такое провиденье ноги по колено отдаст!

Цепир проговорил разочарованно:

– Я слышал, тебя хвалили за ум. А ты, видно, тоже из тех, кто при виде умения болтает об удаче, достающейся без трудов.

У стены, где звякали струны, поднялась сумятица, кто-то вскочил, упала скамья. Вышибала начал присматриваться, но махать кулаками скоморохи так и не начали. Скамью подняли, молодые гудилы скупились, что-то разглядывая на столе.

– А я слышал, моего господина хвалили за правду, – покраснел Ознобиша. – Я не сказал и половины того, что ты поспешил мне приписать. Я лишь восхитился тем, как охотно откликаются тебе козны. Хотел спросить, как ты к ним взываешь.

Вновь появилась царица, принесла рыбных лепёшек, грибную подливу. Ознобиша и не заметил, как она отлучилась.

– Разве тебе Ветер этого не преподавал? – спросил Цепир с раздражением.

Ознобиша пожал плечами:

– Когда меня отправили на мирское, самые даровитые начинали вот так, пястью, распознавать годную еду от негодной.

– И ты не нашёл досуга овладеть знанием, которое наставники тебе забыли в рот положить?

Шум кружала ненадолго пригас. Пожаловали двое из расправы. Старшину Обору узнали по походке да по усам. Лицо было чёрное и опухшее, бороду примяла повязка. Харлан уважительно встретил

порядчиков, велел потесниться едокам за длинным столом. Обора спросил только взвара. Резвая девка принесла кружку. Над краем торчало утиное горлышко для питья.

– На самом деле премудрость невелика, – скупно проговорил Цепир. – Мы знаем всё, только не умеем достучаться до этого знания. Полагаю, твой учитель сразу взял бы нужную кость. Я не так тонко слышу мир, поэтому жду знака вот здесь. – Ноготь законознателя чиркнул по ладони. – У тебя всё может быть иначе. Пробуй.

Ознобиша понял, что ввергся в испытание. Захотелось на всякий случай отказаться, но было нельзя. Он выбрал костяшку с двумя лодками, перевернул. Смешал зеренье. Зажмурился, растопырил ладонь.

Возле дальней стены грянуло сбивчивыми созвучьями и хохотом, там подначивали друг дружку на сомнительное веселье. Вот затянули голоса, давясь смехом, враздрай, как бывает, когда скопом читают по одной грамотке:

Ой, что было-то на исаде!
Изумлялися люди глядя!
Как дружинишки возле моря
Ратные затевали споры!

Слова повели за собой напев, андархский уд грянул лихим плясом Левобережья. Ознобиша забыл козны, распахнул глаза, не в силах поверить. Вот сейчас всё кружало обернётся к нему. Укажет перстами.

Дурные голоса с упоением выводили:

Ой ведь шли, напирали грудью,
Труса задали добрым людям!
Как восплакали торгованы
К сыну доблестной Андархайны!

Порядчики переглядывались. Обора придержал Новка, досадливо отложившего ложку. Четвёртого царевича покамест не дерзословили.

Ой да праведный зову внемлет!
Мечет грозно порты на землю!
Сокрушил и врагов и дружье

Сокровенным своим оружием!

Кто за дверью стоял, пока смеялись царята?.. Кто подслушал глупую песенку, вздумал выпустить в люди? Праздник обретения слов грозил вывернуться похмельем.

Ой, как стала врагам отвада,
Разбежались они с исада!
От напужки доселе плачут,
О великом копье судачат!
Ой, иным и копья-то мало:
Сваю видели для причала!
Третьи вовсе городят небыль:
Зрак затмила гора до неба!
Ой, наш город теперь спокоен,
Стережёт нас великий воин!
Нам за ним никакого страха:
Кто полезет – разгонит махом!

Порядчики сидели багровые, прятали глаза. Щунуть горлопялов, снасть об стенку разбить? Ну да. Только тронь, раскричатся – добрых людей за правду обидели. Спустить? А как встанешь перед Гайдияром, буде вздумает осерчать?..

В ладонь Ознобише вмялись костяные углы. Рука что-то выбрала на столе, он моргнул, не сразу вспомнил, разжал кулак. С гладких плашек скалились острые боевые ножи.

Возглашение участи

Страху нельзя волю давать. Страх – как злая болячка. Ей чуть уступи... полежав, да и помрёшь! Так Ознобишу отец учил, Деждик Подстёга. Давно учил, но всё помнилось.

Песня о великом копье бытовала в городе уже вторую седмицу. К этому времени людям полагалось если не напрочь забыть беснование Гайдияра, то уж взять на зубок притчу посвежее. А поди ты! Немудрёная песенка до того хорошо легла на уста, что по-прежнему звучала буквально повсюду, стоило отвернуться красно-белым плащам. Порядчики ходили несчастные. Никого не трогали, ждали, чтобы само улеглось. Сколь опасно умножать терпельцев за правду, царская семья усвоила не вчера.

Первые дни Ознобиша просто отсиживался в покоях.

– Ты, верно, приводишь в порядок всё, что разузнал, – сказал ему Эрелис. – Ждать ли, что скоро мы приблизимся к родительской правде?

Слово «боязнь» так и не осквернило слуха. У Эрелиса подрагивала жилка на левом виске.

– Моя работа далека от завершения, – сказал Ознобиша. Подумал, добавил: – Отрадно, что твоя сестра, государь, находит в ней утеху и пользу. Позволь, однако, просить тебя как-нибудь удержать её завтра.

– Почему?

Ознобиша решил взять страх за рога:

– Я хочу пойти к четвёртому сыну. Он великий порядчик, навывший пронизать тайное. Боюсь, сразу догадается о государыне, когда увидит вблизи.

– Неужели ты думаешь, будто сестре может что-то грозить?..

– Ни в коем случае, государь. Просто мы знаем твоего брата как человека грозных и внезапных страстей... Не вели казнить, но, если царевна желает и дальше гулять неузнанная, на удачу лучше не полагаться.

Боевая жила на виске Эрелиса медленно успокаивалась.

– Сейчас я трижды обратился к тебе, Мартхе, а ты, отвечая, семь раз назвал меня государем. У меня голова чуть не разболелась. Мы с тобой ровесники и друзья. Когда уже обойдёмся без почётов, как мой отец и его райца Анахор?

«Которого Ваан полагает посрамлением сана... И не семь, а всего дважды...»

– Я тоже надеюсь... однажды совершить для тебя хоть часть того, что

правдивый Анахор – для твоего отца... государь.

Над исадом, отдаваясь в разбитой печи, то громче, то тише витали лукавые звоны Левобережья. Ознобиша надвинул куколь плаща, ускорил шаг. Для похода в расправу он выбрал день, когда доброму человеку не грешно было сидеть у огня, в домашнем уюте. Резкий ветер с Кияна дышал ледяной сыростью, мокрые хлопья мчались в глаза.

Над старым причалом, где к каменным надолбам больше не привязывали рыбацьи лодки, грозным предупреждением торчали на кольях две лохматые головы. Жадные чайки успели их исклевать, но черты оставались ещё узнаваемы. Крупный нос... бородавки... Рядом на дно бывшей гавани вела лестница. Её выстроили в первый год после Беды. Дерево тогда было легкодостижимо, а царственноравный город всюду кичился венцом. Для каждой ступени пилили вдоль большие стволы. Сейчас в середине лестницы зияла дыра, там постукивали молотки. Ветхие плахи провалились в день распри дружин, когда хлынул шальной от страха народ. Ознобиша немного постоял возле трудников. Посмотрел, как выбивали гнильё, годное лишь в очаг.

«Ведь были когда-то свежие, чистенькие лесины. А ещё прежде того – зеленели, проклюнувшись из семян. Солнцу радовались...»

Идя через гавань к бутырке, он трижды отбегал за валуны, влекомый телесным выражением страха. Однако назад не повернул.

– Занят воевода, – хмуро прошамкал старшина Обора, встреченный у ворот. – Суд судит.

– О, – обрадовался Ознобиша. – Государю Эрелису предстоит миловать и казнить, мне – скромно помогать ему. Доведётся ли поучиться справедливости у четвёртого сына праведных?

«Небось крадуна взяли на торгу. Буяна смиряли...»

Не угадал! Среди двора, коленями в талой жиже, стучал зубами крепкий парень. Босой, мокрый, жалкий. Ознобиша удивился штанам с выдернутым гашником.

Узнал тягуна, испугавшегося дружинных мечей.

Другие порядчики, не занятые обходами улиц, сурово стояли вдоль стен. Гайдияр восседал на походном столце, укрытый от липких хлопьев кожаным пологом с бахромой и кистями. Парчовая шуба, лучистое серебро малого венца... Осанка, взгляд! Сильные руки, возложенные на яблоко меча! Неволей поймёшь купца Жалу и многих, грезивших царём Ойдригом Первым. По прозвищу Победитель.

– Вспомянем, братья и чада, – грозно произносил Гайдияр, – как

храбрый Новко пошёл безоружный на топоры, чтоб драку разнять! Своей грудью чужих сынов заслонил! Вспомянем, как великий сердцем Обора в ледяную пропасть спускался!

В углу двора зловеще рокотал бубен.

– Вспомянем, как, руки сплотив, ошалелый люд у края держали!..

Ознобиша думал тихо постоять возле входа. Просчитался. Гайдияр сразу увидел его.

– Владычица Морана, праматерь судей, велика Твоя милость! – отдался по двору зычный голос царевича. – Выручай, советник высокоимённого брата, ибо мы в затруднении!

Все оглянулись. Куда деваться, Ознобиша выступил вперёд. Поклонился престолу, убрал руки в широкие рукава.

– Во имя древних правд, вручённых этому райце наставниками и книжной наукой... Спрашивай, государь.

В его памяти зажигались тихие светочи. Уютная тишина, знакомые корешки, свитки, коробка разрозненных грамот...

«...Гадалка! Осудить несудимого!..»

Пламена светочей дрогнули. Бубен отмеривал удары сердца.

Гайдияр ткнул подбородком в сторону распоясанного:

– Этого дурня скрутили на попытке продать кинжал и кольчугу, что я ему вручил полгода назад. Ну а как он растлил свою честь, пустившись в утёк, ты видел сам. Которой участи обрекают бегляка наши праведные старины?

Ознобиша начал говорить без заминок и колебаний:

– Государю известно: судебный закон рождается и бытует, отвечая нуждам своего века. Во дни Йелегенов убежника разрывали конями, дом отдавали на разграбление, а в сотне бывал обезглавлен каждый двенадцатый.

Порядчики встрепенулись, вдоль стен залетал сдержанный ропот. По голой спине тягуна прошла судорога.

– Конями? – с любопытством переспросил Гайдияр. Положил ногу на ногу. – Думаю, оботуры совладают не хуже. Говори, законодатель, мне нравятся твои рассуждения...

– Если верить летописаниям, лютый закон, порождённый лютыми временами, применялся лишь дважды, – с почтительным поклоном продолжал Ознобиша. – Позднейшие мыслители подвергают сомнению оба случая, усматривая в них живописные умозрения, должны отразить жестокую исключительность лихолетья. В годы последующих войн, более отмеченных победами, тягуна четвертовали перед войском. Наказанием

роду становилось бесчестье, отряд же обрекался совместному палачеству над осуждённым...

– Длинно изъясняешь мысль, райца, – перебил Гайдияр. – Я успел забыть, о чём говорилось вначале, поэтому не возьму в толк, к чему ты ведёшь!

Ознобиша вновь поклонился:

– Этот райца лишь пытается показать, как цари-законотворцы слушали голоса времени...

– А я лишь хочу знать, какой приговор ты мне посоветуешь возгласить. Предание от первых Гедахов пересказывай нашему брату; я его и так хорошо помню.

Порядчики топтались, кто-то неуверенно улыбался. Рокотал бубен.

Ознобиша кашлянул.

– При добром Аодхе, чьё святое правление было отмечено по преимуществу миром...

– Поторопись, ев... райца нашего брата!

Ознобиша выпрямился, голос зазвенел:

– После Беды, в знак почтения к царю-мученику, в законах не делалось изменений. Вспомним же, как добрый Аодх советовал государям иной раз откладывать судебники! Быть просто отцами провинившихся сыновей! Ибо сыновья таковы, какими вольно или невольно вырастили их отцы. Сами далеко не всегда прожившие без греха...

Тут, конечно, всем вспомнилась левобережная плясовая. Под ногами Ознобиши гремела волнами бездна, он завершил торжественно, почти нараспев:

– Ты вручил сыновство этому человеку. Он выронил его, так пусть сумеет поднять. Опали отрока. Покарай срамом, непотребной работой, приличной кощею, но воздержись губить, ведь по его вине никто смерти не принял. Умножь свою честь, дав негодному сыну возможность вернуть имя! Что приходит легко, легко и теряется. За поднятое муками и трудом не щадят жизни. Вот моя правда тебе, государь, а теперь суди суд, как сердце велит.

Гайдияр величественно кивнул:

– Ты добрый сказочник, Мартхе, но передай нашему брату, чтобы он к тебе понукалку приставил. Я чуть не уснул, дожидаясь, пока ты доберёшься до сути!.. Что ж, прислушаемся к нашему веку, взывающему к сбережению всякой жизни, в особенности несправедливой! – Гайдияр встал, сбросил драгоценную шубу, оставшись в простой накидке порядчика. Волосы из-под венца рассыпались по широким плечам. Мощный голос

отразился от стен: – Да лишат облачения отрока, чьё назвище я забыл. Да несёт он своё бесчестье хоть за Киян, и тогда лучше мне впредь не слышать о нём. Если нет, пусть спешит к отхожим местам и трудит себя столько дней, сколько звеньев было в проданной им кольчуге. Тогда, может быть, я пожелаю вновь узнать его имя. Я, Гайдияр, так решил и так возглашаю.

Тягуна мигом вытряхнули из порток. Ничего не поняв, он взвыл, покатился в грязи, заслонился руками. Вскочил, кинулся в чёрный угол двора, к нужникам, к портомойне. Спотыкливый бег направляли руганью и пинками.

Ознобиша с облегчением отвернулся. Тут же встретил весьма недобрый взгляд Гайдияра. Великий порядчик вполголоса проговорил:

– С таким советником, я уверен, Эрелис вором не станет, но ворья в Шегардае расплодит знатно... Ты, егнушонок, чего ради пришёл? Не для того же, чтобы мою честь умножать?

Ознобиша почтительно склонил голову:

– Этот райца счастлив хоть мало потрудиться для чести венца. Ты прав, государь. Я здесь во исполнение воли третьего сына. Если тебе будет благоугодно помочь в разысканиях...

– А-а, – усмехнулся Гайдияр. – Так вот отчего сестрица Змеда целует старые безделушки, а Ваан через слово поминает бездельника Анахора! Что ж, помогу. Только не обещаю, что братец возрадуется моей повести. И вот ещё. Сразу выложишь всё, что случится нацарапать, под мою печать. А то я уже понял: иное писало разит хуже ножа!

Ознобиша судорожно раздумывал, к чему бы подобное замечание. Гайдияр добавил сквозь зубы:

– Этому олуху ты выхлопотал пощаду. Но дай Боги разведать, кто песенное паскудство сложил, – не помилую!

Идя назад через пустошь, Ознобиша в истинном смысле не чуял под собой ног. Ступал с призрачной лёгкостью: дунь ветер посильней – как есть унесёт! Мысли бестолково метались, звеня отзвуками грядущих тревог, но главенствовала одна: «Я не осудил. Не осудил...»

Значит, всё будет хорошо. Значит, пока ничего не случилось. А новую схватку он встретит с новыми силами.

– Мартхе! – окликнули сзади. И чуть погодя: – Ознобиша!..

Он оглянулся. Его прежнее имя здесь знали немногие. Со стороны бутырки, кутаясь в рогожный плащик, спешил коротконогий толстяк.

– Наставник Галуха?..

Удивление жило недолго. Бубен в углу расправы. Дудочка в лодочном

сарая.

– Быстро ходишь, не догнать, – отдуваясь, пожаловался игрец. – Позволишь, я до лестницы тебя провожу?

Он казался ещё приземистей и толще прежнего. «Или это я вырос?..» Чувство, что сейчас разразится выволочка, уходило с трудом.

Некоторое время шли молча. Ознобиша смотрел, как пугливо озирался Галуха, и не знал, что сказать. «На новой службе поздравить? Только, будь она в радость, выбежал бы меня догонять?»

– Ты вспоминаешь, как я ругал тебя за ослиную глотку, – с горькой обидой выговорил попущеник.

– Иногда вспоминаю, – улыбнулся Ознобиша. – Ты был прав, петъ я так и не научился.

– Теперь с тобой благосклонность праведного...

– А с тобой разве нет?

Галуха нахохлился, пряча лицо от сырого ветра. Помолчал ещё и решился:

– С год назад я почувствовал, что устал от неприкаянной жизни. Увы, творец созвучий без покровительства сильного обречён на нищую долю. Я приехал в Выскирег, надеясь послужить праведному, знавшему меня ещё прежде Беды. Восславить храбрость деяний... выходы царские украсить...

Он содрогнулся.

– Оказалось, Меч Державы предпочитает звон оружия всем иным звукам? – предположил Ознобиша.

Галуха остановился:

– Не в том дело, райца третьего сына. Я знал, на что шёл. Мой дар обретения песен давно подёрнулся пеплом. Для доброго покровителя я бы до конца дней возвещал смену стражи и не жаловался на судьбу... Мартхе, я бежал от страха, которым наказал меня Ветер, но доискался лишь худшего.

– Праведный Гайдияр суров с тобой? Чем ты провинился?

А сам облизнул внезапно пересохшие губы.

– У Ветра, – сказал Галуха, – я отдувался хотя бы за собственные грехи, у праведного – за чужие. Я словно приговорённый, которого на завтра казнят, и так каждый день! Помоги, Мартхе, прошу! Замолви словечко наследнику. Верно, я был с тобой когда-то неласков...

– Я райца.

Голос попущеника дрогнул:

– Выручи, Мартхе. Эрелис любит тебя.

Ознобиша привык быть листком, катящимся по воле злых бурь. И вот

его речи обрели вес. Повисли серебряной тяжестью на груди. Он повторил словесный образ, унаследованный от предтеч:

– Правдивый райца ни для кого не просит кар или благ. Райца лишь предлагает государю память, хранящую установления и деяния всех времён.

«И подавно не встаёт между праведными. Или это я по трусости не решаюсь пытку остановить? Несудимого обрекаю?»

Галуха совсем повесил голову. Сломанная кость выправляется, сломанная душа только никнет. Ищет опоры, но, даже нашарив, удержаться не может. Он пробормотал, глядя под ноги:

– Я поклонился зрелому государю, уверенный, что выбрал наверняка. Знать бы мне, кто обретёт истинную силу... Да ещё так скоро...

Надолго отлучаться из расправы ему не следовало. Мало ли какая служба занадобится Гайдияру! Свистнуть в дудку, полагая меру воинскому занятию. Стукнуть в било, призывая отроков к трапезе. Галуха остановился.

– Он стал было думать на меня из-за площадной песни. Я умер от страха, но он посмеялся! Сказал: да разве есть в тебе тот огонь?

Повернулся, побрёл назад. Рогожный куколь съехал с головы, неживые кудри забило снегом. Ознобиша смотрел, как он уходит, сутулый, беспомощный, постаревший.

Коряжинское срамодейство

Ознобиша успел полюбить Злата. Славный был малый. Надёжный. Во всяком случае, шегардайских царят ничем не подвёл. Так вот. Если сопоставить пригульного Коршаковича ножу, уехавшему подарком в Чёрную Пятерь, нынешний зарукавник получался суций царевич Аодх, каким тот мог вырасти, оставшись в живых. Даже клинок на руке Сквары был ему не чета.

Переданный кузнецом через месяц и два дня сроку, он превзошёл все ожидания Ознобиши. Недоучка воинского пути кое-что понимал в оружии короткой и длинной руки. Ножевщик, подогретый ревностью к дикомытам, дедовской наковальни не посрамил.

Сквозь чёрный лёд клинка протаивали дождевые, туманные вереницы теней. По голомени брели призраки письмён, почти готовых к прочтению. Бережная чеканка совлекла с них последний покров. Тоненький золотой луч бежал вдоль обушка. Повторял, чуть-чуть подправлял булатные завитки.

ЧЕСТИ ВВЕРЯЮСЬ.

Ветер не приказал Владычицу помянуть. Ознобиша мысленно поставил себя на место хитрого котляра. Правосудная всякой чести прибежище и исток, почто все тревожить!

– Может, себе купишь ножичек, правдивый райца? – осведомился кузнец. – Вот, смотри, какие у боярских детей ныне в обычае!

Клинки загибались маленькими серпами. Такие не секут кожу и плоть – лезут в тело, причиняя увечья. Оружие верящих стали, а не собственной руке.

«Лихарю такой заказать. Да с надписью про кривой путь котла...»

– Спасибо, делатель. Я не сын боярский.

Он был всего лишь один из немногих, кому в царских палатах дозволялся скрытый нож. Последний заслон Эрелису, если остальные падут. «Коготь из тела поди запросто выдерни, а враг может быть не один...»

Сполна расплатившись, Ознобиша обернул драгоценное лезо шёлковым лоскутом, спрятал в кожаную шкатулку. Быстрым шагом достиг книжницы. Взялся за подложную ручку скрыни. «Кому Ветер отдаст? Сквару стеном делает, наградить хочет?»

Толстые гранёные звенья жгли пальцы.

Он положил коробочку с ножом на «Умилку Владычицы». Чувство было как в том последнем зимовье. Отец с матерью ладят ночлег, предвкушают встречу назавтра. А из-за сосен, сопровождаемый Лихарем, сквозь розовые сумерки идёт Ветер. И уже понятно: отныне имеет значение только его воля. Только она.

Ознобиша запер сундук и ушёл, чувствуя лопатками тяжёлый взгляд из стены.

– Забрали, – сказала царица.

Они с двух сторон заглядывали под крышку, осенённую хвостами жар-птиц. Непроступный тайник оборачивался ловушкой. Празднично-страшноватые игры в тайные знаки и забытые грамоты – кровью, смертью, щупальцами тьмы.

– Дальше читать будем? – спросила Эльбиз. – Или, может, домой?

«Холод и страх не пустим в сердца...» Ознобиша молча вытащил пачку неразобранных записей. Поставил светильник, устроился на низкой скамеечке.

– Тебе что, совсем не боязно? – шёпотом удивилась царица.

«Правдивый Анахор, оставивший мне служение, принял огненную смерть вместе с государем Эдаргом... а я от вручённого дела отскочу при первой тревоге?»

– Сама, – спросил он, – всё ли слушаешь, что боязнь присоветует?

Эльбиз села по ту сторону скрыни. Выложила на донце бочонка траченные плесенью листы. Покосилась на Ознобишу:

– Ты ничего не записываешь...

Ознобиша легонько ткнул себя в грудь:

– Всё здесь. – Подумал, сознался: – Мнится уже, берёсты в подголовнике и те без спросу кто ворошил. Ты многим, кроме дядьки, сказывала, чем тешишься? Харавонихе? Девкам санным?..

– Нашёл тайных поползней! Им, клушам, в хлевке смиренно сидеть.

Ознобиша скорбно вздохнул:

– Тот силён, чья доблесть глаз поражает. Чьей не заподозришь – сильней.

Царица задумалась.

– Нет, – отсеклась решительно. – Ни единой душе.

Дотянувшись, тёплыми пальцами стиснула его руку. Фитилёк за стёклышком вспыхивал золотым светом, противостоя сгустившейся тьме.

На исаде вновь стряпалась пища для людских пересудов. Друзья это

поняли ещё за три подземных распутья. Красно-белые плащи стояли заплотом. Никого не впускали, не выпускали.

– Пожалуй, государев советник, – заметил Ознобишу седоусый Обора. – По твоему, чай, замыслу казнение.

«По замыслу? Казнение?! А-а... тягун...»

Царевна сзади ухватилась за его пояс, чтобы не отбили прочь в толкотне. Так и вошли на исад.

Позор был, какой Выскирег в самом деле не всякий день видел.

Очередной бесхмелинушка вёз тележку без кузова. Парень, чьё имя поделом забыл Гайдияр, в знак отвержения от людей ехал шиворот-навыворот. Все порты задом наперёд, изнанкой наружу, кругом шеи тяжёлка. И сам – лицом назад. Слева, справа летели рыбы кишки и прочая дрянь, которую так легко подбирает ищущая рука. Возилка еле поспевал прикрывать лицо рукавом. Ему тоже доставалось от народных щедрот.

– Не так раньше казнили, – говорили в толпе.

– Обречённику смерть, добрым людям гулянье.

У тележки с громким плачем бежала растрёпанная баба. Отца и братьев наказанного порядчики оттеснили, но мать поди удержи.

Вот тележка завершила круг по исаду. Плащи расправы заслонили тягуна с матерью, скрыли возилку. Произошло движение, воины согласно воздели щиты. На живую подвысь истым Ойдригом Первым взбежал Гайдияр:

– Слушай же, Выскирег царственноравный!

Царевич пылал золотом, как в день, когда остановились дружины.

– Я покарал человека, вздумавшего меня подвести! Вы видели: он принял наказание, как мужу достойно. Посему никто более не смеет злословить семью, довольно претерпевшую от его низости. Над нею – мой щит!

Царевич даже притопнул, добавляя весу словам. Опора, зиждимая руками могучего Новка, не шелохнулась.

– И ещё потому, – летело над площадью, – что бывают злодеи похуже трусившего бойца! Он бросил меня, но хотя бы в спину не бил!.. Да, мужи достаточные, прячется среди вас и такой. Думал ли я, что дождусь за свои труды!.. Ан дождался вот! Храбрости не имея, срамным пением под лопатку язвят!.. – Гайдияр оглядел притихший исад, грозно потребовал: – Сей же час, говорю, объявись, козявка премерзкая! Не то сам пойду доискиваться и сводить и уж кого походя зашибу, не обессудь!

Людское скопище загудело, заколыхалось, каждый украдкой взглядывал на соседа. Ознобишины ноги пустили крепкие корни, никакая

сила не вырвет. Краем глаза он приметил Машкару, тот улыбался.

– Знал я: и теперь трусишь! – Гайдияр легко сосчитал кожаные ступени, встал наземь. – Тут кто-то грустил о казнях прежних времён, так не вспомнить ли, братья, как за одного родовича казнили другого? Чтоб впредь неповадно?

Торговцы, побирушки и ротозеи, только что весело метавшие сор, в ужасе подались прочь.

Не успели.

Да кто б тут успел. Гайдияр не просто шагнул – как бы исчез в прежнем месте, возникнув сразу в другом. Метнул руку. В жилистой хватке затрепыхался нищий. Бессильный, бросовый человечешко.

Кругом как по волшебству сделалось порожнее место.

– Которых Богов славишь? – зловеще спросил Гайдияр. – Взывай напоследок!

Схваченный заблажил. Без слов, тонко, предсмертно.

«Осудить несудимого!»

Что-то держало Ознобишу сзади за пояс, он вырвался, почти не заметив. Во всём мире существовал один Гайдияр. Он делался с каждым шагом огромнее и страшнее.

Вот повернулся...

– Опять ты, евнушонок! Не высоко ли занёсся? В каждый мой суд влезть норовишь?

Ознобишина голова торчала третьей на колу над старым причалом, снятая кожа висела на воротах расправы.

– Нет, государь. Этот райца полон почтения. – Он проглотил застрявшего в горле ежа. – Отпусти безвиновного. Я песню сложил.

– Ты?..

«Отмахнётся. Беги, скажет, сопливый. И что делать? Владычица... дай отваги...»

Глядя в петлицу на груди великого порядчика, Ознобиша повторил громко и ясно:

– Это я песню сложил. Меня казни, а безвинной кровью рук не марай.

«Владычица, ну пусть разожмёт пятерню. Помилует непричастного...»

Гайдияр бросил нищего, как мерзкую тряпку. Тот, ошавевший от ужаса, не сообразил даже вскочить, устремился прочь на карачках. Гайдияр про него тотчас забыл.

Ознобиша понял, какую власть потревожил.

Пора было целовать мостовую, но он снова видел перед собой Лихаря. И стоял прямо, ибо смерти кланяться грех. Взгляд Гайдияра устремился на

что-то поверх его головы. Ещё миг спустя великий порядчик принял решение.

Рука поползла... Ознобиша вместе со всей площадью ждал – к ножнам...

Нет. Мозолистая ладонь накрыла кошель.

– Ты славно позабавил меня, – сказал Гайдияр. – Не впервые песни о себе слышу, но таких не было. Жалую за дерзость!

В руку Ознобише лёг полновесный золотой с ликом доброго Аодха. Да не какой-нибудь затёртый по купеческим мошням. Новенький, сверкающий подробной чеканкой. Не на торгу разменивать – в божнице хранить!

Гайдияр добавил совсем тихо, только для его ушей:

– Ещё под ноги сунешься, растопчу.

И сопровождал слова такой затрепачкой, что Ознобиша вспорхнул, полетел лёгкой пташкой, не касаясь земли. Туда, где стояла царевна – шапчонка в горсти, грозовой взгляд, льняная коса. За спиной девушки улыбался Машкара.

Вдвоём они подхватили невесомо парящего Ознобишу, поставили, повлекли прочь.

– Чего ради вперёд вылез? – сокрушалась царевна. – Гайдияр гневлив, но не забывается. Никого бы не казнил.

Ознобиша начал как следует соображать только в густом кружальном тепле. Дали в руки тёплую чашку, тут-то зубы застучали о край.

– По грехам... – выговорил он наконец. – Я правда... в спину...

Эльбиз хмуро отмолвила:

– Это я скоморохам грамотку бросила. Тебя под гнев подвела.

Ознобише до судорог захотелось взять её руку. Пальцы в очередь поцеловать. Не всякие цари у слуг вину отдать просят. Только праведные. Он сказал:

– Видишь, каково со мной гулять выходить. Ничего... скоро Нерыжень вернётся, дружка твоя...

– И Косохлест, – улыбнулась девушка.

Ознобиша ощутил укол глупой ревности:

– И Косохлест...

Эрелис сидел в передней хоромине, румяный после мыльни. Дядька Серьга расчёсывал «зеночку» влажные кудри. В углу возился Сибир, распаренный не меньше царевича. Качал головой, осматривал, пытал ногтем два «обтёсанных» меча, кинжал, боевые ножи. Опять всё потешное

оружие у кузнецов направлять!

Едва войдя, Ознобиша припал на колени:

– Карай, государь, этот райца грешен тебе...

Братец Аро первым долгом посмотрел на сестру. Ознобиша не увидел, какой знак подала Эльбиз. Эрелис воздел руку:

– Вину, коли есть, потом доведёшь. Тут... грамотку одну прочесть надобно.

«Прочесть?!» Ознобиша был способен думать только об одной грамотке, подмётной, злосчастной. Эрелис добавил с непонятной усмешкой:

– Я просмотрел, да что-то не вник. Огласи, может, станет понятней. Чего и тогда не уясню, истолкуешь.

По его кивку Серьга принёс пачку ровных листов, снизанных верёвочкой в книжку. Странно! Эрелис явно чаял повеселиться.

Ознобиша начал читать, одержимый очень скверным предчувствием:

– «Вот краткая суть. Кровнорождённый был мною покинут в Ямищах здоровым и бодрым, вечером после гордого стола, равно как честная молодлица и её предобрая мать с чада и домочадцы, а за ними удатная дружина и ближники...»

Эрелис приподнял руку, веля остановиться:

– Как истолкуешь?

Ознобиша ответил с немалым облегчением:

– Думается, поход любезного тебе родича, сущего вне лестницы, завершился успешно.

– Дальше читай.

– «Из важного. Несомненно вскрылось злодейство, сгубившее доброго промышленника Бакуню, – продолжал Ознобиша. – Нам уже было известно, что в Шегардае заметили и признали суконник доброго мужа, купленный у тёмного маяка, рекомого Хобот. Изволением Правосудной случилось оному Хоботу, весьма терпящему нужду, быть нами переняту на краю Шерлопского урмана. Изведав на пытке великий страх, холопишко сей указал на Лигуя Гольца, владельца Порудного Мха. Лигуй тот доброму мужу завидовал, только случай прикидывал, чтобы совсем извести, лихих людей навести...»

Вот тут Ознобиша икнул, охрип, замолчал. Поднял глаза.

Эрелис улыбался уголком рта. Ознобиша спохватился, стал читать дальше:

– «Прибывши к Десибрату Головне, человеку верному и доброму, по его же совету был оному Лигуишке также учинён великий страх...»

Из вороха грамот, скреплённых лыковой верёвочкой, тянулись родные сильные руки. Гладили по плечам, держали, приникшего, на весу.

– «С первой напужки он... Со второй...» – читал Ознобиша, а слышалось памятное: «Рубаху вздень, застынешь. Я тебе книжку принёс...»

Он больше не разумел слов, только внимал голосу братейки. «Я жив-здоров, – говорил Сквара. – Знаю, почему ты мне письма не прислал. Злат всё рассказал, мы с ним о тебе каждый день толковали. А я догадался, что сказка про Златов поход твоих рук не минует. Вот, весточку подаю. Ещё мыслю, брат: истинно, видит нас Справедливая! Чаю, уже скоро встретиться приведёт...»

Даже вскинутую руку Эрелиса Ознобиша заметил не сразу. Государь смотрел в угол, где сестрёнка Эльбиз подсела к телохранителю. На зверской роже Сибира мешались страдание и благодарность. Великанище сидел на полу, запрокинув голову маленькой государыне на колени. Погрузив пальцы в густую рыжую бороду, Эльбиз нянчила его челюсть.

– Сильно грызёт? – У Эрелиса был голос человека, знающего сходную боль. – Почто не сказал? Я бы с Новком потешился.

Сибир виновато шевельнулся, открыл глаза.

– Это он буквы ленится повторять, – сказала царица. – Зубной скорбью отговаривается.

Эрелис кивнул сестре, снова повернулся к советнику. Ознобиша стоял умытый живой водицей, часто моргал, пальцы стиснули берёсту, как братейкину ладонь.

– Государь...

– Теперь вижу, истолковал, – улыбнулся Эрелис. – Добро, будет с тебя. Сказку эту Ветер к письму приложил ради нашего уведомления. – Заметил, как подобрался Ознобиша. Пояснил: – Его письмо скучное. За подарки благодарит. Ученики, пишет, передрались, кому на Златово орудье идти. Но он, конечно, лучшего послал. Правдивый Ваан взял грамотку в писемник. Пусть видят потомки: мы дел правления не оставили и никого из родни заботой не обошли... Сказка твоего побратима ему не занудилась. В подвалах места не хватит, если всякое празднословие собирать.

Царица кивнула:

– Мы видели, какие труды он хранит. Мартхе целый день с ними загубил, из почтения к старцу. Я бы на первом заснула, к третьему – петельку свила!

Эрелис задумчиво проговорил:

– Дядя Космохвост сказывал, в родительском дворце книжница была

преизрядная. И писемник – ещё с Ойдриговых деяний. Только не сбереглось. Значит, надо новое учинять. – Помолчал, встал, прошёлся. – Это был мой первый суд. Посему велю тебе, Мартхе...

Ознобиша преклонил колено.

– ...Положи эту сказку, вынутую из корзины с растопкой, подугольным камнем собрания. Чтобы через двадцать лет я посмотрел и увидел, где впервые ошибся, с чего всё вкливо пошло.

Тем вечером Ознобиша несколько раз вытаскивал рыхлую книжицу из подголовника. Гладил один лист, другой, шмыгал носом, улыбался неизвестно чему. Трогал узел на верёвочке снизу. Когда все уgomонились и он водворился в свою спаленку, к нему вышел братейка. Подоткнул одеяло, сел рядом и не уходил, пока он не уснул.

Доля четвертая

Первородная битва

Эх, какие свадьбы прежде играли на Коновом Вене!

Сажали на посад зарёванных, но счастливых девчонок, наглухо скутанных бабушкиными фатами, расшитыми по красному обережным узором. Принимали выкуп от жениха, устраивали парня рядом с невестой на хлебной квашне, ставили под резвые ножки полный горшок мёда... Связывали молодым руки браным полотенцем, просторным и долгим, словно жизнь впереди!

А уж как, бывало, летел весёлый свадебный поезд! Снег из-под копыт и полозьев, гром, посвист, гусельный звон! Целая дружина присматривала, чтобы никто не перебежал пути молодым, не перебил удачи и счастья, не шмыгнул злобной кошкой между санями невесты и верховым конём жениха...

Как, наконец, воздвигали, а после мягчили для молодых брачное ложе! Теперь всё оскудело. Проще стало, беднее.

Прежним осталось одно: на Коновом Вене от века не бывало чужих детей.

У Ишутки не осталось даже родительских могил, чтобы поплакать на них, благословения испросить. Ей имя-то приёмный дедушка дал, когда нашёл годовалую. Теперь старый Игорка ехал с внученькой в далёкую Сегду. Подарки в коробья увязывала вся Твёржа. Сворачивала шерстяные рубашечки своего дела. Перекладывала тонкие горшки одеяльцами из птичьего пуха, сотканными в Кисельне. Обшивала тюки добрыми рогожками работы Затресья...

Знай, Левобережье, Коновой Вен!

* * *

Сквозь туманный свод зеленца моросил дождь. Светел с Небышем друг против друга сидели под берестяным свесом дровника. Каждый держал на коленях гусли.

– Жаль без тебя идти, – в сто первый раз повторил Небыш.

Вручать невесту жениху решили на полдороге. В левобережной Вагаше. Там тоже собиралось купилище. Раза в два скуднее, чем в Торожихе. Зато ехать раза в два дальше.

– Котляров в этом году не ждут ещё... Чего бабка боится, зачем не велит?

– Будто мои лыжи Кайтару не довезёте? – отмолвил Светел. И вдруг прошипел: – Клином стройся!

Пальцы Небыша пали на струны, ответили ударами созвучий.

– Пращи заряжай! Копья клони! Щиты панцирем!

Небыш повторял без запинки. Всякая дружина составляет и ревниво хранит боевую речь гуслей. Всякий гуслиар – ещё и маячник: если воеводу ранят в бою, ослабевший голос подхватят громкие струны. А то пронесут по полю сокроуенный приказ, чтобы прежде срока не распознали враги!

Нынче в беззаконное Левобережье Пеньки не поедут. Так решила бабушка Корениха. Светел, конечно, досадовал, но что-то внутри тайком перевело дух. Это было плохо. И без того каждый день вспоминалась поездка на праздник в Житую Роточь. Что, страхами теперь жить? Страху одолевать надо...

– Тот хитрый перебор ещё покажи, – попросил Небыш. – На драку с жениховой дружиной!

– А статью почитать, статью сказывать... – начал Светел. Играл медленно, пел вовсе шёпотом. Больно уж скоромными и срамными были слова. Не для обычного дня, только для бесчинного праздника. У Вагаши Гаркина дружина сойдётся с Кайтаровой. Покрасуется удалым молодечеством. И уступит – ведь невесту как-никак отдавать привезут.

Оттого что Светела там не будет, первому бою тускнеть не лицо.

– Погодь, погодь, – придержал Небыш. – Вместе давай, а то непонятно мне.

Из дому выскочил Жогушка. Светясь во всю рожицу, вынес на ладонях очередной лапоток. Держал, как пичужку, готовую взмыть и пропасть. Киулся бы к старшим, но вспомнил о вежестве, прилип у крыльца, лишь переступал, будто на месте бежал. Братище заметил, приглушил струны:

– Что там у тебя?

– Вот... исполнил!

Светел глянул из-под строгих бровей. Взял, придиичиво осмотрел... Сгрёб братёнка, крепко потряхнул, мало не уронив гусли:

– Достиг, плетухан! Скажи матери, пусть сковородку калит! Ныне пепел с кашей съешь, чтобы не забылась наука!

Жогушка с визгом умчался. Светел радостно подхватил гусли, открыл рот... осёкся. Во двор вошла Розщепиха.

Парни переглянулись. Небыш кивнул: привык уже понимать с полувзгляда. Двое гуселек прозвенели согласно, две глотки грянули разом:

А стать почитать, стать сказывать!..
Рос-повырос из листочков гладкий ствол,
Из мохнатого гнезда произошёл,
Как уж белое нутро – сплошная сласть,
Да у нас и про него найдётся снасть!
Ах ты, бражка, бражечка моя,
Весела бражка подсыченная...

На большакову сестру стало страшно смотреть. Задохнулась, глаза вылезли, сейчас замертво упадёт! Опамятовалась, стукнула клюкой:

– Похабники! Что несёте? Вот матерям скажу, велю настегать!

Парни смолкли, дружно поднялись, поклонились.

– Мы, тётенька, про орех загадку поём и как его зубами колоть. А ты что сдумала, растолкуй?..

Светел отложил гусли, вышел из дровника:

– Пожалуй в избу, великая тётенька Шамша.

Розщепиха пригрозила палкой, устыдила за что-то ещё, уже невнятно. Скрылась в сених.

– Погодила бы, у нас другие загадки есть, – негромко, тонким голоском пустил вслед Небыш. – Про ключик с замочком, про игольное ушко с ниткой, про карман... Как то называется, куда живое тело пихается?..

Отсмеявшись, парни снова сели друг против друга, упёрли в колени пяточки гуслей. Только затеяли повторить заковыристый перебор – мелькнула кручинная понёва, платочек внахмурочку. Ишутка, легка на помине.

– Сестрёнка, – обрадовался Светел. – Сядь послушай, мы песню для тебя изукрасили!

А сам отделаться не мог, всё думал, как это Кайтар возьмёт её за руки, станет целовать, холить девью красоту, в дом введёт, будет государыней величать... Почему у него, Светела, ничего подобного не видать впереди?

Едва перешагнув порог, Ишутка бросилась в ноги Коренихе:

– Бабушка Ерга! Не оставь...

– Да что стряслось, дитятко?

Ишутка поймала её руку, прижалась, полила слезами:

– Бабушка, страшно мне... моченьки нет... благослови, государыня, матушку Равдушеньку проводить до Вагаши!

Светел сразу понял – бабушка не откажет. Тихая Ишутка впервые просила сама, а сколько услуживала! Всё же Корениха сдвинула брови:

– С тобой, дитяtko, посажёнными родителями сами большаки едут...

– Мало того что рогожник во дворе сидит, Светелка неведомым песням подучивает, ещё и ты, дура-девka, последний умишко обронить норовишь! – всплеснула ручками Розщепиха. – В свадебный поезд вдовую зазывать?

Бабушка усмехнулась:

– На себя погляди, сестрица Шамша. Ты-то едешь.

– Да я что? Я ж не в свадебном чину, я так, захребетницей, со стороны приглядеть...

Корениха кивнула:

– Вот и Равдуша со стороны приглядит, чтоб девочку бережно довели. Собирайся, невестушка.

Мама оглянулась от печи, забыв, чего ради неслa к растопке лучину.

– И малюго с собой опять? – ахнула Розщепиха.

Бабушка решительно приговорила:

– Малой дома побудет. А вот старшего с матерью обороной пошлю.

«Что?...» У Светела разом выросли крылья и в животе противно заныло. Он даже не слышал, как благодарила Ишутка. Уже шёл ерепенить Кайтарову дружину, шагал единым плечом с Гаркой, Зарником, Небышем... Снова придвинулось, начало сбываться что-то большое, хотелось спешить навстречу неведомому.

А ещё хотелось забиться подальше, спрятаться в знакомой клети.

Носыня с осуждением тряхнула пальцем вслед убежавшей сговорёнке:

– Таково оно, чужих пригревать! Сколько ни корми, всё за лес смотрят.

«Да это ж обо мне опять! Как есть Розщепиха...»

Когда Пеньки остались одни, бабушка Ерга устало опустила голову на руку:

– Я-то думала, хватит уже с моей семьи проклятого Левобережья... А нешто сироту не уважить?

Из печного устья повалил дым, заклубился, ища выхода. Равдуша схватилась, побежала открывать дымоволок.

Жогушка стоял в уголке, держал забытый лапотъ, губы дрожали. Светел присел перед ним, взял за плечи:

– На тебя надея, братёнок. Мужиком в доме останешься!

Когда делаешь первый шаг, предстоящий путь кажется бесконечным, полным непостижимых опасностей. Когда путь завершается, бывает в пору

дивиться: чего боялся? Какие напасти мерещились?..

Оплошные это мысли. Их гнать надо, поколи не споткнулся.

«Мы путём в Росточь тоже загадывали: дай Светынь перейти... А потом, когда смерть в зимовье нашли, – дай только к Звигурам добратся...»

Морозные облака высоко стояли над Левобережьем. Горбы холмов, бедовники на полуденных склонах, два останца, меж которыми раньше бежала к Светыни быстрая речка. Край, отнявший у Светела отца и старшего брата, вовсе не выглядел проклятым и беззаконным. Земля как земля. Конечно, не Коновой Вен, но тоже красивая.

Здесь была уже вагашинская круговина.

И маленькая оттепельная поляна, где встали на последнюю ночёвку твёржинские походники, ничем не напоминала Подстёгин погост.

Уже под сумерки прибежали на развед жениховы друзья пополам с вагашатами. Гаркины молодцы их встретили как подобало. Молча выстроились кругом шатра, откуда слышалось заунывное:

Лютый коршун мчит за синие леса,
Сера утица трепещется в когтях...

Светел даже уловил одобрительный взгляд дядьки Шабарши. Ребятунки стояли суровые, неприступные. Каждый – с копьём и плетёным щитом, украшенным изображением калача. Копья были без железков, но дружина выглядела потешной хорошо если наполовину. Завтра они в полной мере проявят гордую удаль. Не дадут воинству жениха умыкнуть суженую без выкупа. Кайтаровичи похаживали вокруг, примеривались задориться, но, конечно, прямо в становище ни на что не отваживались.

Вот завтра, на той самой речке меж холмами, пришлые чего угодно дождутся!

Светела потянули за руку.

– Дяденька...

Опёнок обернулся, узнал, обрадовался:

– Котёха! – Заметил под спутанными кудлами свежий синяк возле глаза. – Эх, малый...

«Куда Ишутку отдаём за тридевять окоёмов?! Вот бы Кайтара к нам... братом новым... Он и правильной речью владеет, как урождённой...»

Веретейский сирота ковырял снег стоптанным поршнем. За год он прибавил не меньше ладони, став совсем похожим на Светела шесть вёсен

назад.

– Дяденька, нападут завтра на вас... За тесниной, перед болотом...

– Где нападут, там и шапки забудут, – кивнул Светел. Другие вагашата, в том числе мачехин сын, про мальчика как будто забыли. – А пошли к нам в шатёр?

«Обогрею, маме покажу. Вдруг нелюбую родню согласит за выкуп отдать? Что мне лишних лыж не наделать...»

Котёха пугливо скосился, шмыгнул носом, накрыл горстью синяк, решился, зачастил:

– Дяденька, я тропу короткую укажу! Веточку заломлю, след покину!

– Что за тропка? – насторожился Светел. – Куда?

Мальчонка топтался, как на горячей сковороде:

– А в обход, по ручью! Они перед болотом в засаде ждать будут, а вы из-за плеча на них!

– Погоди... самого не прибьют?

Котёха прянул в сторону, вывернулся из-под руки, убежал.

Гарко с подвоеводой Зарником обрадовались неожиданной вести.

– Значит, зададим гнездарям! Знай северян!

– Он тебе на чём сулил веточку заломить? А след от лапок узнаёшь?

Светел нахмурился:

– След-то узнаю, премудрость невелика...

– А что не по нраву?

Опёнок пожал плечами, задумался, не умея сразу ответить.

– Боишься, накажут мальчонку?

– Так его никто за язык не тянул. И след мы затопчем.

– Не то плохо, – сказал наконец Светел. – От своих больно далеко отбежим.

Зарник дёрнул бровью, где сидела зарубка:

– Светелку от мамоньки не отойти! – Нарочно подпустил левобережное слово, посмеялся. – Не трусь, воевода тебя оставит при поезде, подальше от боя. Оботуров песнями развлекать.

Светел ошетинился:

– Ты сам чего хочешь? Гнездарям бока отходить или невестины санки сберечь?

– Вот что, – расправил плечи Гарко. – Я воевода, меня слушай! Если Светел приметку увидит – все вместе тропкой пойдём. Чтобы знали царские угодники Коновой Вен!

Раньше здесь было величаво. Земля спускалась к Светыни не плавно, а словно бы широкими ступенями, каменными раскатами. Младшая река, бежавшая с водоспуска, звалась по-местному Рукавицей – оттого, что, свергнувшись падуном, разбегалась двенадцатью звонкими рукавами. Дикомыты, конечно, смеялись. Рукавица!

Скальные ступени, некогда очень высокие и крутые, давно изгладил белый ковёр. А вместо серебряного звона стояла снежная тишина.

– Дядя Шабарша, мост андархи построили? – спросил Светел.

Большак тоже смотрел вдаль. Причудливые ветра не давали снегу облепить высокие дуги опор, дочиста ложили широкую бороду водопада, струившуюся под мост. Даже теперь было видно: Рукавица сдалась не сразу. Уже скованная ледяным сном, всё тянулась к матери Светыни, рвалась сквозь стужу, изливалась слезами последних струй... Борьба давно кончилась, бури доламывали густую бахрому капельников, превращая застывший падун в гладкую зеленоватую стену.

Шабарша задумчиво ответил:

– Кто говорит, андархи...

– Боги не пустили до нас со своими дорогами дотянуться! – сказал Зарник.

Светел спросил:

– А кто-то иначе говорит, дяденька?

– Своим умом подумай, Опёнок, – усмехнулся Шабарша. – Такие дороги, каменные да с мостами, в коренной-то Андархайне не всюду уделаны.

– А тут пограничье, – пробормотал Светел. – Недавно на щит взятое. Успели бы выстроить? И куда за Вагашу мостили?

– К нам, куда ещё! – засмеялся Гарко. – Дань возами возить! Благословишь ли, дедушка, нам с ребятами вперёд выбежать? Кайтаровичам возвестить, чтоб встречу готовили?

Большак отмахнулся:

– Идите уже, одно мельтешение от вас.

А стать почитать, стать сказывать!
В омутке на дне жемчужинка блестит,
А над нею сизый селезень кружит:
«Уж как я бы ту жемчужинку катал
Да на жилку золочёную сажал!»
Ах ты, бражка, бражечка моя,
Весела бражка подсыченная,

Сверху мёдом подмолоченная,
Где б найти на сладку бражку питуха!

Гарко трижды стукнул по мосту ратовищем копья, первым шагнул на камни. Невелика вроде Рукавица, да на том берегу всё равно другая земля, другой мир. С мостом не шути! Даже с простой жёрдочкой через ручей. А этот, каменный, ещё и назывался Калиновым.

– У них, говорят, и река Смерёдина где-то есть, – хороня подспудную оторопь, засмеялся Зарник.

Смех получился ненастоящим, дружина не отозвалась. Когда избегают прямо называть кровь, говорят о калине. Все это знали.

На мосту снега почти не было. Лапки брякали шипами по льду, одевшему тёсанный камень. Светел прихлопывал по певчему корытцу гуслей, отдав Небышу играть песню, тешиться наконец-то постигнутыми переборами. Сам всё слушал себя, ждал особого чувства... почти как в Торожихе, когда встретились гости, баявшие по-андархски. Вдруг мост внятное скажет? Узнает шаги, исстари знакомые, надумает отозваться?..

Не отозвался. Лишь убегала назад дужчатая кладка, выложенная с лукавым искусством. От какого места ни посмотреть – лепестки во все стороны, конца и начала не разберёшь. Надо будет на обратном пути подробнее приглядеться. Пока одно было ясно: Шабарша правду сказал. Такую мостовину мостить на краю толком не преклонённой страны, всякий день ожидая то западни, то наскока? Нет уж. Казистые дуги только у себя дома выводят. Без спеха. Внукам на любование...

За мостом продолжался дорожный тор, убитый снегоступами вагашат. Ребята повеселели, снова стали галдеть:

– Кайтаровичам снежки уступим или рукопашную?
– Нам не уступать стать! Пусть Ишутка в доме главенствует!
– Да ладно. На любки потолкаемся, и за пиво.
– Молодые без нас дело решат. Кто на первое утро у ладушки за спиной пробудится, тот голова.

– А вагашатам науку сполна зададим! Ишь злые, Ойдриговичей ждут, нового завоевания чают.

Гарко оглянулся:

– Светел! На чём веточка окажется?

У ребят блестели глаза, в предвкушении весёлой потехи шутки сыпались сами:

– Наш гусляр на ходу спит!

– Ждёт, мамка обратно не позовёт ли!

Светел улыбнулся, поправил меховую харю, до времени сдвинутую с лица. Вольно им смеяться. Счастливые, они дома сидели, пока Жог гвоздил больной рукой в стену, не благословляя побега... Чем ещё такой тычок допустить, лучше рот закрыть да покориться. И мама... только бы не глядеть, как расплачется...

– Сюда тропка, – почти сразу сказал Светел.

Ребята остановились. Румяные, синеглазые, каждый с плетёным щитом, с копьём вместо кайка.

– Да где заломлено?

Светел указал в сугробе прутик. Две половинки, связанные лоскутком коры.

– А вон и след тянется!.. – выметнул руку Зарник.

Небыш весело ударил песню:

– А стать почитать, стать сказывать!

– Глуши струночки, – велел Гарко. – Потиху станем идти.

След перепархивал по макушкам плотных сугробов. Не лунками – птичьими невесомыми отметинами, почерком быстрых крыл. Светел зримо представил, как в густых сумерках здесь серым заюшкой скакал тощий мальчонка: вот бы «дяденьку» за недолгое добро отдарить и своим не попасться...

От дороги след круто сворачивал к самому водопаду. Обнимал скалу, нырял под застывшее низвержение падуна. Сюда не намело снегу, лапки с хрустом сминали морозное кружево брызг, в зеленоватой сутеми блуждали шёпоты отголосий. Местами проход был совсем узким, ребята протискивались по одному, притихшие, настороженные. Будто мало им было моста – опять на свою сторону Рукавицы! Да не над рекой, а под ней! Только что покинутый берег уже мнился чужим, непривычным. Чего угодно можно дождаться.

Не приближаясь к дороге, лёгкий Котёхин след взмывал на обдутый ветром откос, бежал вдоль берега ещё дальше вверх, против течения, давно остановленного, но всё равно – против... Вот свернул в устье бывшего ручья, берега в сыпучих перинах уброда стали расти, сдвигаться по сторонам.

«Тихо-то как... – И Светел вдруг усомнился: – Понадобилось же нам вкрадываться! Нет бы зряче на засаду пойти и тем усрамить...»

Его словно толкнуло, он вскинул глаза.

Увидел белый ком, летящий к нему из чёрного ельника.

Ком вертелся в воздухе и, наверно, свистел, но Светел слышал низкое,

злое гудение, уже видя, где должен был завершиться почти прямой лёт белого кулака. Опытный пращник метил в гусли.

Тело не стало ждать мысли. Светел обнял дедушкину снасть, развернулся... В щит за плечами шарахнуло дубиной, едва устоял.

– Засада!..

Крик чуть припоздал. Слева, справа, сзади летели ещё комья.

– Кли... – начал Гарко.

Светел увидел, как дёрнулась его голова. Ядрецо щёлкнуло по виску, высекло кровавые брызги. Воевода жутковато запрокинулся, рухнул навзничь, разбросал руки. Потонул в пухлом снегу. Светел бросился над ним на колени. По щиту, по ногам кистенями молотил градобой.

– За Ойдриговичей! – орали из чащи. – Бей дикомытов!

Дружина, след в след тянувшаяся серединой ручья, начала бестолково сбиваться. Древко с зачехлённым знаменем кренилось туда и сюда. Мелькнуло лицо Зарника: прикушенная губа... Пальцы Светела будто своей волей оказались на струнах, повторили оборванное:

«Клином стройся!»

С третьего раза ребята услышали знакомый призыв. Не зря собирались на озере между Затресьем и Твёржей, недаром терпели взрослые смешки и пощёлки.

«Щиты панцирем!»

Этот приказ двое гуслей вызвонили уже согласно, бодро и зло. Крепкие плетёнки брякнули венцом о венец. Выпрямилось знамя. Растерянная ватажка спланивалась в дружину. Визжащие ядра по-прежнему сотрясали щиты.

– Это за Бакуню вам! – несло с берегов. – За Дегтяря!

«Какой такой Бакуня?..» Ясно было одно: отверстаться за неведомого пострадальца намерились без шуток. Пращники заготовили не крохлые снежки ребячьих забав – гвоздили ледяными шарами, промороженными до жестокости камня.

«А вот прорвёмся! А вот не удадим – победим!»

Светел натянул бездвижного Гарку на опрокинутый щит. Пол-лица в кровавом снегу, на губах пузыри.

– Зарник, что молчишь? Зарник!..

Подвоевода вертел головой по сторонам.

– Выходить надо! – сказал Светел. – Стоять будем, вовсе забьют!

Зарник очнулся, как от затрешины.

– Тыл показать?.. Гнездарям?.. – Глянул в глаза Светелу, решился: – Веди, коли замысел есть.

От нового удара Светелу за куколь просыпалась морозная пыль, ожгла шею.

«Все вдруг!» – грянули гусли.

Клин развернулся слаженно, в два лыжных шага. Затыльные стали первыми, стиснулись в остриё. Гарку подхватили со щитом, прикрыли собой.

«Бе́жью вперёд!»

– Избабились дикомыты! – полетело сверху. – Заробели!

Светел различил голос Котёхи.

– Попомните Дегтяря!..

«Да какой ещё, в порошицу, Дегтярь?..» Светел вдруг представил, как перед поездом на дорогу выходит из лесу засадная шаечка не чета мальчишьему войску. Бородатые мужики с копьями, с луками, с топорами... А в поезде – мама. Ишутка беззащитная. Дед Игорка увечный.

«Дери не стой!» – рявкнули гусли. Из-под лапок шибче полетел снег.

– Куда жмарим?.. – прохрипели над ухом. – Стыдоба!..

Градобой стал редеть, потом перестал вовсе. Светел оглянулся:

– А вот куда...

Гнездари приобиделись. Враг уходил из-под пращей, не приняв чаемого урона. Вот с неприступной кручи, барахтаясь, ссыпалась на лёд тёмная лохматая тень. Следом – ещё, ещё. Затебалась погоня.

– На них поворачивай!.. – тяжело дыша, потребовал тот же малый, его звали Гневик.

– Не замай! – твёрдым голосом пресёк Зарник. – Рано!

– Ещё слушать тебя, – озлился храбрец. Прыжком развернулся на лапках, грозно заорал, наставил копьё.

Вскинутый щит почти сразу затрещал от ледяных комьев. Ключьями затрепыхался берестяной, любовно вырезанный калач...

Больше никто не остановился.

«Шагай тише!» – в два голоса приказали гусли. Дружина оставила бежать, пошла тяжёлым шагом, устало, щиты откачивались один от другого. В хоботный строй молча втёрся Гневик – избитый, с расшатанным плетнём на руке, но непокорённый. Бешено оглянулся, выставил гузно, ладонью хлопнул по кожушку... Вагашата почуяли удачу, густым скопом кинулись добирать:

– За Ойдриговичей!..

Зарник со Светелом переглянулись, кивнули друг другу.

«Все вдруг!..» – достигло Калинова моста двойное звонкое отголосье. Набегающим гнездарям тут же предстали склонённые копья, щиты,

выставленные для сшибки, а над щитами – оскаленные, свирепые рожи.

– Бою дай! – неожиданно густым, зычным голосом взревел Зарник.

Знаменосец сдёрнул чехол. Над щитами взмахнул крыльями бесстрашный снегирь.

– Братья!.. – заорал Светел. – Солнышко припомним!.. Знай Твёржу!

Дружина рванула вперёд, клином, панцирем, кулаком. Помчала сражённого воеводу.

– Знай Затресье!

Середина ручейного русла была худо-бедно притоптана, ближе к берегам – в снегу хоть топись. Вагашата отпрянули, начали толкаться, кто-то упал.

– Не удай, братцы! Рази!

– Солнышко припомним!..

Гарковичи вмялись в толпище, будто валун в камыши. Знай, Левобережье, как трогать Коновой Вен! Одних снесли с ног, других отшвырнули, кого-то искровянили венцом щита, самые задние кинулись прочь, но на лыжах от северян однажды кто-то утёк!.. Снегириное знамя проплыло вперёд, обернулось, указало обратно...

Левобережная рать вылезала из пушных сугробов размыканная и кровавая. Светел помимо воли искал глазами Котёху, не находил. Вожак гнездарей горстями вытряхивал из куколя снег.

– Нет вежества у вас, дикомыты! Потехи любошной не понимаете!

Их было по-прежнему раза в два больше. Зарник немного отвёл щит:

– Хороши любки!.. Покалечили воеводу!

– Сами будто на беседу пришли! Из-за плеча хотели ударить!

Зарник поднял руку. Клин глухо зарычал, качнулся вперёд. Знамя колыхалось над горячими головами, на снегириной груди солнцем рдело пятно.

– Эй, эй, ну вас! Пошутили, и будет... Сердца-то не держите!

– А мы не держим. Мы тоже сейчас пошутим немножко...

В это время за спинами северян стали трещать ветки, посыпался снег, раздались голоса. Гнездари ожили, охрабрились: подмога?..

– Светел!.. – кричал из лесу Кайтар. – Светелко, брат! Гарко! Зарничек!.. Держись, братья, Сегда идёт!

А стать почитать, стать сказывать!
Заряжай, друг, боевой железный лук,
Ты стрелу тyani на прочну тетиву,
Жилу добрую повыше поднимай,

Ретива сердечка метко досягай!
Ах ты, бражка, бражечка моя,
Весела бражка подсыченная,
Сверху мёдом подмолоченная,
Где б найти на сладку бражку питуха!

Обратно на дорогу невестина рать вывалилась одним плечом с жениховой, горланя так, что с ёлок разлеталась куржа. Синяки, красные сопли... впереди бежали понурые, распоясанные вагашата. Умытого Гарку перевязали рубашкой пленного жоака: до свадьбы заживёт! Он шевелился на щите, хотел слезть, его не пускали.

Светел увидел свой поезд, только вползавший на мост. От сердца отлегло, он лишь удивился. Ему-то казалось, великая брань длилась полдня.

– А я тебе весть несу, брат, – сказал Кайтар. – В Вагаше дружина боевая стоит. Гостя богатого на купилище привела.

У Светела аж дух захватило.

– Дружина? Которая?..

«Неужто снова Ялмак...»

– Сеггара-воеводы, – ответил Кайтар. – Царская называется.

Дружина Сеггара

Разведывать дружинных Светелу сперва было некогда. Посад, последние плачи, мамин крылатый голос, воспаряющий над раскатами гуслей... вскрывание фаты, доверчивый румянец Ишутки, свивание двух рук полотенцем, озорные проводы молодых в опочивальную клеть... Дрожащая борода немощного Игорки, его светлый и взыскательный взгляд...

Вкусное, чуть горьковатое донце от свадебного коровая – доля удалых игроков.

Кайтаровичей, живших аж за Шегардаем, водить своего гусяра не благословила Владычица. Некому было подменить Светела с Небышем. До утренней встречи молодых сбивали пальцы, вызванивая песню за песней. И уж не оплошали. Знай, Левобережье, как гуляет Коновой Вен!

После Светел делал вид, будто ему некогда.

«Царская, значит. Сеггар Неуступ. Поморник на знамени. А что мне до них? Мы свою дружину устали...»

Вагашинское купилище раскинулось намного скромней, чем в Торожихе, но тоже было что посмотреть. На Коновом Вене чаще торговали изделиями своих рук. Здесь было гораздо больше снеди. Сало и солонина в опрятных бочонках. Вяленые мяса полосками. Жирные шарики мурцовки в берестяных туесках. Сочный припас для похода: тельное, залитое жиром в горшочках, чтобы не портилось в тепле зеленцов...

– Зорко ваш как? Съехал за море?

– Забоялся. Слух идёт, у Порудного Мха людей до смерти убивали.

– Если кому боязно, вон опасная дружина стоит. Найми, горя не узнаешь.

– Дорого больно...

– Хочет Зорко и рыбку съесть, и в воду не влезть.

– А у Порудницы что, говоришь? Опять с севера натеки? Уже и за Кижь?..

– Там, слышать, Лигуевичи таковы, что дикомытов не надо.

– Вот им укорот и вышел. Царский сын примучил. Тайных воинов, говорят, с собой приводил.

– Ух ты! Сам великий котляр для такой чести Чёрную Пятерь покинул?..

– Сказывают, хуже тварь завелась: Ворон! Уж пошлют на кого, вовсе

нету спасения. Слово крепкое возгласит во имя Мораны, стрелы сами летят, свой своего копьём порет, дом пожаром занимается. Сильна Владычица!

– Самовидцы хоть есть? Или опять слухи одни?

– ...А кого обречёт, на портах чёрное пёрышко объявляется.

У Светела больно сжалось в груди. Перед глазами встала вьюжная предрассветная мгла. Детскому плачу отозвались кугиклы, вереницей побрели озябшие человечки. Совсем маленькие и побольше. Один, упрямый, долговязый, нёс на спине малыша.

Кувырнулась в воздухе, понеслась прочь недобрая птица.

«Кто из вас жестоким Вороном стал? Кто кожу на левую сторону вывернул и снова надел?..»

Человек легко верит тому, во что очень хочется верить. И ещё – тому, чего боится хуже всего. «А если...» Догадка была слишком страшной. Невозможно к такой даже присматриваться. Берегись её на свет допускать, не то приживётся. Светел шагнул вперёд:

– Мир на беседе, гости почтенные... Он какой? Видели его?

Важные торгованы повернулись к юнцу:

– Кого ещё?

Светел сглотнул.

– Ворона.

Его смерили недовольными взглядами:

– Послали Боги беседничка...

– Чего от дикомыта необычного ждать.

– Беги себе, вежества прикупи, – надменно посоветовал первый.

Светел ушёл от них, даже пустого извиненья забыв попросить. Казалось, что-то страшное пролетело мимо, не зацепив.

«Почему к дружине на развед не спешу? В Торожихе небось бегом сорвался...»

Опёнок брёл мимо лотков, ни на чём не останавливая взгляда, очень смутно слыша крики торговцев. Только попятился от возка с мороженой птицей. В беспутном Левобережье среди битых гусей, чего доброго, лебедя можно было найти.

«Опять боюсь, никак?.. Боги благие, чего?..»

Едва покинув птичий ряд, Светел обернулся на внезапную ругню за спиной. Медленно разжал кулаки, пошёл дальше. Люди, затеявшие переборы, были самые обычные купцы-гнездары.

В стороне мелькнула кручинная понёва. Знакомая, твёржинская. Розщепиха торговала себе горшочек с плотно вмазанной крышкой. На лотке

горел весёлый светильничек, по ветру смрадило не пойми чем. Розщепиха наконец согласно кивнула, выложила из котомки отплат: двои лапки Светеловой работы. Крепкие мужские, нарядные женские. Опёнок смотрел, думая о другом.

«А вот выйдут Царские посрамлением собственной славы, как Железные в Торожихе...»

Разом стало легче. Не зря говорила бабушка Корениха: узнать имя болезни – почти за порог отогнать.

«А дались они мне!»

Светел даже остановился. Снова сжал кулаки, пристально на них посмотрел. Хорошие кулаки. Левый славно рассажен в первородном бою на ручье.

«Больше ни к кому не стану охотиться! Вовсе к этим сеггаровичам не подойду!»

С плеч свалился трёхпудовый мешок. Светел как взлетел. Улыбаясь, вышел в ряд, где торговали «молоками». Этим рыбьим словом левобережников догадало называть молочный скоп – простоквашу, сыр, масло.

– Будешь так-то сквалыжить, выкормленику чесноком отгрызнётся...

– Что?

Светел повернул голову.

Знать бы загодя, где падать придётся, соломки бы подстелил!..

Вполоборота к нему стояла девка такой разящей красоты, что парень мигом забыл все свои думы, страхи, надежды. Сделал шаг, другой, третий...

– А что слышала! – пеняла торговка. – Знала б ты, приبلуда, сколько моих трудов задаром берёшь!

Девка впрямь была пришлая. Стояла одетая по-дорожному, в тёплые штаны с телогреей. Только что расплатилась за кувшинчик козьего молока, совсем маленький, взрослому человеку на два глотка. Уже ссыпав в бурачок медяки, молочница подосадовала на дешевизну. На то, что не семь шкур содрала, всего три.

– Так и я свои куны не в сугробе нашла, – сказала красавица.

Светел почти не улавливал слов, только голос, звучный, неторопливый. До веку слушать – не наслушаться! Серые глаза, головушка чистый лён, врусебелая...

Любопытный народ уже останавливался.

– Твои кúны от куны! – побагровела торговка. – Знаем, как ваша сестра охлёста злато-серебро наживает!

«Охлёста?..» Светел поморщился. Вот сейчас белянушка расплается, убежит. Кувшинчик наземь метнёт. С такого оговора молоко вправду на языке прогоркнет. Догнать... утешить...

– Экая ты злая, тётенька, – усмехнулась красавица. – Я же всему торгу не объявляю, что ты козу у отхожего места пасёшь, погаными вениками кормишь.

Светел наблюдал в немом восхищении. Девка выглядела ему ровесницей, но он-то давно удрал бы с пылающими ушами, а она!.. Сразу две бабы возгнушались товаром, отошли от лотка. Молочница приобиделась, завизжала:

– Околотница! Ступай с дикомытами на их свадьбе гуляй! Может, позарится какой!

Люди ожидаючи повернулись к белянушке.

– Ты-то с мужем советно да благоверно живёшь, – отмолвила та. – Поди, разницы не ведает, где ты, где коза...

Взялась вдруг пятернёй за лицо, приплюснула нос, сдвинула уголки глаз, вытянула губы. Позоряне захохотали, стали указывать на молочницу:

– А похожа до чего! Только рог не хватает!

Девка спрятала кувшинчик за пазуху, повернулась, ушла. Светел не думая потянулся следом. Перемолвился бы с душой-разумницей, да удостоит ли?..

Он так и притопал за девкой к невзрачному шатру, стоявшему на краю зеленца. Рядом теплился костерок, огородом стояло несколько санок, сидели походники. Серые, взъёрошенные против нарядных торжан. Они с первого взгляда показались Светелу страшно измотанными. Словно одолели невмерный путь, да всё впроголодь, да под гнётом злосчастья.

Светел увидел: красёнушка вдруг напряглась, превратилась в стальную плеть, изготовленную для боя. Лишь тогда обратил внимание на двоих бородачей, грудь в грудь стоявших между санями. Оба выглядели бывалыми путешественниками. Только один красовался в суконном охабне с длинными прорезными рукавами, второй – в заплатнике грубого портна.

– Из милости жалую, а ты ещё недоволен? – брезгливо спрашивал приодетый.

Рука в мягкой пятерчатке держала кожаный кошелёк. Его супротивник был меньше ростом, зато раза в полтора просторней в плечах. Таких люди называют ширями. Он ответил:

– Довольство тешить мне незачем. О чём договаривались, того хочу!

У богатого плеснули за спиной опротно связанные длинные рукава.

– Да за что тебе платить? Злые дикомыты с ножами не натекли, а вот на торг я по твоей милости припоздал. Горестный убыток терплю!

Ширяй угрюмо ответил:

– Дикомытами я тебя не пугал. А коли бояться нечего и от нас тягость одна, сам собой обратно иди.

– И пойду! А тебе платы не дам и другим платить закажу!

Светелу чужая свара не занадобилась. Он поискал глазами белянушку. Девка шла прямо к спорщикам – драть бороду обидчику, глаза бесстыжие царапать... может, ещё похуже что совершать. Ширяй не повернул головы, лишь едва заметно дёрнул плечом, но сердитая красавица споткнулась. Выдохнула, свернула к шатру, исчезла внутри.

– А заказывай, ну тебя, – плюнул ширяй. – Станет кому Бакуне приветное слово за мостиком передать.

«Опять про Бакуню! – опешил про себя Светел. – Кто таков, хоть расспрашивай!»

– Ты грешные-то речи оставь, – насупился второй. – Я купчанин посовестный. Возьми, что заслужил, и не докучай мне!

– Ступай поздорову, – был ответ.

Кошелёк звякнул оземь. Взлетели, распырились суконные полы охабня. Купец, недовольно бормоча, зашагал прочь. Ширяй остался стоять, глядя в сторону. Нужда приказывала нагнуться за кошельком, но было тошно. Другие походники смотрели на жоака и молчали.

Светела вдруг прошибло потом.

«Так это же...»

Сеггар заметил пристальное внимание парня. Раздражённо спросил:

– Что zenки пялишь?

Светел шагнул вперёд, поднял кисетец, отдал:

– А спросить хочу, отчего Царскими прозываетесь.

«В ухо даст... обругает...» Неуступ усмехнулся криво, ибо угол рта поддёргивал шрам. Наверно, этот человек видел столько горя и зла, что лицо разучилось как следует складываться в улыбку.

– Оттого, дитятко, что по-царски живём. Ещё чего тебе?

– К вам в дружину охочусь.

...Вот оно и сказано, слово неворотимое. Думал, еле выдохнет, обмирая, волнуясь. А дошёл черёд, произнёс легко и спокойно, с летучим блеском в глазах. Отказывай, если не люб! Не больно хотелось!

Сеггар задержал взгляд на его руках, широких в запястьях:

– Ты чей, солнышко? Кого кликнуть, чтоб за ухо сынка оттаскал?

Светел ответил обстоятельно:

– Атя мой со святыми родителями давно. Матушка, матёрая вдовица, та здесь, мы с Конового Вена пришли. – Подумал, добавил: – Дома ещё бабушка есть и братёнок.

Воевода обернулся к своим.

– Вона от какой грозы нас купчина оборонять нанимал. От бабок с внуками... – Люди стали смеяться, Сеггар же, подумав, спросил: – Это не у вас, мелюзги, на щитах знамя забавное? Калачами кого-то закидывать собрались?

Светел смотрел исподлобья:

– Мы с калачами не шутим! А и с мечами!

Сеггар устало вздохнул:

– Не шутите, стало быть.

По неприметному знаку вскочил самый маленький кметь, костлявый, вовсе безбородый. Отбросил за плечо седую толстую косу. Воевода кивнул:

– Глянь парня, может, чем удивит.

Воин оказался росточком Светелу по ухо. Глаза полинялые, скулы дублёные, шаг звериный, крадущийся. Стар ли, молод, не разберёшь. Только веяло жутью, как морозом с бедовника. Кметь скользнул ему за спину, улыбаясь по-волчьи. Лёгкая рука легла на плечо...

И Светела вдруг осадило наземь, да так, что не устоял!

Полмига хватило постичь собственное ничтожество. Даже задуматься, видела ли девка-красавица его неудаль. Ещё полмига – откатиться прочь, вскочить, изготовить кулаки, оскалиться. Сбили в драке, не щады просить стать!

Сеггаровичи судили меж собой. Веселились, хлопали по коленям. Маленький кметь стоял подбочась, насмешливо клонил голову набок.

– Ишь, незамайка, – промурлыкал он погодя. – А паренёк гожий. И умишко при нём. Расплаты не ищет, ножен не лапает. Можно бы взять, пусть котёл чистит.

Светел смотрел ошалело. Что за голосок... ведь не баба же?..

Воевода вздохнул:

– И что тебе, дикомыт, под мамкиным запонцем не сидится?

Светел сглотнул, ответил хрипло:

– Мораничи старшего брата сильно свели. Вернуть надо.

Веселье тотчас угасло, он не понял причины.

– Вот как, – медленно, тяжело проговорил Сеггар. – Не «хочу», не «попробую»... надо ему, вишь! Ну а нам с тебя какая корысть? Драться не умеешь...

«Кто, я не умею?! Да я...»

– Я на гусях могу. У вас в дружине гусяра не слышать, а я игрец.

Сказав, Светел задохнулся от собственной наглости. Игрецом прилюдно назвался! И язык не отсох!

Поторопился ковать железо, пока горячо.

– Гусельки есть у вас? А то за своими сбегаяю.

Кругом шатра неожиданно сделалось безжизненно-тихо. Все кмети, не исключая воеводы, с чёрной ненавистью смотрели на чужака.

Сиротские гусли

В самый первый миг Светел только понял: сболтнул не в час, да тем всё дело изгадил. Ещё знать бы, что за вы́словь сорвалась с языка? За какую болячку не знаячи ухватил?..

– Ступай поздорову, малец, отколе пришёл, – угрюмо процедил воин, такой же седоватый и кряжистый, как сам Сеггар.

– А по мне, Гуляй, пусть мальчонка попробует, – всё тем же бабыим голосом возразил маленький кметь.

– Хоть позабавимся, – подал голос ещё один. – Может, правда умеет.

– Вроде играл, когда снегом кидались...

«Снегом кидались?!» У Светела до сих пор саднили плечо и скула. В бою не сберёгся, дедушкину вагуду заслонял.

– Неча! – оборвал суровый Гуляй. – Вот моё слово!

Поглядывали на Неуступа. «Верно атя упреждал. Воинская братчина – не деревенское вече. Воевода всех выслушает, решит сам...»

И Сеггар решил:

– Неси гусельки, Ильгра.

Маленький витязь обрадованно метнулся в шатёр. Воевода покосился вслед, вздохнул, непонятно добавил:

– Побаловать, что ли, в сиротстве.

– А хозяин в ночи не придёт? – мрачно осведомился Гуляй. – Я бы год выждал, прежде чем кому попало в руки давать...

Пока Светел тщился уразуметь: в каком сиротстве? чем баловать?.. кто ночью придёт?.. – входная полсть снова взлетела. Вернулась Ильгра. Сеггар кивнул. Женщина-витязь с поклоном протянула Светелу гусли.

Он шагнул. Бережно подставил ладони... Гудебный сосудец лёг невесомо. Широкий, доброго андархского дела. Тонкое дерево переливами, стальные струночки не чета жильным...

Подобной снасти Светел ни разу ещё в руках не держал, какое играть! Нешто вправду заговорит сейчас, запоёт?

Хитрые гуселишки сразу взялись испытывать его. Назвался игроцом, а ну, совладай! Почему-то не ложились как надо, не устраивались под рукой. Ох, неспорина!.. Светел слушал сдавленные смешки, чувствовал, как по лицу течёт малиновый жар.

Пернатый завиток на верхней полочке, под разлётом струн... Гордая красота андархских письмён...

Крылья лебединые, щёкот соловьиный, сердце соколье.

«Что... Быть не может!»

Резьба по краю корытца выглядела побитой, в бороздках запеклась бурая ржавчина...

Светел забыл, чего ради всё делалось, медленно поднял голову, не умея и не смея поверить. Кое-как выдавил:

– А... а Крыло-то где?..

«В Торожихе... с Ялмаком был...»

– Играй уже, пустобрёх, – морщась, потирая бедро, сказал угрюмый Гуляй. – Не то к мамке беги.

«Ты мне ещё что про маму скажи...» Светел вновь склонился над гусями. Хлынувшая злость, как водится, придала ясности. «Да что ж я сразу не понял?..»

– Так они под левую руку, – вырвалось у него.

В Торожихе от волнения и обиды он умудрился главного не заметить. Так всегда бывает. Только разберёшься, когда сам в руки возьмёшь.

Ильгра насмешливо оттолкнула:

– Заправскому гусяру разницы не было.

«Заправскому!..» Светела с детства остерегали являть исконное леворучье. Однако рожего не переродишь, старшая сестра с годами младшей не становилась. Светел на миг отрешился от голосов и насмешек, представил живую, как попирает обычай. Правой рукой избирает нужные струны... левой бряцает, поваживает вверх-вниз...

«Где уж тебе, кокористая снастишка, дикомыта перекокорить!»

Открыл глаза, поставил гусли как надо. Попытал на пробу созвучие. Гулкий короб отозвался кошачьими голосами.

– Безрукому гудиле струны мешают, – сморщилась Ильгра.

– В небо глянь: тучи рвутся!

– Мёртвые встают, от живых сглаз отбегает.

– Забыл ты, парень, о банную печку ногу сломать, чтоб верно игралось.

– Клади гусли, пыльщик, пока не испортил!

Молчал, кажется, один Сеггар, но его пристального взгляда Светел не замечал. Крутил шпеньки. Ладил, соглашал струну со струной. Гусли привыкали, из чужих и неведомых становились понятными, почти своими.

– Оставь, косорукий, перетянешь, порвёшь!..

«И не вам, захожни, дикомыта переконать!»

Когда он снова утвердил гусельки на колене, в ответ грянуло такое богатое и звонкое полногласие, что занялся дух.

Светел победно вскинул голову... Во дела! Прежде этого мгновения он за недосугом даже не думал, какую песню сыграет. Что-нибудь этим гусям привычное? Из того, что от Крыла слышал?.. «Да ну. Кметям не девичьими безделками тешиться стать...»

Созвучья побежали одно за другим, выстраиваясь в напев. Зарокотали отзвуками далёких битв. Загудели лесными вершинами в бурю.

Под беспросветным небосводом
Клубится снегом темнота.
А молодого воеводу
Несёт дружина на щитах...

Голос у Светела как был тележный, так и остался. Чёрного кобеля добела не отмоешь. Ильгра подняла руку перебить, раздумала. Гуляй оставил мять бедро, запустил пятерню в бороду.

От дома отчего далёко,
Чужую рать грома у стен,
Он ранен был в бою жестоком
И угодил во вражий плен.
Так начались земные муки
Страшной могильной черноты:
Железом скованные руки,
И боль, и ругань, и кнуты.

«Атя! Слышишь ли? Вот она, твоя мудрость...» Светел во всё сердце рванулся к хмурому небу, откуда сквозь облака смотрел на него Жог Пенёк.

Стянув кровавой тряпкой раны,
Он молча вытерпел позор...
Плелись цепные караваны
Сквозь серый дождь – на рабский торг.
А тучи плыли равнодушно
За окоём, в родной предел...
Но доживать рабом послушным
Упрямый пленник не хотел.
Не зная слова колдовского,

Не разумея крепких чар,
Он просто выломал оковы,
Утёк с водой, уплыл как пар.

Струны зазвенели рваным железом, упавшим на пол темницы. Такого восторженного наития Светел не познал даже в бою, когда под ледяными снарядами расседались щиты. Жёсткие стальные струны ранили пальцы, гуслир не замечал.

Он шёл кромешными ночами,
В туман и в лютую пургу,
Когда с погоней за плечами,
Когда один в глухом снегу.
Но путь далёк, и тают силы,
И всё медлительней шаги.
И там, где мнился берег милый,
Не различить уже ни зги.

Со стороны купилища взялись подходить люди. Вагашата, приезжие торжане, кто-то из кайтаровичей... и, конечно, свои правобережники. Становились, слушали.

Неужто сдаться у порога
Так долго снившейся земли?..
Держись! Держись! Ещё немного.
Холмы знакомые вдали.
Чтоб им на плечи опереться,
Дерись вперёд – осталось чуть.
Терпи, надорванное сердце,
Ещё успеешь отдохнуть...
Под беспросветным небосводом
Клубится снегом темнота.
А молодого воеводу
Несёт дружина на щитах.

Светел ещё пробежался по струнам... замолчал. С пальцев капала

кровь. Гусельный короб трепетал бесконечным послезвучанием, казалось, оно не то чтобы затихало – тянулось облачком ввысь, улетало, истаивало, как певчая душа играца.

Сеггар кашлянул. Спросил хрипло:

– Ты эту песню где подцепил, парень? Её скоморох боговдохновенный поёт.

– Ну...

Пока Светел раздумывал, говорить ли при всех о Житой Росточи и Кербоге, подал голос Гуляй:

– Слышь, гудила! «Крышку» умеешь?

Ни о какой «Крышке» Опёнок понятия не имел, но в том ли беда! Какое не могу, какое не знаю! Чем невозможней, тем лакомей! Он изготовил гусли, ответил уверенно:

– Напой, подхвачу.

Только узнать, каковы певцы ходили в дружине, тот раз не довелось. Долетел крик, люди стали оглядываться, расступились... Прямо к Светелу со всех ног спешила Равдуша.

– Ты что, околотень, удумал? – голосила она на бегу. – От рук отбоиш, горе моё горькое, что удумал-то, а?..

Добрые люди уже ей донесли – сын прямо нынче ладился с воинами уйти. Подбежав, Равдуша при всём народе схватила дитяtko за ухо, принялась дёргать. Светел не вырывался. Стоял, глядел перед собой. Не слушал, как потешались торжане.

В глазах воеводы отразилось нечто похожее на уважение.

Равдуша вдруг всхлипнула. Перестала кричать. Опустила руку.

– Мама... – сказал Светел.

Повернулся, обнял её. Только тут заметил на пальцах липкие капли, пачкавшие мамину сряду.

Равдуша уткнулась ему в грудь, расплакалась. Сколько было говорено о его судьбе, о дружине... когда-нибудь... когда курица петухом запоёт... И что... уже? Настал срок несбыточный?

Сеггар вновь кашлянул.

– Не спешила бы ты, государыня мать, сына бранить...

В это время из шатра послышался стон. Негромкий, страшный. Тотчас высунулся русоголовый парень:

– Дядя Сеггар! Летень мечется!..

Кмети сразу ожили, зашевелились, будто им объявили о чём-то очень значительном. Сеггар покосился, принял решение:

– Пойдём со мной, государыня. И ты, гуслар, если воинскую жизнь

постичь хочешь.

В шатре разгоняла сумрак масляная лампа. Навстречу Светелу обернулась белянушка. Она сидела у низкого походного ложа, держала знакомый кувшинчик и ложку.

– Глянь, бездельяй, что своей гудьбой натворил! – с ненавистью прошипела она. – Вот руки-то не отсохнут!..

Светел почти не услышал. Под меховым одеялом покоился человеческий остов. На подушке разметались рыже-бурые волосы, обтянутое лицо казалось бескровным, как берестяная изнанка. Костлявые пальцы трепетали, скребли одеяло, человек дёргался, приоткрывал бессмысленные глаза... временами жутко стонал.

Белянушка накрыла его руку своей, в голосе наметились слёзы:

– Ну что ты, дяденька Летень... Всё хорошо... Пожалуй, молочка глотни...

– Лучшим витязем был, – глухо проговорил Неуступ.

Светел как очнулся. В шатёр набилась почти вся дружина; кому не хватило места, заглядывали снаружи. Глубоко в животе начал расползаться мертвенный холод. Светел помнил: год назад, в Торожихе, мать плакала при виде калеки. Примеряла его судьбинушку к своим детям. Не могла вынести мысли, что с ними приключится подобное.

«Вот теперь, уж верно, благословение отзовёт. Страшной боронью взбранит. И как мне Сквару вернуть?»

Равдуша вдруг выпустила его рукав, шагнула, склонилась к лежащему, присмотрелась. От измученного лица веяло не жизнью, лишь подгнётным угаром страдания. Светел нахмурился. Огонёк человека метался, шаял сизой змейкой. Не знал, разгореться или угаснуть совсем.

– Давно он так?

Ответил сам Сеггар:

– Давно. Как вернулся с шишкой на голове...

– По сию пору смирно лежал, – со злой горечью вставила девка. – А тут этот... тренькать начал, все раны развередил!

Равдуша подобрала понёву, опустилась на колени у ложа:

– Ты за ним ходишь, умница? Кормишь-то как?

Девка показала кувшинчик:

– В рот волью, глотает понемножку... и то ладно.

– Нас уж спрашивают, отчего не добьём, – сказала Ильгра.

– А мы в ответ в кулаки, – прогудел Гуляй. – Где один из нас, там и знамя!

Светелу на плечо легла каменная рука.

– Глядишь ли, малец? – спросил Неуступ. – Такой почести при мне ищешь?

Светел ответил так же негромко:

– Брата вызволю, будет чести довольно.

Девка поясняла Равдуше:

– Оставить бы у людей, как всегда делают, да кому такого доверишь? Уморят небрежением и нипочём вины не признают.

– Как он, бедный, в тяжком пути вовсе душу не изронил...

– Того боялись, – вздохнула белянушка. – Калита бегом гнал, уж очень дикомытов страшился. А дядю Летеня в болочок взять – места нет!

Смочила ветошку, бережно протёрла сухой лоб. Раненый вдруг перекатил голову, захрипел. Непослушные губы силились что-то произнести.

– Тихо! – рявкнул Сеггар.

Кмети затаили дыхание, девка замерла с тряпицей в руке, не кончив движения. В тишине прозвучал голос, которого они не слышали месяцами. Слабо позвал:

– Крыло...

– Дядя Летень! – ахнула белянушка. – Заговорил!..

– Никак в себя входит, – обрадовалась Ильгра. – Дозвались гусельки!

– Бредит, – не поверил Гулай.

Раненый кое-как приподнял ресницы, зелёно-карие глаза смотрели с детской обидой.

– Крыло...

Белянушка нагнулась к нему:

– Дядя Летень, это не Крыло играл, а вот он... Дядя Летень?

– Друже! Правда очнулся! То-то мы без тебя заскучали!

– Теперь встанешь!

– Силу быстро наберёшь, а мы и лук твой сберегли, и броню!

Летень смотрел на своих товарищей, на Сеггара, на Равдушу.

– Что... молчите...

Скрипнул зубами, бессильно зажмурился.

Когда вышли наружу, Равдуша снова ухватила за руку сына, крепко сжала. Светел изготовился к напрягаю, но мама заговорила не с ним.

– А сам ты, воевода, страшных дикомытов трусишь ли?

Сеггар даже остановился. Нахмурился. Понял.

– Ты к чему, мать?

– К тому, – сказала Равдуша, – чтобы тебе немощного по колотным дорогам лишку не мучить. Оставляй у нас, выхожу.

Светел отважился подать голос:

– Мы сами из Твёржи. Пеньками люди зовут. Бабушка многими зельями искусна...

– Пеньки? – удивился воевода. – Не того ли Жога Пенька семьяне, лыжного делателя?

Равдуша скорбно понурилась.

– Атя мой это был, – с мрачной гордостью подтвердил Светел. – Как брата свели, от горя изник.

Мамина рука задрожала на локотнице.

Сеггар вздохнул, помолчал. Принял решение:

– Чем отблагодарить велишь, государыня?

– А тем, – отмолвила Равдуша, – что витязь сынку о воинстве сказывать станет. Вернёшься за ним... буде не раздумает Светелко... тогда сумею тебе дитя вверить.

Поклонение у моста

Соседям, что вырастили и собрали замуж Ишутку, достались добрые подарки от жениха. Всё, чем был богат приморский запад Левобережья: вяленая рыба, птенцовый жир, тонкая посуда и соль. Даже две андархские книги в красивых окладах. Кто сумеет, прочтёт, остальные рисунками полюбуются. Самым драгоценным был, несомненно, большой короб настоящей муки. Светел с калашниками возились в болочке саней, так и этак устраивали поклажу, готовя ложе больному. Короб с мукой до поры выставили наружу. Тотчас появилась Розщепиха, прошлась вокруг, постучала по расписному лубу клюкой. Подумала, уселась сверху.

– Вот уж, – довольно проговорила она, – домой-то вернёмся, витушек сладких напечём... и сгібней, и блинничков!

Хмурый Косохлѣст прибежал со стѣганой полстью и подушкой. Следом воины принесли Летеня. Раненый беспокойно возился в меховом одеяле:

– Сам я... Сам...

Силился приподняться, но и головы не мог удержать, глаза сразу мутнели. Девка-белянушка помогала Равдуше устроить больного, что-то объясняла напоследок. Светел всё поглядывал на неё, пока закладывал оботуров.

– Затейливые имена у вас с сестрой, – сказал он русоголовому. – Косохлѣст, Нерыжень...

Тот буркнул неприветливо:

– Какими отец нарѣк, такие и носим.

Светел раздумал спрашивать его, куда делся Крыло.

Воевода Сеггар влез в оболочку, взял Летеня за руку:

– У них отлежишься. А я через полгода вернусь.

Летень вглядывался в его лицо, пытался понять.

– Что молчишь? – выговорил беспомощно.

Закрыв глаза, пальцы сползли с руки воеводы. Сеггар как-то странно втянул носом воздух, вылез наружу. Шрамы на лице корчились, оттаскивали уголок рта.

«А возьмёт помрѣт Летень этот? – неволей испугался Опёнок. – Да ну. Если до сих пор в тяготах дорожных не помер...»

Гарко, важный и гордый, с повязкой поперѣк лба, сидел на других санках. Отдавал вагашатам выкупленные пояса. Побѣждённые несколько

дней служили правобережникам. Кланялись кто угощением, кто подарками, кто работой. Пасли оботуров, таскали дрова.

– И Кайтар наш с молодницей счастливо домой доберутся, правда ведь? – заглядывая каждому в глаза, ласково спрашивал Гарко. – Никто дорожки не перебежит, снежка вслед не бросит...

По сторонам юного воеводы, такие же гордые, стояли с копьями Гневик и Зарник. Красовались подновлёнными калачами на плетёных щитах. Среди вагашат топтался Котёха. Вот заметил Светела, поспешно скрылся за спинами. Светел тоже отвёл глаза. Злости не было. «Я дурак. По головке погладил в Торожихе, и что? Родным стал? Небось приду и уйду, а с ними вековать...»

– Сам-то понимаешь, что вашей дружиной только чаек кормить? – спросила сзади Ильгра.

Светел обернулся. словно для того, чтобы ещё больше смутить его, воевница подошла не одна – с Нерыженью.

«Чаек кормить?..» Ему-то казалось, о первородном бое калашников, о том, как сбивали с поля злых вагашат, впору будет гусям звенеть.

– Почему?..

Ильгра кивнула младшей подружке:

– Втолкуй несмышлёнышу.

«Это я тебе несмышлёныш?» Желание понять всё-таки перевесило. А может, кабаньей шкурой оброс в гусельном испытании.

– Вы, дружинушка, вроде невесту везли на посад, – начала Нерыжень. – Так куда ж потекли врагов бить, славы наискивать? А тем часом кто набежал бы поезд перенимать?

«Много ты смыслишь!» Вслух Светел буркнул:

– Там бы нашлось кому заступиться.

– Если без вас заступы полно, значит вы дорогой лишними были, втуне хлеб ели, – скривила губы красавица. – Хорошо хоть на таких же дураков навались.

– Это почему?..

«Я бы сам в том месте засаду устроил...»

– Потому что они вас сзади не заперли. Начали бы с двух сторон забивать, вы бы живенько щиты побросали.

Ну уж тут дура-девка была кругом не права! «Чтобы мы щиты бросили! Поле гнездарям отдали! Да мы...» Кулаки сжались сами. Светел перехватил насмешливый взгляд Ильгры, выдохнул. Его снова испытывали. «Ничего. Перемаюсь. Полгода быстро пройдут...»

Неуступ решил проводить поезд до моста через Рукавицу. Чтобы оттуда, минуя Вагашу, уйти прямо на запад. Калашники сперва шагали сами собой, гордились, держали воинское строение. На первом же привале, когда перепрягали оботуров и стружили рыбу, Сеггар без улыбки спросил:

– Ты, воевода Гарко, через Калинов мост сюда шёл? А с чего так назван, ведаешь?

«Это у себя мы каждый камень знаем, каждый бугор, – привычно нахохлился Светел. – Тут гнездарей отчина, нам на что?»

– Поди, с Ойдриговых войн, – рассудительно отмолвил Гарко. – Зря ли Кровавый.

– Не зря, – кивнул Сеггар. – Только в пору Ойдригова нашествия этот мост не первый век здесь стоял, от путников поклонение принимал.

Светел обрадованно наострил уши, но Неуступ сбился со скоморошье́го сказа.

– Давным-давно, когда андархи нарушили клятву, Прежние не покорились без боя. Смерёдина тогда была бурной и полноводной...

– Смерёдина?

– Рукавицей её после прозвали, когда Кровавый мост Калиновым стал. Бабы и дети уходили к Светыни, а здесь, на мосту, заслоном встала дружина. Воевода был самый страшный боец. Мы таких зовём оборуками – двумя мечами рубился. Иные болтают, будто он сдался на смерть и позор, покупая своему народу спасение, но я в это не верю.

– А как было, дядя Сеггар?

– А так, что под конец боя река текла кровью нападчиков, но дружина была мертва, а воевода изранен.

Светел представил багровые сосульки на стройных перемышках моста. Как рассказал бы о них Кербога!

– И угодил во вражий плен, – вздохнул Сеггар. – Всё верно, загусельщик. Андархи не любят вспоминать бесславные Ойдриговы походы, но одно вероломство хуже десяти проигранных битв. Об истреблении Прежних даже дерзкие скоморохи до сей поры поют так, чтобы сберечь языки.

– Не при андархе будь сказано, – буркнул Косохлест.

Светел вздрогнул, повернулся к нему. Он только что непобеждённым ликовал на мосту, слабея, смеясь, два меча обтекали своей и вражеской кровью... И вдруг его взяли забросили к этим самым врагам: не с теми стоишь!

– Светел в Твёрже рос! – оскалился Зарник. – На себя глянь, конопатый!

Сеггар отвесил Косохлёсту подзатыльник:
– Язык прикуси. К святому месту идёшь.
С полсотни шагов только снег скрипел под ногами.
– Худоваты лапки у твоих людей, дядя Сеггар, – нарушил Светел злое молчание. – Придёте в Твёржу, всем вычиню.
Неуступ усмехнулся:
– Ты, что ли, вычинишь?
– Я. А не то новые сделаю.
Сеггар усмехнулся в усы. Кажется, не поверил. Но ничего не сказал.

Перед мостом поезд остановился. Дикомыты сочли непристойным переходить мост в том же направлении, в котором некогда рвались насильники. Русло, погребённое многолетними завалами, вроде не таило препон, но удобное место следовало разведать. Пока бесстрашные парни лазили туда-сюда, раскидывали и приминали уброд, сеггаровичи спустились под самый мост. Встали в кружок у срединной опоры. Пустили по ветру знамя, выпростанное из чехла. Разом воздели к небу мечи.

– Хар-р-га!.. – троекратно отдалось в берегах.

Светел не понял, что это значило, но прозвучало – аж мурашки по телу. Не от страха – от гордости. С завистью пополам. С чувством будущей причастности. Такой жгуче-желанной, что невозможно поверить.

Вот Сеггар обнажил и вскинул к тучам ещё два меча. Не клинками протянул, рукоятями. Словно бесплотной душе взять предложил. Почтить хотел давно сгинувшего воеводу? Который даже имени не оставил, лишь то, что был оборукий?..

– Хар-р-га, – снова единым голосом отозвались витязи. Прозвучало больной скорбью, словно по недавней утрате.

Светел отвернулся, полез обратно на левый берег. Сводить по крутому спуску мычащих, тревожно фыркающих оботуров. Придерживать за верёвочные хвосты тяжёлые сани. Внутри покоился Летень. То ли спал, то ли опять уплыл в неверное забытьё. Равдуша с большухой сторожили у передка: если что, сбросить под полозья железные тормоза. Светел видел, как оглядывались Ильгра и Нерыжень. Вслух сеггаровичи подмоги не предлагали. Доверили побратима, так уж доверили.

Гаркины молодцы упирались коваными лапками, врубали шипы в снег. Хоть надсесться, но срама не допустить.

Светел вдруг представил Рукавицу без снега. Отвесные, неприступные берега. Меж ними – бешеный поток. Свирепый, клокочущий белогривыми падунами: поди одолей! Мост над руслом, тонкие полукружья втрое выше

теперешних, погрузших в снег... А на мосту – бой, смерть и смех. Потому что бабы со стариками одолели последние вёрсты, ушли за Светынь. Сами спаслись, детей увели, не отдали в плен. Мать-река изовьёт течение, откроет брод беглецам, а на врагов плеснёт могучей волной. Значит, всё не зря, и не о чем сожалеть, рубясь в-обе-ручь, ни шагу не удавая над телами павших друзей...

«Где гусельки? Я бы так про тот бой заиграл! До самого неба гулы пустил, чтоб воевода порадовался...»

«Не твоё дело, андарх», – тут же отозвалось в ушах. Стало обидно и горестно. Светел засопел, пуще прежнего налёг на верёвку.

«Вот стану витязям лапки плести, а тебе, Косохлест, забуду...»

Сеггаровичи за Рукавицу не пошли. Поднялись опять на ту сторону, выстроились цепочкой на самом верху, уже отдалённые, отъединённые от походников речным междумирьем. Грянули клич, высекли эхо, приветствуя то ли поезжан, то ли святой мост.

С другого берега в плетёные щиты плашмя треснули копья.

– Солнышко припомним! – отозвались дикомыты. Клич, рождённый в мальчишеском бою, прозвучал на удивление грозно.

Дружинные повернулись, пошли в закатную сторону, потекли волчьей рысью, вроде неспешной, но отведи глаза, потом не найдёшь. Самой первой бежала Ильгра. Светел вздохнул.

«Вот бы толком расспросить. О воинстве... Как готовить себя... Как через полгода не оплошать... – Спыхватился: – Да о чём я! Летения поправим...»

Под мостом, у срединной опоры, в синеющих сумерках остался мерцать светильник. Его устроили в заветери, чтобы не скоро погас. На ледяных камнях остывали следы кровавых ладоней.

Светел похлопал по косматой холке оботура-коренника. Бык повернул голову, насколько позволял хомут. Протяжно фыркнул. Светел стянул рукавицу с варежкой, пальцами вычистил ему из уголка глаза скопившиеся комочки. Снова оглянулся туда, где уже не было видно Ильгры, Сеггара, Нерыжени.

«Тоже выдумала, чаек нами кормить. А мы всё равно вагашатам плеч не показали, поля не отдали!»

Оботур лизнул руку, ткнулся носом.

Снег скрипел под лыжами, пар дыхания оседал блестящей куржой.

«Всем лапки уставляю. Ладно уж, Косохлест, и тебе...»

Светел шёл домой. Знал себя победителем. Всё было хорошо. Всё будет хорошо.

Властители судеб

Эрелис и Ознобиша сидели в спальне царевича, склонившись над доской для игры в читимач.

– Ставь, сердечко моё, одну ножку прямо перед другой, – раздавался из переднего покоя голос боярыни Харавон. – В ниточку... Вот так, умница моя!

Переменчивый обычай дворового женства требовал особой поступи, называвшейся «лисий ход» и якобы наделявшей неотразимостью. Эльбиз и комнатные девушки честно упражнялись, вышагивая от стены до стены.

– Смотрите, дурёхи, на государыню! – радовалась наставница. – Лебедью плывёт! А вы переваливаетесь, как утки на берегу!

Эрелис сидел, подперев рукой голову. Смотрел на доску... медлил, не делая хода. По мнению Ознобиши – вполне очевидного.

– Что тревожит моего государя?

Эрелис поднял глаза:

– Ты, верно, слышал про жреца, прибывшего из Шегардая.

– Слышал, государь.

Сын святого появился в Выскиреге скромно и незаметно. Притом что, по мнению многих, сам обещал составить земную славу Владычицы. Молодого Люторада видели шегардайским предстоятелем с той же очевидностью, с какой Эрелису прочили Справедливый Венец.

– Невлин уже трижды напоминал мне, что я должен принять его как самого желанного гостя.

Ознобиша молча слушал.

– Я мысленно ставлю его перед собой, – продолжал Эрелис. – Святой Лютомер резал языки, сжигал книги и требовал казни людей, близких нашему дому. Сын, если не лгут о нём, готов зайти ещё дальше. Где отец ждал царского суда, этот сразу пошлёт за тайным убийцей... Как мне с ним хлеб преломить?

Ознобиша ответил тихо и грустно:

– Правда райцы велит мне возразить государю. Ты будешь правителем для всех вер и племён, сущих в Шегардайской губе. Значит, не волен отвергать и Люторада с его ревнителями.

Эрелис потянулся к доске. Сделал наконец ход, который давно уже мысленно подсказывал ему Ознобиша.

– Все вон, все вон, кривоногие! – доносилось из-за ковровой

перегородки. – В девичью, бездельницы! За прялки! Пойдём в спальню, сердечко моё... О! Кто здесь? Никак постельничья твоя?

– Это бабушка Орепея, – сказала Эльбиз.

– Тебе, дитяtko, несомненно известно, что хранителям царского ложа всегда была свойственна знатность. Любая боярская дочь...

– Одни украшены знатностью, другие верностью, – упёрлась царица. – Дядя Космохвост говорил, верного человека царь может и возвеличить. А от предков знатные порой изменяют.

Эрелис скупо улыбнулся упрямству сестры. Ознобиша бросил кости и, почти не думая, передвинул шашку. Деревянное войско царевича оказалось в опасности.

– В Шегардае, – продолжал Ознобиша, – ты по долгу правящего начнёшь творить суд, выслушивать просителей, объезжать земли... попутно узнавая город и людей. Лучше тебе приноровиться к Люторадy, пока всё сразу не навалилось.

– Ты прав, – задумчиво протянул Эрелис. – С Инберном я хотя бы по твоим рассказам знаком.

Он вновь устался на доску. Ознобиша видел: его государь думал о чём угодно, кроме игры. «Как помочь тебе? Какой совет дать?»

Из опочивальни царицы слышались голоса, немного приглушённые толщей ковров.

– В том, что ты, сердечко моё, болтовни девичьей чураться, истина есть. Я уж объясняла тебе, да повторю. Праведность Андархайны живёт и племится совсем не так, как мужики и мужички.

– До сих пор? – удивилась царица. – Как мать Гедаха Заступника с отцом его? От ветра, что пал меж ними, солнечного жара упившись?..

– Что ты, дитя, – рассмеялась матушка Алуша. – Божественное рождение случается раз в тысячу лет и даёт начало народам, нам ли чаять его? Нет, сердечко моё, супруги царевичей и царственноравных ложатся с мужьями, подобно всему прочему женству. Разница в том, что худородными движет низменное хотение, мы же блюдём святой долг перед предками и мужьями. Царская опочивальня есть храм.

Эрелис сидел с таким лицом, словно отведал несвежего на званом пиру. И глотать нельзя, и выплюнуть не годится.

– Как же... в этом храме служить? – выговорила Эльбиз.

– Не бойся, дитя. Есть обычай брачного ложа, завещанный мудрыми. Многие сорочки уберегут вас с супругом от излишнего волнения плоти. Благочестно понявшись, вы станете жить в кротости, в каждодневном служении государю и Небесам.

Эрелис сделал движение, словно хотел смести со стола все шашки вместе с доской. Удержал руку. Потянулся вперёд, проговорил очень тихо и быстро:

– Я скажу тебе. Высший Круг полагает: Люторад может стать опорой и святителем трона. Родословы не находят препятствий для его брака с Эльбиз.

Ознобиша вспомнил подушку правителя у ног изваяния Правосудной.

– В таимном покое судят перед ликами всех Богов, чтимых по городам и весям Андархайны... Владыка Хадуг склонился к моранству?

– Благородный дядя Хадуг, – ответил Эрелис, – лишь желает, чтобы оставалось изобильным его блюдо со сладостями. Он немолод и полагает, что на его век достанет.

– А... другие волостели что говорят?

– Доблестный брат Гайдияр нахваливает потомка хасинских шагадов, пережившего уже двух жён. Если воевать с дикомытами, от него может быть польза. Через год-полтора владыка с вельможами вынесут окончательный суд. Мартхе, друг... неужто мне сестрой платить за венец?

Эльбиз не могла слышать их разговора.

– Матушка Алуша, – вдумчиво спрашивала она, – а как быть велишь, если супруг примется другим молодикам честь оказывать?

Боярыня вздохнула:

– Хорошо, что ты отважилась спросить, дитя, это следует уяснить наперёд. Наши великие мужья нами не судимы. Мы лишь утверждаем их честь, как бесскверные подданные – славу своего государя.

– А правду люди говорят, будто боярин на тебя любовь обратил, только когда ты опалу от него отвела?

Боярыня негромко рассмеялась. Пелена былых лет сделала дорогими и эти воспоминания.

– Мой Ардарушка сеял на стороне, ибо я никак не могла родить ему сына. Пригульные росли у нас под рукой, становясь опорой семьи... Впусти эти слова в своё сердце, дитя, ведь у тебя за спиной ещё и честь брата.

Царевна замолчала. Задумалась.

Эрелис окончательно забыл читимач, уставился в стену.

– Государь, – начал Ознобиша почти шёпотом, но пламя жирника заставило светиться глаза. – Сейчас ты как воин, угодивший в захаб. Ни прорваться, ни выйти – и стрелы со всех сторон! Так обрати отчаяние и гнев уроком сосредоточения!.. В этом уже преуспела твоя сестра. Услышав про «лисий ход», она сперва задохнулась от омерзения...

– А теперь, сообразно имени, плывёт лебедью, – сказал Эрелис. – Уж не ты ли, Мартхе, надоумил её?

– Этот райца лишь помог государыне осмыслить дурную походку как ещё одно средство сокрытия на вылазках... Девушке надлежит тонкость, правителю – величие! Угоди наставнику. Покажи ему, что можешь принять сына святого, как подобает царевичу. Покажи Лютораду, что милостив и благосклонен. Пусть те, кто ищет тебя подчинить, успокоятся и сами свернут туда, куда ты поведёшь. Становись на дорогу к шегардайскому венцу, государь.

Эрелис задумчиво переставил шашку.

– Ты ведь тоже чего-то ищешь, друг мой...

– Ищу, – весело подтвердил Ознобиша. – Я встретил в расправе... Помнишь, государь, мой рассказ про попущеника Галуху? В старину было принято сопровождать беседы знатных созвучиями гудьбы. Верно, праведный младший брат не откажет уступить тебе игроца на несколько дней?

Эрелис бросил кости. Его шашки приняли положение, которого Ознобиша, пожалуй, не ожидал.

– Если я здесь чему научился, так это просить. А Гайдияр любит, когда его просят.

Двое юнцов смотрели один на другого через доску для читимача и были вершителями судеб, властителями всего мира.

Золотые струны

– Разгулялся... – грубым голосом протянул Светел.

– Было встарь, – подтвердил Жогушка.

Он сидел у верстака, прямо под старинным щитом. Держал гусли. Наслушался о подвигах брата, потянулся к струнам весёлым.

– На купилище гнездарь, – сделав страшные глаза, то ли спел, то ли выговорил Светел.

Медленно, чтобы братёнок успел, не запутавшись, дёрнуть одну за другой четыре струны. Руки между тем направляли маленький рубанок. Бережно, осторожно. Вперёд, назад, снова вперёд. Выглаживали продольные гребни на заготовках беговых лыж. Чтобы не было добрым иртам ни излому, ни гнили!

Сам – румяный бородач,
Ходит пьян, жуёт калач!

Это братья спели уже вместе. Восторгу Жогушки не было меры. Он, конечно, и раньше трогал струны, но песню вёл впервые. Глаза горели, пальцы переступали, голос звенел.

И смеётся: «На Светыни
Лишь топор в ходу поныне!»

Здесь голосница немного менялась. Простая песенка была на самом деле не так уж проста. Могла кое-чему научить неопытного игрока. Даровать крылышки, чтоб впервые вспорхнул. Светел даже рубанок придержал. Вдруг придётся гусельки перенять? Не пришлось. Жогушка сам, без ошибки добавил струнных биений. И пропел верно.

Вам искусные орудья не милы:
Не постигли ни подпилка, ни пилы!

Светел ничего не сказал, но про себя улыбнулся. Ухо у братёнка было безошибочное. Материно, братнее. Каков голос унаследовал, поглядим.

Шильце тонкое, клюкарза и тесло –
Вот как люди обряжают ремесло!
Только люди дикомытам не указ,
Лишь один топор за поясом у вас!

Ясно, это безбожная неправда была. У Светела про каждую работу свой топор в заводе имелся. Вот новенький на колоде лежит, полдня у Синявы по руке подбирал. Для дров – колун в ведёрке, дедушкиным гусям ровесник...

Дом за стенами ремесленной звучал каждодневной песенкой живого и бодрствующего гнезда. Вот мама взяла корзину в сенях, вышла уток проведать. К ней сразу приластились собаки, игравшие у крыльца. В большой избе стукнул чашельник, скрежетнула глина о глину. Значит, скоро вкусным запахнет. Светел наклонил голову. А вот и глухой шумок, коего не было раньше. В малой избе шаркали неверные, упрямые, заплетающиеся шаги. Вдоль длинной стены, где Светел недавно приколотил поручень. Туда, обратно, снова назад. С ума сведёт, если вслушиваться.

«Вот же взялся сновать. Точно баба перед кроснами...»

Рубанок снял ещё завиток стружки, невесомый, прозрачный. Будто мимолётные сутки отсроил от срока, названного воеводой.

Песня затеяла новый круг, вышучивая обычай Левобережья.

Без подпилков что без рук,
Подавай точильный круг!
С топором на что горазд?
Покажи, побалуй нас...

«Успею ли, братёнок, твой голосок окрепший послушать? Явится Сеггар, а в который день – поди знай!»

Вот так атя когда-то начал заплетать лапки, не ведая: этим суждено стать последними. Наскоро захлестнул ремни узлом... Долго на тот узел не покушалась рука. «И я однажды заготовки распарю, гнутья поставлю, а сам... Кому вынуть достанется?»

Так девка мечется перед свадьбой. Целовалась украдкой, мечтала, как с ладушкой заживёт. Наконец ударили по рукам, придвинулся неворотимый посад... отчего дрожь проняла?

«Пойду, значит, с Сеггаром. И в первой же сшибке – стрелу в глаз.

Отыскал брата!»

Движение за стеной, худо-бедно мерное и привычное, нарушилось. Несколько мгновений тишины. Неуверенный шорох.

«Куда ж ты...»

Стук тяжёлого падения настиг Светела уже возле двери. Жогушка спрыгнул с верстака, побежал следом.

На пороге малой избы витал чужой запах. Летень, в полотняном балахоне и голоногий, безуспешно пробовал встать. Руки вроде обретали опору, но пол незримо кренился. Тело уводило на левую сторону. Руки хватали воздух, разъезжались, подламывались.

Былой витязь даже головы не мог уберечь. Выглядел как откулаченный. На лбу запеклись ссадины, щека расцарапана...

Поручень вдоль стенного бревна, выложенный его ладонями, в свете жирника так и блестел.

Светел нагнулся, взял увечного под мышки. Движение вышло недовольным. Балахон был влажен от пота. Рёбра без жира и мяса торчали прямо под кожей. Не поверишь, что когда-то мечом о шлемы звенел. Светел почти без усилий поднял взрослого человека. Посадил на лавку:

– Рано тебе на воле гулять! Куда заспешил?

Летень моргал слезящимися глазами. Страшно это, наверно. Впасть в тягостную сонливость после обманчиво несильного удара по голове. Как следует очнуться спустя много седмиц... понять, что ввергся в ничтожество. Хочешь не хочешь, принимай помощь в самых стыдных и сокровенных делах. Заново учишь ложкой в рот попадать.

Терпи сердитого мальчишку, которого, будучи в прежней силе, щелчком отогнал бы.

– Прости, – выговорил Летень. – Вернётся Сеггар... уйду.

Пальцы сжимали край лавки, словно та удрать норовила. Голова искала верх и низ, найти не могла. Голос был не как у людей. Деревянный, безжизненный. Летень его отдавал в пустоту. Открывал рот, выпускал дыхание... не слышал звука. Ни своего, ни ответного. Смотрел на чужие губы, силился понять. Чаще промётывался, но временами угадывал.

Светел ощутил, что краснеет. До словесного попрека он не унился. Проговорился движением.

– Ну тебя, – буркнул он. – Ложись, что ли. Буду лечить!

– А... что?

Летень смотрел тревожно.

Жогушка из-за спины брата показал ему гусли.

– Лечить... – повторил увечный. – Да...

И не стал противиться, когда братья взяли его за плечи, уложили, повернули вниз лицом. Сам сдвинул тюфячок, вытянулся ничком на голой доске...

Усмехнулся.

Витязю, поди, плохо верилось, что именно Светел его вытянул, вызвал из небытия. Разве спасибо сказать тетивам струн, помнившим руку Крыла. Бросили стрелы гулов, случайно отозвались чужим неуклюжим перстам... Чтобы те же пятерни, да с захудалыми гусельками, возмогли толку добиться – верилось ещё меньше.

Значит, опять вредного мальчишку терпи. Взялся мучить, и не отделаешься.

Светел нахмурился, разогнал неподобные мысли. С такими лиходеям без боя нажитое отдавать. Он ладонью разгладил балахон на плечах Летень. Положил гусли ему между лопаток. Витязь немного повернул голову, вздохнул. Сказал вдруг:

– Так-то лёжа, гору сверну.

Светел взялся за струны. Повёл песню Крыла, перенятую в Торожихе. Правда, слезливые глупости про девок, любовь и тайные встречи из памяти почти все разлетелись. Осталась лишь голосница, богатая на прежде неведомые приёмы.

Жогушка спросил шёпотом:

– Напёрсток подать?

Твёрдый роговой коготок позволял менять звучание струн.

Светел мотнул головой. Это он сперва дураком был. Хотел ручей из земли выкопать, если дороге мешает. Потом оставил гусли насиловать. Ручей ведь перепрыгнуть можно. Мостик выстроить. По камешкам одолеть. Вовсе стороной обойти...

Крыло бы теперь не сразу свою песню признал. Какие свидания-целования? Гусли вызванивали мрачновато и строго. По-воински. Насколько Светел себе воинскую гудьбу представлял.

– Вот бы ты, дядька Летень, про Крыла мне поведал... Как вышло, что гусли осиротели?

Он расспрашивал дружинных. Что с Крылом, заболел? Руки поморозил? В бою смертью убили?.. Кмети отмалчивались. «Твоё дело сторона», – сказал Косохлест. Сеггар, конечно, дал подзатыльник невеже, но больше для виду. Когда Светел подступил к нему самому – как не услышал.

Летень удобнее повернул голову, невпопад молвил:

– Славно...

Чтобы радоваться гусям, слух не надобен. Звуковые трепеты отдаются в груди, становой хребет сам поёт как струна, разносит гулы от пяток до маковки. И оно, тело, будто новую кожу после мыльни примерив, насвеже узнаёт, ощущает, собирает себя. Ярче разгорается огонёк, веселей ходит сердце, живым током гуляет кровь...

Жогушка увидел, как тонкое, невесомое сияние озарило волосы брата. Золотом окутало плечи. Медленно потекло по рукам.

...А Светела вдруг осенило: мораничи!!! Мораничи Крыла истребили! Не уберёг воевода. Недоглядел. А те подползли, в ночи неприметные. Вот тебе, Крыло, за гусельный звон! За правду, за гордые и весёлые песни! За свет, что по свету искрами нёс! За то, наконец, что девки любили, в очи синие заглядывались...

Наслали на него... Ворона какого-нибудь...

Зря ли Сеггар с дружиной умолкли и гнать перестали, когда Светел перед ними злых мораничей помянул!

...Пальцы знай вышагивали по струнам. Низы горестно рокотали, задавая меру погребальному шествию. Гудели суровой поступью воинов, помнивших солнце. Верхи рвались к небу вихрями святого огня. Возносили душу Крыла. Возжигали светочи его песен...

Когда скрипнула дверь, Светел не сразу открыл глаза. Наконец обернулся. У порога стояла Равдуша.

Он успел привычно решить: сейчас укорит. Не делом дитятко балуется. В гусли играет вместо того, чтобы лыжи строгать, дрова носить, к зелёному пруду чунки лишние вытащить... Эта мысль жила полмгновения. Глаза матери были круглыми от испуга.

– Ой, – пискнул Жогушка.

Светел глянул вниз и самым последним узрел то, что заметили братёнок и мать.

Из уха Летеня, из ноздрей, даже из уголка левого глаза исторгалась жижа. Вроде той, что скапливается в мешочке старого затёка, пухнет, синеет сквозь кожу. Нежидь выползала по капле, медленно густела на досках.

Долгое мгновение сменилось очень скорым бегом событий.

– Что творишь!.. – ахнула Равдуша. Устремилась вперёд, спасти Летеня от нерадивого сына. – Опять раны развередил, мозг ушами течёт!..

Светел кубарем свергся с гордых высот. Дитё бездельное, от рук отбоиш. Какая дружина тебе, какое что... Гусли жалобно тренькнули, он отдёрнул их, шарахнулся сам. С гневными слезами скверные шутки. Как выхватит досадное орудьишко, как в стенку метнёт!

Может, Равдуша и хотела так поступить, но вперёд её рук поспела костлявая пятерня. Поймала запястье Светела, сжала на удивление сильно. Потянула обратно. Притиснула деревянный открылок к толстой кости за ухом.

– Гуди, малый... что перестал?

Светел покосился на мать. Равдуша стояла, прижав ладони ко рту.

Скверно это, когда семье за столом не собраться. Из рук вон скверно.

Если каждый сам по себе, и стол не престол, и дом не храм.

Присев у печи, Ерга Корениха смотрела на внуков, чинно опускавших ложки в горшок. Светел давно и по праву держал за столом великое место. Хозяин, кормилец! Жогушка, как надлежит младшенькому, – в самом низу. Равдуша осталась в малой избе. Мало ли что Летень улыбаясь заснул. Вдруг с той же улыбкой совсем дышать перестанет?

Так когда-то сама Ерга над мужем сидела. Забегали дружные внуки, льнули к слёгшему деду. Единец глаза открывал... всё реже и реже. Ни дня в жизни он не праздновал, не складывал рук. Прилёг вот отдохнуть наконец.

Вчера было дело. Только вчера.

Садился во главе стола могучий сын. Своих сынов подзывал. И нерушимо крепок был дом. Чего старой бабке ещё ждать, чего желать? Разве правнукам в глазки ясные заглянуть?

Дождалась. Пожалела, что мужа одного к родителям отпустила.

Не засиделся любимый сынок на лавке дубовой. Споткнулся. Ушёл, словечка последнего не сказав.

И Скварушка двенадцатилетним себя помнить велел.

А назавтра что будет?

«Замешкалась на свете старуха. Пора честь знать. Может, внука на мостике догоню...»

– Бабушка... Не журишь!

Корениха вздохнула, очнулась. Жогушка смотрел снизу вверх. Впрозелень голубые глаза, подвижные брови домиком, жалостным и смешным. Только левая без поперечной зарубки. И старшенький рядом. Совсем возмужалый. Скулы веснушками облепило, в жарых кудрях сияние от лучины... Сама жизнь...

Корениха оперлась на его руку, встала. Дотянулась, разворошила на полотах мягкие одеяла. Вытащила плетёную суму:

– Возьми, Светелко. Беспамятная стала, как положила, так за хлопотами и покинула. Не обессудь уж.

Он взял лёгкую суму, недоумённо хмурясь, тронул верёвочные завязки. Чуть не отдёргнул руку, когда внутри приглушённо звякнуло.

– Это что?

– Это тебе в Торожиху подарочек принесли, да самого не застали.

– Кто не застал?

– Дедушка один, сказывали.

Корениха улыбалась. Парень вдруг что-то понял, догадался, щёки залил неудержимый румянец. Жогушка тянулся на цыпочки, вперёд брата заглядывал под камышовую крышку.

Светел хотел говорить, сглотнул, кашлянул... сел на лавку. Вытянул себе на колени обманчиво-хрупкую снасть. Стал молча смотреть. Медовые палубки... тёмные благородные стенки...

Солнечные лучи струн.

Ему довольно смутно помнился исцарапанный, растерявший исконную роскошь снарядец Кербоги. И очень ярко – пернатые гусли Крыла с бурым следом, хранимым в резной пазухе.

Эти... этим не было ни названия, ни цены.

Тонкий дух настоящего воска, втёртого в дерево.

Голосник в виде птицы, указующей путь облакам.

Вызолоченная бронза, готовая отозваться небесными голосами...

Жогушка присел рядом на корточки. Он тоже хотел тронуть дивные струны, послушать, каково запоют. И тоже не смел.

Пеньки

В малой избе звучали, перебрасывались попевками сразу двое слаженных гуслей. А как иначе? Без гусельного устройства вечная премудрость мимо памяти ляжет. Учение без проку, если не весело и не свято!

– Есть четыре главных удара, с которыми на тебя нападут, – объяснял Зарнику Летень. Он стоял у стены, цепко держался за поручень. В худой руке покачивался деревянный меч: палка с огнивом, стянутым из двух кусков корня. И голос у бывшего первого витязя был деревянный. Неверный, беспомощный голос глухого, ещё не привыкшего к тягостному молчанию мира. – Вот, замечай...

Золотые струны рассыпались богатыми созвучиями, но шёпотом, чтобы не мешать.

Ребят в малую избу набилось как снетков в бочку. Мальчишья дружина смотрела во все глаза. Замах, лишённый силы и быстроты, всё равно вершился на удивление грозно. Был красив, как любое движение, годами направляющее грань жизни и смерти. Деревянный клинок косо лёг Зарнику на плечо. Тот хмурился, вбирал начатки ратной науки. Каково-то будет, когда меч станет железным, а рука – беспощадной? Как себя к такому делу примерить?.. Юный подвоевода гордился зарубкой, принятой у Смерёдины. Тело витязя, покрытое шрамами, было векописанием подвига. Это со слов Светела все знали.

Палка легонько коснулась второго плеча Зарника. Прошлась концом по коленям.

– Вот так. Два вёрхом, два низом, – сказал Летень. – Есть ещё удары, но они этим родня. Теперь себя защищай.

– А прямо сверху? – подал голос Велеська. – По темечку?

У калашников он пока шастал на побегушках, ни до каких гордых дел не допускался. Потому, как водится, во всём был первый знаток.

– На голове шелом, – сказали ему.

– С него соскользнёт, шею или плечо переломит! – спорил Велеська.

– Ты дядю Летеня слушай, сам язык прикуси. Не то выгоним.

Велеська закрыл рот, стал смотреть. Деревянный меч витязя медленно и почему-то страшно летел к уху Зарника. Парень промешкал. Наконец вскинул оружие.

– Замри, – велел Летень.

Рогожник опустил палку. Витязь глянул на Светела. Опёнок сунул гусли Жогушке, подоспел, вернул руку Зарника в прежнее положение.

– Это не палочный бой. Ты встретил меч концом клинка, а надо преградой. – Летень передвинул руку Зарника, подставил сильную часть меча. – И держишь поперёк, а второй рукой не подхватил. Зачем переть силой на силу, если вскользь можно пустить? Поверни.

Деревянный меч калашника обратил конец кверху. Летень улыбнулся:

– Так лицедеи на подвыси рубятся в каких-нибудь «Деяниях Йелегена». Позорянам любованье, нам смех. Замечай: если я продолжу удар...

Палка Летеня тронула плечо Зарника, скользнула по боку и бедру. Золотые гусли тихонько пропели «подайте нищему калеке». Ребята стали смеяться, оплошный сердито покраснел, оглянулся.

– Сам выходи! Являй, какво горазд!

– У меня дядя Летень всякий день за стеной, – сказал Светел. – Запасайся наукой, пока гостишь.

– Поди сюда, – вдруг сказал витязь.

Светел проворно вскочил, потянулся к мечу Зарника, но Летень остановил его, отдал свой.

– Он будет бить, – проскрипел деревянный голос. – Обороняйся.

Летень сел на лавку, убрал руку с шеста. Светел заметил частые капли на его лбу, но тут же забыл: все мысли присвоил черен в ладони. Опёнок набрал полную грудь воздуха. В настоящем бою никто ему даже на этот вздох не даст времени. А ещё в брови Зарника белый шрамик. Память глупой сшибки в Затресье. Тогда у Светела в руках были чурбачки. Палочный удар рушит мякоть. Железный меч, даже тупой, дробит кости.

– Обороняйся, – повторил Летень. Улыбнулся. – Может, сам поймёшь наконец.

Ребята снова развеселились. Зарник ударил Опёнку в левое ухо, почти как Летень показывал. Долетит – звон в голове назавтра уляжется! Не долетело. Светел отступил вкруговую, подставил опрокинутый меч. Удар скользнул мимо, палка стукнула в пол, Зарник отшатнулся. Яблоко Светелова меча прыгнуло ему в лоб. Не так сильно, как тот чурбак у овина, но след отчеканился.

– Вот, – сказал Светел злому и разгорячённому Зарнику. – Бей опять таким же боем, медленно. Или обороняйся, если постиг.

Калашники гомонили, шаркали босыми пятками, орудовали руками. Хоть сейчас в битву! Летень смотрел на безусое воинство, непонятно улыбался. То ли гордился, то ли о чём-то жалел. Зарник изготвился бить.

Светел встал в оборону.

На самом деле он расправлял плечи среди метельного поля, щитом к щиту с Сеггаром и Гуляем. Стоял против жестоких врагов. За братьев... за брата...

Тут заскрипела дверь. Через высокий порог в малую избу полезла Равдуша. Плеснула рукавами, чуть не выронила мягкий свёрток:

– Сколько ж вас, околотней! Здоровый оглохнет, немощного вовсе уморите! В сени ступайте, во двор, к Светелку в ремесленную, там балуйтесь!

Возвышенное мужское геройство тотчас развеялось. Уступило каждодневности с её бабьими хлопотами. Ребята потянулись за порог. Стали разбирать валенки, как попало брошенные в сенях. Гарко оглянулся в дверях, посмотрел на Летеня, на Равдушу. Хмыкнул, словно что знал. Может, вправду знал, кто его разберёт. Зря ли к телу уже льнула подоплёка рубахи, скроенной милыми руками Убавы. Светел перехватил Гаркин взгляд, осерчал, позавидовал, устыдился.

Местнички, переговариваясь, начали растекаться по своим дворам. Отовсюду пахло съестным: скоро вечерять. Зарник с Небышем пошли за Светелом в ремесленную.

Затресский гуслер положил чехолок, огляделся:

– Тут, значит, теперь живёшь?

– Мы с братёнком, – подтвердил Светел. – Мужики.

Он повадился ночевать в ремесленной после возвращения из Вагаши. В том походе он будто враз повзрослел, застыдился спать на полатах рядом с мамой и бабушкой. Разворчался о грядущих тяготах воинства... да и поселился среди заготовок, клея, кож. Жогушка, привыкший греться под боком, сначала надулся. Потом задрал нос, тоже ушёл с тюфяков: я большой! Здесь у него стоял пестерь с берёстами, колодками, кочедыком, скамеечка для работы. Всё сам, сам! Брат лишь подсказывал.

– Грево печное, стало быть, бабам, – сказал Зарник.

– Ну...

Внук гусачника поднял бровь:

– Хватает обеим-то? Или бабка старую кровушку одна зноит?

Светел запоздало уловил намёк, нахмурился:

– Ну тебя.

Небыш взял на плечи опутанное верёвками бревешко. Присел, встал. Осмотрел перекладину:

– Сколько раз поднимаешься?

Светел думал похвастаться, но вчера свершение не заладилось.

– Тридцать четыре.

– Тебе хорошо... – Небыш поставил бревешко.

Светел удивился:

– Что ж хорошего?

– И силу унаследовал, и витязь тебя прежде всех вразумляет, и гусли вона какие. А иным голосницу толком затвердить не дают. То ценуй, то стан заправляй...

Светел потерялся с ответом. Сказал Зарнику:

– Давай, что ли, друже, в мечи постучим.

– Щит дашь поддержать?

– А я о чём, – вздохнул Небыш. – Иным вот и щит правский достался. В дружину возьмёшь или тебе дядя Летень свой отдаёт?

«В ухо бы приласкать, да не с руки...»

– А в углу что за красота? Полозья никак?

– Саночки с собой лажу, – буркнул Светел. – Кузов только не доплету. Велик нужен! Добычу бранную мешками грузить!

– Во-во, – пригорюнился Небыш. – Всё тебе! Нам небось никто таких не подарит...

Светел замер с открытым ртом. Парни переглянулись. Грянули смехом.

– Ты б себя видел, Опёночек!

Он покраснел, только тут смекнув: угодил друзьям на зубок. «Ну, рогожники. Ну, скоморошки...»

Вслух сказал:

– Щита не возьму, это братьям наследство. Себе в битве добуду.

– А гусли? Которые?

В дверь сунулся братёнок:

– Бабушка вечерять зовёт!

– Идём сейчас. А про гусли Жогушку спросим.

– Это как? – на всякий случай попятился к двери малыш. Беда, как велят умение показать...

– Ребята вот спрашивают, которые тебе оставить, которые мне с собой взять.

Взгляд Жогушки ласкал Золотые, но ответил он твёрдо:

– Я дедушкины приму. А эти вручены тебе за дивную игру, за ратные песни, чтобы воинские сердца веселить!

Светел бросил струганый меч Зарнику, тот ловко поймал.

Деревянные клинки встретились, вымерили размах. Зарник сосредоточенно сдвинул брови, переступил. Светел повёл удар очень неспешно. Ради науки, не ристания для. Зарник верно принял натиск,

пропустил мимо... и, как прежде Светел, метнул яблоко в лицо супостату.

Сдержался, не стукнул.

– Что он про вторую руку говорил? Подхватить?..

– После, – сказал Светел. – Идём, пока бабушка не разгневалась.

Неугомонный Небыш посетовал уже на ходу:

– Санок жаль. Хороши! Дружинные покорыствуются, отнимут.

Но Светела было не провести на той же мякине.

– Отнимут, новые сделаю. – И мстительно задул жирник. – Сказано, бабушка гневается, сейчас ложкой лбы перечтёт! А кто клей мне опрокинет, теснинки уронит, того сам зашибу!

Ребята со смешками вывалились за Светелом в сени, спотыкаясь, тщаь принять чинный вид, с коим добрые люди в гостях выходят к столу. В сенях было немного света из двери большой избы, мелькнул мамин рукав. Сзади с треском обрушились мотки соснового корня. Светел перехватил дверь, чтобы в самом деле не заработать бабкиного щелчка. Оглянулся на Зарника с Небышем, пренебрёг ступенькой, махнул прямо через порог.

...Он увидел – и даже не сразу постиг, что́ предстало глазам. В первый миг показалось – Равдуша шла об руку с чудесно воскресшим Пеньком. Широкие плечи, знакомая вышивка на рубаше...

...И шаткая, неуверенная походка Летеня, впервые оставившего поручень. Тощая шея, волосы мокрыми патлами. Три шага из малой избы дались ему паче трёх вёрст. Да ещё мечом намахался.

«Что ж не кликнули? Я б довёл...»

Равдуша снизу вверх заглядывала витязю в лицо, как могла подпирала и... цвела девичьим румянцем, провожая мужчину на великое место. Под божницу, с которой улыбались резные тёмные лики, голубела андархская братина.

Туда, где года два уже по святому праву садился Светел. Опора, защитник, делатель. Глава семьи.

Зарник с Небышем ткнулись в спину Опёнку, замершему на пороге. Он не заметил.

Бабушка Ерга Корениха у хлопота оглядывалась, молчала.

Светел не сыскал воздуха, молча ушёл обратно в ремесленную.

Рогожники переглянулись. Попятились следом.

Жогушка дёрнулся было со скамьи.

– Куда? – прикрикнула Корениха.

Дверь затворилась.

Когда притихшие гости вернулись в ремесленную, Светел бестолково тыкался из угла в угол. Перетаскивал кожи, ровно складывал кругляки. Наводил порядок, добивался худшего беспорядка. Хотел заложить дверь, чтоб мать не налетела с поправками. Раздумал. Не было у него права в этом доме ничего отпирать-запирать.

– Мы это... ну... – глядя в сторону, начал Зарник.

– Домой, что ли, побежим, – договорил Небыш.

Светел оставил кадь, плеснув горячей водой. И эти покинуть норовят! Он спросил:

– Какую такую голосницу тебе затвердить не дают?

Небыш заморгал, вспомнил, смутился:

– Да «Крышку» вот. – Вздыхнул. – Дознался у захожей купчихи... нос тебе хотел натянуть.

Эту песню со Светела спрашивали дружинные. Гусельный подвиг в Вагаше виделся сквозь текущую воду: с кем было, неужто со мной? Сырым ветром сдуло весёлые краски. Сумрачный снег кругом да серое небо.

– Покажешь, что ли?

Небыш обрадованно вытащил гусельки. Заметил, впрочем, что Светел не тронул ни дедушкиных, ни Золотых.

Тяжкая цепь, ошейник тугой,
Кости гремят во тьме под ногой...

Пальцы Светела начали выплясывать на колене. Подхватывали плетение голосницы. «А меня бы тогда котляры взяли? Благословила бы мама рожоного сына приёмыша по свету искать?»

Что замолчал? Несладко, братишка?
Вот она, крышка!

Доверчивая улыбка Летеня. Помолодевшее лицо Равдуши, сияющие глаза. Братская чаша над ними, яйцом склеенная из половинок. «А меня в этом доме выпестовали, вырастили. Они меня... за меня... Сперва Сквара... потом атя Жог...»

Холод и страх не пустим в сердца.

Братья за братьев, сын за отца!

Застывшее лицо Коренихи. Бабушка Ерга так и не проронила ни слова. «А ей какво другого на месте сына увидеть?! Долг платежом...»

– Купчиха, говоришь? Отколь прибежала?

Небыш заглушил струны:

– Да гнездариха. Из какого-то Нетребкина острожка.

– С левого берега нынче добрые песни передают, – подтвердил Зарник. – Ещё другая была, про город у моря. И не подумаешь, что гнездари сочинили.

Название острожка смутно тронуло память, но сразу замстило. «Мать плачет, поди...» Он всё же не утерпел, вытащил Золотые:

– Давай вместе, что ли.

В дверь стукнула нерешительная рука. Потянула створку.

Трое калашников забыли все песни, обернулись навстречу. За порогом стоял Летень. Вновь одетый в свою старую, истёртую тельницу. Свёрнутую вышиванку он держал на ладони.

– Я не задумался, а надо было, – глухо прозвучал его голос. – Возьми. Вот окрепну...

Хотел положить Жогову рубаху на порог и уйти. Светел опередил. Сунул куда попало драгоценные гусли, выпрыгнул в сени:

– Дядя Летень... Ты портище возьми.

Светел был меньше ростом, но не намного. Ещё вытянется в полную статью, оплечится по-медвежьи. Витязь смотрел ему в лицо, напряжённо хмурился:

– Я...

– Пойдём, дядя Летень. Вечерять пойдём, пока бабушка не разгневалась.

Крепко взял за пояс, уважительно повёл в большую избу. Витязь не противился. Привык доверять упрямому парню. Да и без толку было противиться.

За столом всхлипывал Жогушка. Под суровым бабкиным взглядом макал ложку в горшок, но в рот не нёс, лишь по губам мазал. Уйти не смел, есть не мог без старшего брата. Равдуша молча сидела в бабьем куту. Держала прялку и... не делала ничего. Хуже буйных слёз, хуже гневного крика! Смотрела за край мира, в бездонную пустоту, на тот свет. Светел едва не бросился к ней. Скорее ткнуться в колени лицом: за ухо оттрепли! Скалкой поперёк спины вытяни, только не сиди так, мама!

Не глядя ни вправо, ни влево, он провёл витязя в большой угол. Усадил.

– Дядя Летень, – проговорил он медленно и отчётливо, чтобы глухой сумел хоть с пятого на десятое уразуметь по губам. – Я с твоими братьями уйду, коли не передумают, а тебе здесь вековать. Женству Пенькову опорой, братёнку наставником. Здесь твоё место.

Корениха повернулась к рогожникам, глядевшим из-за порога:

– А вы почто взялись тепло выпускать? Живо за стол, неслухи!

Парни дружно влезли в избу. Тихие, приробевшие. Зарника величали подвоеводой. Сейчас Светел казался ему вождём, за которым не стыдно идти.

Сам Опёнок знал себя мальчишкой, злым, глупым, неблагодарным. Остебельником, несчастьем родительским, неслухом окаёмным...

Совсем поздно вечером, уже устроив гостей, Светел напоследок вышел во двор. Всё ли огоено, всё ли убрано на ночь? Нашёл у забора покинутую лопату, взял в руки.

Бабушка Ерга Корениха стояла в калитке, прислонившись плечом к резному верейному столбику. Смотрела на улицу, куда-то за спускные пруды, где плавал туман. Будто ждала из сумерек заплутавшего путника. Внука? Сына?..

Светел вдруг испугался. А ну впрямь обозначится во мгле невесомая тень! Подплывёт к бабке, прошелестит: «Заждалась, что ли? Пойдём...»

– Бабушка!

Корениха ожила, глянула через плечо.

– Бабушка... я с тобой постою?

Корениха притянула внука к себе. Ладонью разгладила вихры, вздохнула:

– Не журись, Светелко. Будет кому Пеньково имя нести.

Бабкин огонёк был свободен от материных метаний и вспышек. Горел ровно, надёжно.

Светел кашлянул, ответил хрипло:

– И новый атя у мальчика справный будет.

Ему нелегко дались эти слова. Сам нового отца и обретал, и любить научался, и провожал за небесную реку.

Ерга Корениха негромко рассмеялась в потёмках:

– Сразу б так. Чего ради вздорничал, бестолковый? Весь дом смутил.

Из дому, кутаясь в большой плат, показалась Равдуша. Какой сон, ежели матушка богоданная на полати нейдёт! Сын и свекровка обернулись

навстречу. Равдуша притекла к ним в руки, в тепло. Всхлипнула:

– Народишко там, в дружине, лют больно... Куда идёшь, Светелко? На муки отдаю, на обиды! В люди неведомые посылаю...

Светел впрямь без радости ждал встречи с Гуляем и Косохлёстом. Другое дело белянушка, красавица Нерыжень. Вот от кого он снесёт любые насмешки. Даже синяки с радостью примет.

– Не завтра уходить, мама. И Летень дядька пригожий.

– Ещё ухо-девка их, с прозванием волчьим, – пуще содрогнулась Равдуша. – Разбойница, удушье ночное! Какому добру дитя малое выучит?

«Это она про Ильгру, что ли?..»

Толстое лопатище хрустнуло в руках Светела, как лучина. Мать бросила причитать, уставилась на обломки.

Сзади снова охнула дверь. Трое у ворот повернули головы. На крылечке стоял сонный Жогушка. Братнин кожух свисал малышу на самые пятки.

Когда Пеньки обнялись все вместе, Светелу показалось, будто их осенил нерушимыми ветвями сам Родительский Дуб. Обступили, раздвинув тьму ночи, сонмища предков.

И которой крови при жизни были те предки, Светел даже не задумался.

Воевода

Рыбные пруды, где кормился жирный шокур, таились слизистые линии и пряталась от сачков колючая мелочь, делили Твёржсу на две неравные части. Одна, прикрытая от стылых ветров ледяным валом, считалась зажиточной. Тамошние обитатели во главе с большаком Шабаршей сели у кипунов изначально. С тех пор держали старшинство, знали всех других пришлыми.

«И пусть! – говорил сыновьям Жог. – Бремена начала холку мозолят. Чем проще, тем веселей!»

Пеньков двор встал на новом месте последним, в самом незавидном углу. Когда наваливался мороз, туман тёк через вал, всовывал щупальца под плетень. Равдуша пугалась, отступит ли. Жог подмигивал ещё крепкому батюшке Корню. Мужики брались за лопаты, мальчишки хватали пращи – и с дружным криком шли на врага ратью. Что старый, что малые! От их веселья у матери неволей подсыхали слёзы. Развеивался посрамлённый туман, воскресала вера, что будет всё хорошо...

Светел внятно помнил переселение. Тяжёлые санки, в которых они пыхтели со Скварой и молодым Зыкой. Было им тогда шесть лет и четыре, Зыке – годик всего. Полтора десятка вёрст туда и назад, туда и назад. Поди выкинь из памяти.

Наконец Жог в старом лапте вынес Суседушку, вселил под новую печь... После того на прежнем месте цепенело забытище. Отец с сыновьями ещё не раз туда приходили.

«Атя, а в Андархайне теперь царь новый сидит?»

Под лыжами курился тащихой саженный сугроб, погребальный курган былого уюта.

«Нет, Светелко. Никто венца не надел».

«Почему?»

«Потому что носить его трудно, больно и страшно. Ныне ещё паче прежнего».

«Почему?»

«Велик поднимешься, уразумеешь...»

Светел до сих пор, как лучший из оберегов, носил отломышек прокалённой глины от старой печи. Гадал, сберёт ли свой Сквара.

Твёржа привыкла веселиться и судить о делах на площадном кругу

возле общинного дома. Сегодня, так уж случилось, сперва ребятня, потом взрослые потянулись улицей вниз. Твёржинские калашники, по уговору с затресскими, уходили на своё озеро творить воинские потехи. Былая воркотня по поводу ребячьих отлучек давно улеглась, отчего же переполох? А вот отчего. Парни вздумали везти с собой наставника, больного витязя Летеня. За пределами зеленца ждали снаряжённые чунки, велись последние споры, кому впрягаться сначала, кому потом. Но как ни близко к деревенской околице стояло Пеньково жильё, до снега ещё нужно было дойти. И Летень пошёл.

Снял с гвоздя плащ, помнивший дружинные дни.

В первый раз на своих ногах двор покинул.

То есть громко сказано – на своих. Слева глухого подпирал Светел. Хоть весь повисай, не дрогнет рука. Справа суетилась Равдуша. Робко приглядывалась: не бледен ли? Не устал сражаться с тягой земной?.. Сзади важно выступал Жогушка. Нёс на плече ладонь бабушки Коренихи. Ему до послезавтра мужиком в доме жить. Бабку с матерью ограждать.

А по сторонам почётными рындами шагали калашники! При копьях и щитах! Под знаменем, пыжившим храбрую снегириную грудь!

Как не выглянуть в калитку шествием полюбоваться! Как вслед не пройтись! Старенький отец большака, приятель деда Игорки, совсем было сдавший после проводов в Сегду, и тот слез с любимой завалинки. Вытребовал из дружинного строя правнука-воеводу. Придирчиво оглядел...

– Ступай уж.

Остался гладить бороду, задумчивый, строгий, довольный.

Возле запруды, откуда тянулся жёлоб на спускные пруды, подросла Розщепиха. Чуть не опоздавшая к зрелищу и немало тем раздосадованная.

– Гордо жить стала, сестрица Ерга... – отдышавшись, попеняла она Коренихе.

Бабушка спокойно ответила:

– Гордовать не в обычае, а гордиться есть чем.

Ерга с Равдушей впрямь шли как на праздник. В обновках, расшитых яркими нитками, привозными из Торожихи. В опрятных берестяных лапотках. Прикрасы куплены трудами Светела и своими. Обувка – дома обрелась, усердием плетухана.

– Гордый обычай быстрее ржи заводится, – воздела клюку Розщепиха. – Или память у тебя, сестрица, малость жирком заплыла? Я сколько лет для твоих внуков последнего не жалела. А ты? Мои в гости забежали, уж и за стол не зовёшь...

Светел поймал тревожный взгляд Летеня. Мотнул головой: чепуха.

Бабушке не впервой было рассударивать с Носыней.

– Так посади я их вечерять, – сказала Ерга, – ты, сестрица Шамша, опять криворядила бы. Я-де слух распускаю, будто внуков дома не кормишь.

– Укажи-ка мне семью гоить, – поджала губы Розщепиха. Обежала Корениху со Светелом, подобралась с другой стороны. – Я тебя, Равдушенька, было дело, красным рукавом попрекала... А ты, смотрю, вот-вот пояс справа завяжешь!

Пояс, выпущенный концами с правого боку, значил ожидание сватовства. Брови Равдуши жалко сломались, взгляд заметался. Носыня почуяла слабинку, засеменила рядом, едко заулыбалась, взглядывая в лицо:

– Прежде Жигой по мужу звалась... Теперь как назовёшься?

Равдуша прикрылась рукой, хотела спрятать лицо, но было некуда, разве только у Летения на плече. Светел даже шаг придержал. Оттереть бы злыдницу, на себя гнев её оттянуть... да как увечного бросишь?

– Может, завтра кикну снимешь? Косу по-девичьи заплетёшь? На беседу с молодыми наладишься? – продолжала бесскверная вдовушка Розщепиха. Возвысила голос с горьким подвывом: – Ой же срама дождались...

Ей, верно, казалось – срамить Равдушу прямо сейчас возьмётся вся Твёржа. Людям нравится знать себя праведными, обличать чужой грех.

Не тут-то было.

...Ключка вырвалась у неё из ладони. Шамшица грузно села наземь. Мир кругом звенел добротной заушиной, что вкатила ей дальняя сестрица Ерга.

– Мой сын тебе, дура старая, значит, задаром смертью погиб? – полетел на ту сторону пруда голос бабушки Коренихи. – Он жизнь скончал за день будущий! Чтоб в Твёрже дети орали, чтоб счастье велось! А ты бабу в цвету безмужием засушить посягаешь? Отыдь, говорю! И язык свой поганый с собой заberi! С кем восхочет невестушка, с тем заживёт благословенно! А будет на то воля Небесная, ещё лебеди новых внуков мне принесут!

Шабарша уже подроспел на помощь сестре. Внук Гарко оставил чело дружины. Вместе с дедом взялся отряхивать великую тётушку от земли и растоптанной по берегу тины.

– Ты здесь что позабыл? – вдруг спросил Шабарша. – Почто щит бросил, бездельник? Воеводе где место? У подола бабьего?

Розщепиха охала, всхлипывала, каяла гонителей правды. Гарко облился жарким стыдом. Метнул глазами на Светела. Опёнок стоял такой

же красный, беспомощный, виноватый. Каждый за свою бабуку убил бы. Но ведь не брата?

Мудрый Шабарша выпрямился, провёл рукой по усам:

– Что шаг убавили, воинство? Опоясались к учению ратному, так не мешкать стать!

Озеро издавна звалось Лукошком. Раньше здесь рос самый лучший, узколистый ивняк для корзин. С северной стороны нависал глядный обрыв. Взрослые сказывали, в прежние времена его славно холило солнце. На тёплом песке грелись змеи, цеплял редкие облака беломошник...

Жаль, после Беды здесь не проклюнулось даже плохонького кипуна. Обрух год от года лишь грозней сосульками обрастал. Ну да ратное дело постигать всяко лучше в таком месте, после коего всюду как в избе на полатах.

Сегодня здесь впервые поднялся братский шатёр. Справили его затресские. Понятно, из рогож, вытканых сверх родительского урока. И что это были за рогожи! Кто сказал, будто из них кроить лишь нищие гуньки? Уж если не краше царской парчи, то вестимо прочней. Одно слово, не на продажу закладывали, для себя. Буря умается рвать, стужа не выстудит, оттепельная вода не промочит!

На озёрном льду, вдали от Равдушиных тревожных глаз, Летень попросил копьё. Опёрся на него, как на посох, начал ходить без подмоги. Пошатнулся, взмахнул руками, сел в снег. Светел подбежал, но витязь отрёкся:

– Сам встану.

И встал. И дальше пошёл. Снова зашатался. Окрепшими ладонями стиснул ратовище, зажмурился, вспотел, устоял. Светел, кравшийся в готовности подхватить, обрадовался, шагнул. Воин сразу оглянулся через плечо. Светел даже руками развёл. Глухой-глухой, а сзади не подойдёшь.

– Дядя Летень...

Такие простые слова витязь уже узнавал по движению губ, если чётко произносить.

– Что, ребятище?

– Как ты это делаешь?

– Делаю?..

Изустно объяснять показалось долго и муторно. Буквами написать? Об этом Светел вечно спохватывался после. Он и сейчас по привычке изобразил – телом, движением. Сперва Летень, вцепившегося в копьё. Себя, прервавшего шаг. Снова Летень и как тот обернулся навстречу.

Только продолжил ударом, назначенным повергнуть врага.

Летень рассмеялся:

– Ты, ребятище, как есть лицедей досужий.

Представления Светела неизменно удивляли и веселили его.

– Научишь, дядя Летень? Знать, кто сзади?

– Ты уже это умеешь. Все умеют. Только понимать не хотят.

– Я хочу!

– Значит, скоро постигнешь.

* * *

Остатки светлого времени растаяли быстро. Ребята поставили в шатре жаровню, стали разогревать домашнюю снедь.

Дозорные ходили кругом, прятались от ветра в убежищах, вылепленных из снега. Ждали смены, завидовали тем, кто грелся внутри, и в то же время гордились: вы нежитесь, мы воинствуем!

Скоро под кровом зазвенели гусельки Небыша. Наружу полетели голоса, не слишком стройные, зато громкие, полные молодой страсти, той, что порою двигает мир.

Под беспросветным небосводом
Клубится снегом темнота...

Каждая боевая дружина свою песню несёт. Почти как ремесленная артель. Разница в том, что у трудников песни – работницы, у витязей – воевницы. После Вагаши, где Светел обдирал струнами пальцы, славнуки взялись горланить «Воеводу». Творение Кербоги и теперь звучало над озером. Разгоняя холод и мрак, рдели угли в жаровне, а по рогоже шатровых стен скользила тень Светела.

Да не Светела уже!

Ступая через ноги калашников, по узенькому свободному пространству, ставшему бесконечными путинами Левобережья, брёл, хромая, раненый Воевода. Взятый врагами, измордованный, но упрямый и гордый!

Надо же было Летеню вовремя помянуть лицедейство. Всего словцо изронил, да волной подхватила то слово могучая песня Кербоги. Вынесла память на бережок, где дощатую подвысь вдохновенно попирали двое

мальчишек. Два брата, темноволосый и жарый. Бог Грозы, Бог Огня. Младший вскидывал два меча, старший рвал незримые пути.

«За обоих нас я раны приму...»

Надо было видеть, как Светел крушил цепи, вросшие в тюремную стену! Подвернись под руку настоящие, и те разметал бы. Вот победно воздел кулаки, мало не снеся низкий кров. Потянулся на милый север, всё медленнее, слабее, увязая в снегу. Упал наконец, но и тогда приподнялся, простёр к родным холмам руку!

Глядя на Светела, Небыш сам взмывал выше головы. Посрамлял всё прежде достигнутое. Гусли кликали лебедиными стаями. Рокотали воинским кличем. Отзывались голосами близкой подмоги.

И всем было ясно: Воеводу несли на щитах покалеченного, изнурённого, но живого. Мчали в тепло родимого дома, где ждали мать с бабушкой и братёнок. Кто бы убедил далёких потомков, что песня подсказывала совсем иную кончину! Славнуки жаждали совокупной силой душ, чтобы Воевода вернулся. Стало быть, на самом деле так и свершилось. Ибо лишь так было правильно и хорошо!

...Когда воздух медленно перестал трепетать послезвучанием гуслей, а калашники вернулись в привычный мир, Светел сказал то, что только возможно сейчас было сказать:

– Дядя Летень, у нас разное бают...

Пришлось повторить несколько раз. Витязь наконец понял:

– О чём?

– А в которую войну это было. Одни говорят, когда Ойдриговичей отваживали. Другие... – Светел помолчал. – Другие... Прежних памятуют.

Летень пожал плечами:

– Крыло тоже Кербогу спросил, когда песню перенимал. Тот ответил: века считать без толку. Важно, что люди в сердце несут.

– А всё же?

– Кербога обмолвился, будто однажды пришлось ему много старых книг перечитать. Инно повести встретились, каких дотолё не знал. Про царей с царевнами да откуда великие имена повелись... В тех книгах и про мост Кровавый повесть была. С тех пор мы, когда там бываем, Воеводе кланяемся. И песней Кербогойной ему славу поём.

Калашники молчали. Переглядывались. Было зябко и жутковато. Шатёр с маленькой жаровней стоял один-одинёшенек, до ближайшей деревни – полсуток во все лопатки бежать.

«Возле моста никаких стен нету, – раздумывал Светел. – Может, иначе петь надо? „Не пропустив врага на Вен“... – и сам испугался: – Это я,

околотень, кого поправлять вздумал?»

Гарко будто подслушал:

– Люди сказывают, андархи тоже про Воеводу поют. Только у них он будто бы с хасинами дрался.

Парни заулыбались:

– Пусть врут. Мы-то знаем.

Светел взял остывший уголёк, написал на ладони, показал Летеню.

– Боязное ремесло у Кербоги, – задумчиво проговорил витязь. – Когда твои песни расходятся, как круги по воде, одного слова хватит, чтобы язык усекли. Как деду Гудиму.

Небыш разворошил угли, спросил своё:

– Так Воеводу что... правда в железах? На торг рабский?

Светел кандалами замкнул на руках пальцы, угрюмо нахохлился. Повторил спотыкливый шаг пленника. Витязь кивнул:

– Это Кербога для красного словца вставил. Победное войско вёл Гедах, сын семьи, которую теперь зовут праведной. Он вспомнил о благородстве. Взял пленника в дом, приказал ходить за ним то ли жене, то ли сестре. Она, говорят, Воеводе потом сбежать помогла.

Гарко спросил:

– А правда, будто у царей временами дети рождаются... точь-в-точь Прежние? Темноволосые, зеленоглазые?

Ребята стали смеяться:

– Отомстил Воевода!

– Андархи нам полторы деревеньки оставили пригульных, а мы им – вона!

– Только мы выродам смеёмся, а первые Гедахи, говорят, круты были на расправу. Всех убивали.

– Ну и доискались себе на голову Беды. К нам-то брызгами долетело.

Шатёр наполнился теплом. Вблизи жаровни даже дыхание паром не клубилось. Витязь оглядел хохочущих парней, всё понял без объяснений.

Один Светел знай хмурился. Повременил, тронул глухого за руку:

– Дядя Летень, а... с Крылом-то что случилось?

Витязь понял только после того, как Светел бросил пальцы к воображаемым струнам и, будто довершив песню, сронил голову на плечо, воздел руку в сторону, отпуская гулы на волю.

– Вот ты про что, – вздохнул Летень. – Нет, парень. Не знаю, как гусельки сиротства дождались. Только пальцы видел поломанные.

– Пальцы? – ахнул Светел. – Кто ж его?.. – Успел отчаяться: – Тоже не знаешь?..

– Это знаю. При мне было.

– Кто?!

– Лишень-Раз.

– Да за что же?..

– А не в час о побратимстве запел, от коего Ялмак отбежал.

Светел долго молчал. Наконец откашлялся.

– Ты меня, дядя Летень, жестокими науками наторяй. Чтоб я этого Лишень-Раза где встретил, там и убил.

Говорил он сквозь зубы, но витязь очень хорошо понял его. Стиснул руки, будто на что-то решаясь. Ответил неожиданно:

– И ты меня.

– Чему, дядя?

– Ремеслу. – Летень разглядывал свои ладони. – Твой брат ещё мал. Я в дружине больше не воин. Если с хлеба не гоните, лыжи уставлять научусь. Мало чести праздновать, когда другие спину не разгибают.

Под утро Светел и Гарко вместе несли дозор. Сперва ходили молча. Потом Гарко сказал:

– Бабки наши что... теперь в ссоре пребудут?

Светел помолчал, подумал, ответил:

– Бабки наши век прожили. Умели рассориться, сумеют поладить.

Гарко тоже задумался.

– Ты, брат, Воеводу красно вывел. Аж дух занялся. А ведь ты... ну... – И понизил голос: – Гедах этот вражий – тебе родня?

В Твёрже редко поминали происхождение Светела. Зря ли говорят: и в бревне сучок лишний может найтись. Светел отмолвил:

– Я не про андархов с Прежними думал. Я героя представлял и недругов злых.

– Скучно без тебя будет, Опёнок.

– Этого не бойся, – засмеялся Светел. – Жогушка вчера «Лихо в Торожихе» с начала до конца сыграл. Под песню совсем верно бряцал и уже под драку пытался.

– Правда, что ли?

– Правда святая. Мама аж плакала.

– С чего ещё?

– Сказывала, соловушкой поёт. Сквариным голоском. Ему правда гусельки легко отзываются. А чего я не успею, Небышек преподаст.

– Бабам лишь бы слёзы точить, – скрывая чувство, пробурчал Гарко. – Небышек вон песню начал слагать. Про бабок наших. Смешную. – Гарко

помолчал, перестал улыбаться. – Ты... вернёшься же?

– Сказано, брата выручу, к матери на порог приведу. Значит, сам с ним приду.

– А потом?

«Венец отеческий принимать... мораничей, за неправду их, как крапиву из огорода...» Светел обвёл взглядом еле видимый подветренный берег. Снова вспомнилось, как они со Скварой и атей бежали пустошами Левобережья. Ёлки, росшие то ли из двух корней, то ли из одного. Уверенное ожидание завтрашнего веселья... эх... Светел повёл плечами, гоня разбежавшийся по лопаткам мороз.

– Даже гадать не хочу, – ответил он честно. – Зарок исполню сперва, там видней будет.

– А всё же? Вот глянь, сядешь на государство...

Звучало несбыточно. Как окончание долгой песни, затеянной неопытным гусяром.

– Будет то, что будет, даже если будет наоборот, – сказал Светел. Встряхнулся, подпрыгнул на месте, хлопнул рукавицами. – Давай, что ли, брат-воевода, копьями на любки поиграем, руки-ноги оживим!

Царский выход

Царевна Змеда выплыла в переднюю комнату совсем неожиданно. Ознобиша с Галухой поздравствовали ей большим обычаем:

– Государыня...

У них ещё ничего не было готово. Ознобиша только застелил узорным покрывалом скамью. Видавший виды сундук попущеника, столь уместный в Чёрной Пятери на избитых столах, был чужероден среди изысканного убранства. Галуха открыл его, но гудебные снасти разложить не успел. Сарафан Коршаковны, неизменно чёрный, расшитый на сей раз цветами шиповника, прошуршал подолом мимо уткнувшихся лбов.

– Для чего ты перевесил ковры? – спросила царевна. – Я своей передней не узнаю. Даже голос по-другому звучит.

– От моей госпожи не ускользнёт ни единая мелочь, – приподнял голову Галуха. – С позволения твоего царского преподобства, это ради верного биения звуков. Я убрал излишнее эхо...

Змеда с радостью согласилась быть хозяйкой выхода, всех принимать, привечать, потчевать. Её покои исходно были водоскопом, обширным и гулким. Изобретательность царевны наполнила каменный мешок теплом и уютом. Там, где когда-то собиралась дождевая вода, разгоняли сумрак светильники, переливались многоцветной шёрсткой ковры.

– Ради звучания ты пожертвовал красотой, но, может быть, гости простят меня, если ты должным образом их возрадуешь... – Коршаковна любознательно заглянула в сундук. – О! Я вижу среди утончённых снастей любимые простолюдьем. А это что там внизу? Никак гусли? Добрый Галуха, ты не забыл, какого гостя я принимаю сегодня?

Галуха ответил со всем почтением:

– Пусть государыня будет надёжна. Этот слуга сопровождает беседу знатных негромкими, всеми любимыми песнями, пришедшими из давних времён. Благочестный жрец не услышит гуслей, отрицаемых его верой, и даже их не увидит.

Змеда улыбнулась неожиданно лукаво:

– Достань-ка мне их, пока гости медлят.

Пухлые пальцы отважно побежали по струнам. Коршаковна играла верно и с удовольствием.

– Моя госпожа немало трудилась, овладевая приёмами...

– Батюшка приказывал заниматься, чтобы не оплошать перед дядей

Аодхом. Потом однажды велел истребить в Еланном Ржавце все гусли. С тех пор я не брала их на колено. Будь я моложе...

– Не в обиду моей государыне, – помолчав, заметил Галуха, – мудрые говорят: впереди вечность.

Когда Коршаковна удалилась повелевать блюдницами, Галуха закрыл руками лицо:

– Владычица по грехам ум отняла! Почему я в эту дверь сразу не постучался? Не смекнул, что Гайдияр мне в чужом пиру похмелье устроит?

Какой такой пир, Ознобиша не понял, но пепел давних страстей явно ещё клубился. «Ветер говорил, слабый жалеет о несделанном, сильный – о сделанном. Глупо то и другое: обрати ум на будущие дела, чтобы не пришлось снова жалеть. Хочешь от Гайдияра уйти? Думай, попуccеник, как Эрелису полюбиться...»

Царский выход – важная притча. Всякий, кто вхож, волен предстать праведному. Привлечь его взор. Попросить справедливости или службы. Гости начали собираться строго по чину. Красные бояре едва замечали Галуху, милостиво кивали Ознобише и не догадывались, кто их всех здесь собрал.

У дверей возник жезленик Фирин. Стукнул посохом:

– Благородные царевны Моэл и Моэн, дочери Хида, восемнадцатого в лестнице!

Возвещать Фирин умел. Звучало как многолетье царской чете в святое брачное утро.

За спиной обрядоправителя мерцало золотое шитьё, искрился бисер. Девушки проплыли по ниточке, не поднимая глаз. Тонкокостные, ухоженные, безупречно красивые. Подолы изящно вились, отвечая «лисьему ходу».

В чинные разговоры исподволь вплёлся голос глиняной дудки, вроде той, что радовала исад. Растопыренные пальцы Галухи поднимались по два, по три, открывая и закрывая маленькие отверстия. Звучала хрустальная песня капли, бегущей по ледяным скалам. Ознобиша выдохнул с облегчением. Он-то спорил: не дело нищенской дудке на царском выходе свиристеть. «Нищенствует игрец, а не дуда, – упёрся Галуха. – Какой босяк тебе сыграет, чтоб глина пела, как серебро?»

Подле Фирина переминался нарядный отрок, тощее дитя удушливых подземелий. «Родича себе в помощники холит?» Мысленный лествичник тотчас раскрылся. Древo Фирина обрывалось на самом старике, но рядом тянулась ветвь сестры с единственной почкой. «Мадан! За его долги старый слуга на правеже умер...» Обрядчик строго взглядывал на племянника.

Недоросль не замечал: красота царевен манила сильнее дядиного искусства.

– Благочестный Люторад, сын святого Лютомера, чтущий закон Царицы Мораны!

Молодой жрец низко, почтительно поклонился знатым гостям. В тёмных волосах красивая седина, узкое, собранное лицо духовного делателя. Ознобиша сразу почувствовал себя маленьким, неприметным, ничтожным.

Сверкнуло перо на посохе Фирина, грянул в пол наконечник. Голос раскатился особенно вдохновенно:

– Третий наследник Огненного Трона и Справедливого Венца! Эрелис, потомок славного Ойдрига, щитоносец северной ветви, сын Эдарга, Огнём Венчанного! Добродетельная сестра его Эльбиз, сокровище Андархайны!

Харавониха созерцала царят сквозь счастливые слёзы. Как они выбирали наряды, как оттачивали походку!.. Из-под парчовых охабней казался изумрудный атлас. Эрелис выступал, вскинув подбородок. Эльбиз... Ознобиша ждал «лисьего хода», но царевна семенила потупясь, застенчиво прикинув к братниному плечу. Угловатый мальчишка, неведомо зачем всунутый в давящую ферезею... Галуха схватил дудку-двоенку, сопровождал выход Эдарговичей строгим воинским прославлением. Всё шло хорошо.

Племянник обрядчика забыл младших царевен, раскрыв рот уставился на Эльбиз. Фирин, кончивший возгласение, незаметно толкнул недоросля.

На другой руке Эрелиса, в складках подобранного рукава, разлеглась Дымка. «Когда в судебню зовут или в таимный покой, ты кланяешься обычаю, – сказал Ознобиша. – Здесь обычай твой. Ложку резать начнёшь, дети боярские за теслички возьмутся!» Эрелис выслушал. «Начну с малого. Не то пальцы порежут...»

Глиняная вагуда повела сдержанную хвалу. Малый царский выход шёл своим чередом. Дочери Хида вытащили из корзиночек пальцы, Эльбиз – любимое бёрдо. Гости отдавали почести хозяйке, кланялись Эрелису, комнатные девушки Коршаковны обносили их угощением. Это также был новый обряд, утвердившийся в дворцовых пещерах: вкушать лакомства прямо с блюд, гуляя в палатах. Ознобиша ждал, что Люторад сразу заведёт беседу с его государем, но к мораничу подошла Змеда:

– Благослови мою домашнюю божницу, святой жрец.

Она хранила грамотку от Злата, прибывшую вместе с письмом Ветра. Даже мирволила Ознобише, поскольку он был из воинского пути.

– Добрый господин Фирин, – произносил между тем Эрелис, – ты

усердно и дружелюбно служил нам сегодня. Как я могу вознаградить твоё искусство и труд?

Жезленик вытянул оробевшего недоросля вперёд:

– Пади перед праведным Эрелисом, малыш! Вот, государь, сын моей любимой сестры, вихрями Беды унесённой. Если сыщется у тебя порученице, чтобы свет белый измерить и преданность оказать, уж ты про детище моё не забудь.

Взгляд царевича сделался прозрачным, обманчиво-рыбьим.

– Не забуду, славный Фирин. А служба для юного Мадана у меня, пожалуй, скоро найдётся...

Галуха украсил хвалу всеми мыслимыми цветами, пропел робко и смело, грустно и радостно. Звуки дудочки, как ловкие слуги, искусно вились меж людских голосов. Всё шло хорошо. Ознобиша взял с блюда шарик чего-то жареного, проглотил, но вкуса не понял.

– Ты права, государыня, дорогой ходили упорные слухи о разбойниках. Нам даже передали скорбную весть о гибели нашего единове́рца Таруты, но никто нас не побеспокоил ни днём, ни в ночи, – рассказывал Коршаковне Люторад. – Владычица всемогущая оградила.

Племянник Фирина жевал постилу и знай пялился то на пригожих служанок, то на великих наследниц. «Стань сначала царственноравным, – позлорадствовал про себя Ознобиша. – Не службишки попроси – страшного подвига для дееписаний! А ты думал, дядин жезл тебе царевну доставит?»

Люторад низко склонился перед Эрелисом:

– Этот служитель Правосудной прибыл к стопам праведных из Шегардая, воздвигающего престол тебе, государь.

Третий наследник милостиво кивнул:

– Сядь со мной, радетель Матери Мораны. Поведай нам с сестрой о городе предков.

Эльбиз подхватила бёрдо с нитками. Покинула сестрёнок и тихо подбиравшихся к ним боярских сынов. Спряталась за спиной брата. Царевнам Андархайны несвойственно входить в дела правления, их не занимают разговоры владык, но мыслимо ли повесть о родном городе упустить!

Ознобиша огляделся.

Великий законознатель Цепир, пришедший заместком владыки, сидел отчуждённо, молчал. «Праздных сборищ не любит. Разум нечем занять, и больной ноге неудобно...» Ознобиша приблизился, поклонился. Встретил неприветливый взгляд.

– Этот райца лишь хочет поблагодарить тебя, правдивый Цепир. Я убедился: игра с отысканием козн замечательно сосредотачивает рассудок.

– А я думал, ты уже разорил всех зерновщиков на исаде, – желчно отмолвил Цепир. – Тебя постоянно видят среди немых мезонек. Пристойно ли это твоему сану?

– Из немых сирот, попади они в хорошие руки, могут вырасти толковые слуги для государя, – сказал Ознобиша. – Я свёл знакомство с одним юношей... В голодный год его ослепили отчаявшиеся родители. Бедняки надеялись, что бродячий игрец легче найдёт пропитание. Если бы его немного подучить...

– Так вот чем ты занимаешь своё время, молодой райца. Вместо постижения судебников и шегардайских старин устраиваешь судьбу нищего дударя. Это не он тебе пособлял скоморошью песенку сочинять?

Ознобиша поклонился и отступил, чтобы сразу угодить в общество Мадана. Обещанная служба словно загодя возвеличила юного Гриха. Ещё не начавшись, сделала первейшим приближённым Эрелиса, отодвинула всех прочих к слугам в людскую. Он откусил постилы.

– Верно ли, что в Шегардае возводят настоящий дворец?

Ознобиша ответил ровным голосом:

– Так говорят.

– Значит, скоро в дорогу?

– Когда государь повелит.

– Ты, райца, несдружлив. Праведному подобает советник, менее обойдённый вежеством, да и статью! Дядя говорит, тебя из жалости держат, до первой оплошки. У Ваана десять искателей на твой знак приготовлено!

Ознобиша успел мысленно родить немало ответов. От бьющих в хлюст – до таких, в которых Мадану ума не хватило бы ощутить яд. В это время за спиной что-то начало происходить. По ту сторону ковровых завес, в прихожем чертоге, стукнула дверь. Лязгнуло железо. Взвизгнула и умолкла дудка Галухи. Ознобиша обернулся, уже стоя между Эрелисом и входом, нащупывая черен зарукавника. Пальцы сразу разжались. Сражение, увиденное почти наяву, развеялось мороком. В передний чертог входил Гайдияр.

Похоже, Площадник шагнул прямо со стога, давших ему прозвище. Старая кольчуга, облезлые сапоги. Потрёпанная накидка, измаранная грязью и ржавчиной. В чертоге затихли разговоры, все смотрели на воеводу.

– Я к тебе, великий брат, лишь поклон отдать заглянул, – усмехаясь в усы, проговорил Гайдияр. – Не всем же праздновать, когда в городе

кошельки режут и воровские сговоры учиняют.

Галуха поднял упавшую дудку, но забыл, что с ней делать. Вцепился, как тонущий в протянутое весло. Взгляд метался по сторонам.

Эрелис невозмутимо указал на подушки:

– Присядь с нами, хранитель города, отважный брат и любимый друг мой. Дай себе отдых среди бескрайних трудов.

Гайдияр не заставил упрашивать. Сел, с удовольствием вытянул ноги. Принял у Коршаковны тонкий фойрегский кубок.

– Ты, старший брат, видишь суть: труды мои бесконечны. Люди не спешат предаться добру, а верных сподвижников раз-два и обчёлся... Ты ещё убедишься, как тяжко, когда изменяют обласканные. Один знамя целует, потом чуть что – из войска бежит. Другому даёшь кров, пускаешь к столу, а он уже завтра в чужие руки глядит. Ищет, где жирней подачка перепадёт... Что же, старший брат, твой гудец так долго молчит? Прикажи, пусть играет. Без песен вино скучно и лакомства не сладки.

С удовольствием откусил рыбного пирога, запил щедрым глотком.

– Продолжай, любезный Галуха, – сказал Эрелис.

«Продолжай! – мысленно взмолился Ознобиша. – Закрой глаза и продолжай! Здесь нет ни души, ты лишь упражняешься!»

Его собственный первый день в Выскиреге. Порядчики, бутылка, тень Лихаря. Другой день, поближе. Вскинутые щиты... голова на колу, шкура на воротах расправы... Великая, древняя, грозная власть. Беспощадная, если нечаянно потревожить.

Под взглядами всего выхода несчастный игрец поднёс дудку к губам. Зажмурился. Начал самую простую попевку, которую, пожалуй, сыграл бы и Ознобиша. Довёл до середины... сбился. Вздвогнул, словно стрелу поймав. Выправился, доиграл. Начал сызнава. Нежная, трогающая сердце голосница звучала отрывисто, обречённо. Гайдияр похваливал вино, весело рассказывал какой-то уличный случай. На Галуху больно было смотреть. Ознобиша нутром чувствовал, что будет дальше. Игрец сбился опять. На том же месте. Выправился, продолжил.

– Право тебе ходить, законоискусник Мартхе, – сказал Люторада. – Люди, приверженные истине, радуются, видя нашего единоверца за плечом наследника Шегардая.

Ознобиша вежливо поклонился:

– Да будет Справедливая довольна тобой, благочестный жрец.

Они стояли друг против друга, держа руки убранными в широкие рукава.

– У тебя, правдивый райца, внешность северянина и повадка

выученика воинского пути, – сказал Люторад. – Ты, верно, из сирот Левобережья, принятых под крыло моим добрым другом Ветром?

«Добрым другом!..»

– Мой господин весьма сведущ. Однако этот ученик пришёл на порог Владычицы немного не так, как остальные. Меня взяли на смену старшему брату.

Взгляд Люторада стал очень пристальным.

– О, вот как! Родитель столь крепко верил Владычице, что решил второго сына Ей посвятить?

«Да ты, жрец, ничего толком не знаешь. Был бы Ветер в самом деле твой душевный друг...»

По счастью, братейка давно изобрёл способ напускного бесстрастия. Ознобиша вообразил копчёного окуня. Горячего, сочащегося душистым жирком. Сосредоточился на его вкусе во рту... Даже чуть улыбнулся. Ответил ровным голосом:

– Случилось так, что мой брат был казнён за отступничество. Я стараюсь служить Правосудной с честью и верой, как и ему следовало бы.

– Теперь я припоминаю горе, омрачившее дни великого котляра, – проговорил Люторад. – Я восхищаюсь тобой, правдивый Мартхе. Ты должен был явить несравненную одарённость, помноженную на великое усердие. Как вышло, что ты не свернул на путь озлобления?

Скрывать правду было бессмысленно. Люди всё всегда знают. Особенно о тех, кто на виду.

– Злые мысли не миновали меня, – признал Ознобиша. – Я шёл в книжницу, подумывая спалить её, но вначале решил найти книгу, сгубившую брата. Так я напал на песню про царевну Жаворонок и воина Сварда...

Люторад почему-то вскинулся, будто при нём крамольную «Умилку» взялись хвалить. Странно. В Чёрной Пятери песня о подвиге Сварда не считалась запретной.

– ...и открыл в старинных писаниях свет, силу и красоту, – внимательно наблюдая за жрецом, договорил Ознобиша.

Дудка вновь произвела грешный звук. Несчастный Галуха, как стреноженный, всё силился сыграть песню чисто с начала до конца. И... не мог пройти заговорённого места. Знатные гости уже ждали ошибки, смеялись, весело хвалили гудилу.

– Святые слова ты молвишь, брат по вере, – собравшись с мыслями, вновь начал жрец. – Твой путь к свету Матери начался утратой и гневом, но ты вышел из мрака. Увы, соблазны скоропреходящего дня слишком многих

отвращают от духовного блага. Простецы никак не поймут, что для наказания себе и другим. Верно, ты согласишься со мной, что долг сильных этой земли – всемерно приближать возвращение солнца?

– Счастье и благоденствие подданных есть смысл царства, – сказал Ознобиша. – Так заповедал ещё славный Эрелис, первый этого имени и предок моего государя.

– Люди связывают немало надежд с именем Эрелиса Пятого, восприемника бывшего величия. А дети Владычицы видят в тебе брата, который их не оставит.

Ознобише сжала сердце тоска. Почти как в разговоре с Галухой возле бутылки. Вот они, тягостные испытания райцы!

– Без сомнения, мораничи обретут у ступеней трона милость и справедливость, достойную славных государей бывшего... – Ознобиша знал: его дальнейшие слова жрецу опять не понравятся, но сказал всё равно: – Как и верные иных Богов, правящих Андархайной.

– Такое рвение к вере тебе преподали в котле? – помолчав, спросил Люторада.

– Мне преподали служение истине и верность господину. Советник пребывает вне племени, где родилось тело, вне веры, воспитавшей дух. Праведные цари признают множество поклонений. Так ведётся ещё с древних войн, когда союзные народы молились врозь, а в битву шли вместе.

Люторада ответил с безупречной любезностью, не выдав разочарования:

– Быть может, правление в Шегардае наведёт третьего сына на благотворные размышления. Тем более что нынешний предстоятель воистину свят.

Царевич Гайдияр опрокинул последний кубок и встал. Поправил налатник. Стёр улыбку, вновь становясь суровым Площадником. В чертоге сразу стихли все голоса.

– Веселись, великий брат, а меня дело ждёт.

Эрелис учтиво ответил:

– Удачи тебе, славный брат, отважный хранитель спокойствия.

Гайдияр попрощался малым обычаем, коснувшись рукой ковра. Провожаемый поклонами знати, миновал растоптанного Галуху, не посмотрев. Когда закрылась дверь, тот медленно опустил дудку. Дрожащие пальцы, пустой взгляд. Ознобиша много раз видел страх, но не такой. Это была уже-не-жизнь утки, которой хозяин завёл крыло за крыло и поднял тяжёлый косарь. «А я ему помочь думал...»

– Отдохни, добрый гудила, – сказал Эрелис. – Освежись угощением и питьём.

Галуха попытался сесть. Залубеневшие колени сперва не хотели сгибаться, потом подломились. В палате возобновились разговоры и смех. Ознобиша повернулся к Лютораду:

– Да пошлёт Владычица доброму старцу ради нас ещё много земных лет. Мы надеемся, благословивший первый крик государя благословит и его рождение как правителя.

– Истинные слова. Многие оставили предубеждения, встретившись со святым.

«Благой дедушка всегда стоял за обиженных, не спрашивая о вере...» Ознобиша сотворил знак Правосудной:

– Кому судить о святости, как не тебе, достойный сын Краснопева! В Чёрной Пятери, уходя на орудье, ищут правду духа в молельне во имя твоего отца. И тебе прочат высокое место под рукою Владычицы.

Они поклонились один другому. Лютораду улыбалась гостеприимная Коршаковна. Молодой жрец вернулся к ней и к Эрелису.

– Люди говорят, шегардайский храм славен хвалами, – припомнил царевич. – Не доведётся ли нам услышать песнь веры из тех, что любезны благому предстоятелю?

Люторад задумался на несколько мгновений.

– Если таково твоё желание, государь, позволь возгласить одну, достигшую нас недавно, – сказал он затем. – Я, в духовной слепоте, полагаю её слишком вольной и мирской... это как бы не совсем даже хвала... но мудрый предстоятель снисходительно усматривает в ней пользу. Кроме того, она здесь многих порадует, ибо пришла из воинского пути.

Говоря так, Люторад с улыбкой поклонился Коршаковне, ведать не ведая, как восторженул у него за спиной Ознобиша. «Сквара! Братейка!»

Люторад запел верным голосом, обязанным упорным занятиям много больше, чем природному дару.

К должной поре плодоносит любой посев...
Если живых постигает всевышний гнев,
Кто-то припомнит, всегда ли был прям и прав,
А у другого лишь станет чернее нрав.
Кто-то последним куском накормит сирот,
Ибо иначе кусок не полезет в рот,
Чья-то, напротив, в кулак сожмётся рука:
Выпросишь у такого только пинка.

Гонят оборвышей прочь от сытых палат,
Будто в случившемся кто из них виноват.
Будто в два раза полнее станет лабаз,
Если не видеть голодных сиротских глаз...

Ознобиша понял, почему Люторад избрал именно эту «вольную и мирскую» хвалу. Она просто была несравнимо краше других. И словами, и голосницей. А ещё, послушав её, хотелось творить добро. «Осуждай меня сколько хочешь, строгий Цепир. Я прав...»

Что́ твоя сила, кулачный боец честной,
Если ты за бессильных не встал стеной?
Если жестоких обидчиков бедноты
Кто-то другой разогнал – почему не ты?
Жрец, оглянись! Вот оборвыш мимо прошёл.
Лоб хоть совсем расшиби о храмовый пол,
К Небу на крыльях молитв не взмует душа,
Если осталась пустой ладонь малыша.
Каждый в урочный свой час шагнёт за черту.
Сделает шаг, трепеща на Звёздном мосту.
Вот когда праздное золото сундуков
Душу закрепостит прочнее оков!
Если ж чужой не была чужая беда,
Слёзы убогих точились не как вода,
Сколько бы тяжких грехов ни начислил жрец,
Смех и свобода спасённых – тебе венец!

– Это уже не первая достойная хвала, обретённая в Чёрной Пятери, – довершил Люторад. – Наш добрый друг, великий котляр, поистине достоин прославления. Он учит детей воинского пути служить престолу не только вооружённой рукой, но и словом.

Ознобиша перебрался поближе к Эрелису и Эльбиз. Царский выход длился.

Тремя днями позже Ознобиша стоял на выскирегском привозе. Время вернулось! Фыркали, чуя снег вдалеке, запряжённые оботуры. Купец Калита в сопровождении писаря обходил поезд. Проверял перед дорогой

товары, телеги, людей. Прямо у колёс крутились пронырливые мезоньки. Чего не выпросят – украдут в суете. Ознобиша и Галуха приглядывали, как грузили в оболочку расписной короб. Нетяжёлый, но довольно объёмистый.

– Ты куда теперь, наставник? Может, всё же постучишься в Невдаху?

Игрец зябко кутался в шубу, хотя до морозных мест ехать было ещё полдня.

– Нет уж, – пробормотал он, глядя в сторону. – Хватит с меня котла.

«И от праведных куда бы подале, – добавил про себя Ознобиша. – Мыслил из рук хлебушка поклевать, самого чуть не склюнули...» Галуха подтвердил его мысли:

– Думаю, пока в Шегардай. А там, глядишь, была не была, с кощьями за море.

– Говорят, в Аррантиаду стали переселяться богатые, – кивнул Ознобиша. – Найдётся кому твоё искусство вознаградить.

Галуха вдруг спросил его:

– А тебе у твоего царевича надёжно живётся?

«Эрелис вырослел вдали от дворцов. Он видел смерть и чтит павших ради него. Он говорит, знатные без простолюдья – голова, лишённая плеч...»

– Этот райца не надеется отслужить его многие милости и каждодневное заступничество.

Галуха вздохнул, досадуя:

– И дёрнуло меня предпочесть зрелого государя... Э, да что теперь.

– погоди, – сказал Ознобиша. – Меч Державы слывёт скорым на гнев, но все соглашаются: закон для него свят. Скажи, что мне следует знать? Отчего ты в его присутствии забыл ремесло?

Галуха уставился в сторону. Поджал губы. Ознобиша повторил:

– Спрашиваю, ибо причина может сказаться на моём государе, а я бы этого не хотел.

Галуха огляделся. На всякий случай повёл Ознобишу прочь от поезда. Здесь под ногами хрустела россыпь битого камня, покрытого ржавым налётом, серым лишайником.

– Я кое-что видел, – шёпотом начал игрец.

Прозвучало так, что у Ознобиши по плечам пробежал мороз.

– Помнишь, – продолжал Галуха, – когда тебя привели порядчики, государь велел вооружить недавно взятых разбойников?

– Как не помнить...

– Позже он ещё не раз повергал их, доказывая могущество различных приёмов. Сочтя, что пленники слишком отчаялись и стали слабо

противиться его руке, он с ними покончил. – Галуха сглотнул, помолчал, решился: – Он встал... – Толстяк попытался изобразить грозную стойку. – Вот так выдохнул... и... И что-то погасло. Я не знаю, Мартхе. Они просто умерли. – Галуха оттянул ворот шубы, словно тот давил ему шею. – С того дня я себе казался пойманной мухой. Сейчас сомкнётся кулак... – Галуха содрогнулся, прижал руку к груди. – Да благословит Небо твоего государя, купившего мне место в поезде...

Ознобиша с усилием подавил страх, казалось бы давно пережитый. Древняя власть. Грозная даже в милости, смертоносная в гневе.

«Да кто бы Эрелису денег дал платить за тебя! Царевну благодари. Она на торгу мои начертания города купцам продаёт...»

Окул уже шёл вдоль поезда, покрикивая:

– Поспешай, не отставай, в путь выступай! Оглянись, поклонись, о возвращении помолись!

– Ни за что не вернусь, – содрогнулся Галуха. – Помолюсь лучше о том, что ждёт впереди. Прощай, Мартхе.

– Прощай, наставник.

Со скрипом провернулись колёса головной телеги, за ней потянулись остальные. Дорога шла вверх. На вершине долгого изволога, в Ближнем перепутном дворе, телеги поменяют на сани – чтобы снова встать на колёса лишь у Невдахи, где берёт начало спуск к Подхолмянке. Тучи, плывшие с Кияна, на возвышенности задевали землю. Ключья тумана то прятали удалявшийся поезд, то вновь открывали. Когда глаз перестал различать шубу Галухи, шагавшего рядом с телегой, Ознобиша повернулся, пошёл назад в город.

Верхние зевы жилых пещер некогда служили для праздничных выездов царевичей и вельмож. В старину их перекрывали резные ворота, слева и справа почётными рындами высились изваяния героев и полководцев. Теперь – большей частью обрушенные. Умиравший город не находил сил восстановить былые прикрасы. Из каменных рук, ног, голов пополам с простыми обломками сделали загоны для оботуров. Косматые тягачи облизывали властные лики под пернатыми шлемами. Лакомились солью, осевшей из морского тумана.

Зримое отражение могущества праведных, сметённого пламенем Беды.

Неколебимо стояло лишь несколько изваяний. Трёхсаженный Ойдриг Воин держал на ладони резной город с башнями и дворцом. Плывущая мгла омывала сурово-красивые черты, делая Ойдрига похожим и на Эрелиса, и на Гайдияра, и на владыку Хадуга. Молодой советник низко

склонил голову. Ознобише не очень хотелось кланяться завоевателю Левобережья. Райца Мартхе чтил строителя Шегардая и предка своего государя.

Он ещё постоял у входа в пещеры, силясь представить, как, наверное, уже скоро выйдет отсюда вместе с Эрелисом и Эльбиз. В дорожной одежде. Последний раз вдохнёт морской ветер. Оглянется...

– Проводил? – спросил Эрелис. Ножки низкой скамеечки тонули в опилках и мелкой стружке. Чёрная дуплина давно обратилась кружевной башенкой в три десятка сквозных окон. Царевич обтёсывал заготовку для деревянного образка. Подгонял по размеру оконца у основания башенки.

Эльбиз сидела, обложившись поличьями, доставленными из книжницы. Раздумывала над внешностью и одеждой исконного отца всех царей, братниного тёзки.

– Проводил, государь.

Эрелис отложил резачок.

– Я со страхом ждал необходимости карать, но теперь вижу, что и миловать не умею. Взявшись служить на моём празднике, Галуха чаял радостной перемены в судьбе. А я даже не смог защитить его от страха перед Гайдияром. Наверно, следовало щедрей воздать ему...

– Вознаграждаются не намерения, а дела, – сказала царица.

Ознобиша добавил:

– На воинском пути говорили: в кругу плясать всякий горазд, ты спляши, когда над головой стрелы свищут. Нельзя избавить от страха. Галуха просил испытать его искусство и не выдержал испытания. Тебе впору бы наказать и меня, ведь это я в нём ошибся.

«И ещё мы оба по носу получили. Ты от Гайдияра, я от жреца. Дерзали судьбы вершить, а сами – что снежинки на могучем ветру. Котята, встрявшие в игры взрослых котов...»

Эрелис долго молчал, раздумывая над словами советника. Эльбиз переключалась на книги. Вот юный всадник летит на врага, возглавляя таких же яростных и безусых. Вот толстый властитель на престоле. Какой лик предпочесть?

Царевич заговорил наконец:

– Правда в том, что нам преподали урок. Гайдияр, мне доносят, пойманных бесчинников на радостях отпускает, даже не избив. А ты после разговора с Люторадом впервые проиграл мне в читимач.

Это была суцкая правда. Ознобиша ответил:

– Котёнок, подаренный Злату, наверняка зализал первые шрамы,

становясь грозой нечисти. Я помню, ты впервые предложил Высшему Кругу суждение, государь, и после едва дошёл до покоев. Теперь ты окреп. Воссел с ними как равный. Владыка Хадуг вслух гадает, сумеет ли без тебя обойтись!

– Владыка снисходительно посмеивается надо мной.

– Владыка, я думаю, полон великих надежд. Вот учитель братейку всё горем луковым да чудом лесным! А Златово орудье вручил, ибо нет лучшего ученика! – «И песни его от костра к костру по свету летят...» – Ты поднимаешься, государь. Почтенная Орепея вновь служит вам с сестрой. Благородный Невлин вот-вот распорядится о телохранителях, близких вашим сердцам.

– Сестра выплакала, – буркнул Эрелис.

Эльбиз облюбовала среди кучи книг одну и разглядывала её. Красуясь на неправдоподобно мощном коне, Первоцарь метал огненную стрелу в крышу дома, похожего много больше на дикомытскую рубленую избу, чем на передвижную вежу хасинов. Для чего метал? Ждал, чтобы легко вспыхнул земляной кров, поросший травой? Да и пленники уже на коленях, связанные, беспомощные. Бабы, дети. С ними ли воевать могучему красавцу, властно вздыбившему коня? Только если братья и мужья перед гибелью как следует насолили андархам...

– Не веришь, государь, – признал Ознобиша. – Может, оно даже к лучшему.

– Почему? – одним голосом удивились царята.

– Потому что первая звезда верней различима, если чуть-чуть мимо смотреть.

Письмо Люторада

«Милостивый господин и друг мой, здравствовать тебе счастливо премногие лета! Пишу, побуждаемый бесконечно скорбными обстоятельствами, удаляющими меня от служения в стенах, помнящих шаги моего святого родителя. Возвращаясь из Выскирега в Шегардай, я испытывал искушение повернуть сани и тотчас ехать к тебе, хотя бы на несколько дней. Увы, роскошь подобного путешествия мне сейчас недоступна, ибо всеми любимый наш предстоятель, да улыбнётся ему Владычица, не сегодня завтра примет Её поцелуй. Будучи почтительным сыном, я боюсь надолго оставлять старца, тем более что он ещё не благословил меня, назначив служение. Должен сказать, многие видят меня преемником благочестного, хотя сам я полагаю нескромным на сей счёт даже гадать.

Как бы то ни было, людская молва, вслух именующая меня, в скором времени, предводителем мораничей Шегардая, открыла мне в стольном городе немало дверей. Государь Эрелис, третий наследник Андархайны и будущий правитель нашего города, почтил меня малым выходом и удостоил беседы. Отнюдь не себе в похвалу, но лишь к земной славе Матери нашей замечу: принимать выход изволила благородная Змеда, дочь усопшего восьмого наследника. Милостивая царевна была со мной бесконечно ласкова, господин мой, ради тебя и твоей заботы о её единокровном брате, сущем вне царской лестницы. Итак, эта забота доставила нам сподвижницу, драгоценную среди праведных.

О моём приходе гостям возвестил сам великий жезленик, чего, помимо меня, скромнейшего служителя Матери, удостаивались лишь потомки царской семьи. Моё равнодушие к внешней чести ты хорошо знаешь, но как не воспламениться надеждой, что наши духовные истины скоро освятят знамёна царей!

Не стану перечислять достоинства государа Эрелиса и его честнейшей сестры, они тебе, несомненно, в полной мере известны. Напишу о том, что отяготило моё сердце тревогой.

Господин мой, друг, жаркий единоверец! Я нимало не сомневаюсь: в Выскиреге у тебя довольно глаз и ушей, готовых сообщать о делах первых и последних людей, от высших царедворцев до самых подлых бродяг. Всё же, надеюсь, тебе будет бесполезно это письмо, ибо речь о твоём, господин мой, бывшем ученике.

Как я понял, сей унот, именем Мартхе, уже некоторое время оставлен твоим каждодневным водительством. Знай же: свобода пошла ему отнюдь не на пользу. Насколько разумен и благороден молодой государь, настолько же, к прискорбию моему, неспособным к высоким делам я нашёл его райцу. Увы! Нечестивец с первых слов исповедался братом отступника, казнённого смертью. Я встревожился, не заметив даже тени смущения и стыда, подобающих признанию в подобном родстве. Более того, юный Мартхе, против всякого разумного ожидания, наполнил свой голос скорбью и гордостью, рассказывая о брате. Едва ли не прямым словом отрекаясь от Матери Первосущной, брат казнённого почти открыто сомневался в правости твоего суда. Сколь я понял, молодой райца намерен употребить сан, вручённый во имя Владычицы, на очищение памяти поругателя святых начал. Как говорят, ради этого он затеял странные разыскания, сутками напролёт роясь в книжнице Выскирега. По словам верных людей, Мартхе складывает найденное в тайный сундук, видимо опасаясь, что записи попадут в руки чтущих котёл и разоблачат его помыслы. Его добычей уже стала презреннейшая из книг, которую истинно верному надлежало бы уничтожить немедленно. Полагаю, Мартхе ищет мести, стремясь опорочить как нашу веру, так и верность котла. Это тем более пугает меня, что ум его несомненен; я сам в том убедился.

Что ещё тревожнее, оный райца, с неведомой мне целью, пугает царский двор расспросами о последних днях перед Бедой, сугубо любопытничая о неурядицах, омрачивших в то время жизнь праведных. Он не стесняется донимать вопрошаниями даже столь значительных людей, как добрая царица Змеда и праведный Гайдияр, четвёртый в лестнице, не говоря уже о законодателях и простых горожанам. Боюсь, если его намерениям будет дана воля, твой ученик породит смуту ещё хуже Эдарговой.

Суди сам! Недавно в городе имела хождение крайне непристойная песня, порочившая четвёртого сына. Для меня очевидно: Мартхе толкнула к сочинительству зломерзкая книга, наполненная семенами раздора. Карающую длань Меча Державы удержало лишь благородное нежелание огорчать хозяина райцы, своего праведного брата. Итак, блудный Мартхе без раздумий привносит раскол в жизнь царской семьи, что повергает нас в ужас.

Беседуя со мной, он всячески намекал на своё особое дружество с неопытным государем, охотно склоняющим ухо к его мнению и советам...»

Прибытие дружины

– Идут!.. Дружина идёт, видели!..

Летень, по обыкновению сидевший у Светела в ремесленной, чуть не вперёд хозяина обернулся к двери. Жогушкиного крика он не расслышал, но босые пятки на деревянном полу восприняли топоток.

Светел одичало вскочил. Выскользнула из пальцев заготовка обода для очередной лапки. Упругая и сильная деревяшка стала распрямляться с радостной быстротой освобождённого лука. Светел увидел свою ладонь, поспевшую на перехват. Мысли заматались проворней вспугнутых белок. Уже? Это как?.. Почему сроку не дождались?

Он вдруг с ослепительной ясностью понял, что не выучился даже ногами верно переступать, какое там обороняться и бить.

И дядю Летеня не успел делателем наторить.

Это было куда важней и обидней. У Сеггара полна дружина наставников, знай учись... а витязю кто теперь Пеньковы узлы передаст? Заветное косое плетение, коего повторить даже затресские рогожники не берутся?..

И что за кукол выпестует Жогушка, взявшийся помогать Коренихе, Светелу уже не увидеть...

Вот сколько всего! – в один краткий миг, пока шустрый братёнок одолевал сени. Наконец сунулся в дверь:

– Царскую видели! За Торожихой! Мозолик вести принёс!..

Светел, точно старый дед, осел на скамью. Внезапно пропало желание тотчас пытать Летеня о хитром замахе из-за плеча, сулящем неотразимый удар. Расхотелось поспешно доучивать витязя ремеслу. Не было смысла даже высчитывать сроки, сравнивая летучий ход Мозолика, первого лыжника Кисельни, с метельной, волчьей побейкой, подсмотренной у Калинова моста.

Хотелось, пока можно, зажмуриться и просто сидеть, напоследок вбирая звуки, тёплые запахи, прикосновение дома. Чтобы когда-нибудь позже, в неведомом и недобром краю, разогнать насущные думы, прикрыть глаза...

Нестомчивый бегун был долгоногий, русоголовый, весёлый. Он тоже хотел сам увидеть дружину, о которой прибежал возвестить. Хотел проводить Светела и дома про то рассказать. Поэтому задержался.

Ахов и охов вокруг нежданного налёта Мозолика Твёрже хватило на несколько дней. Девки так и вились.

– А что левый глаз красный, гостюшка дорогой?

Парень улыбался:

– В лесу веточка отлетела. Соринку покинула, доселе свербит.

Его схватила дюжина милых рук.

– К бабушке Ерге отведём! Промоет пусть, чтоб взоры соколки не затуманились.

И выполнили угрозу. Всем девьём ввалились на Пеньков двор. Корениха не поскупилась заварить щепоть сухих лепестков. Глянула под веко, нахмурилась:

– Зачем трёшь, дурень?.. Светелка зовите сюда.

Пришёл Светел. Крепко взял в ладони голову Мозолика.

– Да не побегу, – заворчал тот, жалея, что сдался девкам на милость.

Твержаночки ахали, сокрушались. Каждая своеручно гладила крепкое плечо, облачённое пушистой рубахой.

Тёплые одёжки, затканые невесомым птичьим пухом, умели творить только в Кисельне. Чуни, платы, поддёвочки! Большак Шабарша когда-то привёз из Торожихи многоценный гостинец: безрукавку. Ясно, брал для жены, но надела сестрица Шамша. Жена ведь что? У ней муж есть, чтоб подарки дарить. У неё-то всё будет. А вот у сирой вдовинушки...

– Что ж тётка Розщепиха не принарядится? – судачили жёнки. – Пусть бы знали Твёржу! Не плоше иных живём!

– А она к одёжке паренька присмотрелась. Теперь сомневается, её-то не из мелкопушья ли.

– Сравнила тоже! Его – вся повытертая. Не красы-басы ради, для гревы в лес надевает.

– И что? Драному перу с чистым пухом всяко рядом в сундуке не лежать...

Люди более основательные, не смущаемые бабьими пересудами, рядили о своём.

– Слыхали, мужики, что Мозолик рассказывает? Неладно в Левобережье.

– Ойдриговичам не сидится.

– А то! Кровного отпрыска в Поруднице поселили.

– Сеча, говорят, немалая была, народишку полегло – страсть...

– Завтра городок срубят, войско домосидное приведут.

– А там и на Коновой Вен.

– Брось, друже. У них в Шегардайской губе шаечка гуляет. Не до нас им.

– Вот они на этой шаечке силушку попытают, а после и решат старые времена вспомнить!

Широкий мир, где сильные люди раздвигали головами тучи, ещё вчера таился за тридевятой рекой. Сегодня отдалённое пограничье как будто приблизилось к маленькой Твёрже. Заклубилось вместе с туманом прямо у тына. Выгляни за ледяные валы – а небываемое того только и ждёт!

И никто не знал, добра или худа от таких перемен чаять.

Полную седмицу у Светела всё валилось из рук. Бабкину стряпню глотал не жуя, не чувствуя вкуса. Только думал, садясь, не этот ли ужин станет самым последним.

На восьмой день он вытащил во двор саночки.

Ласка с Налёткой тотчас приняхались. Нашли всего один алык, едва над ним не подрались.

– Цыц! – рявкнул Светел.

Вышло грозно. Виновницы отбежали, припали к земле, умильно завиляли хвостами. Светел уставился в пустой кузов. Хороши вышли саночки. Лёгкие, прочные. Как раз день за днём скорым ходом впрягшись бежать.

Золотые гусельки дожидались в берестяном чехле, закутанные для дороги.

«Ведь не их первыми вгружать? А что тогда?..»

Ну не лапки же, сплетённые по зароку.

Отчаявшись, Светел вынес запасной потяг. Бросил на дно кузова. Постоял ещё, ничего не придумал. Сам сел на санки. Хитрая Ласка подобралась первая. Носом тронула руку, обрадовалась, полезла на колени, за ней Налётка. Обе мощные, широкотелые, одна в Зыку, другая в мамку Пескуху. Как не улыбнуться, не приласкать? Светел обнял две мохнатые шеи, сукурьюшки тут же опрокинули его вместе с санями. Барахтаясь, он расслышал тревожное глухое мычание, катившееся по земляным крышам. Потом – Велеськин заполошный вопль:

– Дружина идёт! Светелко, дружина идёт!..

Царских ждали со стороны Торожихи, а явились с заката. И заприметили их, вестимо, калашники, топтавшие дозором на ледяных валах. Увидели сквозь морозную дымку, как на краю леса распахнул серые крылья Поморник... Протрубили в длинный рог, склеенный из берёсты.

Когда Царские поравнялись с морозными амбарами, у захаба ледяных валов стояла вся Твёржа. Мужики во главе с большаком. Бабы за спинами,

девки, любопытная ребятня. Гордые калашники по верху валов – при снаряжённых луках, копьях, плетёных щитах. Плескал на ветру, летел встреч Поморнику бесстрашный Снегирь. Светел стоял внизу с Летенем, больно стиснувшим плечо.

Дружина замедлила шаг. Полтора десятка лыжников, все в густом инее после бедовников и морозного леса. Серые, потёртые людишки, не на что посмотреть. Светел глаз не мог отвести. Впереди Сеггар Неуступ, Ильгра со знаменем... насупленный Гуляй... Кочерга, молодой Крагуяр... белянушка Нерыжень, полный ревности Косохлест... «А раздумают принимать? Дядю Летеня заберут да уйдут себе?..» Стылым ветром ожгли неизбежные смешки твержан. Светел выпрямился. «Особняком возвращать брата уйду...»

Воевода сбросил лапки, покинул своих. Перегнулся в поясе, малым обычаем приветствовал шагнувшего навстречу Шабаршу.

– Можешь ли гораздо, отец племени... – И добавил с едва приметной усмешкой: – Вот, на калачи к тебе завернули. Принимай, коли не шутишь.

Здесь, в Твёрже, его чужой говор так резал ухо, что Светел едва не оглянулся на мать. Наверняка схватилась: кому дитяtko отдаю!

– Повеселу дошёл, государь воевода? – кланяясь, отмолвил большак.

– Повеселу, стало быть, – прогудел Сеггар. – Вижу, товарища моего сберегли.

Летень выпустил плечо Светела. Где ж утерпеть! Шагнул вперёд, к своему воеводе, к знамени, к побратимам. Легко, свободно шагнул, так что даже Светел в чудо поверил. Бывает же, перебитые крылья в небо возносят. Однако миг жил кратко. Летеня повело влево, неловко, беспомощно. Светел подхватил: я те дам, срамиться прилюдно.

И заметил по лицам, по взглядам: витязи сами хотели поверить. Едва не поверили.

– Пожалуй к очагу, друже Неуступ, – говорил между тем Шабарша. – Хлеба преломи да поведай, что на белом свете слышать.

– Твой хлеб с нашим да смешается в едином дыму.

Сеггар кивнул своим. Косохлест с сестрой вытащили гружёные санки.

Деревенские и дружинные снялись с места, пошли друг друга рассматривать. Витязи перво-наперво обступили Летеня. Обнимали его, гладили голову, тяжёлыми пятернями хлопали по плечам. Он улыбался, пробовал говорить, моргал, жмурился...

Калашники покидали валы. Утрачивали гордую важность. Робели воителей. Под горячими взглядами юнцов смягчился даже Гуляй. Самым надменным выглядел Косохлест.

По другую сторону Твѣржи вовсю махал посохом, уносясь на беговых иртах, проворный Велеська. Живой ногой торопился в Затресье, кликать рогожников на проводы Светела. Всего сутки по знакомой тропе, не маленький, не заплутает небось!

В остатние, в последние...

Правду люди говорят. Хочешь уяснить, кем любим? Ляг помри. Уже без пелены на глазах глянешь с мостика, воспаряющего над сиянием звёзд. Без завес на ушах послушаешь людские речи.

Это отдалённо переживает невеста, покидающая родительский дом. Вот младшие ссорятся за сестрин тюфячок на полатах, радуется отец – одна с хлеба долой! Шепчутся подружки: вторая невеста завтра станет первой в деревне. Одна мать плачет горько, как над покойницей.

Нечто близкое испытал Светел.

Сеггаровичей Твёржа приняла родственно. Какой шатёр за прудами? Всех повели в общинный дом, к очагу. Согрели добрую мыльню. Стали собирать пир. Хозяйки без скупости потрошили амбары. Так, словно кто-то в самом деле умер либо родился. Дружинные вскрыли тяжелогружённые сани. Всё вместе и выметали на большой братский стол.

Ради двух жизней, что покидали привычный круг бытия, устремлялись каждая по новой стезе.

К тому времени примчались затресские. Доставили в чунках блаженно спящего, до тла вымотанного Велеську. Привели зачем-то девку Поладу, осунувшуюся, заплаканную. Светел её мельком увидел и забыл тут же.

Они с Летенем на веселье постничали. Сидели одинаково прямые, незрячие, деревянные. Светел подле Шабарши, Летень между Ильгрой и Сеггаром.

Светелу бросилось в глаза: Ильгра с Нерыженью пили и ели за мужским столом. Как иначе – воевницы! С бабами, что ли, им пировать?

Мысли, впрочем, не скупивались ни на чём. Хоть убей – возвращались в Житую Росточь, на Лыкашкину прощальную почесть. «У меня всё не так! – яростно отметал Светел. – Не так всё!»

Но уже взмывал над прочими голосами, трепетал и звенел певчий плач Равдуши:

Соколочек да милый сы́ночка,
Ты куда, сынок, наряжаешься,
Куда, милый, сподобляешься,
Во какую да в путь-дороженьку?
А ведут тебя, сокол-сыночка,
Не в любую да подороженьку,

Не в любимую – во дальнюю,
Во дальнюю да во печальную!
Уж и к людям немилостивым,
К сердцам да нежалостливым...

Равдушшу слушали со вниманием, коего бабий вой редко достаивается. Мозолик тёр глаз, спохватывался, опускал руку. Смотрел на Светела, завидовал и снова спохватывался.

А тому не прогнать было воспоминаний о страшном крике тётки Оборочи, отворявшей сыну ворота. О бескровном, неживом лице Лыкаша.

Вот легли сзади на плечи ладони бабушки Коренихи. Ох легли! Всё сразу поведали. О последнем, скорбном, неворотимом... полном славы, мужества, великой надежды...

Пала на голову, отгородила мир большая непроницаемая фата. Светела подняли. В безмолвии повели из-за стола. Он толкнулся плечом в чужое плечо, ткань скользнула по ткани... Летень! Точно так же окруженный, не принадлежащий денному миру.

Их трижды обернули посолонь и наконец развели. Летеня поместили среди твержан, на ещё не остывшей скамье, одесную большака. Светел на странно отяжелевших ногах ушёл к другому концу стола, где тоже хранила греву старинная плаха. Там он и сел ошалевший, не веря, не умея понять.

Уж припасть было, горящице,
Мне на лавочку дубовую,
А победной да головушкой
На кленовую прибоинку,
К сыну милому, любимому,
Мне в остатние, в последние!
Без тебя, да милый сыночка,
Опустеет дом-подворьице,
Ты, родное моё дитятко,
Ты куда спешишь-торопишься
А из дому благодатного,
Из новый да новы горницы?

Слева тяжеломерно и медлительно шевелился Сеггар. Негромко, без внятного слова побряхтывал, ворчал, будто дерево на ветру. Справа к бедру

исподволь подкрадывалось тепло. Обманчиво ласковое. Отчётливо женское.

Разверзалась под ногами незыблемая прежде твердь. Отчаянно, до дрожи и озноба, хотелось назад. Туда, где сильной рукой гладит бороду Единец Корень. Где Сквара с бровью, ещё не переломленной шрамом, забыв распухшее ухо, следит, как атя Жог ловко смазывает яйцом голубые сколы. Крепит, ладит целое из двух половин.

Туда, где маленький Аодх ещё ведать не ведает, что спустя неполных семь лет этот труд вручён будет ему.

«Дяде Летеню ещё раз объяснить, как гибало подклинивать... Братёнку наказать, чтоб к Ласке с Налёткой ещё годик никаких женихов. Рано им...»

Когда надо запомнить что-то одно, можно это насечь на бирку. Позже глянешь, и явится нужное. А что делать на сломе жизни, когда весь прежний обывок дыбится щепками? И вот прямо сейчас надо всё доделать, договорить?

«Погоди помирать, дед, за киселём побежали...»

Смешно, да как-то не очень.

Взгляд скользил по неплотно затянутым образцам плетения, развешенным по стене. Упирался в заготовки, сжатые тем самым гибалом. Руки тянулись напоследок что-то подправить, оставляли движение. Память вместо важного открывала подцепы и переборы, которых он ещё не объяснил Жогушке.

«Без меня обойдётся. Небышек преподаст...»

Светел мотался по ремесленной дурак дураком, отрезанный ломоть, беспамятный и больной.

«Жогушка не то что гудьбу, само ремесло теперь не от меня примет. От дядьки стороннего...»

Да ладно. Летень разве чужой? Лапки в последний месяц начал гожие плести, на торговый рундук выложить не зазорно. Умный, руки хорошие. Одно слово, витязь. Всё осилит, не сдастся, всё превзойдёт.

Вполовину таким стать бы.

С разрешения бабушки Светел показал воеводе щит славнука. Сеггар бережно, с поклоном взял его в руки. Вгляделся, кивнул. Этот мог рубцы принимать если не на Кровавом мосту, то вблизи. «Мыслишь унести, отроча?» Ровным голосом спросил, хотя на самом деле испытывал. Светел отрёкся твёрдо: «Это братьям память, не мне. Моя доля иная!»

Ответ и мог быть только таков, но душа съёжилась. Всё уходило прочь,

отпадало, как листва осенью, обратно не прирастёт.

«Меча нет ли при нём?» – спросил воевода.

«Нет пока, – сказал Светел. – Увижу в злой руке, отберу!»

...Когда в ремесленную заглянула Равдуша, сын, оставив бесцельно бродить, вытаскивал Золотые. Чехолок для них был сверху берестяной, внутри стёганный, на пёсией тёплой шерсти. С лямками, чтобы носить за спиной. У дороги спрос строгий, сегодня стужа мертвит, завтра кижы мокрыми бородами – а гусли в уютном домике и горя не знают.

Мать тотчас заметила раскрытую коробейку. Лучи струн, мерцание вощёного дерева. Брови горько изломились, будто до последнего надеялась и не верила в разлуку, да напала на зримое подтверждение. И вот что вырвалось:

– С собой, что ли, надумал?

Как-то так прозвучало, что Светел аж покраснел. Увидел себя воришкой, пойманным за руку.

– Так я... дедушкины... они ведь...

Не в том было дело, вовсе не в том. Мать смотрела, будто он древние набожники, достояние рода, от безделья собрался куклам на платьишки изрезать.

– Загубишь снасть добрую! У костра опалишь, в чужих людях украдут, ногами наступят...

«...Нет бы младшенькому оставить. Соловьиным голосом даровитому...» – довершил про себя Светел.

Стало разом жарко и зябко. Что-то падало в бездну. Посреди ремесленной стояла незнакомая женщина. Та, что на лыжах спешила Жогушку от лютого братища оборонять.

Своего птенца от жадного кукушонка.

Золотые, часть души, явились вдруг чуждыми. Как всё в этом доме, где Светел, оказывается, никогда не был родным.

Обернулись наследием, к которому приёмыш потянулся без права.

Руки-сковородники, голосом телега... тебе, что ли, снасть бесценную уносить? Когда тут Сквара новый растёт?..

Кровь отхлынула от вспыхнувших было щёк. Светел медленно закрыл коробейку, отчётливо понимая: не притронется больше к ней ни за что, никогда. Уставился в сторону, сказал глухим голосом:

– Как скажешь, государыня матушка, так и будет.

«...Мачеха...» – услышала Равдуша. Плеснула руками, охнула, простонала. Метнулась вон из ремесленной. Светел смотрел ей вслед, судорожно сглатывая. Шагнул к порогу. Заложил дверь.

Вихри памяти вновь подносили ему Лыкаша, нетвёрдого на ногах. Домашние саночки, сиротливые у ворот. Всё, что надо ему, в обозе найдётся, сказал злорадный котляр.

А ведь справедливо сказал. Не поспоришь.

«Я сюда голый прилетел. Голый улечу. Пусть Жогушка пресветлыми струнами забавляется...»

Ревность к братёнку вспыхнула мимолётно, тотчас угасла. Всё правильно. Жогушка через год играть будет, как Светелу в жизни не достигнуть. Руки Скварины. Ухо Скварино. А уж голос...

Всё виделось сквозь текучую воду. Криво, косо.

Дёрнуло ознобом от вида тючков, собранных для плетёного кузова. «Не по молодцу справа. Хороша слишком. Летению пригодится. Жогушка подрастёт. Вон драный кожух под перекладной: не весь ещё полысел. Телесной гревы как-нибудь хватит на переход, а там...»

...Сама перекладина, гладкая, лощёная, где руки ложились. Оставит её новый хозяин? Выкинет, чтоб глаза не мозолила?

Светел вдруг заметался, что-то решил, кинулся к верстаку. Скорей, скорей! Подхватил еловую плашку, неудачно отколотую, до времени забытую в стороне. Вот же, вот что надлежало из неё сделать!.. Топор, привезённый из Торожихи, прыгнул в ладонь. Светел бросил плашку на колоду, начал быстро обтёсывать.

Топорик этот он тоже хотел с собой взять. Теперь не возьмёт. Незачем. «Может, и плашку без всякой правды беру? Полено из печи похищаю?..»

Кольнуло, улетело: пустое. Имел смысл только нарождавшийся облик.

Вначале Светел ждал, чтобы вот сейчас вернулась Равдуша. Того хуже, Корениху на него позвала. Оставил, забыл. Блестящее лезо позванивало, посвечивало, играючи ссекало лишнее дерево. Светел вовсе отрешился от времени. Начерно обтесал выпуклое брюшко ковчежца, наметил открылок, схватил из гнезда наточенную стамеску, лихорадочно вогнал в слоистую плоть...

Из большой избы потянуло вроде бы печевом.

Светел и это забыл тотчас. Мысленно уже подбирал теснинку пошире, позвонче. На верхнюю полочку. Примеривался к строптивым еловым сучкам: добрые ли выйдут шпеньки? Руки жадно и бешено подбивали киянкой. Вытряхивали стружки, нетерпеливо метали длинные щепы.

Освобождали просторное чрево для рождения гулов.

Почему раньше не взялся?..

Надеялся, дурак, Золотые позволят из дому забрать?..

Светел знал, конечно, как гусельки уставляются. Это любой мужик

знает, у кого в руках владение есть. Пальцы сами выверяли толщину стенок, взгляд искал сверло – буравить отверстия под шпенёчки...

...Он так ушёл в горячее, бредовое дело, что не расслышал тихих шагов. Вскинул голову, когда из сеней в ремесленную заскреблись.

«Мать, что ли? Бабка? Братёнок?..»

Нет. Эти были здесь в своём праве. Им ли робко царапаться! Они бы ломились, громко, сердито!

На спине и плечах с трудом расправлялись узлы судорог. Делатель тут только заметил, как свело мышцы.

– Светелко... – выдохнул сдавленный голосок. – Отвори...

Ему понадобилось мгновение. Полада! Зарогожница, подружка Убавина. Дура-девка, незнамо зачем притёкшая в Твёржу с парнями. Светел едва приметил воспалённый взгляд из-за спин, из-за плеч: глаза красные, сорок вёрст стужами, шутка ли! Добро, любопытству девичьему нет узды, но здесь-то что потеряла?..

– Светелко... – еле слышно повторила Полада.

Он наконец отозвался, после долгого молчания рявкнул сипло и грубо:

– Чего ещё?

Полада молчала. Светел озлился вконец. Девку пойми! Только бы от дела мужика оторвать. А зачем – сама не смыслит!

– Надо-то что?

Снова молчание. Светел больше ощутил, как девушка убрала персты с дверной ручки, отстранилась, исчезла.

Хоть плюнуть с досады! И почто было работе мешать?.. Он придвинул жестянку, раскрошил пластиночку клея...

Забыл начисто Поладу, её невнятные речи.

Сотни выстроганных лыж одарили руки сноровкой. Гусельную палубку Светел вытончил едва не быстрее, чем разбух в тёплом кипятке липкий студень. Подровнял, примерил к деревянным окраинам...

Когда бросаешься в работу, как он теперь, подпилки теряются, сверло жалит, тесличка укусить норовит... Других, не его! Светел на крыльях летел. Орудия ремесла утешали и радовали напоследок. Глаз не подвёл: полочка влегла в окраины корытца, как тут и была. Концом гусиного пера Светел подцепил клею...

Натянуть и опробовать струны он всё-таки не успел. К утру, когда двор внезапно ожил чуждыми голосами, Светел сидел среди озера стружек. Обматывал нитью, шершавой от смоляной крошки, последний шпенёк. Вздрыгнув, поняв – вот теперь всё! край! встань, каков есть, иди без

оглядки! – он закинул в наплечный кузов моток тонкой проволоки. Перетянул старый кожух тем самым пояском в серых громовых треугольниках. Лапки, нож в ножнах да гусли за спиной, чего ещё! Руки есть – остальное можно добыть. Сглотнул сухим горлом, хлопнул руками по коленям, встал.

У него в ремесленной не было какого следует очага. И Божьего угла не было. Эту клеть благословлял дух Жога Пенька, святила память Единца Корня. И его, Светела, немалая частица здесь оставалась. Он крепко зажмурился, испрашивая напутствия. Резные тёмные лики, сияние голубой чаши, нетленные льняные набожники... Светел трижды поклонился верстаку, перекладине. Узлам, когда-то принятым от отца.

Задул жирник.

Онемевшими руками закрыл за собой дверь.

Небо мрело густым ранним сумраком. Семьян во дворе не было видно, а у ворот стоял Сеггар. Псицы обнюхивали гостя, вертели хвостами.

– Жданки долгие, – буркнул воевода. – Пошли уж.

Он будто посмеивался одичалому парню, растерявшему всю молодецкую удадь. Светел в который раз вспомнил Воробыша. Телом ощутил Скварину пятерню. Плечи сами натянули кожух.

– Воля твоя, батюшка воевода.

Собаки побежали за ним. Взвизгивали, лапами царапали кожух. Ловили хозяйские руки.

Светел так сросся с мыслью о бесповоротно замкнувшемся одиночестве, что едва не споткнулся при виде полной улицы молчаливых твержан.

Калашники, выстроенные в два ряда. Суровый Гарко...

Светел начал искать маму с бабкой и братом, не находил.

Зарник с Небышем, Розщепиха, Велеська, дядька Шабарша...

Светел не знал, что сказать напоследок, шёл, увлекаемый Сеггаром, беспамятный и глухой. Мелькнула Полада, бледная, взрослая. Светел вдруг начал слышать полозный скрип по голой земле. За прудом клубился граничный туман, хотелось скорее войти в него... с облегчением вынырнуть по ту сторону, к хлопотам новой жизни, заживляющим всё, что с мясом рвалось сейчас.

Вовне одиноко стояли мама, бабушка, братёнок и Летень. Светел задохнулся, промолчал, подошёл.

Все они ждали не с пустыми руками. Жогушка первый протянул свой

подарок. Две куклы, свитые из единого рубища, как вьют свадебных неразлучников, только тут были двое мальчишек. Темноголовый и жарый. Сквара со Светелом? Светел и Жогушка? Поди знай. Мамины руки обвили шею. Равдуша потерялась у него на груди, маленькая, беззащитная. За пазуху всунулся мягкий свёрточек, непобедимым теплом облёк тело. Глаза Коренихи были прорубью во вселенной. Оттуда глядели поколения славнуков до самого Воеводы.

– Пошли, – услышал он первое за всё утро внятное слово. – До Родительского Дуба проводим.

Сеггар с Летенем двинулись следом, чуть приотстав.

Лесная тропинка к знакомому холму никогда ещё не казалась Светелу настолько короткой. Даже холод, жестокий на открытом бедовнике, не морозил, больше трезвил. «Да что я разнюнился, ровно девка сопливая? Не в котёл без вести ухожу, не за море отселяюсь. Наймутся купца опасать – в Торожиху, в Вагашу... Кайтара где-нибудь встречу...»

Северный ветер качал ветви Дуба, свистел, говорил далёкими голосами. За холмом стояла дружина. Светел подхватил Жогушку. Легко, не вытягиваясь, воздел к отцовской морщине. Снегу нанесло или оба росту прибавили? Рубец зримо заплыл, смертная корча обратилась улыбкой, мудрой, звёздно-высокой. Кручинное Равдушино полотенце унеслось нитями, отпущенное во славу новой судьбы. Светел покосился. Летень стоял подле кряжистого побратима, волосы осенней листвой в длинных полосах снега, глаза – упрямая зелень почек, ждущих весны. Ни чёрточки грозовой красоты Сквары или Жога Пенька. Он лапки Светелу выплел. Смешной подарок, но славный. «А ему каково, – вдруг ударило парня. – Вся жизнь прочь. Вся слава былая. Я-то что, брата выручу и сразу назад, а ему ратных песен больше не петь...»

От святого древа Пеньки отошли единым целым, никакое расставание не расторгнет. Сеггар чуть не расщедрился на улыбку. Новый отрок, недавно полуживой, будто вырос, смотрел бодро и гордо.

Даже заставил орлёнка Эрелиса вспомнить, неведомо почему.

– Дядя Летень, – преувеличенно двигая губами, выговорил парнишка. – Ты дом честно веда. Вернись, спрашивать стану. – И чуть отступил от семьян, поклонился Сеггару. – Приказывай, государь воевода. Теперь за тобой пойду на жизнь и на смерть.

Нож к горлу

В дороге Галуха никогда толком не спал. Любой толчок саней, любой возглас извне был знамением близкой и неминуемой гибели. Сразу мерещились руки в боевых рукавицах, перехватившие вожжи. И вот уже тащат с козел возчиков, не успевших крикнуть: «Родимые! Грабят!..» Срывают входную полсть болочка. Заносят лютые ножи над горлом сонного путника...

Жители окраинных земель полагали, будто в коренной Андархайне текут молочные реки с кисельными берегами. Тщета зависти! Небеса карали андархов недородом и скотьей погильею нисколько не реже, чем племена дикарей. В один моровой год, когда лишние рты впору было уводить подальше в чащобу, отчаявшиеся родители продали сына-подростка переходим кувьям. Ватажка слепых певцов взяла мальчонку поводирём. Скоро Галуха привык нести верёвочную лямку через плечо, опираться на посох-попирашку с навершием из шкуры ежа – для защиты от деревенских собак. Выучился дёргать струны уда, петь песни нищих: старины, жалые, заздравные.

Кувьяки заходили в городки и деревни. Славил рожденья и кончины. Принимали подаяние, не всегда изобильное, не от излещества, но с голоду не погибнешь.

Однажды на мосту через речку их догнали верховые.

Галуха так никогда и не узнал, кто были те люди, почему с лютой яростью обрушились на безответных слепцов. Может, ватажка перед этим пела на свадьбе, а молодая оказалась «нечестной»?.. Юный Галуха, тощий и быстроногий, спасся лишь тем, что сразу вывернулся из лямки и проворным зайцем кинулся в лес.

Ему казалось, он мчался целую вечность. На самом деле, вероятно, покрыл не больше версты. И... выскочил к стоянке жрецов-мораничей, ученика и учителя.

Когда они вернулись к месту нападения, живых там уже не было. Нищие певцы лежали в ряд на обочине. Горло у каждого было рассечено до позвонков, длинные бороды торчали бурими колтунами.

Это зрелище врезалось в его память, навсегда став образом страха.

Он остался с двоими жрецами, в которых видел защитников. Пел моранские хвалы, то возвышенные, то озорные... а думать первое время мог лишь о том, сколь уязвимо для лихого клинка его горло, полное звуковых

дрожаний. Вот сейчас заохлодит шею сталь. Вдвинется под ухо. Обратит изысканные переливы безобразным свистом и бульканьем...

По счастью, между ним и ножами убийц стояли сильные люди.

«Завтра мы увидим Царский Волок, – утешал молодой Гедах. – Там стены в двадцать сажень! Полежут лиходеи, все вниз оборвутся! А кто не оборвётся, того стража собьёт неусыпная. Великие сокровища поставлена сберечь, и тебя сбережёт!»

Сам он был из рода царственноравных. Таким бояться некого.

Юный служка возвращал голос, заучивая хвалы. Гедаху, наделённому могучим даром, особенно удавались прославления весёлые и смешные. Люди приезжали за три овиди, чтобы послушать про Владычицу и ловкого плута, укравшего приношения с алтаря. В такие дни Гедах с рук не спускал любимые гусли. Учитель Кинврик и Галуха подыгрывали ему, а Правосудная улыбалась с небес.

Они принимали у себя царевича Эдарга, друга Гедаху, и сами ездили к нему в Шегардай. Зазывали на украшение храма Аркуна Ляпунка, славного богописца. Тот вначале отказывался.

Это были добрые годы. Галухе перестали сниться растерзанные гортани. Кинврик начал чувствовать приближение старости. Гедах, обласканный царём и царицей, привёз из Фойрега молодую жену. Кинврик трижды метал козны, вопрошая о первенце. Все три раза жребий указывал: родится девочка.

В это время стали доходить слухи об исцелении веры. О злоречивых жрецах, распоясанных, сосланных, заточённых.

На самом деле это рокотала за небоскатом гроза.

И наконец в заливе показался боевой корабль с трилистниками Владычицы на парусах. На причал сошёл Лютомер Краснопев, за ним – воины и палач. Узилище Царского Волока, вмиг очищенное от жуликоватых торговцев, поглотило жрецов. Не тронули одного Ляпунка, теревшего краски. Святой ревнитель придирчиво оглядел творения богописца, исполненные строгим уставом Хадугова благочестия, и не нашёл слов, кроме восхищённой молитвы. Велел спокойно довершать труд.

Когда Галуху притащили в подтюрмок, он увидел возле стены прикованного Гедаху. А напротив – Кинврика, так залитого кровью, словно ему вправду перерезали горло. Тем самым душегубским ножом. Седая голова свисала на грудь, борода затвердела бурым колтуном...

Тогда Галуха явственно ощутил: между его шеей и ранящими клинками нет ничего. Ни крепких стен, ни сильных людей.

«Оставь его, Лютомер! – прошептал из ошейника Гедах. –

Послушеник молод и ничего не смыслит. Он не слагал крамол, только пел их, заблуждаясь по моему наущению...»

Гедаха ограждала знатность. Без царского дозволения его не смел тронуть даже ревнитель. Краснопев повёл на царственноравного глазами, опухшими от недосыпа.

«Умолкни, посрамление храма, иначе твоему учителю выдернут не только язык... – И наставил палец на Галуху. – Внемли, ничтожный участник богоотступных забав, именуемых в этом блудилище службами. Знай: Матерью Милосердной нам заповедано, где только возможно, предпочитать кротость огненному бичу. По всему, что я о тебе слышал, выходит, что ты можешь отделаться простым распоясанием. Если убедишь меня, что похабничал Матери лишь по глупости, прельщением вот этих двоих, я берусь даже устроить твою судьбу. Незачем тебе умирать с голоду, гонимому верным народом...»

Простёртая ладонь Краснопева зримо воздвиглась между Галухиным горлом и готовыми вонзиться ножами. Сильный человек снова был рядом. Он смилуется. Он защитит.

Галуха открыл рот... Захлёбывался словами, чтобы кровью не захлебнуться. Вдохновенно угадывал, каких речей ждал от него Лютомер. Это было нетрудно. Мелких отступников клеймили повсюду, но кто заносил жезло на жрецов высшего посвящения? Пригвозждал царственноравных? Не боялся споткнуться, быстро шагая к престолу первостояния?

Галуха снова мчался по лесу, а позади терялись голоса тех, кому он даже не попытался помочь...

Он проснулся оттого, что сани остановились. Нутро сперва сжала ледяная рука, но речи за пределами болочка звучали обыденные. Купец Калита, возчики, молодые работники... Ни железного лязга, ни тревожных криков. От сердца отлегло.

На Бердоватом бедовнике, на полпути между Выскирегом и Подхолмянкой, некому присматривать за дорогой. Поезда здесь идут почти без следа, по приметам, по вехам. «Что стоим? Заплутали?»

Галуха лежал на своём сундуке, укрытый толстыми шубами. Иным людям по сердцу странствия. В пути они принимают решения, приводят в порядок мысли, обретают слова. Галуха скитался побольше многих, но дорогу не полюбил. Тоска и безделье. А если раздумья, то тягостные. Навязчивые картины былого, всё никак не желающие поблёкнуть...

Галуха пошевелился, ощутил позыв телесной нужды.

Выбираться на мороз не хотелось. Однако лучше размять ноги сейчас,

пока поезд стоит. Галуха завозился под шубами. Потянулся к привязанной полсти.

Бедовник лежал на порядочной высоте над старым берегом и Выскирегом, упрятанным в его недра. Чуть всхолмлённая, заснеженная равнина – сколько ни поворачивайся, не на что посмотреть. Лишь на западе угадывается крутой склон и за ним, очень далеко, – туманная полоска Кияна. Вот она, свобода! После Гайдияровой бутылки, после подземелий дворца – дыши полной грудью! Галуха втянул чистый морозный воздух, закашлялся. Сухая стужа сразу обожгла горло.

Над морским окоёмом росла тёмно-синяя туча, всосавшая, по всему, половину Кияна. Быть немалому снегопаду, а то и метели. Когда близилась непогода, разумные походники с Бердоватого убирались. Так отчего задержка?.. Галуха выглянул из-за болочка.

Впереди поезда виднелись брошенные, наполовину заметённые сани. Обозники во главе с Калитой собрались кругом. Изорванная рогожа, пустые, задранные оглобли... Что случилось? Поломка, которой не сумели исправить? Разбойный изгон?

До сего дня в здешних местах не озоровали. Калита вооружил своих парней, но на опасную дружину не раскошелится.

Без рукавиц пальцы стали быстро неметь. Галуха только подоткнул шубные полы, когда одна из обозных собак с лаем бросилась в сторону. Прыгнула в сугроб. словно бы провалилась, барахтаясь... громко завизжала и смолкла.

Пёсий визг ещё отдавался в ушах, а Галуха уже понял: что-то сдвинулось. Как снежный обвал, как лёд, треснувший под ногами. Сразу несколько больших снежных горбов обратилось плетёными западнями. Из-под сыплющихся покрывал вскакивали дюжие молодцы. У всех в руках – луки, натянутые для боя.

Ловушка!

Походники живо обернулись, щетинясь железными перьями копий... Эх! Даже Галуха, едва смысливший в воинстве, понял, как мало толку с их обороны. За двадцать шагов рогатиной врага не испорешь. Стрелой – уметишь играючи. Копьё можно докинуть, но оно одно. А стрел в туле – десятка три. На всех хватит.

Засадчики стали смеяться. Копья сгрудившихся, одно за другим, обречённо понурились.

Калита заговорил первым:

– Вы, люди повольные, зла на нас не держите. Если кто на заповедную дорожку не зная свёрнул, за обиду расплатимся, а кровь незначем

проливать.

Галухе человеческий голос был как следопыту отпечатки в снегу. Купец люто досадовал, что не нанял дружину, стоявшую у Зелёного Ожерелья. Небось шатуны подорожные близко не подошли бы. Однако досадой, как бабьей слезой, упущенного не вернёшь. Смирись уж! Такова плата за купеческую удачу. Десять лет с товарами ездить, да не споткнуться!.. Деятельный торговец прикидывал, как с наименьшими тратами выйти из переделки. Торговаться и договариваться Калита умел. Галуха сглотнул, стал слушать дальше.

Один засадчик неспешно выдвинулся вперёд. Огромный, чуть хромящий белобрысый мужик, на плече оружие под стать телесной можете: цепной двуручный кистень. Галуха понял, кого на них нанесло. самого Телепеню. Преемника знаменитого Кудаша. Понял это и Калита.

– Милостивец... Всё забирай, батюшка, только кровью безвинной рук не марай...

Какое договариваться, спорить! Шутки кончились. Купец стоял в снегу на коленях, вымаливая хотя бы пощаду.

– И заберу, – пророкотал в ответ низкий голос. – Отдашь волей, возьмём охотой, не отдашь волей, возьмём неволей. А крови безвинной у меня на руках нету. И нынче не осквернюсь.

Голос вновь открыл замершему Галухе то, что утаивали слова. Возле разорённых саней ещё жили, дышали, надеялись уцелеть мертвецы.

Телепеня оставил Калиту, прошёлся, ловко переступая добротными лапками, кого-то выискивая. Остановился:

– Послушайте, люди торговые, что скажу. Мыслите небось, далековато Кудашенок от северной губы забежал? Не по чину занёсся у стольного Коряжина промыслять? А я вам вот как отвечу. О прошлом годе сговорил меня добрый человек письмишко в город доставить. Другу разве откажешь? Послал я ребятишек двоих...

Калита так и дёрнулся. Понял, про что шла речь. И участь свою понял.

– Думал я, пусть парнишечки бела света посмотрят, – продолжал Телепеня. – Дело справят, да позабавятся, да нам, заглушным, про городские дива расскажут. Дело-то они справили... – Ватаг снова прошёлся, встал перед ослабшим Калитой. – А как дошло до забав, у неопытных отроков девку-прелестницу увели. Мальчонки в обиду, на них всемером и руки вязать!

– Нету его здесь! – ломко выкрикнул Калита. – Злыдня, что стражу навёл!.. В городе он... царевичу служит...

– Которому царевичу?

– Эрелису праведному... Помилуй, Телепенюшка, отпусти! Добра не забуду!..

– Ужо не забудешь, – кивнул ватаг. – Тяжко, сказываешь, достать выдавца-продавца? А я и не чаял вас всех одним кусом выкусить. Батюшке Посовестному хвала уж за то, что тебя под ногой видеть привёл. Будто не ты парнишек моих воеводе обрёк? На муки долгие, на смерть скаредную?..

Одним движением сгрёб Калиту за куколь, выдернул, поволок. Купец, провалившись в собственный ворот, невнятно кричал сквозь кожух. Его сразу схватили.

Поезжане шевелились, роптали. Сжимали бесполезные копыя.

Если бы хоть один рванулся вперёд и погиб, но дал остальным сломать круг стрельцов...

Если бы возчик, оставшийся при санях, шепнул словцо оботурам...

Подвижников не нашлось.

– Кто сам первее кровью не измарался, того и мне кровь на руки не потребна, – степенно повторил Телепень. – Вам, люди странные, нынче о мошнях только скорбеть, не о головах. Который здесь Окул-грамотей?

Несколько человек разом оглянулись на детинушку, прятавшего рукав с чернильным пятном. Ближние шарахнулись, как от порченого. Иметь Окула, отступавшего за спины, пошли двое. Кряжистый бородач и гибкий рыжак. Писарь побелел, сорвался в утёк. На продутом ветром бедовнике негде было спастись, но ужас смысла не ищет. Ноги понесли Окула к поезду. Прямо туда, где стоял померкший Галуха, вцепившийся мёртвыми пальцами в озадок саней.

Весёлые телепеничи догнали писаря сзади в ляжку стрелой. Сбитый закричал, взрыл снег прямо перед Галухой, не достигнув десятка шагов. Подоспел проворный рыжак, насел сверху. Пятернёй сгрёб растрёпанные светлые кудри. Правой рукой вдвинул Окулу нож под левое ухо, рванул резко к себе. Галуха увидел белые глаза на белом лице, вдруг обросшем бородой кровавых потёков. Рот, распахнутый в крике и тотчас захлебнувшийся. На этом частицы света и тьмы пустились в беспорядочный пляс. Больше Галуха не видел и не знал ничего.

Когда с Кияна подошла метельная туча, закутала Бердоватый кручинной фатой, людей на бедовнике не осталось. Только на задранных вверх обломках оглобель торчали две головы. Незрячие глаза смотрели в сторону Выскирега, раскрытые рты безгласно звали на помощь. Никто не слышал их жалобы. Ни великий порядчик, ни бывлые друзья.

Совместное мужество плачет, общее малодушие разобщает.

Поезжане, обобранные, молчаливые, ставшие друг другу чужими, гнали оботуров в сторону Подхолмянки.

Разбойная ватага, с её лёгкими саночками, уносилась прочь гораздо быстрее. Всех неповоротливей, втихомолку бранясь, поспевал молодой Онтыка. Вместо правского хабара, резвящего ноги добытчика, в его саночках громоздился короб со всякой вагудой и сидел чуть живой от страха попущеник. Дёрнула нелёгкая Лутошку узнать игроца, виденного в крепости ещё прежде закабаления! Вменённый в заботу Онтыке, Галуха сперва бежал сам, но долго не выдержал. Онтыка успел тридцать три раза проклясть рыжака и его длинный язык, а толку? Знай посохом упирайся покрепче...